

Congressus XI. Internationalis Fenno-Ugristarum
Piliscsaba, 9–14. VIII. 2010

Pars V

Dissertationes sectionum
et symposiorum ad linguisticam

Congressus XI. Internationalis Fenno-Ugristarum
Piliscsaba, 9–14. VIII. 2010

Pars V

Dissertationes sectionum et symposiorum ad linguisticam



Piliscsaba, 2011

Redegunt

Sándor Csúcs
Nóra Falk
Viktória Tóth
Gábor Zaicz

Borító: Kemény Márton
Fotók: www.btk.ppke.hu

ISBN 978-963-88954-0-0 Ö
ISBN

© Reguly Társaság, 2011

INDEX

Linguistics Лингвистика

- Норманская, Юлия – Федотов, Н. – Шешенин, С.:** Ударение в говоре обских чумьлькупов селькупского языка, его соответствия в языке первых селькупских книг и в лесном диалекте ненецкого языка. Генезис прасамодийского вокализма в зависимости от просодических факторов9
- Nyirkos István:** Lehetek-e mássalhangzós szótövek a finnugor alapnyelvben?36
- Oksanen, Auli:** On the Sources of the Name of the Bear in Finnish38
- Панченко, Светлана:** Хантыйские лексемы в русских письменных источниках 1870–1930 гг. как дополнения к словарю хантыйского языка В. Штейница44
- Panfilova, Serafima:** Supplementary Texts to Mordvinian Literary Text as Linguistic Hypertext53
- Пустяков, Александр:** Термины типов поселений в наименованиях селений моркинского района республики МарийМ Эл.....58
- Rakin, Anatolij:** A közpermi eredetű szókincs mint az etimologizálás tárgya65
- Ракин, Николай:** Проблемы перевода с одного финно-угорского языка на другой (на основе коми и некоторых других финно-угорских переводов «Калевалы»)69
- Rauhala, Pona:** The History and Variation of the Adjective Suffix *-TA 76
- Родионова, Александра:** Выражение пространства и времени в языковой картине мира карелов84
- Рушвай, Юлианна:** Выводы сибирских путевых записок из 19 века.....90
- Sakuma, Jun'ichi:** Case Marking and Word Order in the Finnish Language.....94
- Salasoo, Tiit:** Early Estonian-English Bilinguality – a Complement or Hindrance?.....100
- Салмиянова, Светлана:** Лексико-семантическая характеристика фразеологических единиц, выражающих понятие времени в марийском и эстонском языках.....114
- Saukkonen, Pauli:** Origins of the Finno-Ugric Language Family in the Light of Extralinguistic Evidence.....120
- Б. Секей, Габор:** Акустические свойства носовых согласных в языке манси ..130
- Сельдюкова, Александра:** Частицы в прибельском диалекте восточного наречия марийского языка.....136
- Сибатрова, Серафима:** Активизация использования исконного потенциала языка в условиях двуязычия (на материале марийского языка).....142
- Somogyi Magda:** Idegen nyelvi hatások a magyar nyelv grammatikájában.....148

Szelid, Veronika: Devastating Flames or Warmth of a Fire-place A Cognitive Linguistic Analysis of the Concept of ‘Love’ in Moldavian Southern Csángó and Standard Hungarian	156
Teras, Pire: Quantity of Leivu – Estonian Language Island in Contact Situation	164
Тимерханова, Надежда: Сложноподчиненные предложения с придаточными времени в удмуртском и венгерском языках	171
Титова, Ольга: О наименованиях гужевого транспорта в пермских языках....	175
Virtanen, Susanna: Direct Object Marking in Eastern Mansi.....	183
Waseda, Mika: The Hungarian Verbal Prefix <i>ki</i> and the ‘Fake’ Reflexive Pronoun – A Cognitive Approach to the Hungarian Verbal Prefixes.....	190
Викстрем, Оксана: Является ли <i>ла/lä</i> показателем сравнительного падежа в марийском языке?.....	200

Symposia on Linguistics

Симпозиумы по лингвистике

Symp. 1. The development and cultivation of literary languages in view of approaching globalisation / Развитие и культивация литературных языков в условиях надвигающейся глобализации

Богдан, Жомбор: Удмуртские переводы Библии и языковой стандарт	205
Jääts, Indrek: “Little Deeds” for his People: Georgi Lytkin’s Work for Emancipation of the Komi Language	211
Кузнецов, Николай: Местные падежи коми языка в когнитивном аспекте (на примере пространственных значений аппроксиматива)	215
Мосин, Михаил: Синтаксические особенности газетных текстов 20–30-х годов XX века на эрзянском языке	222
Пономарева, Лариса: Явление грамматической синонимии в коми-пермяцком языке (на примере грамматических категорий имени существительного)	231
Сергеев, Олег: К характеристике книг на волжско-пермских языках, изданных в дооктябрьское время.....	247

Symp. 2. The typological evolution of Uralic languages in contact with Indo-European and Altaic languages

Foreword	256
Biryuk, Olga – Usacheva, Maria: Russian in Beserman Oral Discourse: Global Influence and Interaction	258
Fernandez-Vest, M. M. Jocelyne: Typological Change of Information Grammar in Uralic	267
Habicht, Külli – Laury, Ritva – Nordlund, Taru – Pajusalu, Renate: The Marking of Definiteness in Old Written Estonian and Finnish: Native or Borrowed?	277

Serdobolskaya, Natalia – Toldova, Svetlana: Grammaticalization of the Verb of Speech in Finno-Ugric Languages	285
Slomanson, Peter: Pragmatic Accommodation as a Motivation for Typological Shift	293

Symp. 3. Finno-Ugric studies and cultural history / Финно-угристика в культурологии

Андуганова, Марианна: Финно-угровед и финно-угроведение.....	301
Б. Секей, Габор: Географические карты Северного Урала: Лаский (1843), Reguly (1847).....	310
Норвик, Пирет: О лексических отношениях эстонского прибрежного диалекта и финского языка.....	314
Волдина, Татьяна: Вклад хантыйских писателей в научное изучение языка, истории и культуры родного народа	322
Гуя, Янош: Финно-угроведение как европейский феномен	328
Патрушев, Валерий: Уральские народы и индоевропейский мир: к истории этнокультурных связей	332
Лапина, Маина: Отражение системы запретов в хантыйском фольклоре.....	338
Лебедева, Анна: Творчество художников Севера Сибири финно-угорской ветви в контексте сохранения и передачи исторической памяти предков	342
Червонная, Светлана: Финно-угорский мир как предмет научных исследований (Финно-угорская проблема: ответ Тишкову–Шабаеву).....	353

**Юлия Норманская – Н. Федотов – С. Шешенин
Москва**

**УДАРЕНИЕ В ГОВОРЕ ОБСКИХ ЧУМЫЛЬКУПОВ
СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА, ЕГО СООТВЕТСТВИЯ В ЯЗЫКЕ ПЕРВЫХ
СЕЛЬКУПСКИХ КНИГ И В ЛЕСНОМ ДИАЛЕКТЕ НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА.
ГЕНЕЗИС ПРАСАМОДИЙСКОГО ВОКАЛИЗМА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОСОДИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ¹**

Как неоднократно отмечалось, в настоящее время в российской лингвистике является приоритетным направлением исследование и фиксация языков России, которые близки к исчезновению. На территории России весьма много языков, носителей которых через десять, а, возможно, и через пять лет уже не будет в живых. И если сейчас в кратчайшие сроки эти языки должны образом не будут задокументированы, тот часто бесценный материал, который представлен в них для синхронной и сравнительно-исторической лингвистики будет навсегда утерян для ученых современности и будущего.

Именно таково положение селькупского языка. Северно-селькупскими диалектами еще хорошо владеют несколько десятков носителей языка, на южно-селькупских диалектах, которые значительно отличаются от северо-селькупских, говорит по данным последних экспедиции томских и московских исследователей, четыре человека (два носителя говора обских чумылькупов и два носителя обского говора).

Надо сказать, что ученые XX столетия понимали, насколько критична ситуация с носителями селькупского языка. А.П. Дульзон и его последователи постоянно организовывали экспедиции к южным селькупам. В результате этой работы собран огромный бесценный материал экспедиционных записей (80 томов, каждый из которых содержит более тысячи страниц). Этот материал хранится в г. Томске на кафедре-лаборатории Языков Сибири. Надо отдать должное томским ученым, которые во многом переработали материал экспедиционных записей и создали картотеку селькупско-русского и русско-селькупского словарей. Каждая из этих картотек содержит более 100 тысяч словоформ.

В 2005 году в г. Томске под редакцией В.В. Быкони был издан селькупско-русский словарь, который содержит более 25 000 слов (Быконя 2005). Конечно, издание этого словаря чрезвычайно важно для уральской лингвистики и для изучения языков Сибири в целом. Большая часть слов из этого словаря отсутствовала в других словарях языка, изданных А.И. Кузнецовой, Е.А.

¹Работа выполнена при поддержке проекта Президиума РАН «Акцентологические характеристики селькупского языка».

Пользуясь случаем, выражаем глубокую благодарность А.В. Дыбо за помощь в работе над статьей. В частности, она предложила проверить две гипотезы, которые и легли в основу этой работы: 1) о связи ударения в говоре обских чумылькупов селькупского языка и развития ПС вокализма, 2) зависимости долготы в лесном диалекте ненецкого языка и места ударения в селькупском языке.

Хелимским, Я. Алатало и др. исследователями (Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980; Кузнецова, Казакевич, Иоффе, Хелимский 1993; Хелимский 2007; Alatalo 2004; Helimski 2007).

Но, к сожалению, как это отмечено в работах Е.А. Хелимского, в издании, подготовленном под редакцией В.В. Быкони, опущено достаточно много информации, которая представлена в картотеке словаря. Наиболее важные упрощения, принятые В.В. Быконя, касаются следующих пунктов: 1) в словаре опущены диакритические значки над буквами, в первую очередь, ударение; 2) в словаре приводится только исходная форма слова, другие формы этого же слова, образованные с помощью словоизменятельных и словообразовательных аффиксов, и часто имеющие значение весьма далекое от исходного, в словаре опущены (этим объясняется сравнительно небольшое по сравнению с картотеккой количество слов в словаре). Место ударения в этих, опущенных в словаре формах, тоже очень часто отличается от места ударения в производящей основе. Это в словаре также оставлено без внимания (как уже было сказано, информация об ударении опущена полностью); 3) в картотеке словаря для каждой словоформы указан населенный пункт, в котором она была зафиксирована. Часто бывает так, что значение одной и той же лексемы в разных населенных пунктах даже в пределах одной области существенно различается. В словаре (Быконя 2005) дана исходная форма лексемы, область в которой она зафиксирована, и через запятую приведены все значения, которые встречаются в этой области, без пояснения, эти значения представляют многозначность рассматриваемой лексемы или дополнительно распределены по различным населенным пунктам.

Очевидно, что эти упрощения делают невозможным полноценное использование словаря акцентологами и специалистами по сравнительно-исторической фонетике уральских языков, а также исследователями семантики, потому что какие-либо выводы о многозначности в селькупском языке, сделанные на материале этого словаря, будут необоснованными.

В рамках настоящей статьи мы бы хотели сконцентрироваться в первую очередь на опущенных в словаре (Быконя 2005) знаках ударения. Причины, по которым В.В. Быконя опустила при издании словаря диакритические пометы ударения, очевидны. Помимо некоторых технических трудностей, которые возникают при компьютерной постановке ударения, за этим упущением, видимо, стояли и содержательные причины. Несмотря на то, что в работе (Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980) указано, что ударение в северно-селькупском языке является фонологическим, представлено несколько минимальных пар, в которых постановка ударения имеет смысловозначительный характер, в самодийской лингвистике бытовало мнение, что «ударения в самодийских языках нет». Оно ставится на разные слоги в зависимости от ситуации.

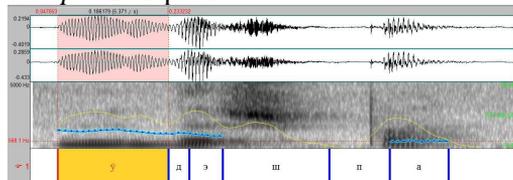
Чем вызвано это заблуждение, не вполне ясно. Возможно, тем, что в экспедициях исследователи часто сталкивались с носителями самодийских языков, для которых основным языком уже стал русский. Своим «родным» языком они владели слабо и, путаясь в лексике и грамматике, не были уверены и в постановке ударения.

Но важно то, что в более ранних записях самодийских языков, сделанных в XIX, начале и середине XX в. ударение присутствует и ставится оно в подавляющем большинстве случаев однозначно.

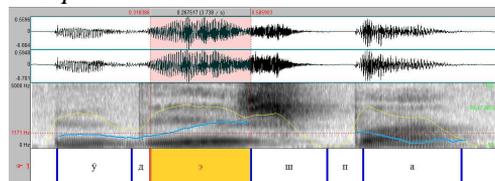
В частности, на материале картотеки селькупского языка, собранной А.П. Дульзоном и его последователями, (наиболее полно представлены южно-селькупские диалекты) даже при беглом просмотре нами выявлено более 30 минимальных пар, слов которые имеют абсолютно разное значение, а фонетически различаются лишь местом ударения. Это доказывает, что ударение в селькупском языке существовало, оно было фонологическим и подвижным (т.е. аналогичным ударению, которое представлено в современном русском языке).

Приведем несколько примеров минимальных пар, различающихся лишь местом ударения, на материале говора обских чумылькупов, снабженных фонетическими графиками этих слов, построенными в системе Praat.

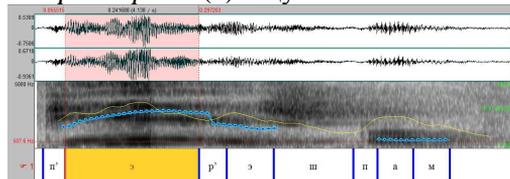
íidǎšpa ‘вечерет’



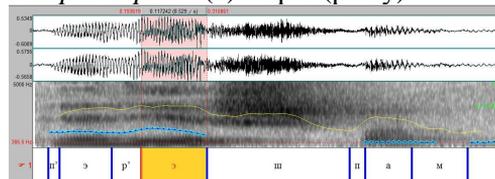
íidǎšpa ‘напилась’



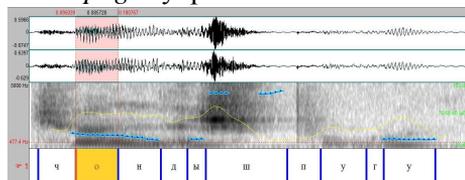
mat p'éréšpat ‘(я) ищу’



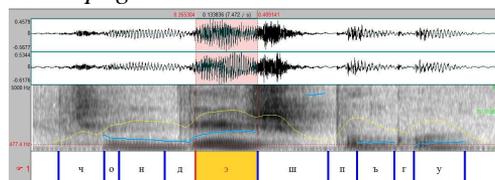
mat p'eréšpat ‘(я) жарю (рыбу)’



čöndǎšpugi ‘укрывать’



čöndǎšpugi ‘опоясывать’



Кроме того, что изучение селькупского ударения представляет значительный интерес для синхронной лингвистики и для типологии ударения, мы считаем, что изучение ударения в уральских языках в настоящее время является наиболее перспективным направлением для сравнительно-исторической уралистики.

Дело в том, что ситуация, которая существовала в сравнительно-исторической уралистике вплоть до настоящего времени, являлась в некотором смысле уникальной и служила для лингвистов иллюстрацией невыполнения главного постулата компаративистики «закона де Соссюра» о системности исторических изменений.

Дело в том, что родство прауральских языков считается общепризнанным, в этимологический словарь прауральских языков (UEW), по мнению специалистов, вошли этимологии с очень надежными консонантными и семантическими рефlekсами по языкам. Однако даже на материале этимологий UEW в настоящее время не сделано системное описание развития системы вокализма.

От надежной и полной реконструкции уральского вокализма можно ожидать бы, что на ее основании выполнима следующая задача: имея реконструированную форму уральской основы, с помощью предложенных правил фонетического перехода (и, возможно, дополнительных объяснений, основанных на предположении аналогических развитий) вывести формы тех языков, на которых построена эта реконструированная форма. Однако попытка построить даже описание развития вокализма от прафинно-угорского языка к современному мордовскому языку выглядит не вполне системно.

Часто финно-угроведы даже не пытаются предложить системные объяснения для появления всех рефлексов праязыковых гласных, а удовлетворяются тем, что отмечают наиболее частотный рефлекс. Наглядным примером такого подхода является докторская диссертация М.В. Мосина. Автор в процентном отношении подсчитал количество случаев, в которых рефлекс соответствует традиционным правилам, к общему количеству мордовских этимологий. Результат получился следующий: развитие рефлексов ФУ **a* в мордовских языках удается объяснить в 72% случаев, ФУ **ä* – в 48%, ФУ **e* – в 53,3%, ФУ **i* – в 34,7%, **o* – 51%, **u* – 30%. "Сделать какие-либо заключения о причинах переходов этих гласных в других слую.-сельк. Григ.х не представляется возможным", отмечает М.В. Мосин (Мосин 1987, 7).

Переходы в системе вокализма в других прауральских языках описаны еще хуже. Зачастую, как это сделано в работах (Bereczki 1988; Itkonen 1946; Itkonen 1953; Лыткин 1964; Wichmann 1915), приходится говорить о тенденциях развития, охватывающих в каждом конкретном случае лишь часть лексики, или же о многочисленных изменениях спорадического характера.

Действительно ли неосуществимо системное описание развития прауральского вокализма? Правы ли те исследователи, которые утверждают, что в основном фонетические переходы в системе прауральского вокализма были спонтанными и аналогическими? Или все-таки возможно системно описать изменения вокализма от прауральского к современным языкам, принимая во внимание какие-то ранее неучтенные лингвистические факторы?

В недавно опубликованной монографии (Норманская 2008) мы показали, что пять проблем уральского сравнительно-исторического языкознания, которые кажутся на первый взгляд не связанными между собой: 1) генезис систем вокализма в современных мордовских языках; 2) происхождение двух типов спряжения в марийском языке; 3) происхождение третьего типа склонения существительных (с основой на ударные гласные) в марийском языке; 4) происхождение редуцированных гласных в марийском языке; 5) генезис системы вокализма в саамском языке, развивались в зависимости от одного очень важного и ранее неучтенного праязыкового фактора: подвижного ударения, нефиксированного грамматически или фонетически, которое должно быть реконструировано для прафинно-волжского языка. Место этого ударения (на корне или на окончании) без изменения сохранилось в современном мокшанском языке.

Оказывается, что эти нерешенные проблемы, которые ранее служили для финно-угроведов иллюстрацией нарушения «постулата де Соссюра» о системности языковых изменений, могут быть описаны практически без

исключений с помощью очень небольшого и простого набора правил, если реконструировать подвижное ударение в праязыке.

В настоящее время мы продолжаем изучение подвижного ударения в других уральских языках, надеясь, что его анализ позволит решить не только проблемы финно-волжской исторической лингвистики, но и описать развитие вокализма в других уральских языках.

Анализируя место ударения в пермских языках, мы пришли к выводу о правоте немецкого ученого М. Гайслера, который указал, что архаическое подвижное прапермское ударение без изменений сохранилось в восточных диалектах коми-пермяцкого языка (Geisler 2005).

В статье (Норманская 2009) было доказано, что и развитие вокализма в пермских языках можно описать с минимумом исключений, реконструируя для прапермского языка подвижное ударение, которое без изменений сохранилось в современном коми-язьвинском диалекте (архаичность ударения в этом диалекте была впервые доказана в работе) (Geisler 2005). В 2010 году анализируя место ударения в удмуртских словах в списках Й.Э. Фишера и Г.Ф. Миллера и в этимологических аналогах этих слов в коми-язьвинском диалекте, мы пришли к выводу: в словах с финно-угорской этимологией (то есть, в исконной лексике) место ударения в удмуртских словах (в тех слую.-сельк. Григ.х, когда слово имеет ударение в списках Фишера и Миллера) и в этимологических аналогах² этих слов в коми-язьвинском диалекте практически всегда совпадает (см. более подробно Норманская 2010а).

В работе Норманская 2010b было показано, что для прафинно-пермского языка восстанавливаются три акцентных парадигмы (1 а.п. финно-волжское и прапермское ударение на корне, 2 а.п. финно-волжское ударение на корне, прапермское ударение на окончании, 3 а.п. финно-волжское и прапермское ударение на окончании).

Системное описание ударения в самодийских языках и, в частности, в селькупском ранее не проводилось. Как уже было сказано выше, из носителей южноселькупских диалектов в настоящее время владеют своим языком 2 носителя говора обских чумьлькупов и 2 носителя обского говора.

I. Система ударения в говоре обских чумьлькупов селькупского языка

В рамках проекта Президиума РАН «Акцентологические характеристики селькупского языка» мы исследовали правила постановки ударения в говоре обских чумьлькупов селькупского языка. Решение этой задачи состояло из следующих этапов.

1. Сбор полевого материала был осуществлен Н.Л. Федотовой во время экспедиций в с. Парабель и Нарым, предпринятых в марте и августе 2009 года. По результатам опроса Ирины Анатольевны Коробейниковой был собран и зафиксирован в цифровом виде материал полного словаря говора обских чумьлькупов. Опрос второго носителя Мартынова Якова Яковлевича дал менее богатые результаты, поскольку его степень владения языком значительно ниже.

²Данные об этимологиях коми-язьвинских и удмуртских слов взяты из (Лыткин, Гуляев 1970).

Однако был зафиксирован также значительный корпус исконных селькупских лексем в произнесении Я.Я. Мартынова. Полное совпадение места ударения в одних и тех же лексемах в записях опроса И.А. Коробейниковой и Я.Я. Мартынова доказывают, что разноместное ударение является общим для носителей говора обских чумылькупов.

2. Обработка собранного материала в фонетической системе Praat была произведена С.Е. Шешениным.

Ранее единственным примером углублённого изучения вокализма южного диалекта селькупского языка являлась кандидатская диссертация Ю.А. Морева «Звуковой строй среднеобского (ласкинского) говора селькупского языка» (Морев 1973), описывающая систему звукотипов говора и охватывающие их внутрисловные фонетические процессы. Опираясь на ряд положений этого исследования, С.Е. Шешенин в статье (Шешенин 2011), тем не менее, подверг некоторые из них пересмотру и в отдельных случаях более широкому экспериментально-фонетическому освещению с использованием современных методик и средств акустического анализа звучащей речи.

Для нарезки записей на слова и предложения использовалась программа Sound Forge 10.0, дальнейший спектрографический анализ производился при помощи программ Praat, Speech Analyser и Multispeech.

Более подробный анализ отдельных фонем говора обских чумылькупов селькупского языка можно найти в статье (Шешенин 2011).

3. Создание полной акцентной грамматики говора обских чумылькупов селькупского языка (Ю.В. Норманская):

3.a. описание правил постановки ударения в непроемных основах селькупского языка:

В говоре обских чумылькупов селькупского языка были выделены полные списки исконных слов которые имеют ударение на гласном первого слога vs. на гласном непервого слога.

3.b. описание изменения места ударения при спряжении и склонении:

Были выявлены грамматические формы, в которых при словоизменении и словообразовании ударение с ряда корневых морфем (далее они считаются минусовыми) сдвигается на грамматический показатель.

3.c. описание изменения места ударения в словообразовательных производных:

Были выявлены словообразовательные показатели, на которые с ряда корневых морфем (далее они считаются минусовыми) сдвигается ударение.

Мы обратили внимание, что четко выявляются два типа корневых морфем:

корневые морфемы, на которые всегда падает ударение (далее они считаются плюсовыми) vs. корневые морфемы, которые в ряде случаев оказываются безударными (далее они считаются минусовыми),

и два типа аффиксальных морфем:

аффиксальные морфемы, на которые в ряде случаев падает ударение (далее они считаются плюсовыми) vs. корневые морфемы, на которые никогда не падает ударение (далее они считаются минусовыми).

Правило постановки ударения в говоре обских чумылькупов селькупского языка может быть сформулировано следующим образом: Если в словоформе есть плюсовые морфемы, то ударение ставится на

первую плюсовую морфему. Если в словоформе только минусовые морфемы, то ударение ставится на первую минусовую морфему.

Нами подготовлено описание, где каждой корневой и суффиксальной морфеме дана характеристика + или -.³

В настоящей статье для экономии места мы не приводим полного списка суффиксов и корней с указанием их маркировок. В дальнейшем это планируется сделать в рамках электронного словаря. В качестве иллюстрации здесь мы приведем фонетические схемы к нескольким одинаковым словообразовательным производным от плюсовых и минусовых корней. К сожалению, большим недостатком печатной статьи является то, что к ней нельзя приложить звуковые файлы, которые, на наш взгляд, являются более убедительными при доказательстве того или иного места ударения. Отметим, что в нашем коллективе (Дыбо А.В., Амелина М.К., Гусев В.Ю., Мудрак О.А., Норманская Ю.В., Решетников К.Ю., Федотова Н.Л., Шешенин С.Е.), при прослушивании записей диалекта обских чумылькупов ни разу не возникло колебаний относительно места ударения. Поэтому при определении места ударения решающим фактором являлось, конечно, аудиовосприятие, а фонетические схемы лишь подтверждали то, что было очевидно при прослушивании. В ряде случаев фонетические схемы сами по себе не кажутся абсолютно убедительными, но в дальнейшем после окончания работы над электронным словарем с аудио записями мы надеемся, что станет возможно верифицировать предлагаемые ниже положения.

Здесь и далее в говоре обских чумылькупов все морфемы помечены знаками, и, что базируется на полном акцентном описании говора, составленном нами.

³В дальнейшем планируется подготовить электронный гнездовой словарь селькупских диалектов, включающий порядка 150 гнезд, каждое из которых состоит из более чем 20 словоформ из северных, южных и центральных диалектов селькупского языка. Для словоформ говора обских чумылькупов будет проставлено ударение во всех случаях, для словоформ из других диалектов ударение проставлено только в тех слую.-сельк. Григ.х, когда оно зафиксировано в словаре А.П. Дульзона.

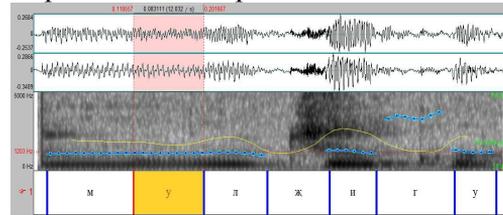
Для каждого гнезда будет дана запись произнесения словоформ из этого гнезда носителями диалекта обских чумылькупов.

Для слов из диалекта обских чумылькупов будет приведена спектрограмма, составленная с помощью программы Praat.

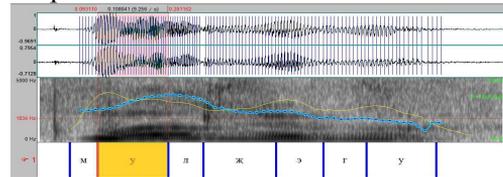
Словари будут подготовлены в электронном виде на DVD. Электронные версии словарей будут снабжены аудиофайлами. К каждому аудиофайлу (в формате .wave) будет приложен файл (в формате .jrg или .png), в котором будет представлен результат анализа аудиофайла программой Praat.

mũldžigu 'омывать'

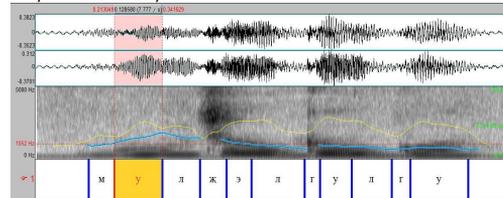
Коробейникова Ирина Анатольевна



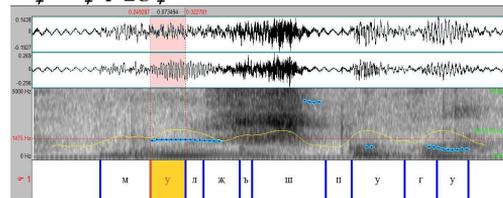
Мартынов Яков Яковлевич



mũldžegulgu 'ополоснуть многое'

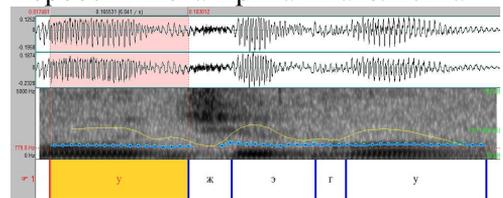


mũldžęprigu 'отмываться'

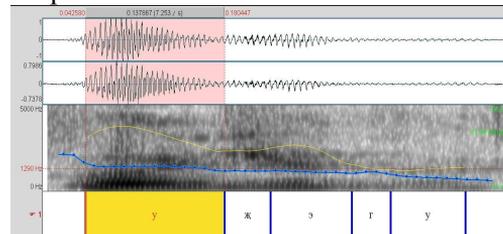


ũdžegu 'работать'

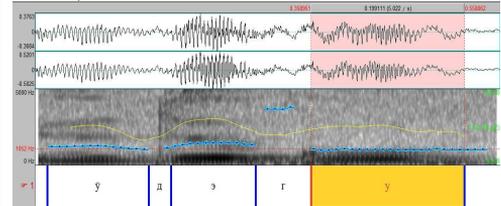
Коробейникова Ирина Анатольевна



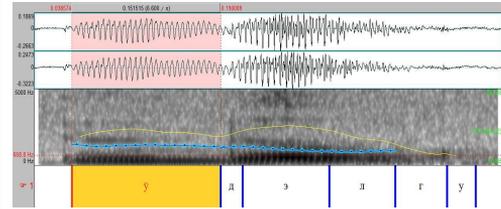
Мартынов Яков Яковлевич



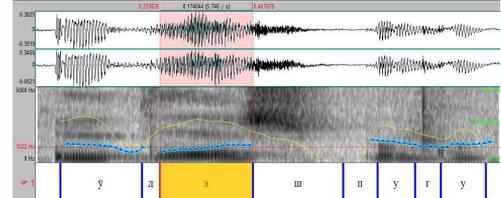
ũdegũ 'промокнуть; выпить'



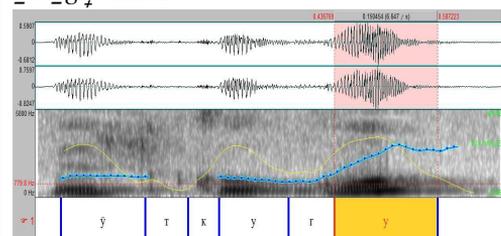
ũdelgu



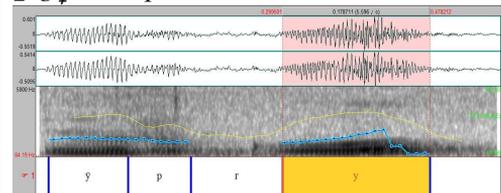
ũdęprigu 'пить'



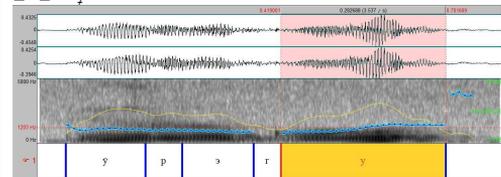
ũtkugu 'пить'



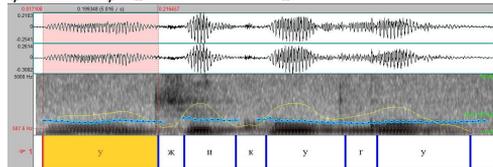
ũrgũ 'потеряться'



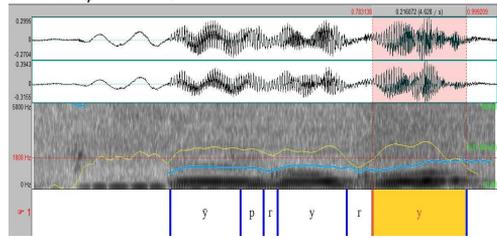
ũree^o



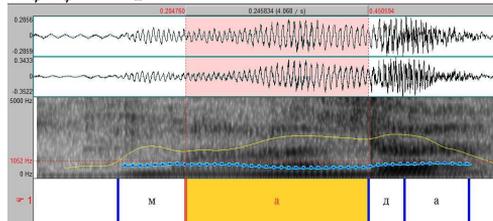
údzikugú 'работать периодически'



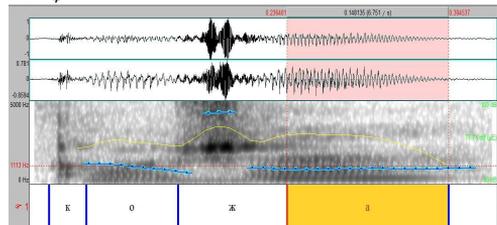
ürgugú 'заблудиться'



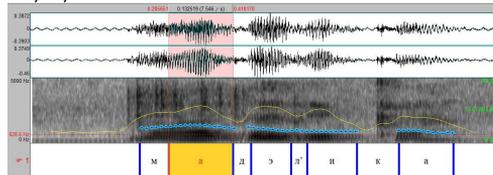
máda 'дверь'



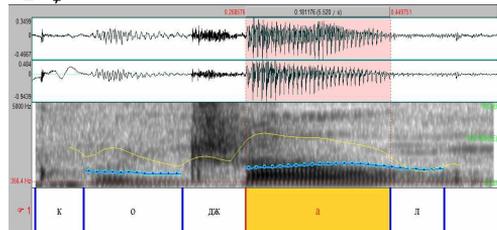
kožá 'мешок'



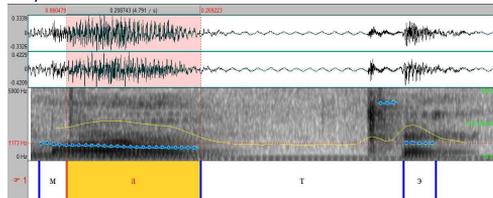
mádelika 'избушка'



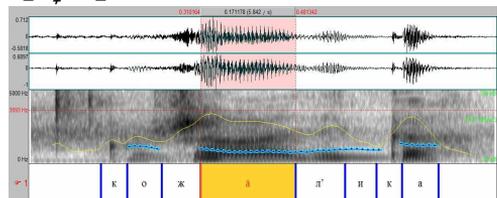
kožál 'твой мешок'



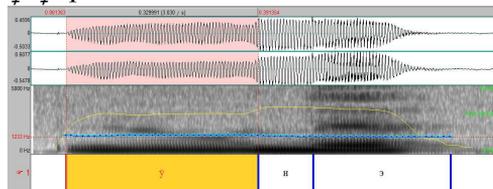
máte 'в дом'



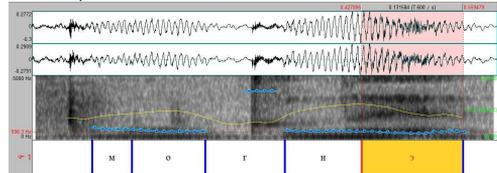
kožálíka



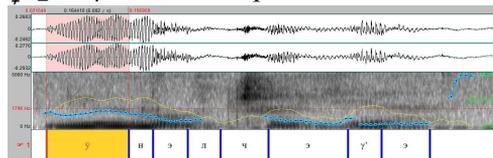
úne 'ремень'



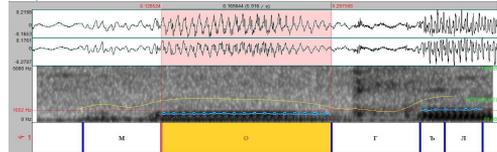
mogné



únal čeyi 'кожаный ремень'



mógal 'спина'



Далее после окончания создания акцентной грамматики говора обских чумылькупов селькупского языка мы обратились к ряду просодических и сегментных фонологических особенностей самодийских языков, которые до настоящего времени не были предметом специального исследования: 1) описанию системы ударения в первых селькупских книгах и южноселькупском словаре, составленном Н.П. Григоровским; 2) происхождению долгих и кратких гласных в лесном диалекте ненецкого языка.

II. Система ударения в языке первых селькупских книг

Оказалось, что язык первых селькупских книг («Азбука» и три религиозные издания переводного характера) (Helimski 1983) и южноселькупский словарь (в котором последовательно даются отсылки и на книги), которые были составлены Н.П. Григоровским в конце XIX в. и изданы Е.А. Хелимским (Хелимский 2007) – представляют собой единственный словарь диалекта селькупского языка с последовательно проставленным ударением.

Даже предварительный анализ данных, собранных Н.П. Григоровским, показывает, что мы также как и в случае говора обских чумылькупов имеем дело с разноместным парадигматическим ударением, место постановки которого в непроемных словах задается списком, а в производных зависит от маркировки производящей основы.

В качестве примеров приведем словообразовательные производные от рефлексов тех же селькупских основ, которые рассматривались при обзоре системы ударения в диалекте обских чумылькупов:

Слова в языке первых селькупских книг, рефлексy которых в диалекте обских чумылькупов имеют фиксированное ударение на корне

Слова в языке первых селькупских книг, рефлексy которых в диалекте обских чумылькупов имеют разноместное ударение в зависимости от хар-ки суффикса

мёзолгу 'вымыть'
мёзолдчигу 'мыться'
мёзельчигу 'умываться'
мёзолчигу 'обмывать покойника'
мёзолдчикучигу 'стирать белье'

юдгу 'пировать'
юдорельчигу 'попить'
юдьиргу 'пить'
юдьирчигу 'напиться'
юёренди 'пьяный'
ютку 'пить'
ютбольджигу 'напоить'
кочá 'мешок'

ма́да 'дверь, ворота'
ма́дандакь 'за дверью'
ма́дан до́бь 'дверной порог'
ма́дансюнчь 'комната (двери внутреннее пространство)'
юнь 'ремень'

могне́ 'назад'
могне́й 'задний'
могне́унь 'сзади'
мого́ль 'спина'

Как можно видеть из этой краткой иллюстрации, в тех случаях, когда в диалекте обских чумылькупов ударение фиксированное на корне, в этимологических аналогах этих слов в диалекте в языке первых селькупских книг ударение также на первом слоге, а когда в диалекте обских чумылькупов ударение разноместное, то в этимологических аналогах этих слов в записях Н.П. Григоровского ударение может быть разноместным, когда есть суффикс с плюсовой маркировкой (полный анализ корпуса соответствий слов, имеющих ПС этимологию см. ниже).

Таким образом, на основании предварительного анализа мы предполагаем, что в языке первых селькупских книг также как и в диалекте обских чумылькупов ударение разноместное и имеет парадигматический характер, правила его постановки могут быть описаны с помощью контурного правила: если в словоформе есть плюсовые морфемы, то ударение ставится на первую плюсовую морфему. Если в словоформе только минусовые морфемы, то ударение ставится на первую минусовую морфему.

Но уже при предварительном анализе стало ясно, что в языке первых селькупских книг и в диалекте обских чумылькупов маркировки суффиксов, которые являются этимологически аналогами, полностью не совпадают. В частности, показатель инфинитива *-(ы/э)зу* в диалекте обских чумылькупов имеет плюсовую маркировку и в случае основы с минусовой маркировки становится ударным. Но этимологически этот же показатель инфинитива в языке *-(ы)зу/ку* в языке первых селькупских книг имеет минусовую маркировку и никогда не бывает ударным.

В дальнейшем предстоит сделать полное описание маркировок суффиксов и производящих основ в языке первых селькупских книг и южноселькупском словаре, собранном Н.П. Григоровским.

III. Происхождение долгих и кратких гласных в лесном диалекте ненецкого языка

Как неоднократно было показано в работах Т. Салминена и других исследователей ненецкого языка см. подробную историю вопроса в статьях (Salminen 2007; Salminen 1993) для протоненецкого языка реконструируется следующая система гласных фонем: одна редуцированная гласная фонема *ə, пять нейтральных по долготе гласных фонем *i, *e, *a, *o, *u, дифтонг *æ, две долгие гласные фонемы *ī, *ī̄.

Эта система сохранилась, по мнению Т. Салминена, практически без изменений в тундровом диалекте ненецкого языка. В лесном диалекте произошли значительные изменения, которые повлияли как на качественные, так и на количественные характеристики гласных. Подробный анализ изменений см. в работе (Salminen 2007). Здесь мы кратко перечислим основные количественные изменения. В лесном диалекте ненецкого языка есть четыре краткие гласные фонемы, они появляются следующим образом: *ə > ä̃, *æ > ä̃̃, *i > ĩ, *u > ū; и

шесть нейтральных по долготе гласных фонем $*\bar{i} > i$, $*e > e$, $*a > a$, $*\bar{a}\bar{a} > \bar{a}$, $*o > o$, $*\bar{u} > u$.⁴

Таким образом, получается, что в протоненецком было четыре гласные фонемы, которые стали источником лесных ненецких кратких гласных, и пять фонем и одно сочетание фонем, которые перешли в лесные ненецкие гласные нейтральные по долготе.

При работе с источниками по лесному диалекту ненецкого языка несколько затрудняет восприятие материала разницей в фонологической интерпретации системы вокализма лесного диалекта. Дело в том, что, например, в словаре (Lehtisalo 1956) те гласные, которые Т. Салминен считает нейтральными, обозначаются как долгие, а краткие гласные фонемы по Т. Салминену, наоборот, обозначаются как нейтральные. Но все исследователи сходятся в том, что в лесном диалекте есть шесть фонем, которые фонетически имеют значительно большую длительность, и четыре фонемы, реализация которых происходит в более краткий временной промежуток, и это различие гласных по долготе – смысловоразличительное.

Известны ли прасамодийские источники для протоненецких гласных фонем? Оказывается, что окончательного ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что основной работой о происхождении фонем в современных самодийских языках, являются неизданные материалы Ю. Янхунена, которые он раздавал на своих лекциях, и любезно предоставленные нам Е.А. Хелимским. Опубликованного описания происхождения вокализма в современных самодийских языках, и в частности в ненецком – нет. Но и в неопубликованных материалах Ю. Янхунен не описывает происхождение вокализма на протоненецком уровне, а обращается непосредственно к фонемам тундрового и лесного диалектов. Анализ конспектов лекций Ю. Янхунена приводит к выводу, что происхождение долгих гласных в протоненецком языке не было известно к тому моменту. Это же заключение эксплицитно написано и в работе Т. Салминена (Salminen 1993). Правда, он указывает, что по его предположениям, они имеют, в основном, контракционную природу, то есть возникли из стяжений, и обещает, что подробный анализ их происхождения будет дан в дальнейшем в его совместной статье с Ю. Янхуненом. Однако, в течение почти двадцати лет, прошедших с момента публикации этих строк, статья с описанием позиций появления долгих протоненецких гласных, так и не появилась.

Таким образом, вопрос о прасамодийском и далее прауральском происхождении протоненецкого вокализма остается открытым.

В результате проведенного анализа мы обнаружили, что любая нейтральная по долготе прауральская гласная за исключением $*\bar{i}$ ⁵ (то есть ПУ $*i$, $*e$, $*\bar{a}$, $*a$, $*o$, $*u$) могут быть как источником нейтральных по долготе, так и кратких (в

⁴Здесь мы опускаем описание качественных изменений в позициях I, U – умлаута, которые не меняют количественные характеристики гласных.

⁵Мы предполагаем, что у ПУ $*\bar{i}$ неп двух типов рефлексии в ПС языке, поскольку эта фонема реконструируется исключительно на основании ПС рефлекса $*\bar{i}$, то есть в тех случаях, когда в ПС другой рефлекс, например, $*\bar{a}$, то просто реконструируется не ПУ $*\bar{i}$, а ПУ $*a$.

терминологии Т. Салминена) гласных в лесном диалекте ненецкого языка. Приведем примеры:

Нейтральный по долготе (в терминологии Т. Салминена) / долгий (в терминологии Т. Лехтисало)

гласный в первом слоге

ПУ *ka^oda > ПС *ka^oja > ненец. лесн.

χāje- 'оставлять', χājo- 'оставить'

ПУ *kalma > ПС *kalmɜ > ненец. лесн.

χālmer 'труп', χālmerʔ 'умершие, кладище'

ПУ *koje > ПС *ka^oja > ненец. лесн.

χājerʔ 'солнце, ясный (о погоде)'

ПУ *koska > ПС *kata > ненец. лесн.

χāda 'бабушка'

ПУ *kulV(-kV) > ПС *kulājə > ненец.

лесн. χūlī 'ворон'

ПУ *kure > ПС *kura^o ~ (? *kujra^o) >

ненец. лесн. χūrā- 'укреплять груз на санях'

ПУ *āj^omä > ПС *ejmä ~ nejmä > ненец.

лесн. nīpe 'игла'

ПУ *pāwe ([Janh.; Sammallahti 1998]:

*pājwä) > ПС *pejwä > ненец. лесн. pīw 'сухой, теплый ветер летом'

ПУ *δimä (δūmä) > ПС *jimä > ненец.

лесн. jībe, jīme 'клей'

ПУ *sile (*süle) > ПС *tij > ненец. лесн.

čībe 'морская сажень'

ПУ *kerä > ПС *kejpɜ- > ненец. лесн.

sībī 'легкий'

ПУ *pele > ПС *pij- > ненец. лесн.

pīlī- 'бояться'

ПУ *icä > ПС *ejsä > ненец. лесн. nīse 'отец'

ПУ *pijse-me, *pise-me > ПС *peptän₂ ~

piptän₂ > ненец. лесн. pībtīʔ 'нижняя губа'

Краткий (в терминологии Т.

Салминена) / нейтральный по долготе

(в терминологии Т. Лехтисало)

гласный в первом слоге

ПУ *lamte > ПС *lāmtɜ > ненец. лесн.

lāmtū 'низкий'

ПУ *lapa > ПС *lāpɜ > ненец. лесн.

labē 'весло'

ПУ *joke > ПС *jōka > ненец. лесн. jaχā

'река'

ПУ *korja > ПС *kārə > ненец. лесн.

χarā- 'прибиться к земле течением или ветром'

ПУ *čukka > ПС *tāk- ~ tākkał > ненец.

лесн. takal- (O) 'прятать'

ПУ *puna > ПС *pān > ненец. лесн.

paŋkāl-, panor- (O) 'плести'

ПУ *lampe > ПС *līmpä > ненец. лесн.

limbad 'болото, трясина'

ПУ *śarV > ПС *sjra > ненец. лесн.

sirra 'снег, зима'

ПУ *ālV- > ПС *ilā > ненец. лесн. ila-

'успокаивать'

ПУ *kakta ~ *kāktä > ПС *kitä > ненец.

лесн. síde 'два'

ПУ *kije (*kije) > ПС *sājwā > ненец.

лесн. χāēββəə 'водяное насекомое'

[Janhunen 1977, 132]

ПУ *kūnce > ПС *kāta > ненец. лесн.

χada 'ноготь, коготь'

ПУ *céčä > ПС *cicä > ненец. лесн. tíde

'дядя, младший брат матери'

ПУ *enä > ПС *inā > ненец. лесн.

níneka 'старший брат младший брат

отца'

ПУ *piša > ПС *pātä > ненец. лесн.

padē 'желчь', padē jīlaxā 'зеленый',

paderāχā 'цета желчи, желтый'

ПУ *piđe (~ -kā) > ПС *pirä > ненец.

лесн. pírce 'высокий'.

Подобная двойная с точки зрения количественной характеристики гласных рефлексия наводит на мысль о различных просодических характеристиках прасамодийских и, возможно, даже прауральских гласных.

Учитывая тот факт, что в селькупском языке реально представлено разноместное ударение, мы предположили, что следует сравнить позиции появления лесных ненецких нейтральных и кратких гласных (в терминологии Т. Салминена) и плюсовые/минусовые основы в селькупском языке.

Выводы

В результате сравнения мы пришли к следующим неожиданным выводам.

1) На материале этимологий (UEW), которые имеют ПС этимологию по (Janhunen 1977), и рефлексии в лесном диалекте ненецкого языка, диалекте обских чумылькупов селькупского языка и языке первых селькупских книг оказывается, что нейтральные гласные (в терминологии Т. Салминена) в лесном диалекте ненецкого языка появляются в корнях с плюсовой акцентной маркировкой в селькупском (т.е. когда ударение во всех производных фиксировано на корне), а краткие гласные – в корнях с минусовой маркировкой (т.е. когда ударение в ряде производных падает не на первый слог).

Кроме этого при работе с селькупскими диалектами мы принимали во внимание праселькупские реконструкции, предложенные в (Alatalo 2004). В Псельк. языке в слове реконструируется долгий гласный первого слога, если в тымском диалекте в его рефлексии встречается долгота либо во всех, либо в некоторых морфологических формах. Наоборот, в слове реконструируется краткий гласный первого слога, если в тымском диалекте только краткие гласные в первом слоге.

Оказалось, что долгий гласный первого слога в Псельк. реконструкции всегда соответствует словам с фиксированным ударением на корне из диалекта обских чумылькупов и языка первых селькупских книг и долгим гласным в лесном диалекте ненецкого языка, а краткий гласный – словам с подвижным ударением в селькупских диалектах и краткому гласному в лесном диалекту ненецкого языка.

2) Оказалось, что принципиально различается рефлексия ПУ гласных в ПС языке, в позициях, когда рефлексии ПС корней имеют плюсовую маркировку в селькупском и нейтральный по долготе гласный в лесном диалекте ненецкого языка (далее такие позиции называются «Под ПС ударением») vs. минусовую маркировку в селькупском и краткий гласный в лесном диалекте ненецкого языка (далее такие позиции называются «Без ПС ударения»).

Генезис прасамодийского вокализма в зависимости от просодических факторов

В таблице ниже предложена схема развития вокализма от прауральского к прасамодийскому языку в зависимости от этих позиций. Весь материал, на

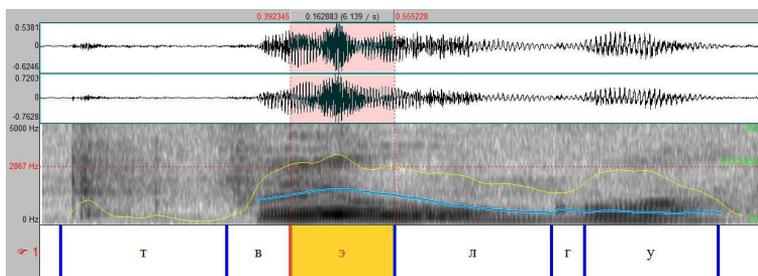
основании которого сделана таблица, приводится ниже. В этот корпус вошли слова, удовлетворяющие следующим условиям: 1) селькупское слово имеет по словарям (Janhunen 1977) и (UEW) прасамодийскую и прауральскую этимологии соответственно, 2) рефлекс этого слова в говоре обских чумылькупов был знаком И.А. Коробейниковой или Я.Я. Мартынову. Ненецкие формы приводятся в тех случаях, когда рефлекс имеет два или более слогов или если известна его косвенная форма. Поскольку, как указывается в статьях (Salminen 2007; Samallahti 1974) в односложных словах происходят процессы сокращения гласных.

ПУ	Под ПС ударением / ПС долгий	Без ПС ударения / ПС краткий
*a	ПС *a̱	ПС *u, ə, e
*o	ПС *a̱	ПС *ə
*u	ПС *u (*a̱ -C̣-)	ПС *ə
*i	? ПС *i	ПС *i
*ä	? ⁶ ПС *e, *ä	? ПС *i, *e
*ü	ПС *i	ПС *i, *ə
*e	_____	ПС *i
*i	_____	ПС *i, *ə

ПУ *a

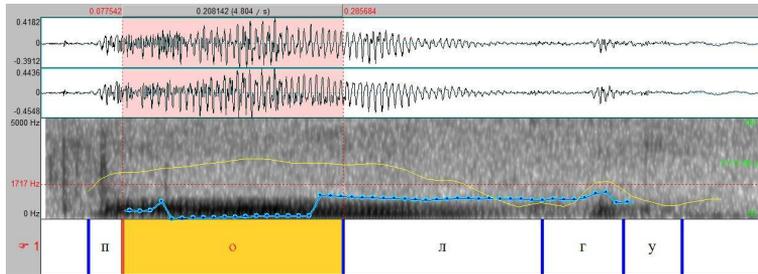
Под ПС ударением

ПУ *sala > ПС *talä > Псельк. *tuälə > об.ч. *twélgu* 'красть', ю.-сельк. Григ. *твѳюлгу*, *тѳлбыгу*, ГН *твѳюлы-*, ненец. лесн. *tälē-*;

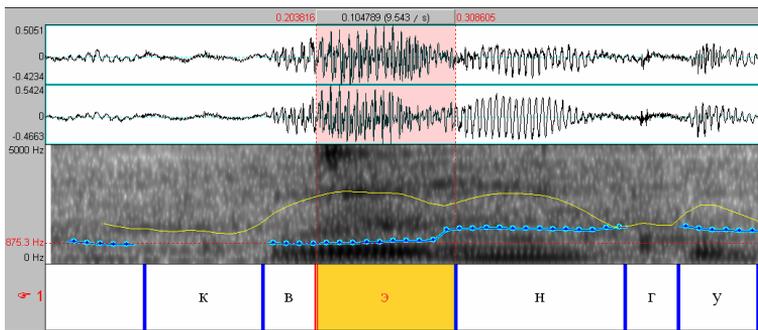


⁶Здесь и далее в таблице с вопросительным знаком приводятся те рефлексы, которые встречены только в этимологиях с не вполне надежно ПУ реконструкцией гласного первого слога. Далее они приводятся в скобках.

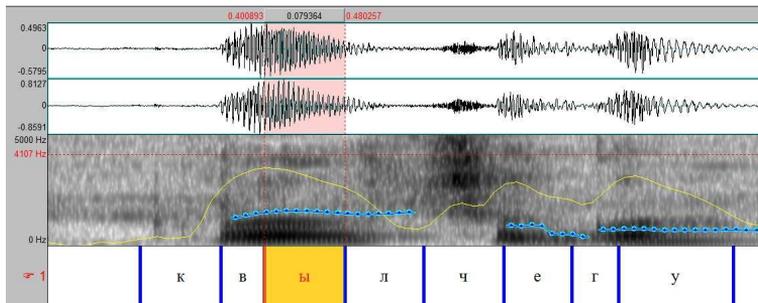
ПУ **pala* > ПС **pālā* > Псельк. **pōlā* > об.ч. *pōlgu* 'проглотить', ю.-сельк. Григ., ГН *nóлы-* 'проглотить', ненец. лесн. *pāle-*;



ПУ **kanta* > ПС **kāntā* > Псельк. **k_ān* > об.ч. *kwéngu* 'привезти', ю.-сельк. Григ., ГН *kwāngu* 'уехать, съездить, въехать, протесниться', ненец. лесн. *χāna-*;



ПУ **kala* > ПС **kālā* > Псельк. **kiälā* > об.ч. *kwílčegu* 'рыбачить', ю.-сельк. Григ. *квóли*, ГН *квю́ли* 'рыбный', *квóлысбыгу* 'рыбачить', ненец. лесн. *χāle*;



ПУ **kácV* > ПС **kásǎj* > Псельк. **kōś* > об.ч. *kóssi* 'жертва', ненец. лесн. *χāsū* 'плата шаману';

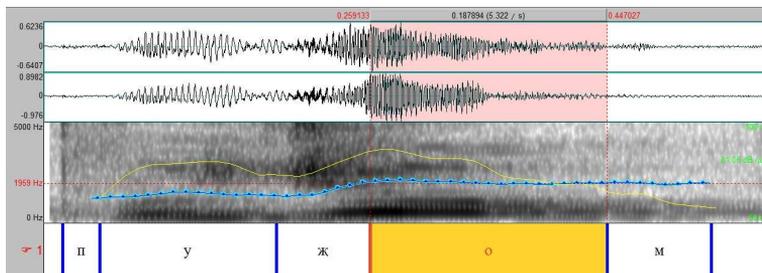
ПУ **aja-* > ПС **ájǎ-* > Псельк. **ūcǎ-* > об.ч. *údzegu* 'работать', ю.-сельк. Григ. *у́чьгу*, ГН *у́чи* 'работать';

(ПУ **aje* (**oje*) > **āj* > Псельк. **āj* > об.ч. *ákka* 'протока; большое длинное озеро; старица', ненец. лесн. *há ?(O)* 'рот');⁷

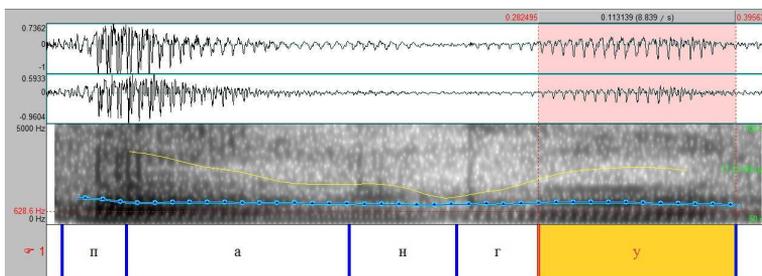
⁷Здесь и далее без дополнительных комментариев (для экономии места) в скобках приводятся слова, у которых реконструкция вокализма первого слова не вполне надежна см. (Норманская 2008; Sammallahti 1998).

Без ПС ударения

ПУ **raša* > ПС **riśā* > Псельк. **riśā* > об.ч. *rudžóm* 'бобер', ю.-сельк. Григ. ГН *пучо* 'бобер', ненец. лесн. *puddo* 'Mus amphibius';



ПУ **rane* > ПС **ren-* > Псельк. **ren-* > об.ч. *rangú* 'положить', ю.-сельк. Григ. ГН *пэнгу* 'положить'; ненец. лесн. *räen-* 'класть';



ПУ **lamte* > ПС **lāmtV* > Псельк. **lamtu* 'низкий' > об.ч. *labdālžugú* 'опустить; склонить голову', ненец. лесн. *lamtū* 'низкий';

(ПУ **kajV* > ПС **kuj* > об.ч. *koják* 'черпак', ю.-сельк. Григ. *куя́*; ненец. лесн. *χī* 'ложка').⁸

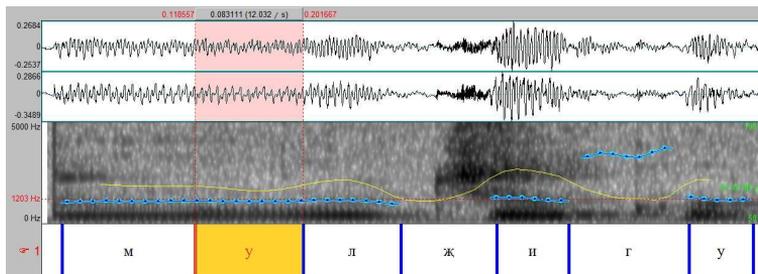
(ПУ **warV* > ПС **wār-* > Псельк. **kuərə* > об. ч. *kwére* 'ворона', ю.-сельк. Григ. *кворе* 'ворона', ненец. лесн. *wargäe*);. Не вполне ясно, с чем связано ударение на первом слоге в селькупских рефлексах. Возможно, создается впечатление, что ударение падает на первый слог из-за того, что в нем долгий гласный.

⁸В скобках приводятся этимологии, реконструкция вокализма в которых недостаточно надежна. Подробный алгоритм реконструкции вокализма см. в (Норманская 2008, 2010).

ПУ *o

Под ПС ударением

ПУ **moske*⁹ > ПС **māsā-* > Псельк. **mūsā* / **mūsā* 'мыть' > об. ч. *múldžigu* 'омывать', ю.-сельк. Григ. ГН *мэ́золдчигу* 'мыться, умыться', ненец. лесн. *māsā* 'мыть';



ПУ **poske* > ПС **paĩ-* (sjs) ~ **paĩ3* > Псельк. **pūtāl* > об. ч. *púdel* 'щека; щёки', ю.-сельк. Григ. ГН *пудоль*, ненец. лесн. *pājdī* (O) 'щека';

ПУ **ńowda-* (**ńowda-*) > ПС **ńo-* > Псельк. **ńō-* > об. ч. *ńōdigu* 'погнать', ненец. лесн. *ńōrokkūi's*, *ńōraś* 'следовать', (Janhunen 1977, 111).

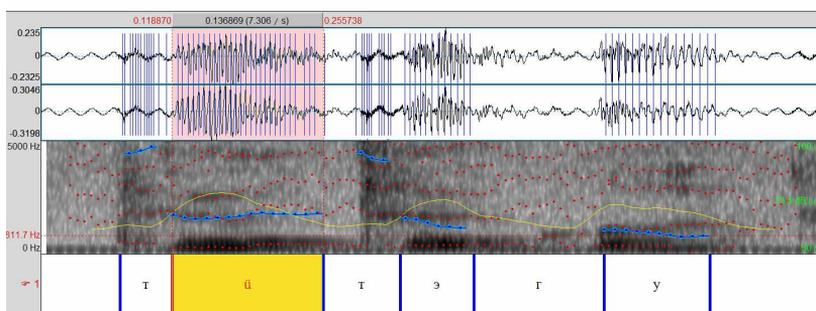
Без ПС ударения

ПУ **konta* > **kānt3-* (?**kāntä-*) > Псельк. **k_{antə}-* > об. ч. *kannəmbugú* 'морозить', ю.-сельк. Григ. *кандэ́зигу* 'зябнуть', ненец. лесн. *ханí?* (O) 'легкие заморозки зимой', *хан̄m-* 'становиться холожным'.

ПУ *u

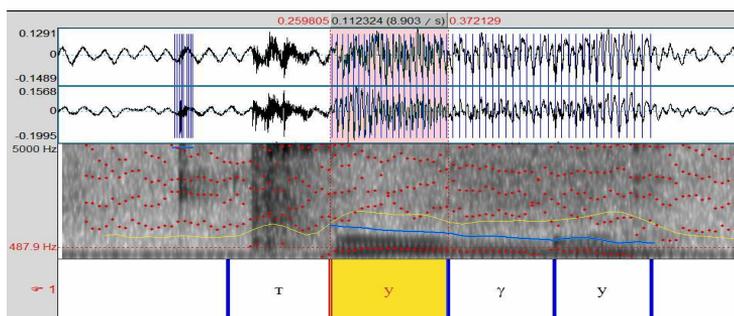
Под ПС ударением

ПУ **tule* > ПС **tuj* > Псельк. **tū* > об.ч. *tútegu* 'гореть', ю.-сельк. Григ. ГН *туй* 'огонь', *туйзиди* 'огненный', ненец. лесн. *tū* 'огонь'.

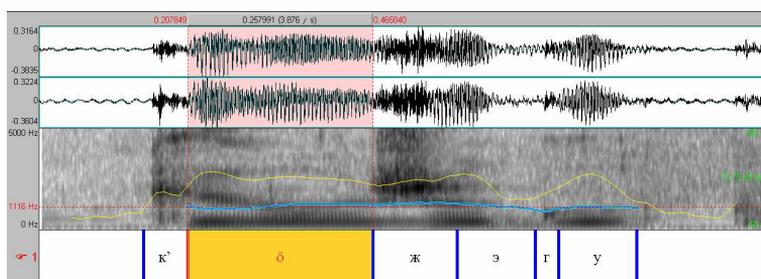


⁹В UEW праформа этой этимологии реконструируется как ПУ **muske* (**moske*). Но по (Норманская 2008, 2009) все формы в современных языках могут быть проинтерпретированы как рефлексy ПУ **moske* в позиции, когда ФВ и ПП ударение падает на второй слог.

ПУ *tulka > ПС *tuəj > Псельк. *tū 'перо' > об. ч. tuŋi 'летать'.



ПУ *kuńice > ПС *kunsə > Псельк. *küśə- / *kūśə > об. ч. kōžegu 'мочиться',



ПУ *uje ~ *oje > ПС *u- > Псельк. *ū > об.ч. úrgu 'плавать'; ю.-сельк. Григ. ГН úrgu 'плавать';

ПУ *tule > ПС *toj- ~ *tuj- > Псельк. *tū > об.ч. tōkkugu 'приходить', ю.-сельк. Григ. móгу;

ПУ *juta > ПС *játə > Псельк. *čuətə- > об.ч. čwódiġu 'встретить, застать', ю.-сельк. Григ. квáтчингу 'застать', ненец. лесн. jādā- 'ходить пешком';

(ПУ *riwV (*ruŋV) > ПС *ri- (?*riəj-) > Псельк. *rū > об. ч. rugu 'дуть', ю.-сельк. Григ. ну́гогу 'дунуть, дуть')

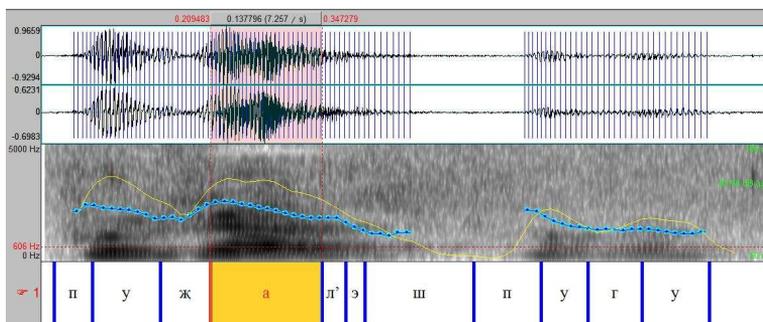
(ПУ *šurV (Janh.; Sammallahti 1998]: ФУ *š/ura-) > ПС *tär- ~ *tärə- > Псельк. *tārə- > об.ч. tárgu 'менять', ю.-сельк. Григ. márgу 'менять' ненец. лесн. tār- (O) 'делить');

ПУ *kumpə > ПС *kámpə (северно-самодийские) ~ *kāmpə (сельк.)¹⁰ > Псельк. *kāmpə-> об.ч. kámbildžegu 'навалить лодку на бок, навалиться', ю.-сельк. Григ. кáмбальджи́гу 'выплыть, всплыть', ненец. лесн. χāmpa 'волна'.

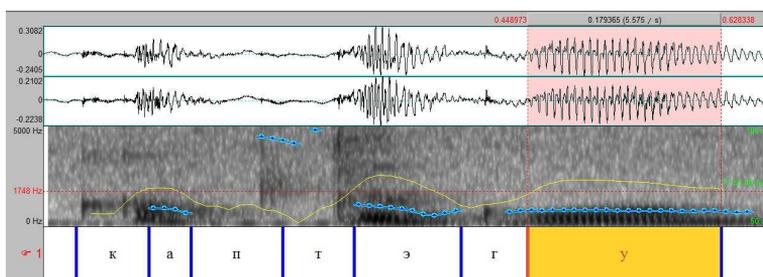
¹⁰Как видно из ПС реконструкции, предложенной Ю. Янхуненом, принадлежность селькупских форм к этой этимологии – проблематична. Она отличается от других форм как семантически (в северно-самодийских языках рефлексы имеют значение 'волна', в селькупском 'плавать'), так и фонетически (в северно-самодийских языках представлены рефлексы гласного переднего, а в селькупском – гласного заднего ряда).

Без ПС ударения

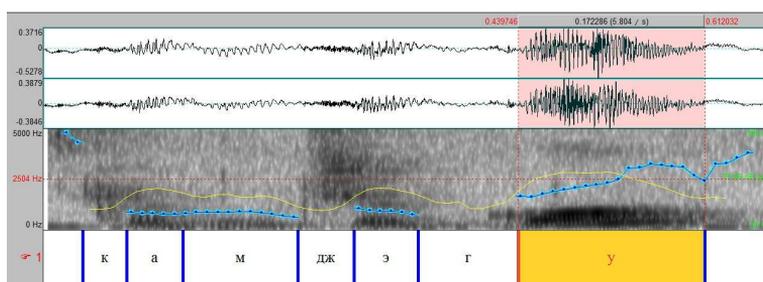
ПУ **ričkv* > ПС **ričá* > Псельк. **ričəpčə* > об. ч. *rudžaləšpugu* 'шелкать орехи', ю.-сельк. Григ. *пучáлгу*;



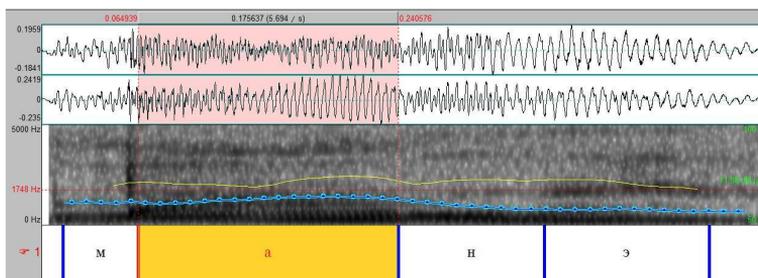
ПУ **kipsa* > ПС **kāpta* > Псельк. **kaptə* > об. ч. *kartegú* 'потушить', ю.-сельк. Григ. *кáптыгу*, ненец. лесн. *χартā* (O) 'гасить, тушить';



ПУ **kuma* > ПС **kāmā* > Псельк. **kamtə* > об. ч. *kamdžegú* 'налить, наполнить', ю.-сельк. Григ. *камдžéлгу*, ненец. лесн. *χawā* (O) 'падать', *χawdā* 'кидать';



ПУ **muna* > ПС **mǎnǎ*¹¹ > Псельк. **manə* > об. ч. *máné*¹¹ 'пенис'



ПУ **šukka* > ПС **tǎk-* (сельк.) ~ *tǎkkǎl* > Псельк. **tak-* > об. ч. *čaginbádit*, ю.-сельк. Григ. *чагольджигу* / *чагольджигу* 'задвинуть, сдвинуть', ненец. лесн. *takal* 'закрывать, спрятать';

ПУ **mura* > ПС **mǎrǎ* > Псельк. **mor-/mōr-/mur-* > об. ч. *морелгу* 'обломить', *морелешпугу*

'наломать веток', ю.-сельк. Григ. *мóрку* 'отломить', ненец. лесн. *pardā* 'ломать';

(ПУ **suge* > ПС **tǎḡ* > Псельк. **taḡə* > об. ч. *taḡít* 'лето', ю.-сельк. Григ. *та́ыдь* 'лето' ненец. лесн. *taḡā* 'время после лета');

(ПУ **nušV* (**nušV*) > ПС **nǎt* > Псельк. **nat-* > об. ч. *natkǎlbugú* 'быть стёртым'; *namhelgu* 'натереть', ю.-сельк. Григ. *наткылгу*);

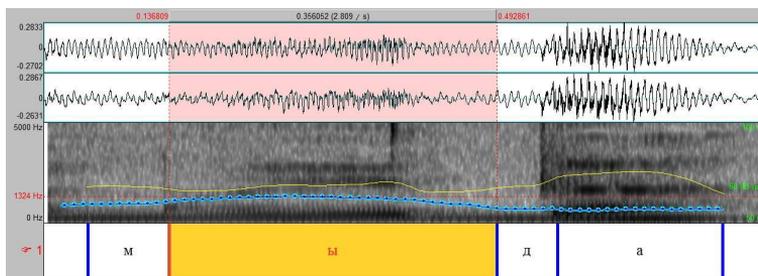
(ПУ **kurV* > ПС **kǎrǎ* ~ **kǎrǎ* > Псельк. **kǎri* > об. ч. *karoldžekugú* 'пригибать, сгибать', ю.-сельк. Григ. *карольджигу* / *карольджигу*, ненец. лесн. *ħara* 'кривой')

(ПУ **mika* > ПС **mǎkǎ* > Псельк. **mokə* > об. ч. *mogné* 'назад', ю.-сельк. Григ. *моголь* 'спина', ненец. лесн. *maħa* 'спина')

ПУ **ɨ*

Под ПС ударением

ПУ **miksa* > ПС **mǐtǎ* > Псельк. **mǐtǎ* > об.ч. *mída*¹² 'печень'.

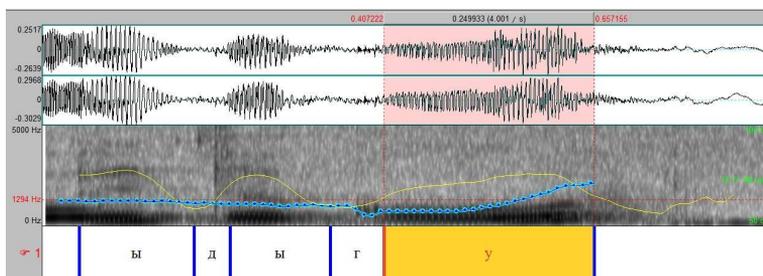


¹¹Место ударения в этом слове не вполне ясно.

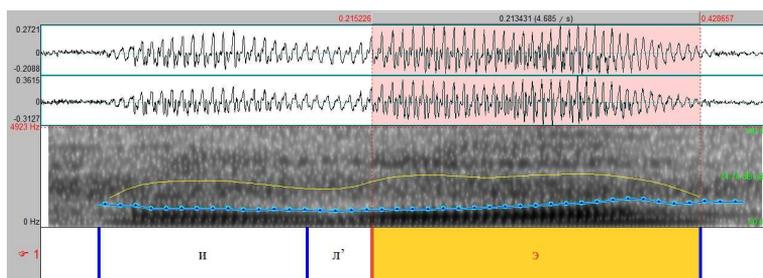
¹²Место ударения в этой форме не вполне ясно.

Без ПС ударения

ПУ *ikta > ПС *ikta¹³ > Псельк. *it(t)ə- > об.ч. *idīgu* 'висеть', ненец. лесн. *ḡidā* 'вешать';



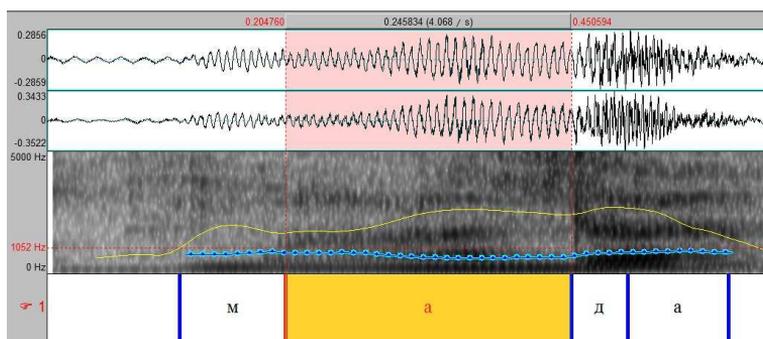
ПУ *ila > ПС *ilə > Псельк. *il > об.ч. *ilé* 'взвесить', ненец. лесн. *ḡilna* 'вниз, внизу';



ПУ *ä

Под ПС ударением

(ПУ *mättV > ПС *mäi > Псельк. *mātā > об. ч. *māda* 'дверь', ю.-сельк. Григ. *māda* 'дверь')



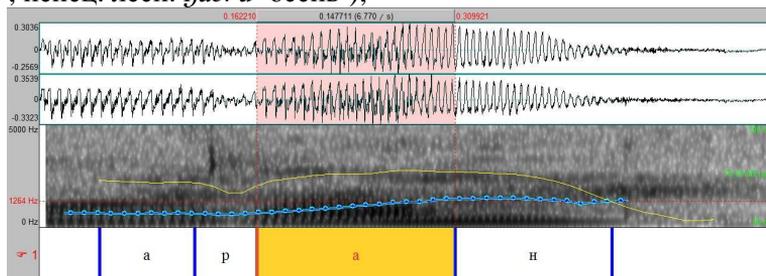
(ПУ *jelä > ПС *jälä > Псельк. *čēlā > об. ч. *čēledžemba* 'наступил день', *čěl̄yina* 'становится светлым', ю.-сельк. Григ. *tēlynci* 'осветить', ненец. лесн. *jāle* 'свет, солнце, день');

¹³Ю.-сельк. Григ. *idygu* не является формой релевантной для определения маркировки корня, поскольку суффикс инфинитива в языке первых селькупских книг имеет минусовую маркировку и, соответственно, вне зависимости от маркировки корня ударение в формах инфинитива будет падать на первый слог слова.

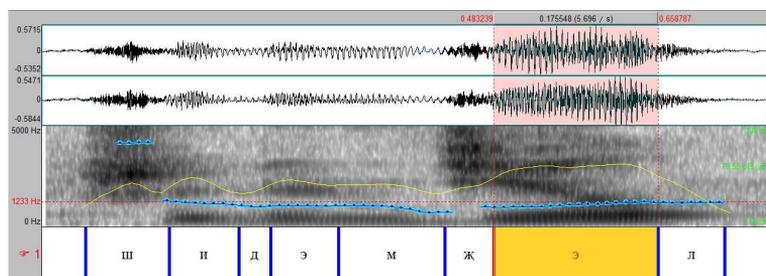
(ПУ **rāwe* (Janh.; Sammallahti 1998) **rājwä* > ПС **rejwä* > Псельк. **rī* > об. ч. *rōdišrigu* 'греться', ю.-сельк. Григ. *nētчимбыгу* 'греться');

Без ПС ударения

(**ärV* > **erājaj* > Псельк. **era* > об. ч. *arán* 'осень', ю.-сельк. Григ. *armábčigu* 'освежить', ненец. лесн. *ḡäerū* 'осень');



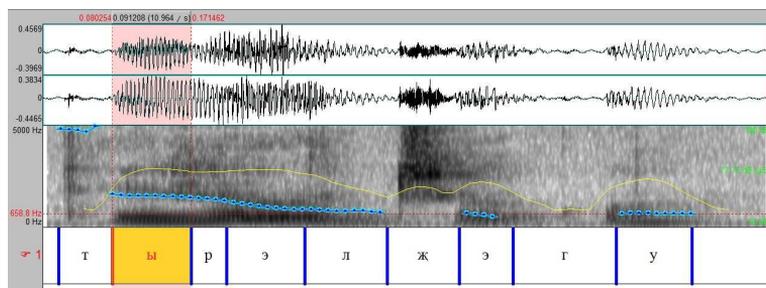
(ПУ **ḡakta* ~ **kāktä* > ПС **kitä* > Псельк. **šitä* > об. ч. *šedemžél* 'второй', ненец. лесн. *šide* 'два');



ПУ **ü*

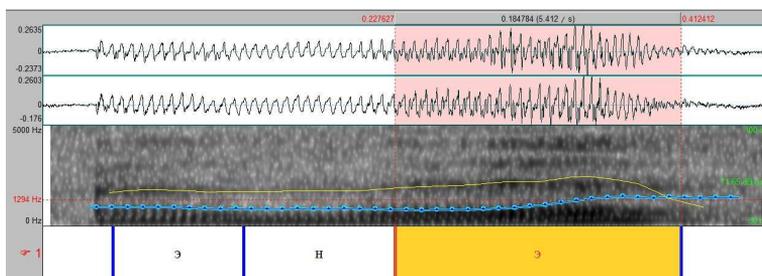
Под ПС ударением

ПУ **türe* > ПС **tire* > Псельк. **tīrə-* > об. ч. *tīreldžegu* 'наполнить', ю.-сельк. Григ. *tīerгу* 'полно налить', *tīerlegämджигу* 'налить';



Без ПС ударения

ПУ *wülá > ПС *i(-) (sk.) ~ *ni > Псельк. *i- > об. ч. *ené* 'верх', ю.-сельк. Григ. *инне* 'верх', *инней* 'выше' ГН *инне* 'верх', ненец. лесн. *íñe* 'на', *ńida* 'наверх';



ПУ *kūñce > ПС *kāta > Псельк. *k_atol > об. ч. *kadólgu* 'расчесать', ю.-сельк. Григ. *католедáдргу* 'расчесывать', ненец. лесн. *xada* 'ноготь, коготь';

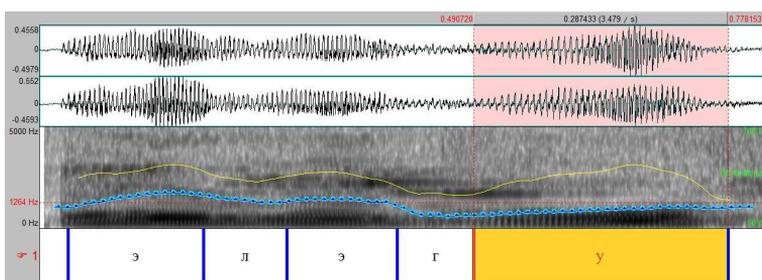
(ПУ *ürV > ПС *er > Псельк. *ē- 'поить' < *er- 'лунка для набирания воды' > об. ч. *erčembu* 'поить', ненец. лесн. *jäer-* 'пить').

ПУ *e

Без ПС ударения

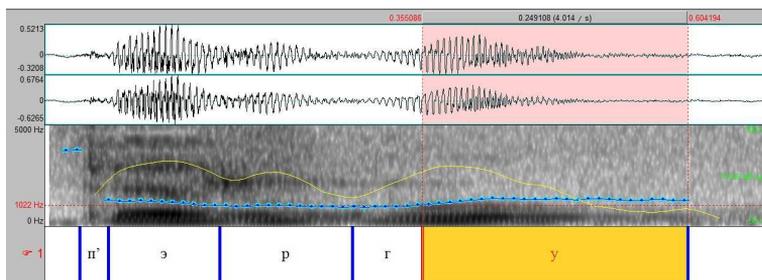
(?ПУ *rečkä (*räckä) > ПС *ricä ~ *ričä > Псельк. *ričä- > об. ч. *pöžėgu* 'стричь', ю.-сельк. Григ. *пёндженгу* 'стричь', ненец. лесн. *pidā* 'стричь, резать (волосы, бороду)');

ПУ *elä > ПС *ilä (сельк.) ~ *jilä* (ненец.) > об.ч. *elegü* 'жить', ю.-сельк. Григ. *элгу* 'жить', *элань* 'живой', *элэлы-* 'начать жить', ненец. лесн. *jī lé-* (O) 'leben; wohnen'. Долгота в ненецком рефлексе этого слова является единственным исключением из предложенного нами правила. Возможно, это связано с тем, что селькупские и ненецкие слова являются рефлексами разных ПС основ.



ПУ *rēksä > ПС *pit > Псельк. *pitä- > об. ч. *pitkəlgü* 'мать', ю.-сельк. Григ. *пéктылгу* 'мать', ненец. лесн. *pidīl-* 'мать (шкуру)';

(ПУ **peje* > ПС **pi* > Псельк. **pirə* > об. ч. *pergú* 'жарить', ненец. лесн. *pirē* 'кипятить');



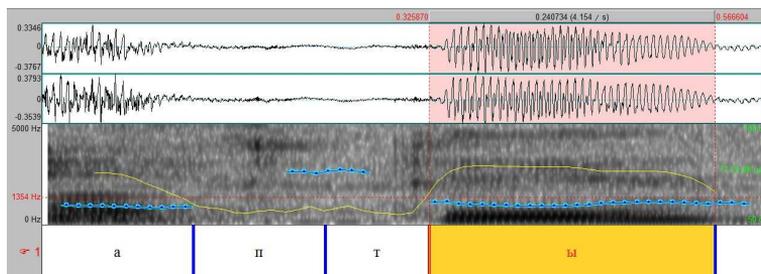
(ПУ **tene* > ПС **min-* > Псельк. **mentə* > об. ч. *tendéžegu* 'перегнать, пройти', ю.-сельк. Григ. *мэндыгу* 'пройти о времени', *мендэ́лгу* 'навлечь' (< 'носить на себе при ходьбе'), ненец. лесн. *miń-* 'ходить');

(ПУ **lupša* (**lepša*) > ПС **jəpta* > Псельк. **čaptəjə* > об. ч. *čartugú* 'промокнуть', *чантэ́тэгу* 'промочить', *чантэ́тэшугу* 'замачивать белье', ненец. лесн. *japta* 'влажный');

ПУ *i

Без ПС ударения

(ПУ **ipV* ~ **ipV-sV* ~ **ipV-sV* > ПС **əpta* > Псельк. **apta* > об. ч. *apťi* 'запах', ю.-сельк. Григ. *абтэ́бтымбыгу* 'нюхать', ненец. лесн. *gapt* 'запах');



ПУ **ime-* > ПС **ńim-* > Псельк. **ńim-* > об. ч. *newrěžegu* 'сосать', ю.-сельк. Григ. *ńимкыльчимбыгу* 'сосать', ненец. лесн. *ńimñe-*, *ɣamā-*;

ПУ **itā* > ПС **ətə-*; **ətə-/jVj/m-* > Псельк. **atu-* > об. ч. *adegú* 'виднеться', ю.-сельк. Григ. *адэ́зигу* 'отражаться', ненец. лесн. *godarɣa-* 'видеть, наблюдать', *ɣadā-* 'быть видимым'.

Очевидно, что наша гипотеза о влиянии прасамодийского ударения, место которого без изменения сохранилось в говоре обских чумылькупов и в языке первых селькупских книг и стало причиной появления противопоставления нейтральных vs. кратких гласных в лесном диалекте ненецкого языка, на генезис прасамодийского вокализма, имеет предварительный характер, и должна быть верифицирована в процессе дальнейших исследований. В частности, планируется собрать и описать систему ударения в говоре обских селькупов и в тазовском диалекте селькупского языка, в ненецком и энецком языках. Мы надеемся, что эти исследования позволят значительно увеличить корпус прасамодийских лексем, для которых можно реконструировать ударение.

Список сокращений

- ненец. лесн. – лесной диалект ненецкого языка
об. ч. – диалект обских чумылькупов селькупского языка
ПП – прапермский
ПС – прасамодийский
Псельк. – праселькупский
ПУ – прауральский
сельк. – селькупский
ФВ – финно-волжский
ФУ – финно-угорский
ю.-сельк. Григ. – южно-селькупский диалект в записях Н.П. Григоровского по (Хелимский 2007)
ГН – язык первых селькупских книг по (Helimski 1983)

Литература

- Быконя 2005 – Селькупско-русский диалектный словарь / Ред. В. В. Быконя. Томск, 2005.
- Кузнецова, Казакевич, Иоффе, Хелимский 1993 – Кузнецова А.И., Казакевич О.А., Иоффе Л.Ю., Хелимский Е.А. Очерки по селькупскому языку. Т. 2. Тазовский диалект. М., 1993.
- Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980 – Кузнецова А.И., Хелимский Е.А., Грушкина Е.В. Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. М., 1980.
- Лыткин 1964 – Лыткин В.И. Исторический вокализм пермских языков. М., 1964.
- Лыткин, Гуляев 1970 – Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.
- Морев 1973 – Морев Ю.А. Звуковой строй среднеобского (ласкинского) говора селькупского языка. Томск, 1973.
- Мосин 1987 – Мосин М.В. Эволюция структуры прафинно-угорской основы слова в мордовских языках. Автореферат. Дис. ... докт. филол. наук. Тарту, 1987.
- Норманская 2008 – Норманская Ю.В. Реконструкция прафинно-волжского ударения. М., 2008.
- Норманская 2009 – Норманская Ю.В. Новый взгляд на историю пермского вокализма: описание развития вокализма первого слога в коми и удмуртском языках в зависимости от прапермского ударения и гласного второго слога // Уралистика. СПб., 2009.
- Норманская 2010а – Норманская Ю.В. при участии Дыбо А.В. Место ударения и диалектологические особенности удмуртских материалов, собранных в XVIII в. Г.Ф.Миллером и Й.Э.Фишером // Урало-алтайские исследования 2. М., 2010.
- Норманская 2010б – Норманская Ю.В. Соотношение прапермской и прафинно-волжской акцентных систем // В пространстве языка и культуры: звук, знак, смысл. Сборник статей к юбилею В.А. Виноградова. М., 2010.
- Хелимский 2007 – Южноселькупский словарь Н.П. Григоровского / Обр. и изд. Е. Хелимского. Hamburg, 2001. (HSFUM. 4).

- Шешенин 2011 – Шешенин С.Е. О некоторых особенностях вокализма говора обских чумьлькупов в экспериментально-фонетическом освещении // Урало-алтайские исследования. IV. М., в печати.
- Alatalo 2004 – Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Donner K., Sirelius U. T. und Alatalo J. Zusammengestellt und hrsg. von J. Alatalo. Helsinki, 2004.
- Bereczki 1988 – Bereczki G. Geschichte der wolgafinnischen Sprachen. // *The Uralic Languages: Description, History, and Foreign Influences*. Leiden: 1988.
- Geisler 2005 – Geisler M. Vokal-Null-Alternation, Synkope und Akzent in den permischen Sprachen. Wiesbaden, 2005.
- Helimski 1983 – Helimski E. *The Language of the First Selkup Books*. Szeged, 1983.
- Helimski 2007 – Селькупские словарные материалы на сайте. www.helimski.com.
- Itkonen 1946 – Itkonen E. Zur Frage nach der Entwicklung des Vokalismus der ersten Silbe in den finnisch-ugrischen Sprachen, insbesondere im Mordwinischen // *FUF*. 29. S. 222–337.
- Itkonen 1953 – Itkonen E. Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen. // *FUF* 31. S. 150–345.
- Janh. – Janhunen J. Uralilaisen kantakielen sanastosta. // *JSFOu*. 77. S. 219–274.
- Janhunen 1977 – Janhunen J. *Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamosedische Etymologien*. Helsinki, 1977 (*Castrenianumin toimitteita* 17).
- Lehtisalo 1956 – Lehtisalo T. *Juraksamojedisches Wörterbuch*. Helsinki, 1956 (*Lexica Societatis Fenno-Ugricae* 13).
- Salminen 1993 – Salminen T. On identifying basic vowel distinctions in Tundra Nenets // *FUF* 51. S. 177–187.
- Salminen 2007 – Salminen T. Notes on Forest Nenets phonology // *MSFOu*. 253.
- Samallahti 1974 – Sammallahti P. *Material from Forest Nenets*. Helsinki, 1974 (*Castrenianumin toimitteita* 2).
- Sammallahti 1988 – Sammallahti P. *Historical Phonology of the Uralic Languages // The Uralic Languages: Description, History, and Foreign Influences*. Leiden: Brill, 1988. P. 478–554.
- UEW – Rédei K. *Uralisches etymologisches Wörterbuch*. I-II. Budapest, 1986–1988.
- Wichmann 1987 – Wichmann Y. *Wotjakischer Wortschatz / Aufgezeichnet Y. Wichmann, bearb. T. E. Uotila, M. Korhonen, hrsg. M. Korhonen*. Helsinki, 1987 (*Lexica Societatis Fenno-Ugricae* XXI).

LEHETTEK-E MÁSSALHANGZÓS SZÓTÖVEK A FINNUGOR ALAPNYELVBEN?

Általános vélemény a finnugor nyelvtudományban, hogy a határozott fogalmi tartalmú szavak valamennyien kétagúak voltak és rövid magánhangzóra végződtek. Ezek a tövéghangzók – még ha bizonyos (minőségi) változásokon átmenve is – leginkább a finn nyelvben maradtak fenn napjainkig. Ez a magánhangzós sajátság annyira jellegzetes, hogy a mai finn nyelv szóvégein/tövégein egyrészt mindössze az *-s*, *-n*, *-t*, *-r*, *-l*, *-m*, *-j*, *-p*, *-zz* (1 adat idegen szóban) fordul elő, másrészt például a Kaisa Häkkinen-féle etimológiai szótárban (Nyky-suomen etymologinen sanakirja. Juva, 2004), mely mintegy 6000 címszót tartalmaz, mindössze 492 végződik mássalhangzóra, azaz a címszavak mindössze körülbelül nyolc százaléka. Elméletileg is feltételezhető, hogy ez a túlsúly úgynevezett rendszertani „kompenzációt” kíván.

Úgy gondolom, hogy a finnugor alapszórendszernek – vagy inkább mondjuk törendszernek – bizonyára mássalhangzós tövekkel is kellett rendelkeznie. A mai finn és magyar törendszer egyértelműen bizonyítja, hogy a magánhangzós tövek mellett mássalhangzós töveknek is kellett lenniük. S ha a mai rendszer ilyen sajátságokat mutat, akkor a régi uráli/finnugor törendszerből sem zárhatjuk ki az ilyen jelenségeket, mivel az is mutatható hasonló sajátságokat. Már Lauri Hakulinen felhívta a figyelmet arra (SKRK 70), hogy például a mai finn névszók közül azok, amelyeknek az egyes nominatívuszában véghangként mássalhangzó van, azok mássalhangzós töveknek tekintendők. Ide sorolhatók továbbá olyan szóalakok is, mint pl. *vanha* – *vanhoj-a*; *ole-nto* – nyj. *ol-ja-met*; *ase-ma* – nyj. *as-ja*; *kaih-taa* – nyj. *kaiho*; *täysi* – *täyn-nä*; *toinen* – *tois-sa* (*päivänä*) stb. Hakulinen azt is megjegyzi továbbá, hogy sok dolog mutat arra, hogy a mássalhangzós tövek a mainál általánosabbak voltak a régi nyelvben, pl. a finn irodalmi nyelvben (70). Mind magánhangzós, mind mássalhangzós tövek – azaz egy szónak magánhangzós és mássalhangzós tövei egy időben is – előfordultak (pl. *kuusi*: *kuusen* és *kuus-ta*, *ole-n* – *ol-tu*, *pese-n* – *pes-köön* stb.) A szerző úgy látja, hogy a finnen kívül a közeli és távoli rokon nyelvekben (lapp, mordvin) is megtaláljuk ennek nyomait.

A magyarban is vannak elgondolkodtató jelenségek. A magyar szórványok tartalmazznak ugyan tövégi magánhangzókat (eredetieket és inetimologikusakat: *hodu*, ill. *burgu* stb.), de egyetlen egy sem fordul elő igéken, ami csak részben természetes és elvárható, hiszen szórványokként névszói természetű szavak állnak, szövegekben azonban – akár kivételesen – igéken is előfordulhatnak. Ezért – nézetem szerint – joggal állítható, hogy lényeges különbség lehetett a szótövek morfológiai viselkedésében a névszó- és ige-tövek között.

A magyarban észlelhető egykori és mai mássalhangzók (pl. *-l*, *-r*, *-sz*, *-n* stb.) *magánhangzótlan* és *magánhangzós* szembenállása a végzések előtt (pl. nyelvjárási vagy köznyelvi *levélt* – *levelet*, *bált* – *bálat*, *szekért* – *szekeret*, *fehért* – *fehéret*, *tehént* – *tehenet*, az igék esetében pl. *kér-e-k*, *kér-ni*; *vár-ok* – *vár-sz* stb.) egyfajta tőtípusváltakozás következménye lehetett. A véghangzó használata talán a

szóvégi/tővégi mássalhangzó természetétől is függött. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy bizonyos hangok (pl. *l, r, sz, n*) után elsősorban talán igealakokban nem is volt tőhangzó, mert egyébként rendkívül régen (jóval a záródási folyamat előtt) kellett volna eltűnnie a tővégi magánhangzóknak. Hiába keresünk például az olyan finnugor eredetű igealakokban – mint *volt, tart, tol, fél, kér, vár* stb. – *tő* után (pl. *vol-o-t, tar-a-t, tol-o-sz, kér-e-sz, fél-e-tő* „félő” *vár-a-ni*) tővéghangzót, ilyeneket egyáltalán nem találunk egyik korabeli nyelvállapotban sem. Azt gondolom tehát, hogy a magyar nyelvjárások és a köznyelv *mai* hangtani sajátásaival itt is számolnunk kell visszamenőleges érvennyel, még ha teljes, tökéletes bizonyító értékük talán nem is lehet. De feltehető továbbá az is az egykori és mai tővéghangzó-hiányos formák (rég, népnyelvi *leh – lehel, liheg; fin(g), sír, kap, mond, pök ~ köp, kacs, jer* stb.) alapján, hogy uráli/finnugor szavaink között is nagy valószínűséggel élhettek tehát olyan alakok, amelyek után nem kellett tővéghangzónak állnia.

Az eddigiekről összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az uráli/finnugor/ugor korban nemcsak rövid magánhangzóra végződő szavak/tövek fordulhattak elő, hanem feltétlenül lehettek ezen felül

1. tisztán magánhangzóra vagy 2. magán- és mássalhangzóra végződő, váltakozó alakok, sőt esetleg 3. tisztán mássalhangzóra végződő, azaz magánhangzós tövel nem váltakozó (pl. *fing(ik), sír, kap, köp ~ pök, mon(d)* stb.) tövek is.

Irodalom

- E. Abaffy, Erzsébet: Hangtörténet. In: Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk.: *Magyar Nyelvtörténet*. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 106–128.
- Hajdú, Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Budapest, Tankönyvkiadó, 1981.
- Itkonen, Erkki: Suomalais-ugrilaisen kantakielen äänne- ja muotorakenteesta. In: *Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen alalta*. Tietolipas 20. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1961. 48–84.
- Révay, Valéria: Ősi képzett szavaink. In: *Magyar nyelvjárások 33*. Debrecen, 1996. 129–144.
- Sammallahti, Pekka: Historical Phonology of the Uralic Languages. In: Sinor, Denis szerk.: *The Uralic Languages*. Leiden–New York–Kobenhavn–Köln. E. J. Brill. 1988. 478–554.
- Sárosi, Zsófia: Morfématörténet. In: Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk.: *Magyar nyelvtörténet*. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 129–172.
- Szilágyi N., Sándor: Az ómagyar kori pótlónyúlás és a tővégi rövid magánhangzók lekopásának néhány kérdése. *Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 20*. Cluj-Napoca, 1976. 126–136.

ON THE SOURCES OF THE NAME OF THE BEAR IN FINNISH

This article is based on my study of the etymology and word formation processes of Finnish bear names *karhu* and *kontio*. From theoretical point of view there is a question about three phenomena:

1. Linguistic motivation of words
2. Meaning change processes
3. Word formation processes

The linguistic motivation may happen on phonological, morphological and semantic level. PHONOLOGICAL MOTIVATION means the same as sound symbolism (Hinton, Nichols & Ohala 1994; Itkonen, E. 1966). One can find following types of sound symbolism (ss.):

a) PHYSICAL SS. which means a primitive reaction with a sound. For example fi *ähh...* 'disappointment' or fi *tsotsotso...* 'scolding'.

b) ABSOLUT, ICONIC or IMITATIVE SOUND SYMBOLISM means that connection between phonological form and the meaning is clear and obvious. For example engl. *whirr* fi 'hurista'.

c) SECONDARY SOUND SYMBOLISM means that the connection between form and the meaning is not so obvious. As an example is often mentioned high front vowel *i* which is usually associated with something small, weak, distant etc. (like fi *tilkka* 'small amount of water') where as mid back vowels *o* and *u* are often associated with big, heavy and strong referents (cfr. fi *kontio* 'bear').

d) CONVENTIONAL SOUND SYMBOLISM means a sound or sound cluster that is somehow associated with some meaning. In this case, the connection between form and the meaning is more or less accidental and unpredictable. As an example from English can be mentioned the initial cluster /gl/ which appears for example in the words *glitter* fi 'kimallella', *glisten* id. ja *glow* fi 'hehkua'. Conventional sound symbol is called a PHONESTHEME.

e) Yet there is found a kind of sound symbolism, which I assume can be put between physical and conventional types. As an example of this I take an expressive word-medial, possibly epenthetic, *č/š/h in Finnish word *karhu* 'bear' (cfr. *karV- > *kar + č/š/h + V- >> *karhu* 'bear' or *kom/nV- > *kon + č + a- > *kontio* 'bear')

MORPHOLOGICAL MOTIVATION is a type of linguistic motivation, which is transparent in a) compound words and b) derivations. For example:

a) ka *levie* + *ottša* = 'broad' + 'forehead' > 'bear'

b) fi *kuntia* 'linger, loiter, delay' > *kunt* + *io* = 'slow' + 'being' > 'slowcoach; idler'

THE SEMANTIC MOTIVATION or NAMING MOTIVATION means the reason for naming an object, in this case for a bear.

I assume that the vocabulary of formerly described expressive, taboo and affective nature is especially sensitive to linguistic motivation on all levels. According to my hypothesis the phonological, morphological and semantic motivation tends also to fade away from words (cfr. for ex. Kulonen, U-M. 2006)

- a) after vanishing in systematic sound change (*č > t)
- b) when expressive sounds lose their effect in use
- c) when the referent of a stem word has changed and
- d) when the speakers have forgotten the original meaning of a stem word or meaning of a suffix

I also assume that the linguistic motivation tends to come back to a word on all levels possibly in following ways (cfr. again for ex. Kulonen, U-M. 2006):

a) Phonological motivation through secondary sound symbolism with secondary sound change like first syllable vowel of a target word *u* > *o*:

(**kumte*- ‘broad’ > ? adj. ***kuntea* or ? fi *kuntia* ‘linger, loiter, delay’ >) *kuntio* ‘slowcoach; idler’ > *kontio* ‘bear’

b) Conventional – physical sound symbolism with secondary expressive word-medial epenthetic *č/š/h which strengthens the expressive power of the word: **karV-* (syncope) + č/*š/h + *V-* > *karhV* > *karhu*

c) Morphological motivation with secondary suffixation with perhaps pleonastic diminutive suffix: **karV+* č/š*V* + *oj* > fi *karh*+ *u* + *nen* ‘little bear’

Opaque diminutive suffix (a guess)	-h-
Demin. suffix not productive in Finnish	anymore
Transparent, productive dimin. suffix	-nen

d) Semantic motivation with a secondary source word for example when the primary source word has become opaque:

habit	> appearance, feature of the being
‘to bite’ (* <i>karV-</i>)	> ‘tousle-headed’ (<i>korho</i>) > <i>karhu</i> ‘bear’

When studying naming processes, one must take account to the phenomenon of meaning change of words. This means that words may descend from words with quite different meanings. Relevant processes through which semantic change can happen within this context are:

a) Metonymy, roughly speaking a meaning change where a part of a referent means the whole of it. As an example can be mentioned fi *otso* ‘bear’ in case the naming motivation is the name of a part of the bear *otsa* ‘forehead’.

b) Metaphorical extension, which means at the simplest naming a referent according to what it resembles for example when bear is compared with supernatural creatures. So Finnish word *mörkö* ‘evil spirit, bogey’ has come to mean also ‘bear’.

c) Attraction, a situation where an affective concept gets its name or phonological or semantic features from another affective concept (Sperber 1965). On the ground of this, one may assume that Finnish bear name *karhu* has been given to referents like *louse* or *vulva*.

The word formation processes

I have made analysis of the morphological structure of the bear names and the words under comparison. I have found out that the ways of bear name (*karhu* and *kontio*) formation could have been:

a) derivation with transparent suffixes: like diminutive suffix *-u* in *karh-u* ‘bear’ or with opaque derivatives: like *-č*V-* perhaps in the form of word medial fricative in *karh-u* or plosive in *kon-t-io*

b) stem modification because of sound symbolism like perhaps

kuntio ‘slow being’, ‘bear’ > *kontio* ‘bear’

c) contamination which means that a target word has adapted phonemes from a source word or many of them like

a) U **karV-* (‘to bite’) + **korč/šoj* ‘tousle-headed, deaf’ = **karč/šoj* > fi. *karhu* ‘bear’

b) FS **korč/šoj* ‘tousle-headed, deaf’ + FS **karćoj* (> saaN *guoržžu* ‘evil spirit’) = **karč/šoj* > fi *karhu* ‘bear’

Methods

When studying the etymology of the bear names I have applied mainly comparative method. My main criteria for selecting words for comparison have been phonological and semantic criteria. So I have searched possible phonological counterparts for the bear names in cognate languages of Finnish. Under comparison have also been finnish words that phonologically remind of the bear names under study or which are identical with them and perhaps belong to the same word family with them.

I accept both regular and irregular phonological counterparts because I take in to consideration the special nature of the bear names. It is that they belong to an expressive vocabulary of taboo and affective nature which is more sensitive to phonological variation than neutral words.

Semantic criteria has meant for me here semantic connectiveness, not (necessarily) identity. Here one must also be aware about the fact that ancient man may have mixed together categories of species, which remind of each other. So beings like wolverine, badger, bear and even human being can in my opinion have had common names.

I have also applied criteria of parallels to the naming motivation of the bear among uralic languages and languages of other northern peoples (for ex. Bakró-Nagy, M. 1979; Hallowell, A. I. 1926).

In addition to this, I have searched evidence for the back ground of the bear names from linguistic archaisms, place- and personal names and folklore.

Source word, representative of source word and target word

Within the study I have used a concept SOURCE WORD (fi LÄHDESANA), which is a word that reveals the naming motivation of a referent, word from which a name of the bear is supposed to derive from (for example fi *kontia* ‘crawl’ > fi *kontio* ‘bear’) or which in the case of a contamination process could have been in the role of building a bear name with possibly another source word or several of them. Source word is wider concept than a CONTAMINATION SOURCE (look Kulonen, U-M. 1996).

A REPRESENTATIVE OF A SOURCE WORD is a word that has not immediately affected the target word in question but has developed from the source word in question or is the proto form of it. As an example of an representative of source word for fi *karhu* ‘bear’ can be taken saaN *guoržžu* ‘evil spirit, demon; bad luck’. In this case the actual source word of *karhu* ‘bear’ would be the proto form of it FS **karšoj* ~ **karćoj*.

So it is the new word formation like fi *karhu* ‘bear’ and fi *kontio* id.

A short review of the analysis of the bear names

Karhu ‘bear’

Karhu ~ ingr *karhu* | ka *karhu* (mostly in folklore) | vo *karu* | es *karu*, esS *kahr* (metat.) ‘bear’ | li *karū* (< es) id. (SSA).

It is traditionally thought that *karhu* is derived from the adjective (source word) *karhea* ‘rough, chapped’ < **karča* ‘twig, stick’ (FV), but there are not found parallels for the semantic motivation. Also a komi word *gorš* ‘throat’ has been connected to it, no parallels either.

Background of fi word medial *-h-* in consonant clusters comes in to new light in my study. I assume that within affective and expressive words expressivity tends not to fade for good, so that on the word medial affricate in cons. cluster *-Cč- tends to become *h* (< *š < *č) instead of the common **t* (crf. Kallio 2007: 233).

As an example I give here short analysis of one representative of a source word for the bear name *karhu*.

It is saN *guoržžu*, *-uržo-* ‘evil spirit, demon; bad luck’ ~ saI (< ieur **garâg* ‘spooky,’ tai **gargo-s* ‘grizzly, wild, horrible’ > **kuoržžoj* < FS **karšoj* or **karčoj* (Sammallahti 1999))

The hypothesis can be accepted if there has happened a sound change in finnic: *š > *š or *č > *č: **karšoj* or **karčoj* > **karšoj* or **karčoj* > fi *karhu* or there has been phonological variation with the phonemes *š ~ *š or *č ~ *č on finno-saamic level.

Third possibility is contamination of FS **karšoj* or **karčoj* with another source word with *-rš- for example balt **kerš* ‘badger’ or for example fi *koršoj* ‘big being ..’.

Parallels for the naming motivation are found in words fi *mörkö* ‘bear’; ‘bogey’; ‘spirit being’, *kouko* ‘bear’; ‘ghost’, *kurko* ‘bear’; ‘devil, ghost’, *menninkäinen* ‘bear’; ‘ghost, goblin’, *pöppö* ‘bear’; ‘bogey’

Without closer look I give here also following words that in my opinion could be source words or their representatives for fi *karhu*:

fi *körhö* ‘big being; a thick-neck; harsh-voiced; awkward, clumsy’, ‘a rather tall being’, ‘deaf’, fi *karva* ‘hair’, fi *korho* ‘tousle-head’; ‘deaf’ etc., fi *kärhä* ‘tousle-head etc.’, fi *karri* ‘thistle’; ‘tousle-head’, fi *karsi* ‘charred (object)’, balt **kerš-* ‘name of some colour’ (> EsS *kähr* ‘badger’), FV **karča* ‘twig’, saN *gor’remaš* ‘a kind of bad being’, komi *gjrjś* ‘big’, FU **kurV-* ‘anger, to become angry’ and U **korV-* ~**karV* ‘bite’.

Fi kontio ‘bear’

Variants of *kontio* in finnish dialects *kontia*, *kontja*, *kontii*, *kontiain*, *kontian*, *kontien* ja *kontijo*. The counterparts in finnic cognant languages are ka *kontie*, lu *koñdī*, ve *koñdī*, *koñdī* id.

As examples for source words and their representatives for finnish bear name *kontio* I give a closer look to two following words.

1) fi *kontia* ‘kontata’

This word has traditionally been regarded as the root word of fi *kontio* ‘bear’. It would then be a metonymical source word for bear name.

One can reconstruct following root stems for this verb:

**konča* ? > fi **konta-* > **kontio* (like *jouta-* > *joutio*), ? > saS *gãedtsies* ‘tamped, worn earth’,¹⁴

As a parallel for the naming motivation functions karelian *mömmëröitteä* ‘toss and turn’.

2) **kumte* ‘broad’ (FU) ~ saN *govdat* ‘wide, broad’ (saS–saT) || mari || hanti

This is possibly a metonymic source word referring to the being and appearance of the bear. Possible phonological development would be:

kumte* > ? fi *kunte-* + ? adj. derivative *-tA: > **kunteta* > **kunteða* > ***kuntea* > ***kuntea* > io-johdos *kuntio* (cfr. fi *kuntia* ‘loiter, be long’, *kuntio* ‘slowcoach, idler’) > *kontio* ‘bear’.

The meanings ‘slowness’ and ‘broadness’ suit together with each other and with the referent bear. So either fi *kuntio* or hypothetical ***kuntea* could be a source word for the name *kontio* ‘bear’.

The sound change first syllable **u* > *o* may have happened because of secondary sound symbolism or another source word with 1. syllable vowel *o*-.

Parallels for naming motivation are found in ka *levie* + *ottša* ‘bear’ = ‘broad’ + ‘forehead’ and *levie* + *käpälä* ‘bear’ = ‘broad’ + ‘paw’.

In my study I have also analysed following source word candidates and their representatives for bear name *kontio*: fi *köntys* ~ *köndös* ‘ancient finnish god of field cultivation’, fi *kuntia* ‘linger, loiter’, fi *kontti* ‘foot’, saN *goanzi* ‘hulk’, hanti *χúnt* ‘badger’, U **kenV-* ‘growl’; ‘bellow’ and U **kVmV* ‘hole’; ‘cave’.

One must notice here that it has also been proposed that *kontio* ‘bear’ is a saamic loanword’ (last Aikio 2009). The distribution of this word (attested mainly in eastern dialects of finnish) and also some phonological facts back up this hypothesis too.

Short conclusions

My study shows that finnish bear names *karhu* and *kontio* may carry earlier unidentified linguistic elements from finnic languages and also more distant cognant languages or even iIndo-European languages.

I think it’s very improbable that old Uralic words with such basic meanings as ‘to bite-’ (**karV-* ~ **korV-*) or ‘broad’ (**kumte-*) could vanish easily in any language. An explanation could be that they have become source words for things with taboo nature and after this targets for irregular sound changes and word formation processes.

¹⁴? > saN *goazzi* > saN *goanzi* ‘hulk, oaf, stumbler’.

A parallel for the epenthetic *n/___z* is found in word saN *gunžat* ‘urinate’ < U **kuńće* ~ **kuće* ‘urine’ > saN *gužžat* ‘urinate’.

Secondary nasalization in word-medial consonant cluster must have happened after denasalization of the cluster to strengthen the expression weakened because of sound change **nč* > *zz*.

References

- Aikio, Ante 2009: *The saami loanwords in finnic and carelian*. Academic dissertation. The Faculty of Humanities of the University of Oulu.
- Bakró-Nagy, Marianne 1979: *Die Sprache des Bärenkultes im obugrischen*. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- Hallowell, A. Irving 1926: *Bear Ceremonialism in the Northern Hemisphere*. Philadelphia.
- Hinton, Leanne & Nichols, Johanna & Ohala, John J. 1994: *Sound Symbolism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Itkonen, Erkki 1966: *Kieli ja sen tutkimus*. Porvoo: WSOY.
- Kallio, Petri: 2007: Kantasuomen konsonanttihistoriaa. Jussi Ylikoski & Ante Aikio (toim.). *Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007*. SUST 253. Helsinki: SUS. 229–249.
- KKTKJ = Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja.
- Kulonen, Ulla-Maija 1996: *Sanojen alkuperä ja sen selittäminen: etymologista leksikografiaa*. Helsinki: SKS. 2006: Eläimet ja affekti: etymologisia huomioita. *Virittäjä* 110. Helsinki: Kotikielen Seura. 322–334.
- Oksanen, Auli 2007: *Karhun nimitysten kielellisillä lähteillä*. Pro gradu-tutkimus. Helsingin Yliopisto. Found also in <http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200801091012>
- Sammallahti, Pekka 1999: Saamen kielen ja saamelaisten alkuperästä. *Pohjan poluilla. Suomalaisen juuret nykytutkimuksen mukaan*. Paul Fogelberg. Bidrag till kannedom av Finnlands natur och folk 153. Helsinki: STS.
- SKS = Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
- SKST = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia.
- Sperber, Hans 1965: *Einführung in die Bedeutungslehre*. Bonn: Ferd. Dummlers Verlag.
- SSA = *Suomen sanojen alkuperä*. Etymologinen sanakirja 1, 2. Päätoimittaja Erkki Itkonen (–1992), Ulla-Maija Kulonen (1992–). KKTKJ 62. SKST 556. 1992–2000.
- STS = Suomen Tiedeseura.
- SUS = Suomalais-uugrilainen Seura.

Abbreviations

Ingr = Ingrian

Ka = Karelian

Li = Livonian

Lu = Ludic

fi = Finnish

Vo = Votic

Ve = Veps

Es = Estonian

EsS = South Estonian

SaS = Southern Sami

SaN = Northern Sami

SaI = Inari Sami

SaT = Ter Sami

Balt = Baltic

FS = Finno-Saamic

FU = Finno-Ugric

FV = Finno-Volgan

Ieur = Indo-European

U = Uralic

Светлана Панченко
Екатеринбург

ХАНТЫЙСКИЕ ЛЕКСЕМЫ В РУССКИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ 1870–1930 ГГ. КАК ДОПОЛНЕНИЯ К СЛОВАРЮ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА В. ШТЕЙНИЦА

Источниками исследования послужили 289 русских печатных работ 1870–1930 гг., а именно монографии и статьи в журналах, описывающие разные районы проживания хантов в бассейне р. Оби. Записи разных авторов в большинстве случаев основаны на богатом полевом материале. Более 500 лексем, язык-источник которых не имел письменности до 1931 года, приводятся в русской графике. Анализ хантыйской лексики в источниках позволил проследить пути ее проникновения в русский язык и определить функцию того или иного исходно хантыйского слова в конкретном датированном тексте. С точки зрения хантыйского-русского взаимодействия все лексеммы с учетом нескольких критериев были разделены на 3 группы: 1. Слова-вкрапления (390 единиц) – лексеммы, употребляемые как вставка из хантыйского языка в русском тексте, переработанные на графико-фонетическом уровне с учетом графической и звуковой системы русского языка. 2. Окказиональные заимствования (34) – лексеммы в разовом порядке употребляемые в русском тексте, освоенные на графико-фонетическом и морфологическом уровне, но, наряду с формальными признаками вхождения в русскую речь автора, сохраняющие признаки "инородности". 3. Заимствование (77) – лексема хантыйского происхождения, освоенная в русском языке и часто употребляемая в источниках. Одно и то же слово в текстах разных авторов и в разное время может функционировать по-разному: из окказиональных заимствований 21 лексема зафиксирована и в статусе слова-вкрапления, а из заимствований – 41.

Очевидно, что слова, собранные задолго до создания словаря хантыйского языка В. Штейница, является также ценным материалом в свете ареальной лингвистики, фонетики, диалектологии и лексикологии хантыйского языка. Все сведения из источников, дополняющие "Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache" (DEWOS), можно классифицировать по следующим группам:

1. Новые диалектологические данные:

1) фиксация лексеммы в другом говоре диалекта, указанного в словаре:

НАГЫР СЕМ. *Сам.* "Кедровый орех нагыр сем" (Лопарев 1997: 241) ~ ирт. *naḡar* 'кедровая шишка', *sem* 'глаз' (DEWOS, 994, 1338). 'Кедровый орех'. Букв. 'Кедровой шишки глаз'. Ср вах., вас. *naḡar-sem*, тр.-юг. *nâḡar-sâm*, цин. *naḡar-sem*, каз. *nəḡar-sem*, бер. *nōgor-sēm* 'орех кедровой шишки' (DEWOS, 995). **НЕЙ-МЫШ.** *Ниж. Иртыш от ю. Алымские.* "... посредством особого инструмента – костяшки "ней-мыш" стебли [сушеной крапивы] раскалываются вдоль и из них вынимается древесина" (Скалозубов 1902: 65) ~ в.-дем., кам., кон., кр.-яр., цин., низ. *ñetəš* 'орудие в форме клина, из кости или дерева, на раскалывание стебеля крапивы' (DEWOS, 1055). **ТАНКЕДУР.** *Демьянка, Ниж. Ирт.* "...нашейник" ..., род боа из заячьих или беличьих хвостов" (Патканов 1894: 13) ~ ирт. *tānka*

'белка', *tür* 'горло' (DEWOS, 780, 1464). 'Беличье горло'. Ср. в.-дем., кр.-яр. *tänkätur*, кам. *tänkätür* 'нашейник, свободный воротник из беличьих хвостов' (DEWOS, 1464). Больше всего таких уточняющих фиксаций в ареале иртышского диалекта: по нижнему Иртышу, включая с. Самарово, по р. Конде, р. Демьянке.

2) фиксация лексемы в диалекте, соседнем с указанным в словаре:

1) фиксации на территории северных диалектов:

МУХОР-ОНГЕТ. *Обд.* "Остяки называют ... зубы [мамонта] Мухор-онгет" (Финш 1882: 522) ~ обд. *muw-ħar* 'мамонт, его рог находят в земле и перерабатывают в разные предметы (мифическое животное, живущее в земле)', *aŋət* 'рог' (DEWOS, 535, 143). 'Рог мамонта'. Букв. 'Рог земляного быка'. Ср. каз. *tiw-ħər-əŋət* 'зуб ("рог") мамонта' (DEWOS, 143).

2) фиксации на территории восточных диалектов:

КОТ-ЛУХ, КЕТ ЛУХ. 1. *Вах.* "Костяная пластинка кóт-лух" (Дунин-Горкавич 1910. 28). 2. *Сург.* "Кет лух (по-остячки) – костяные пластинки для ручного лука" (Дунин-Горкавич 1911. 128) ~ 1. вах., вас. *kət*; 2. варт., ликр., м.-юг., тр.-юг. *kəť*, юг. *köt* 'рука', 1. вах.- вас. *lōy*; 2. варт. *lōy*, ликр. *lōy*, м.-юг., тр.-юг. *lōy* 'кость' (DEWOS, 698, 730). 'Кость для руки'. Ср. вас. *kət-lōy* 'костяная пластинка для защиты запястья' (DEWOS, 698). **МЫК-КАТ.** *Аган.* "... зимние жилища "мык-кат" – род землянки" (Митусова 1926. 138). ~ аг., у.-аг. *məy* 'земля', *kāt* 'дом' (Терешкин 1981: 272, 146). 'Землянка'. Букв. 'Земляной дом'. Ср. вах., вас. *mək-kat*, тр.-юг., юг. *mək-kāt*, в.-дем., кон., кр.-яр., сог. *məy-ħot*, низ. *tiw-ħət*, каз. *tiw-ħət* 'землянка' (DEWOS, 899).

Отмечены несколько случаев, когда лексемы из текстов и указаны в DEWOS, и дополнительно зафиксированы в письменных источниках в соседнем диалекте:

1) фиксации на территории северных диалектов:

ЙОШКАР, ЈОШКАР, ЕШЬ-КАР, ЕШКАР. 1. *Каз.* "... орнамент лошади на предохранительной дощечке, употребляемой остяками при стрельбе из лука (ешь-кар)" (Шухов 1915. 108). "Предохранительная для руки косточка (ешкар)" (Шухов 1916: 52). 2. *Поров.* "... Стрелок привязывает к большому пальцу левой руки овальную дощечку (по-остячки "Йошкар")" (Финш 1882: 340). 3. *Обд.* "jошкар". Дощечки эти делаются из оленьего рога или мамонтового бивня" (Руденко 1914: 41) ~ каз. *jəš*, обд. *jas*, бер. *još* 'рука' (DEWOS, 313), каз. *kar*, обд. *kār* 'кора, корка'. Ср. каз. *jəš-kar*, бер. *jəš-kār* 'костяная пластинка для защиты запястья при стрельбе из лука' (DEWOS, 659–660).

2) фиксации на территории восточных диалектов:

НЮКЫ ХОТ, НЮККО-КАТ. 1. *Аган.* "чум "нюкко-кат" (Митусова 1926: 137). 2. *Сам.* "Чум нюкы хот" (Лопарев 1997: 233) ~ 1. аг. *ñiki* 'ровдуга, сыромятная кожа' (Терешкин 1981: 320), 2. ср. кр.-яр. *ñökə*, низ., шер. *ñükə* 'замша' (кр., шер.), 'истершаяся оленья шкура без ворса' (низ., шер.) (DEWOS, 1032–1033); 1. аг. *kāt* 'дом, изба' (Терешкин 1981: 146), 2. ирт. *ħot*, ср. низ., шер. *ħət* 'дом', 'жилище' (низ.), 'чум' (шер.) (DEWOS, 1032). 'Чум'. Букв. 'Дом с нюгой (покрытием из оленьей шкуры)'. Ср. аг., тр.-юг., юг. *ñiki-kāt*, сал. *ñükə-kot* 'чум' (Терешкин 1981: 320), тр.-юг. *ñöki-kāt*, шер. *ñükə-ħət*, каз. *ñuki-ħət* 'остроконечный, покрытый оленьей шкурой (зимний) чум' (шер., каз.) (DEWOS, 1033).

По данным письменных источников отмечено 11 лексем на территории, охватывающей соседние диалекты в сравнении с данными словаря, но без точной географической привязки в источнике, а только с общим указанием:

Ареал Нижней Оби:

КАНГРАС. *Ниж. Обь. "Затем особым инструментом "канграс" (кирка, наподобие долота с изогнутыми внутрь краями, насаженного на топорище) выдалбливает [дерево для приготовления лодки]" (Старцев 1928: 41) ~ низ. *kaŋras*, каз. *kaŋras*- 'скребок с одной рукояткой для выдалбливания (ложки, др.) / скобель' (DEWOS, 654). **СЕМКАРТИ.** *Ниж. Обь. "[Очки], называемые Остяками Семкарти, ... состоят из куска простого стекла, весьма крепко вделанного в меховую шкурку; эти очки носят они против резкого ветра" (Финш 1882: 473). Ср. низ., шер., сын., обд., бер. *sem*, каз. *sem*, бер. *sēm* 'глаз', низ., шер. *kartə*, каз., сын., бер. *karti*, обд. *korti*, бер. *karta* 'лист, слой, полоса' (DEWOS, 1338, 685). 'Очки'. Букв. 'Полоса для глаза'. Ср. каз. *sem-karti* 'очки' (DEWOS, 685).

На территории Тобольского Севера (ТС) – Березовский, Сургутский уезды, Самаровская волость Тобольского уезда – отмечены следующие лексемы с расширенным ареалом употребления:

УОТЛЬ, ВОТЛЬ. 1. *Аган.* "Почти все "уотль" ("вотль") досчатые. "Уотль" – это род кухни, где производится чистка рыбы" (Митусова 1926: 135). 2. *ТС.* "Уотль – пристройка к бревенчатой жилой постройке, род кухни" (Алфавитный... 1925: 171) ~ 1. аг. *wätl* 'шалаш' (Терешкин 1981: 518); 2. ср. шер. *wötlə* 'шалаш, '(построенная из веток, досок или бересты) временная хижина для рыбаков и охотников' (DEWOS, 1642). **ЭЛЯК-НЮР.** *ТС.* "Постромка (эляк-нюр) – ремень ... продевается в две становые ... векши ..., привязываемые ремешками к головашкам нарт" (Дунин-Горкавич 1911: 119). Ср. тр.-юг. *öläk*, каз. *älak*-, обд. *äläk* 'упряжь для оленей вроде хомута', 'алык, часть сбруи, надеваемая на шею оленя' (обд.), 'упряжь для оленей' (тр.-юг.), Сург. *ñur*, ирт. *ñür*, низ., шер. *ñür*, каз. *-ñür* 'ремень' (DEWOS, 91, 1072). 'ремень упряжи (алыка)'. Ср. м.-юг., тр.-юг. *öläk -ñur* 'повод, узда' (м.-юг.), 'ремень в упряжке для оленей' (тр.-юг.) (DEWOS, 91).

3) фиксация лексемы в отдаленном по территории диалекте другой группы в сравнении с данными DEWOS:

НІЕ-ЛОП. *Ниж. Обь. "Женские весла (по остячки Ніе-лоп)" (Финш 1882. 462). Ср. низ., шер., сын. *ne*, каз. *ne*, обд. *niŋ neŋ*-, бер. *nē*, обд. *neŋ* 'женщина', каз. *лор*, сын., обд. *лур* 'весло' (DEWOS, 977, 787). 'Женское весло'. Ср. тр.-юг. *niŋ-лур* 'загнутое весло (используют женщины)' (DEWOS, 787) **НЯРЬЮХ.** ю. *Войкар.* "Вотлип ... наскабливается ножом из молодых черенков тала (нярьюх)" (Скалозубов 1907: 10) ~ обд. *ñar*, ср. каз., сын. *ñar* 'незрелый, сырой', 'недавно содранный' (каз., обд.: мех), 'новый, свежий' (каз, обд.), обд. *juŋ*, ср. каз., сын. *juŋ* 'дерево' (DEWOS, 1076, 331). 'Свежее дерево'. Ср. вах., вас. *ñar-juŋ*, тр.-юг. *ñarəjuŋ* 'сырой лес' (вах., тр.-юг.), 'свежее, незасохшее (прямостоящее) дерево' (вас.) (DEWOS, 1077). **ХАЛА МОНГОЛ.** *Тоб.* "Все завязки... .. завязываются на покойнике особенным, так называемым, мертвым узлом (хала монгол)" (Росляков 1895–1896: 3). Ср. в.-дем., кон., цин. *хятај*, в.-дем., кр.-яр. *хятај*, низ., шер. *хята*, каз. *хала*, сын. *хала*, обд. *хала* 'покойник', ирт., низ. *тиңхэл*, каз. *тоңхэл*, обд. *тоңхэл* 'узел' (DEWOS, 471, 949). Букв. 'Узел покойника'. Ср. вах., вас. *kälj-*

muŋkəl, в.-дем. *χātaj-muŋχəl* 'вид двойного узла' (вас., в.-дем.; вах: с помощью которого связываются руки и ноги умершего) (DEWOS, 472).

Отмечены случаи, когда лексемы из текстов и указаны в DEWOS, и дополнительно зафиксированы в письменных источниках в диалектах другой группы:

КАПЫ, КЕПЕ, КЕБИ. 1. *Ирт.* "... у тобольских татар ... заимствованы остяками ... украшенный оловянным литьем ворот "кепе-рох" (Изделия... 1911: 60). 2. *Нерем.* "Здесь же я познакомился со способом производства оловянных украшений для костюмов (капы)" (Скалозубов 1907: 7). 3. *Обд.* "Оловянные украшения (кеби) ... это обычно – группа квадратиков или кружочков с шишечкой в центре" (Руденко 1914: 48). Ср. ирт. *керә* "лепишки", украшение на одежде, украшение – подвеска' (кр.-яр., цин.; в.-дем., кон.: из олова) (DEWOS, 655). **ВАЛЕХ, ВЕЛИ-ЮХ.** 1. *Вах.* "оленный шест валех" (Дунин-Горкавич 1910: 32). 2. **Ниж.Обь.* "для погони оленей служит шест (еловый, березовый), длиной 2–3 м, называемый "вели-юх" (оленья палка)" (Старцев 1928: 40) ~ 1. вах.-вас. *weli*, ср. варт., юг. *wāli*; 2. ср. каз. *wīli*, сын. *wīli* 'олень'; 1. вах. *ju*; 2. ср. каз., сын. *jūχ* 'дерево', 'палка', также в сложных словах часто в значении 'шест', 'веха' (DEWOS, 1583, 331–333). 'Оленья палка (шест)'. Ср. низ. *wītə-wal-juχ* 'шест погонщика, напр. погонщика оленей', букв. 'олений шест-палка' (DEWOS, 1589).

ТОНДЫ-ВЕШЬ, ТОНДЫ ВЕШ, ТУНСАХ-УАНЧ. 1. *Аган.* "Вбегает ... Иван, в берестяной маске с длинным носом – "тунсах-уанч"(Митусова 1926: 12). 2. *Каз.* "Актеры надевают на лица берестяные маски ("тонды-вешь")" (Шухов 1916: 33). 3. *г. Бер. – г. Обд.* "Танцор ... был очень смешон в своей маске, наскоро сделанной из березовой коры (Тонди-Вешь)" (Финш 1882: 535) ~ 1. аг. *tōntə* (Терешкин 1981: 476); 2., 3. каз. *tōnti*, обд. *tonti* 'береста' (DEWOS, 1446); 1. аг. *wāñç* (Терешкин 1981: 519); 2. каз. *wəṣ*; 3. сын. *wəṣ*, обд. *wes* 'лицо' (DEWOS, 1596). 'Берестяное лицо'. Ср. каз. *tōnti-wəṣ* 'маска из бересты' (DEWOS, 1597). Варианты лексемы отражают и разную диалектную принадлежность, и фонетические различия между северными и восточными диалектами.

2. Новые фонетические данные:

Запись слов в русских источниках отражает 1) фонетические процессы при употреблении слова в хантыйской речи; 2) диалектные варианты в фонетике; 3) пути освоения слова в русском языке:

1) варианты, показывающие разное произношение: а) изменение звука, б) редукция звука, в) восполнение в морфемах хантыйских слов, приведенных в DEWOS:

а) **ЛАР-КУЛ.** *Вах.* "Муксун лар-кул" (Дунин-Горкавич 1910: 26) ~ вах. *lar, jar* 'сор, заливной луг', вах.-вас. *kul* 'рыба' (DEWOS, 795, 466). Букв. 'Соровая рыба'. Ср. вах., вас. *jar-kul* 'муксун', *larə kul* 'нельма' (DEWOS, 796); б) **ТУД-ХАП.** *Обд.* "... Приходит "туд-хап" (огненная лодка)" (Бартенев 1896. 115) ~ обд. *tut* 'огонь', *χар* 'лодка' (DEWOS, 1420, 529). 'Огненная лодка'. Ср. обд. *tutəŋ-χар* 'пароход' (DEWOS, 529); в) **КЕРЕМ-ХАНЧ, КИРЭМ-ХАНЧЬ, КЕРЕДЕМ-ХАНЧ.** 1. *Кон.* "Кирэм-ханчъ – «узор на живульку»" (Пигнатти 1912: 13). 2. *Ирт.* "За самый старинный вид вышивания считают «керем-ханчъ»" (Изделия... 1911: 65). «Самым старинным узором ... считается кередем – ханч (кередем – перевернуть)... Вышитый рисунок как на правой, так и на левой стороне имеет тождественный характер» (Плотников 1901. 83) ~ ирт. *kerət-* 'повернуть'

(DEWOS, 669) > *kerətəm* – страдат. прич. прош. вр., *χḗnč* 'узор, орнамент' (DEWOS, 511). 'Перевернутый узор'. Ср. кр.-яр. *kerəm χḗnč* (DEWOS, 512). **НОГР-ТЕДЭ-НЕ**. Кедровка: *Каз.* "По-остячки "ногр-тедэ-не"" (Шухов 1916: 22) ~ *каз.* *nəχər* 'кедровая шишка', *лє-* 'есть, съестъ' (DEWOS, 994, 713) > прич. наст. вр. *лєti, нє* 'женщина' (DEWOS, 977). Букв. 'Женщина, съедающая кедровую шишку'. Ср. *каз.* *nəχər-лєt-нє*, обд. *пəχər-лєti-niŋ* 'сойка', бер. *pōgor-лєta-nē* 'кедровка' (DEWOS, 995).

2) фонетические варианты, подтверждающие разные диалектные ветви у хантыйского слова из словаря:

ИРНАС, ЕРНАС. 1. *Л.-Пуш.* "Рубашка женская из крапивного холста ("ирнас")" (Изделия... 1911. 56). 2. *Каз.* "Женская рубашка (имми ернас)" (Шухов 1916: 55) ~ 1. ср. кр.-яр., *чесн.* *jərnās*; 2. *каз.* *jernas* 'рубаха' (DEWOS, 409). 'Женская рубаха'. **ТЫЛИШ, ТЫЛОС**. 1. *Вах.* "Месяц тылос" (Дунин-Горкавич 1910. 4). 2. *Сам.* "Месяц тылиш" (Лопарев 1997: 237) ~ 1. ср. тр.-юг. *t̪ləs*, юг. *t̪lās*; 2. ирт. *t̪ləš* 'месяц' (DEWOS, 1430). Фрикативный глухой звук [л] изменяется на звонкий [л], а [s] на [š] при переходе из восточных диалектов в южные.

3) фонетические фиксации лексемы-заимствования (II) в статусе слова-вкрапления (I), в котором еще не произошло сращение двух слов в одно слово. Такие данные помогают установить исходное звучание лексемы и верную этимологию слова, дают более полную картину его постепенного освоения в русском языке. Например:

I. НЮГИ-ВЕЙ. *Каз.* "Обувь ... летняя – из замши (*нюги-вей*)" (Городков 1913. 48). **II. НЕГОВО́И, НЕГОВАИ, НЮШВАЙ**. *Сиб.* "**НЕГОВО́И** ... сиб. летняя обувь остяков и русских, в Тобольском крае, из оленёвины, в роде чулков" (Алфавитный... 1925: 509) < хант. Алквист *nuga-vai* 'хантыйские летние сапоги', ср. *каз.*, сын. *n̄iki*, обд. *n̄iki* 'замша (каз., обд.: из оленьей шкуры)'; низ., шер., *каз.* *wej*, сын. *waj*, обд. *wāj* 'пимы, сапоги из шкуры оленя' (каз., обд.), 'чулок' (сын.) (DEWOS, 1032, 1559). **I. ПАТОМ-КУЛ**. *ТС.* "Зимую сырая рыба употребляется в пищу в мороженом виде ("*пáтом-кул*")" (Березовский 1928: 86). **II. ПАТАНКА**. 1. *Сург.* "... одно из любимых рыбных лакомств сургутян – "*пáтанка*", т. е. сырая мерзлая рыба" (Гондатти 1888: 68). 2. *Сам.* "*пáтанка*, сырая замороженная рыба" (Бородин 1899: 228) < *вас.* *patəm kul*, тр.-юг. *pātəm kil*, *каз.* *pātət χ̄il* 'мерзлая рыба' (DEWOS, 467). **I. ХОЛТИМОНЬ**. "Нац. рыболовные сети Остяков, "холтимонь" (Калдань, Колыдань)" (Финш 1882: 460–461). **II. КАЛЫДАНЬ, КОЛЫДАНЬ, КАЛГАНЬ и др.** Ср. хант. *вас.* *kəlttə-jq̄əl-p̄q̄n*, *кам.*, *низ.*, *шер.* *χuttə-pun*, *каз.* *χolti-pon*, обд. *χol'ti-pon*, бер. *χulta-pun*, *сург.* *koltta-pon*, ирт. *χute-pon* 'калдан, мешковидная плавучая сеть с переметом'; *вас.* *p̄q̄n*, ирт., *низ.*, *шерк.* *pun*, *каз.* *pon*, обд. *pon*, бер. *pun, pon* 'верша'. Ср. манс. сев. *χultne pon* 'калдан' (DEWOS, 482, 1172).

3. Новые лексические данные:

1) слова, не зафиксированные в DEWOS:

Из 53 лексем «Ботанического словаря» Н.Л. Скалозубова 19 фитонимов отсутствуют в DEWOS. Среди них есть образные названия:

ПИДЕ-ВОНЗЕЛЬ. Водяника черная или вороника: *Бер.* "пиде-вонзель" (Скалозубов 1913: 28) ~ бер. *pita, piti* 'черный', *ip̄n* 'большой', *sēm, sem* 'глаз' (DEWOS, 1135, 110, 1338). Букв. 'Черный большой глаз'. Образная лексика есть и

в других источниках, например: **ЛЕСТАН ХОТ**. *Обд.* "... К левому боку пояса ... пришивался ... продолговатый мешочек (лестан хот) для оселка" (Руденко 1914: 46) ~ обд. *leštán* 'оселок, точильный брусок', обд. *хат*, ср. каз., сын. *хэт* 'дом' (DEWOS, 810, 565). Букв. 'Дом оселка'.

Отдельную группу лексем составляют слова с компонентом ЮХ 'дерево', который "в сложных словах может обозначать различные приспособления из дерева (напр., палка, стропило, вежа)" (DEWOS, 331–333). Например: **ЕШЬ-ЮХ**, **ЁШ-ЮХ**. 1. *Каз.* "Чтобы олени не бегали, на ноги им надевают особые деревянные колодки, называемые "ешь-юх" (Шухов 1916: 37). 2. **Ниж. Обь.* "Буйных оленей ... наказывают: им привязывают на шею небольшую колодку (ёш-юх)" (Старцев 1928: 23) ~ каз., сын. *јоџ*, бер. *јоџ* 'передняя нога', букв. 'рука', *јӱх* 'дерево' (DEWOS, 313, 331). 'Колода для ног', букв. 'Дерево ноги'. **ПАННЭ-ЮХ**. *Обд.* "... "Паннэ-юх" – налимий перемет, представляющий соединение на одном прогоне нескольких "лум" – деревянных налимьих крючков" (Дмитриев-Садовников 1926: 160) ~ обд. *ра́н-ниң* 'налим', *јух* 'дерево' (DEWOS, 1172, 331). 'Налимий перемет'.

2) слова, имеющиеся в DEWOS, но с семантическими оттенками за счет новых компонентов в сложном слове или за счет новых значений:

ЛЫБЫТ-ЭТТЫ-ТЫЛИС. 1. *Каз.* 2. *Бер.* "Май – Лыбыт-этты-тылис (месяц листьев)" (Шухов 1916: 30) ~ каз., сын. *lipət* 'лист', каз. *et-*, бер. *et-* 'появиться', каз. *tılás*, бер. *tılıs* 'месяц' (DEWOS, 851, 201, 1430). 'Месяц появляющихся листьев'. Ср. каз. *lipət-tılás* 'месяц листьев', бер. *libet-tilis* '8. месяц (от осени)' (DEWOS, 1431, 852). **ПУЛЕН-ВЕРТЫ-ЮХ**. *Бер. у.* "Прялка" (Скалозубов 1905: 4) ~ каз., сын. *ролән*, *pulән* 'конопля', *wer-* 'делать', *јӱх* 'дерево' (DEWOS, 1150, 1614, 331). 'Дерево, которым делают коноплю'. Ср. вас. *pqlән-wəççə-juу* букв. 'дерево для разминания конопли' (DEWOS, 1151). **СОРНИДУД**. *Обд.* "... сорнидуд, божественный огонь, то, что мы называем северным сиянием" (Брэм 1891: 339). Ср. сын. *сэрһи* 'золото', *tüt* 'огонь'. 'Золотой огонь'. Ср. каз. *torəm-tüt*, обд. *torəm-tut* 'северное сияние' (DEWOS, 1373, 1420, 1421), букв. 'Божественный огонь'.

3) лексемы с очевидным статусом заимствования в русском узусе, не представленные как *рус. диал. или рус. зап.-сиб.* в DEWOS (14 единиц). Например:

а) лексика природы: **ВОЕТ**. 1. *Каз.* "Типичный войтешный (луговой) сор" (Чаликов 1929: 32). 2. *Тоб. губ.* "Поемные луга...("согры", "воета")" (Статистика... 1895. 113) < низ., шер. *ujət*, каз. *wojət*, ср. в.-дем. *ujjət*, кр., чесн. *ájjət* 'луг, покос' (DEWOS, 25). Фиксации в тексте наиболее точно соответствует казымское *wojšt* в значении 'низменный луговой берег'.

б) рыболовные термины: **ЛИМАЗ**. 1. *ТС.* "Из тонких таловых жердей вяжется крестообразно решетка или лимаз". "Лимаз этот опускается до дна к вбитым уже кольям" (Дунин-Горкавич 1904: 208). 2. *Обь.* Лимаз, множ. Лимазы (Варпаховский 1898. 6) < вах., обд. *limäs*, тр.-юг., юг. *limäs*, каз. *límäs*; ср. вас. *imäs*, ирт. *imäs*, низ. *imäs* 'барьер – загородка из реек или веток у заграждений для ловли рыбы' (DEWOS, 766). Заимствование из сев. или вост. хант. диалектов, в которых в начале слова находится [l] или [л]. **ПОЛ**. 1. *Вах.* "Пол" – дно протоки или живца – от одного берега до другого утыкается ... полосой тальника" (Дмитриев-Садовников 1916. 4). 2. *Сург. у., Самар. вол. Тоб. у., Елизар. Бер. у.* "Пол – запор, перегораживающий отсохшие протоки осенью, в августе –

сентябре: мелкий тальник" (Дунин-Горкавич 1904: 198). 3. ТС. "Рыба... не дойдя ... до пола (запора), останавливается от шума, производимого тальником" (Дунин-Горкавич 1897: 115) < каз. *põl*, сын. *põl*, бер. *pol*, ср. вах., вас., обд. *pål*, тр.-юг., юг. *pål*, ирт. *påt*, низ., шер. *påt* 'запор, запруда' (DEWOS, 1137). По фонетике возможно, что заимствовано из сев. диалектов.

в) бытовая лексика: **КУЧУМ**. 1. Вах. "Из береста выделывают ... бураки, известные среди местных русских под именем "кучумы"" (Дмитриев-Садовников 1916., 10). 2. ТС. "Кучум – короб из еловой коры или из бересты" (Дунин-Горкавич 1996: 55) < тр.-юг., юг. *kõçem* 'кучум|круглая коробка из коры дерева', ирт. *kõçem* 'лукошко, коробка из бересты большого размера' (Steinitz 1980: 205).

Рассмотренные факты свидетельствуют о возможности расширения сведений об ареале употребления слов в сравнении с материалами из словаря В. Штейница, помогают в дальнейших разноуровневых языковых реконструкциях и сопоставлениях. Также данные можно использовать при изучении фольклора, археологии, истории хантыйского народа.

Источники

- Алфавитный указатель некоторых слов, встречающихся в таблицах самоедских и остяцких бюджетов и требующих пояснения // Труды Уральского областного статистического бюро. Серия V. – Свердловск, 1925. Т. I: Статистика сельского хозяйства. Материалы по бюджетам крестьянских, самоедских и остяцких хозяйств. С. 170–171.
- Бартенев В. На крайнем северо-западе Сибири: Очерки Обдорского края. – СПб., 1896. 154 с.
- Березовский А.И. Как рационализировать рыбное хозяйство Тобольского Севера: (Опыт научно-технического обоснования плана хозяйства). – Красноярск, 1928. 88 с.
- Бородин Н. Рыболовство // Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1899. Т. 54. С. 258–261.
- Брэм А. Жизнь на севере и юге (от полюса до экватора). – СПб., 1891. 438 с.
- Варпаховский Н.А. Рыболовство в бассейне реки Оби. Т. I: Орудия рыболовства и продукты рыбного промысла. – СПб., 1898. 143 с.
- Гондатти Н.Л. Культ медведя у инородцев Северо-Западной Сибири // Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири. – М., 1888. С. 61–91.
- Городков Б. Поездка в Салымский край // Ежегодник Тобольского Губернского Музея. – Тобольск, 1913. Вып. XXI, ч. II. С. 1–100.
- Дмитриев-Садовников Г. Бересто и изделия из него у остяков р. Ваха // Живая старина. – Пг., 1916. Вып. I. Прил. № 4: С. 8–14.
- Дмитриев-Садовников Г. На Вахе // Ежегодник Тобольского Губернского Музея. – Тобольск, 1916. Вып. XXVI. С. 1–15.
- Дмитриев-Садовников Г.М. Рыболовные осенние и зимние промыслы окрестностей Обдорска // Урал. 1926. Вып. 8. С. 157–177.
- Дунин-Горкавич А.А. Север Тобольской губернии. Опыт описания страны, её естественных богатств и промышленной деятельности её населения // Ежегодник Тобольского Губернского Музея. – Тобольск, 1897. Вып. VIII.

156 с.

- Дунин-Горкавич А.А. Русско-остяцко-самоедский практический словарь наиболее употребительных слов. – Тобольск, 1910. 58 с.
- Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север. Общий обзор страны, ее естественных богатств и промышленной деятельности населения. – СПб., 1904. X, 281, 78 с.
- Дунин-Горкавич А.А. Словарь некоторых технических и местных терминов // Тобольский Север. Географическое и статистико-экономическое описание страны по отдельным географическим районам. – М., 1996. Т. II. С. 54–57.
- Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север. Том III: Этнографический очерк местных инородцев. – Тобольск, 1911. 140, 51 с. прил.
- Изделия остяков Тобольской губернии: Этнографическая коллекция Тобольского Губернского Музея на первой Западно-Сибирской Выставке в г. Омске: Объяснительный указатель к коллекции. Тобольск, 1911. 136 с.
- Лопарев Х.М. Самарово, село Тобольской губернии и округа: хроника, воспоминания и материалы о его прошлом. – Тюмень, 1997. 264 с.
- Митусова Р.П. Аганские остяки: (Антрополого-статистический очерк) // Урал: Техничко-экономический сборник. – Свердловск, 1926. Вып. 8: Уральский Север. Ч. I. С. 135–139.
- Митусова Р. Медвежий праздник у аганских остяков Сургутского р., Тобольского округа: (Из путевого дневника) // Тобольский край. – Тобольск, 1926. № 1. С. 11–14.
- Патканов С. По Демьянке: (Бытовой и экономический очерк) // Записки Западно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества. – Омск, 1894. Кн. XVI, вып. II–III. С. 1–64.
- Пигнатти В.Н. Краткое сообщение о поездке на реку Конду (М. Кондинская волость, Тобольского уезда) летом 1910 года // Ежегодник Тобольского Губернского Музея. – Тобольск, 1912. Вып. XX, II. С. 1–15.
- Плотников А.Ф. Нарымский край (5 стан Томского уезда, Томской губернии): Историко-статистический очерк // Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению статистики. – СПб., 1901. Т. X, вып. I. 366 с.
- Росляков И.П. Похоронные обряды остяков // Ежегодник Тобольского Губернского Музея. – Тобольск, 1895–1896. Вып. V, XVI. Сообщения I. С. 1–9.
- Руденко С. Предметы из остяцкого могильника возле Обдорска // Материалы по этнографии России. 1914. Т. II. С. 35–56.
- Скалозубов Н.Л. Ботанический словарь. Народные названия растений Тобольской губернии дикорастущих и некоторых культурных // Ежегодник Тобольского Губернского Музея. – Тобольск, 1913. Вып. XXI, II. С. 1–87.
- Скалозубов Н.Л. От Тобольска до Обдорска. (Из путевого журнала) // Ежегодник Тобольского Губернского Музея. – Тобольск, 1907. Вып. XVI, II. С. 1–18.
- Скалозубов Н.Л. Хроника Музея за 1899 г. // Ежегодник Тобольского Губернского Музея. – Тобольск, 1902. Вып. XIII. С. 53–75.
- Скалозубов Н.Л. Хроника Музея за 1901 г. // Ежегодник Тобольского Губернского Музея. – Тобольск, 1905. Вып. XIV. С. 1–7.
- Старцев Г. Остяки: Социально-этнографический очерк. – Л., 1928. 152 с.
- Статистика Российской Империи. Т. XXVII: Волости и населенные места 1893 г.

- Тобольская и Енисейская губернии. – СПб., 1895. Вып.10: Тобольская губерния. 204 с.
- Финш О. Путешествие в Западную Сибирь. – М., 1882. 578 с.
- Чаликов Б.Г. Журнал гидробиологических станций Казымского научно – исследовательского отряда Общества летом 1926 года // Бюллетень Общества изучения края при Музее Тобольского Севера. – Тобольск, 1929. № 1/2. С. 29–34.
- Шухов И.Н. Из отчета о поездке весной 1914 года к казымским осякам. – Петроград, 1915. С. 103–112.
- Шухов И.Н. Река Казым и ее обитатели // Ежегодник Тобольского Губернского Музея. – Тобольск, 1916. Вып. XXVI. С. 1–57.

Словари

- Терешкин Н.И. Словарь восточно-хантыйских диалектов. – Л., 1981. 544 с.
- Steinitz W. Ostjakische Lehnwörter im Russischen / W. Steinitz // Ostjakologische Arbeiten. B. IV. Beiträge zur Sprachwissenschaft und Ethnographie. Berlin, 1980. S. 186–222.

Serafima Panfilova
Saransk

SUPPLEMENTARY TEXTS TO MORDVINIAN LITERARY TEXT AS LINGUISTIC HYPERTEXT

The term '*hypertext*' was introduced by the American researcher V. Bush in 1945. The original definition was the following: *hypertext is any text, which cannot be printed on a conventional page* (Bush 1945). Nowadays this term is very popular and widely used in both humanities and sciences: philosophy, psychology, sociology, computer science, culture studies, and literature. Therefore, there are lots of hypertext definitions: *psychology* regards hypertext as personal worldview (Сапогова 2004); *philosophy* considers hypertext to be a new way of socio-cultural communication (Карымова 2002); *information technology* regards hypertext as a hybrid of several programming technologies (Мациевский 2007). As regards modern linguistics, it gives the following general definition to hypertext: hypertext is *any non-linear text* (Хартунг 1996). In this case non-linear text means a text that has a system of hyperlinks that may break its linear structure.

In fact, linguistics has developed two major approaches to this phenomenon. On one hand, scholars consider hypertext as any text created in *electronic* environment (Дедова 2003; Huber 2002). According to this approach, hypertext is closely connected to computer technologies and the Internet. In the framework of this approach, scholars study the hyperlink system of various electronic texts, blogs, websites, electronic dictionaries, electronic mass-media etc. And this approach is the mainstream in linguistics as it includes the bulk of hypertext studies and publications.

On the other hand, hypertext doesn't require electronic environment. According to this approach, hypertext is regarded as a *hard copy text* that includes all kinds of links and references (Шехтман 2005). Within the limits of this approach, scholars study the hyperlink system of various hard copy resources: encyclopedias, reference books, post-modern literary works, dictionaries, books. And our research focuses on this area of hypertext as less studied one in modern linguistics.

Some scholars consider hypertext to be the phenomenon of the 20th century. They regard hypertext as the beginning of the new information technologies era (Лошаков 2006). Nevertheless, the idea of hypertext is quite an old one and is related to traditional hard copy editions. Therefore, in our opinion, it is better to contrast the *traditional hypertext* and *electronic hypertext*. In fact, the non-linear form of giving information is quite typical for various religious, mystical, prophetic and philosophical texts. Many centuries these types of texts have used numerous notes and footnotes, references to other texts, and internal cross references.

From this point of view, the first hard copies of the Bible and the Talmud are considered to be the earliest samples of *traditional hypertext*. Thus, the Talmud includes numerous summaries and comments built-in the main text. And these types of traditional hypertext make an inseparable part of its contents. The hard copy Bible is another important example of traditional hypertext structure. In this case we deal with a high-developed system of references. Thus the text of each book-part of the Bible is

divided into chapters, and the chapters, in their turn, are divided into verses. The chapters are numbered in each book, verses – in each chapter. In the original Bible text there is no such division. It has been made by seminary scholars to simplify references and quotations. For example, the division of the New Testament into the verses, nowadays standard, goes back to the 16th century. According to this division, the New Testament (27 books-parts) consists of 260 chapters and, totally of 7942 verses. In this case the traditional hypertext arises because in modern editions of the Bible the text is accompanied by references on the margin. Each reference connects the verse that goes nearby, with parallel verses from the same or other books-parts of the Bible (the addresses of these verses are also given). These parallel verses connect the identical events or expressions. Thus the Bible text has been transformed into a gigantic hypertext network: e.g. the New Testament includes 8.000 hyperlinks.

Other variant of the traditional hypertext is a reference book made in the form of dictionary or encyclopedia. In this case articles or definitions that make such books include internal cross references. Following these references, the reader gets more information on the relevant topic.

The present research deals with a *hard copy literary text* as a variant of the traditional hypertext. In general, a literary work (a play, a novel, a poem, etc.) exists in the form of a hard copy book. In fact, the book is the original tool that offers the readers some literary work. Actually, the book is inseparable from a literary work and from the reader's point of view these two concepts are merged together. Critics may say that in the 21st century the hard copy book is an out-dated thing and more and more people prefer soft copy books. It's not possible to agree with this statement absolutely. Thus, one of the largest European publishing houses, Wordsworth Editions specializes on fiction release. In particular, the price-list of the publishing house available on its official web site www.wordsworth-editions.com, for 2009 includes about 500 literary items. Thus, it is possible to draw a conclusion that the book remains the basic form of literary text presentation.

However, a hard copy literary text has changed. Nowadays it starts getting a new status, namely the status of literary text accompanied by a number of *supplementary texts* that we call hypertexts. In this case hypertext arises because the supplementary texts correlate with the basic literary text and this way they break its linear structure.

In fact, the phenomenon of supplementary text as hypertext has a long history. It goes back to Ancient Greece (4–3 B.C.). That time it was very common to make special books called *glosses* that commented on the classical literary works. The most famous glosses commented on the Iliad and the Odyssey by Homer. The function of the glosses was to explain to the reader some fragments of the basic literary text.

The first literary work printed in typography was *The Canterbury Tales* by G. Chaucer. It happened in 1483, London. The book included *an introduction* written by W. Caxton, the editor (Chaucer 1996).

As for the present, the analysis has shown that from the 1960s to the beginning of the 21st century there is a steady tendency to accompany a hard copy literary text by a growing number of various supplementary texts written by the third parties (e.g. the editor, the publisher, the advisor). A point should be made that we consider in our research the supplementary texts written by the third parties only, not the author of the literary work because it is not a regular thing when authors comment on their works

themselves. Very few examples have been registered. As a rule, the bulk of supplementary texts is written by the third parties.

Moreover, the hypertext complexes of this type increase both in quality and in quantity. Nowadays the hypertext variety includes the following items: *introduction, preface, foreword, afterword, notes, footnotes, textual notes, author's biography, editor's biography, praise, bibliography, summary, acknowledgements*. Totally 13 items to compare with 1 item in the first edition of *The Canterbury Tales*. A point should be made that the hypertext of this type keeps on enlarging its variety. Hypertext has no any fixed structure or boundaries. It's an open system and its elements can vary or include new ones depending on the type of reader the book is intended to.

Here go some examples that illustrate the tendency of hypertext inclusions into hard copy literary works. The following hard copy editions of various Mordvinian writers (both Mokshan and Erzian) demonstrate the dynamics of hypertext to Mordvinian literary texts. The first example is an edition of the novel *Nardishe* by Ilya Devin, a classical Mordvinian-Mokshan writer. It was published in 1969 in Saransk city and hasn't any supplementary text, just the basic literary text (Девин 1969). The second example is a 1985 edition of the same author and it includes a short summary of the literary text (Девин 1985). The third example presents Ilya Devin's poems published in 2002 and it includes a summary and an extended introduction written by a famous Mordvinian writer Grigory Pinyasov (Девин 2002).

As for the literary works of modern Mordvinian writers, all their hard copies include some supplementary texts. Moreover, it is possible to distinguish some more or less constant hypertext elements: *summary of the forthcoming literary text, information about the author, and introduction*. The following examples can illustrate this statement. The first example presents a 2006 edition of contemporary Mordvinian-Erzian poet Alexander Arapov (Арапов 2006). The hypertext to this literary text includes 2 items. The first one is the author's short biography that deals with his education and work background, even some personal information (his hobbies) – *Ютко шкасти седи гитарасо, ладси морот эсь стихэнзе лангс – he likes playing guitar and can sing his poems well*. The second one is an introduction to the literary text that includes some praise to the forthcoming literary text: *сонзе поэзиянтъ ламо содызянцо-вечкицянзо – His poetry is widely known and loved by many people*. The second example presents a 2004 edition of modern Mordvinian-Erzian writer Andrey Bryzhinsky (Брыжинский 2004). The hypertext to this literary text includes 2 items as well. The first one is the author's short biography that deals with his literary and work background. Thus, the reader gets to know that the author studies literature professionally. He is a PhD, doctor of philology – *Теде башка, лиссть литературоведэнь зяряя книганзо. А. Брыжинский – филологической наукань доктор, профессор*. The next hypertext item to this literary text is a summary of the novel.

The demonstrated tendency is quite common in the global literary communication as well. Here we can observe even more hypertexts included in a hard copy literary edition. This example presents a 2001 edition of the international best-selling text *The Firm* by John Grisham (Grisham 2001). There are three items of hypertext. The first one is the author's short biography that deals with his work and family background – *John Grisham lives with his family in Virginia and Mississippi*. The next hypertext items include a summary of the novel (quite an extended one) and praise to the novel

given by popular newspapers and magazines – *Enthralling characters and mesmeric plot* (Time Out).

The potential of the demonstrated examples is that the structure of literary communication has become more complex. Traditionally the author communicates with the reader-recipient by means of literary text only. Nowadays it's not actually so. The given examples prove the fact of increasing hypertext inclusions into a hard copy literary work. Thus, the structure of modern literary communication includes 4 elements instead of traditional 3 elements. And the involvement of the third parties (editor, advisor) into this process is increasing. They write their own supplementary texts – hypertexts – and this way they may somehow influence the reader's understanding of the literary text semantic structure. And this problem may be considered one of the most up-to-date in Mordvinian linguistics.

References

- Bush, V. As We May Think It // Atlantic Monthly. – Vol.176, No.1. – 1945. – P. 101–108.
- Huber, O. Ein Textlinguistisches Analysemodell für Hypertexte. Theoretisch und Praktisch exemplifiziert am Problemfeld der typisierten Links von Hypertexten im World Wide Web. – Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie, München: Fakultät für Sprach und Literaturwissenschaften, 2002. – 240 s.
- Дедова, О. В. О гипертекстах «книжных» и электронных // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. – 2003. – № 3. – С. 106–120.
- Карымова, М. Г. Гипертекст в философии постмодернизма // Вестник Тюм ГУ. – 2002. – С. 64–69.
- Лошаков, А. Г. Гипертекст как форма представления информации // Проблемы культуры, языка, воспитания. – Архангельск, 2006. – Вып. 7. – С. 92–102.
- Мацеевский, С. В. Теоретическая информатика: Учебное пособие / В. С. Мацеевский, С. А. Ишанов. – Калининград: Изд-во Рос. гос. ун-та им. И.Канта, 2007. – 501 с.
- Сапогова, Е. Е. Psychocadabra: субъективная картина мира как гипертекст // Известия ТулГУ, Сер. Психология. – 2004. – Вып 4. – С. 163–179.
- Хартунг, Ю. Гипертекст как объект лингвистического анализа / Ю. Хартунг, Е. Брейдо // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. – 1996. – № 3. – С. 61–77.
- Шехтман, Н. А. Понимание речевого произведения и гипертекст: монография. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005. – 168 с.

Resources

- Chaucer, Geoffrey. The Canterbury Tales. – London: Penguin Books, 1996. – 338 p.
- Grisham, John. The Firm. – NY: Dell Book, 2001. – 566 p.
- Арапов, Александр. Мейле. – Саранск: Мордовской книжной издательствась, 2006. – 264 с.
- Брыжинский, Андрей. Вечкеманть тусонзо эсензэ. – Саранск: Мордовской книжной издательствась, 2004. – 320 с.

Девин, Илья. Нардише. – Саранск: Мордовский книжной издательствась, 1969. – 424 с.

Девин, Илья. Коса келунь шачеманяц. – Саранск: Мордовский книжной издательствась, 1985. – 168 с.

Девин, Илья. Кочкаф произведеният: Колма томса. – Саранск: Мордовский книжной издательствась, 2002. – 288 с.

Александр Пустяков
Тарту

ТЕРМИНЫ ТИПОВ ПОСЕЛЕНИЙ В НАИМЕНОВАНИЯХ СЕЛЕНИЙ МОРКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Марий Эл является полиэтнической республикой в Урало-Поволжской историко-этнографической области. Здесь наряду с автохтонами, т.е. с марийцами, проживает русское население. Для каждого языка характерны свои принципы номинации географических объектов, обусловленные их типологическими особенностями.

В работе анализируются географические апеллятивы, участвующие в номинации селений, с привлечением экстралингвистических данных. Для выявления особенностей номинации рассматриваются географические термины с анализом их смыслового содержания, структуры и видоизменение фонетического облика на русскоязычной почве.

Многие исследователи отмечают большую роль номенклатурных терминов в номинации природных объектов. Так, Э.М. Мурзаев в своей работе пишет: «Значение географической терминологии для топонимики весьма велико: именно местный термин при этимологическом анализе географических названий является универсальным ключом, который в умелых руках раскрывает простые и трудные задачи, как семантические, так и информационные» (Мурзаев 1974: 100).

Материалом для нашего исследования послужили ойконимы (93 названия), извлеченные из различных источников: из архивных данных, из сборника документальных очерков «Моркинский район» (серия «История сёл и деревень»), из справочников «Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 мая 1952 г.», «Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1-ое мая 1969 г.», «Республика Марий Эл. Административно-территориальное деление на 1 января 1992 г.», из «Материалов к истории населённых мест Марийского края. Списки селений Царевококшайского уезда 1723–1921 гг.».

С точки зрения смысловой структуры названия селений Республики Марий Эл очень разнообразны. Анализ ойконимов путем их членения по семантическому признаку открывает возможности системного подхода к исследованию с привлечением экстралингвистических данных.

Полученные результаты исследования ойконимов Республики Марий Эл свидетельствуют, что в марийской ойконимической системе номенклатурные термины наравне с онимами другого разряда (в частности, с антропонимами) играют большую роль. Они участвуют в номинации многих природных объектов республики. Номенклатурные термины в большинстве случаев являются компонентами ойконимов-комполит. Это неудивительно ввиду того, что в структурном отношении большинство марийских ойконимов, как и географические названия других финно-угорских языков, являются сложными.

В номинации населенных пунктов одним из частотных является номенклатурный термин, обозначающий типы поселений. Данные термины встречаются в названиях как старых, так и новых селений.

Изучением ойконимии Республики Марий Эл занимались и занимаются А.Н. Кузнецов, И.С. Галкин, В.В. Кузнецов, О.П. Воронцова и др. В.В. Кузнецов защитил в 1984 г. кандидатскую диссертацию по теме «Ойконимия бассейна реки Илеть Марийской АССР». У него вышла серия статей по этой теме, в их числе статьи, в которых рассматриваются ойконимы, содержащие в своем составе термины типов поселений: «К вопросу о происхождении топоформанта – сола в марийском языке» (1978), «Местные географические термины в ойконимии Марийской АССР (структура ойконимов и происхождение формантов)» (1982).

В настоящее время 37 существующих селений имеют официальные названия, которые содержат в себе наименования типов поселений (из них 34 – марийские названия типов поселений, 2 – русские (*дом, усад*), 1 – татарское (*юрт*)). Надо отметить, что под понятием марийский мы имеем ввиду ойконимы не только собственно марийские, но и названия селений, в основе которых имеются апеллятивы, восходящие к волжскому, пермскому, угорскому и т.д. праязыкам.

На карте Республики Марий Эл, составленной на марийском языке и изданной в 2008 г., имеется 42 названия населенных пунктов, в основе которых находятся апеллятивы, указывающие на тип поселений (*сола, ял, илем, сурт, почингга*).

В составе географических названий Моркинского района имеются 14 терминов, указывающих на тип поселений: *ял, сола, хутор/кутыр, починок/почингга, илем, сурт, поселок, дом, кудо, пöрт, двор, юрт, усад, деревня*, в числе которых находим лексические единицы, восходящие не только к финно-угорскому праязыку (*кудо, пöрт*), но и заимствованные географические термины (*ял, сола, почингга*). Среди названий типов поселений имеются синонимы (*ял, сола; пöрт, кудо*).

В ойконимии района не встречаются слова *ор, карман (кärман)*, которые относятся к пассивному лексическому фонду словарного состава марийского языка. У горных марийцев, например, бытуют слова *асбар* и *околоч* для обозначения небольших населенных пунктов (Сепеев 1982: 176). Среди марийцев для номинации околотков в прошлом употреблялся термин *лонго* (Сепеев 1982: 177). Как пишет Г.А. Сепеев, околотки, очевидно, представляли собой один из этапов в развитии марийских (и других народов Поволжья) поселений, промежуточную стадию на пути превращения однодворных поселений-усадеб в деревни и села (Сепеев 1982: 177).

атрибут. элемент	антропоним	характеристика местности	квалитативный термин	флора	гидрообъект	объект в нас. пункте	этноним	другой ойконим	слова идеол. хар-ра	мифология	локализация в пространстве
термины типов поселений											
сола	18	2	3	3	10	3	1	—	—	—	5
ял	2	4	—	10	6	1	1	—	—	2	—
хутор/кутыр	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—
починок/починга	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1
илем	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
сурт	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
кудо	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
дом	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
пöрт	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
деревня	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
двор	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
поселок	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
юрт	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
усад	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	6	12	13	18	6	3	3	1	3	7

Учитывая то, что подробная этимология некоторых анализируемых слов (*сола*, *ял*, *илем*, *кутыр*, *починга*, *кудо*, *пöрт*, *сурт*) дана В.В. Кунецовым в его статьях, мы не будем останавливаться на освещении их происхождения.

Однако в этой связи интересно мнение Э.М. Мурзаева, который указывает, что слово *кат* «углубление, яма, хижина, жилище» распространено на обширных территориях Евразии и подобные слова с устойчивой или несколько меняющейся семантикой можно встретить и в индоевропейских, тюркских, финно-угорских, иранских, некоторых алтайских, айском языках (Мурзаев 1974: 116–119). Говоря о финно-угорских языках, Э.М. Мурзаев, видимо, имеет ввиду слова, родственные марийскому *кудо*.

В приведенной выше таблице сочетаемости терминов типов поселений с другими словами в составе ойконимов по вертикали расположены термины типов поселений, которые выступают, как правило, детерминантами; по горизонтали – компоненты, являющиеся атрибутивной частью ойконимов. Чаще всего при наименовании селений употребляются апеллятивы *сола* и *ял*.

Примеры ойконимов с апеллятивом *сола*: д. Нурсола (Арин.); дд. Купсола (оф. Изи Кугунур), Немецсола (Немычсола, Немецсола Кемыч) (Вес.); дд. Алсола (Алдысола (оф. Алдышка)), Кораксола (оф. Кучко-Памаш), Токсарсола (оф. Токсаркино) (Кин.); дд. Кокласола (оф. Коркатово), Овдасола (оф. Абдаево), Пашкансола, Улылсола (Ульлсола), Усола (Усола Абдаево), Шургесола (Шүргөсола), Юлесола (Йүлесола) (Корк.); дд. Кабаксола (оф. Шордур), Лопсола

(Ўлылсола (оф. Нижняя)) (Малк.); д. Ерсола (оф. Заозерная) (Морк.); дд. Кожласола (оф. Средний Кужнур), Новая (Усола), Норепсола (Нөрепсола), Памашсола (оф. Ближний Кужнур) (Нур.); дд. Ерсола, Кабаксола, Чодрасола (Чодырасола) (Себ.); дд. Семисола, Ядыксола (Яксола) (Семс.); дд. Кораксола, Макарсола (оф. Макаркино), Миклайсола (оф. Миклино), Пусаксола (оф. Кубыш-Ключ), Тошметсола (оф. Досметкино) (Урт.); дд. Йогорсола (Егорсола (оф. Егоркино)), Купсола, Элесола (Елесола (оф. Елейкино)) (Шал.); дд. Памашсола Вонжеполь (Памашсола Вончүмбал), Усола Вонжеполь (Усола Вончүмбал, Усола), Энерсола (оф. Шереганово) (Шер.); дд. Лапкасола, Осипсола (Канторъял), Памашсола, Тойметсола (Ярам.). См. также неофициальные названия дд. Кумужьял (Пектывайсола) (Ярам.), Малый Шоръял (Темисола) (Малк.), Нижняя Деревня (Ўлылсола (оф. Нижний Вонжеполь)) (Шер.), Себеусад (Волаксола) (Себ.), Чодраял (Ярансола) (Кин.).

Ойконимы с апеллятивом *ял*: дд. Нуръял Карамас (Нуръял Корамас), Чодраял (Чодыраял) (Арин.); д. Эгеръял (оф. Юшуттур) (Вес.); дд. Чодраял (Ярансола (оф. Балдырка)), Шүргыял (оф. Янситово) (Кин.); дд. Малый Шоръял (Теми Шоръял, Темисола, Изи Шоръял), Шургиял (оф. Шурга) (Малк.); д. Тульъял (Морк.); дд. Куэръял, Нуръял (Нур.); дд. Большой Кожляял (Кугу Кожляял), Малый Кожляял (Изи Кожляял) (Себ.); дд. Большой Шоръял (Кугу Шоръял), Рушъял (оф. Энермучаш) (Семс.); дд. Чепакъял (оф. Чепакново), Шопкерял (оф. Осиново) (Урт.); дд. Азъял, Большой Кулеял, Малый Кулеял, Олыкъял (Олокъял) (Шал.); д. Папанин Шорганъял (оф. Папанино) (Шер.); дд. Мамайял (оф. Мамайкино), Мари-Чодраял, Тат-Чодраял (Тат-Чодыраял) (Шин.); д. Кумужьял (Пектывайсола) (Ярам.). Смотрите также неофициальное название д. Осипсола (Канторъял) (Ярам.).

При сравнении употребления двух синонимичных слов – *сола* и *ял*, мы можем заметить, что апеллятив *сола* довольно часто образует ойконимы в сочетании с антропонимами (дд. *Пашкансола*, *Макарсола*), с компонентами с качественной характеристикой (д. *Усола*), со словами, указывающими на локализацию в пространстве (дд. *Ўлылсола*, *Лопсола*). При анализе ойконимов с компонентом *ял* наблюдается иная ситуация: часто атрибутивной частью этих ойконимов являются слова со значением *лес* (дд. *Чодраял*, *Шүргыял*) и слова, указывающие на гидрообъекты (дд. *Эгеръял*, *Азъял*).

Следует отметить, что апеллятив *ял* гораздо реже образует ойконимы типа: личные имена первопоселенцев и основателей селений + *ял*. Возможно, это результат более позднего появления слова *сола* в марийском языке, который стал вытеснять слово *ял* из ойконимии. Также свою роль сыграло российское административное управление, с чем, наверное, и связано частое употребление в названиях заимствованного из русского языка термина *сола*.

Ойконимы с апеллятивом *хутор/кутыр*: дд. Паренте хутор (оф. У Карамас), Тупой Хутор (оф. Чевернур) (Арин.); Майский Хутор (оф. выс. Алдышка) (Кин.); д. Визымкутыр (хутор Визым (оф. Машнур)) (Малк.).

Ойконимы с апеллятивом *починок/починга*: д. Изи Маршан Починга (оф. Кучук Памаш) (Вес.); поч. Чуваш Починка (оф. Рождественский) (Корк.); Починок в Черном лесу (оф. пос. Морки) (Морк.); поч. Азъял Починга (оф. Азъял) (Себ.); д. Маршан Починга (Шал.).

Ойконимы с апеллятивом *илем*: нп. Коша Илем (Кошалем, Коша-Элем) (Вес.); д. Уилем (Шер.).

Ойконимы с апеллятивом *сурт*: д. Усурт Варангыж (оф. Токпердино) (Урт.). Смотрите также неофициальное название д. Новый Юрт (Усурт) (Шин.).

Ойконимы с апеллятивом *дом*: Дом лесника Чертов Дом (оф. Черноозерский) (Крс.); Дом Инвалидов (Кул.).

Ойконимы с апеллятивом *кудо*: д. Нылкудо (Нылгудо) (Шер.).

Ойконим с апеллятивом *пöрт*: д. Кум Пöрт (оф. Ефим Три Двора (Шор.)).

Ойконим с апеллятивом *деревня*: д. Нижняя Деревня (Улылсола (оф. Нижний Вонжеполь)) (Шер.).

Ойконим с апеллятивом *двор*: д. Ефим Три Двора (Кум Пöрт) (Шор.).

Ойконим с апеллятивом *поселок*: Поселок Коркатовского каменного карьера (Корк.).

Ойконим с апеллятивом *усад*: д. Себеусад (Волаксола) (Себ.).

Ойконим с апеллятивом *юрт*: д. Новый Юрт (Усурт) (Шин.).

Г.А. Сепеев отмечает, что марийцы еще в XVIII – начале XIX вв. проживали в небольших поселениях, состоящих из небольших дворов. Ранее они, очевидно, жили отдельными дворами-усадыбами (Сепеев 1982: 166). Г.А. Сепеев приводит примеры названий мест, которые еще помнят старожилы. Так, старики помнят названия окрестностей д. Семисола Моркинского района по имени их жителей: Тымаскан сурт, Йыван сурт, Көгö сурт, Кнаш (*Кынаш* – А. П.) пече и др. (Сепеев 1982: 167).

Наличие малого количества ойконимов с апеллятивом *сурт*, *кудо*, *пöрт* по сравнению с ойконимами *ял*, *сола* объясняется тем, что первые, именуя малодворные (часто однодворные) селения, были малоустойчивы, могли быстро смениться другим названием, не фиксировались в официальных документах (несколько подобных малодворных селений могли объединяться в одно под одним общим названием). В процессе эволюции они перешли в разряд микропонимов. Происходило укрупнение населенных пунктов и подобные дворы-усадыбы становились частью сначала небольших селений, а в последующем небольшие селения становились частью больших населенных пунктов или исчезали совсем. Вместе с селениями иногда исчезали и названия.

В ойконимии Республики Марий Эл много русских терминов со значением *поселение*. Но в рассматриваемом районе они представлены единично (*усад*, *деревня*, *дом*), за исключением терминов *хутор* (мар. *кутыр*) и *починок* (мар. *починга*, *починга*). Частое употребление последних в ойконимах – это результат влияния российского административного управления. Поселения подобного типа начали широко распространяться с XIX в.

В.П. Лемтюгова отмечает однотипность структурного оформления ойконимов с компонентом *деревня*: *новая* + *деревня*. В нашем регионе представлен ойконим *Нижняя Деревня*, являющийся калькой с марийского *Улылсола* (Шер.).

Интересно наличие на территории района ойконима с компонентом *усад*. Как пишет В.П. Лемтюгова, «главным районом сосредоточения ойконимов с основой и компонентом *сад* – являются западные и юго-западные губернии. Чем дальше на восток, северо-восток и юго-восток, их численность уменьшается» (Лемтюгова 1983: 106). Определение распространения подобных апеллятивов

позволяет проследить путь заселения территории республики русскоязычным населением, выявить места, откуда прибыли поселенцы.

Некоторые термины типов поселений в составе ойконимов являются строго локальными на определенных территориях. Например, апеллятив *юрт* в составе ойконима на территории района встречается один раз (*Новый Юрт* (Шин.)). Наличие данного апеллятива в ойкониме – результат прямого влияния татарского языка на ойконимическую систему региона. Моркинский район граничит с Татарстаном и жители некоторых селений татары по национальности. Также влияние татарского языка ощущается в других приграничных районах (*Искеавыл пучинкэсе* (Пар., Куянкловская с/а)).

Термины типов поселений выступают только в роли компонентов ойконимов, самостоятельно в качестве наименований селений на территории района они не употребляются.

Рассмотрим также функционирование ойконимов с компонентами терминов типов поселений на официальном и неофициальном уровнях, процесс адаптации марийских ойконимов в русскую ойконимическую систему. Рассматриваемые нами ойконимы – не только бытующие сейчас официально и в народе, но также употреблявшиеся в прошлом названия существующих селений, названия исчезнувших селений. У одного и того же селения может быть официальное название, оформленное согласно правилам русской топонимической системы, несколько марийских названий (причем в названиях могут фигурировать разные термины типов поселений (в основном, идет варьирование *ял – сола*: д. *Осинсола* (*Канторъял*) (Ярам.)).

Адаптация ойконимов может совершаться несколькими путями: прямая адаптация, морфологическая адаптация, калькирование. Причем нередко в роли официального названия фигурируют ойконимы от совсем иных основ, чем рассматриваемые нами ойконимы. Но это неудивительно, потому что населенные пункты имеют до семи неофициальных названий (включая и фонетико-морфологические варианты), которые употреблялись в более ранний период существования населенного пункта или употребляются в народе и в настоящее время наравне с официальным названием.

Как мы уже отметили, в настоящее время 37 существующих селений имеют официальные названия, которые содержат в себе наименования типов поселений (из них 34 – марийские названия типов поселений). На карте Республики Марий Эл на марийском языке мы находим 42 названия населенных пунктов, в составе которых обнаруживаются апеллятивы с указанием на тип поселения. Как видно, среди официальных названий сохраняется много из рассматриваемых нами марийских (34 из 42).

В количественном соотношении ойконимов, адаптированных без изменений звукового облика, всего 27 (22,68%) (*Нурсола* (Арин.), *Ерсола* (Себ.), *Купсола* (Шал.), *Нуръял* (Нур.)); претерпевших в процессе адаптации трансформацию фонетического облика – 10 (8,4%) (*Юлесола* (*Йўлесола*), *Шургесола* (*Шўргёсола*) (Корк.), *Норесола* (*Нөресола*) (Нур.)). Отметим, что данную группу образуют ойконимы, в которых трансформируется атрибутивная часть, а не термины типов поселений (см. примеры).

Ойконимов, образованных способом морфологической адаптации – 14 (11,76%) (*Токсарсола* (оф. *Токсаркино*) (Кин.), *Овдасола* (оф. *Абдаево*) (Корк.));

образованных путем калькирования – 1 (0,84%) (*Улысола (Нижняя Деревня)*) (оф. Нижний Вонжеполь) (Шер.); полукалек – 10 (8,4%) (*Шопкер ял* (оф. *Осиново*) (Урт.), д. *Новый Юрт (Усурт)* (Шин.), *Новая (Усола)* (Нур.)).

Ойконимов, где в роли официальных выступают названия от других (не терминов типов поселений) основ – 21 (17,64%) (д. *Купсола* (оф. *Изи Кугунур*) (Вес.), д. *Себеусад (Волаксола)* (Себ.)).

В целом, термины типов поселений играют большую роль в формировании ойконимии района. Исследования отдельных регионов и районов помогают дополнять и корректировать некоторые смежные более обширные исследования.

Можно сказать, что марийские термины типов поселений в ойконимах сохраняют относительную устойчивость. Они не претерпевают трансформацию в связи с тем, что речевой аппарат русскоязычного человека легко воспроизводит анализируемые компоненты.

Сокращения

Сельские и поселковые администрации: Арин. – Аринская с/а, Вес. – Вешшургинская с/а, Кин. – Кинерская с/а, Корк. – Коркатовская с/а, Крс. – Красностекловарская с/а, Кул. – Кульбашинская с/а, Малк. – Малокушнинская с/а, Морк. – Моркинская п/а, Нур. – Нурьяльская с/а, Себ. – Себеусадская с/а, Сем. – Семисолинская с/а, Урт. – Уртем-Варангужская с/а, Шал. – Шалинская с/а, Шер. – Шерегановская с/а, Ярам. – Яраморская с/а.

Другие: выс. – выселок, д. – деревня, дд. – деревни, оф. – официальный, пос. – поселок, поч. – починок.

Литература

- Воронцова О.П., Галкин И.С. 2002: Топонимика Республики Марий Эл: Историко-этимологический анализ. Йошкар-Ола.
- Кузнецов В.В. 1978: К вопросу о происхождении топоформанта *-сола* в марийском языке. – Вопросы марийской ономастики. Йошкар-Ола, с. 25–34.
- Кузнецов В.В. 1982: Местные географические термины в ойконимии Марийской АССР (структура ойконимов и происхождение формантов). – Вопросы марийской ономастики. Выпуск 3. Йошкар-Ола, с. 24–42.
- Куклин А.Н. 1998: Топонимия Волго-Камского региона (историко-этимологический анализ). Монография. Йошкар-Ола.
- Лемтюгова В.П. 1983: Восточно-славянская ойконимия апеллятивного происхождения. Названия типов поселений. Минск.
- Мурзаев Э.М. 1970: Местные географические термины и их роль в топонимии. – Местные географические термины. Москва, с. 16–36.
- Мурзаев Э.М. 1974: Очерки топонимики. Москва.
- Сепеев Г.А. 1982: Особенности типологии и планировки марийских поселений. – Поселения и жилища Марийского края. Йошкар-Ола, с. 159–189.
- Сепеев Г.А. 2005: Поселения и жилище. – Марийцы. Историко-этнографические очерки. Коллективная монография. Йошкар-Ола, с. 91–108.

A KÖZPERMI EREDETŰ SZÓKINC MINT AZ ETIMOLOGIZÁLÁS TÁRGYA

A közpermi eredetű szókinccs az előpermi alapnyelv szókinccséhez tartozik. Az előpermi alapnyelv a finn-permi nyelvi közösség felbomlása következtében keletkezett (i.e. II. évezred), és e nyelvi közösség alapján az előudmurt és előkomi nyelvek keletkezéséig létezett, míg ez utóbbiak a mai udmurt, komi-zürjén és komi-permják nyelv ősei voltak. Ez a szókinccs többé vagy kevésbé épségben minden mai permi nyelvben és nyelvjárásban máig fennmaradt. A legteljesebb és legnagyobb tekintélyű forrás, amelyben ez az ősi szókinccsréteg megtalálható a *Komi nyelv kis etimológiai szótára* (KESZK 1970), illetve a *Kiegészítés a Komi nyelv kis etimológiai szótárához* (Litkin, Guljajev 1975), amelyeket 1999-ben adtak ki újra Sziktiivkarban (KESZK).

Ezekben a kiadványokban több mint 3200 szócikk található, amelyekben a komi nyelv permi kor előtti, közpermi, előkomi és későbbi korokból származó szókinccsét etimologizálják. Közpermi kori szó 934 szócikkben található. A szótár céljának megfelelően kiindulópontul a komi-zürjén nyelv szókinccse szolgál. Az összes többi permi nyelvre a szótár szerzői csak olyan mértékben hagyatkoznak, amennyiben azok a komi-zürjén szavak etimológiájának megállapításához szükségesek. Az udmurt anyag 998 lexikai egység erejéig, 775 szócikkben szerepel (Rakin 2008: 44–55). 186 jazvai komi szó található 170 szócikkben. A komi-permják szókinccs 127 lexéma erejéig 113 szócikkben fordul elő (Rakin 2006: 78–84).

A szótár rövid, nem teljes, ezért csak minimális mennyiségű tényanyag szerepel benne. A teljesen azonos komi-zürjén, komi-permják és jazvai komi megfelelések nem szerepelnek; a szerzők ezekben az esetekben megelégszenek kizárólag az udmurt nyelvi anyaggal való összehasonlítással. A legtöbb címszó a komi-zürjén nyelvből való. 22 címszó származik a komi-permják nyelvből, így például: *берись* 'hársfa', *каб* 'kaptafa', *няравны* 'sorra legyőz, leküzd', *порйотны* 'gratulál' stb. Csak 5 címszó való a jazvai komiból: *ишня* 'még', *кором* 'szalma', *пунтасөн* 'kölcsonképpen', *утно* 'eltemet', *шулим* 'színe alapján a menyhalra hasonló kicsi, nem ehető halfajta'. A komi-permják és a jazvai komi szavak külön címszavakként szerepelnek, mert komi-zürjén megfeleléseik már nem használatosak a komi-zürjén nyelvben. Ami az udmurt szavakat illeti, azok mind csak a szócikkek szövegén belül találhatók; címszavakként nem fordulnak elő, csak mint a komi-zürjén, komi-permják és jazvai anyag megfelelései.

A KESZK-ben található közpermi eredetű szókinccs etimológiai vizsgálata 695 szócikkben a megfelelő alapalak rekonstrukciójával végződik. 137 szócikkben a szótár nem adja meg az alapalakot, ott a szótár szerzői megelégszenek az egyszerű összehasonlítással. Az ebbe a csoportba tartozó anyag egy részét hangutánzó szavak teszik ki, amelyek fonetikai hasonlóságuk és egyező szemantikájuk ellenére keletkezhetek a permi nyelvek fejlődésének későbbi szakaszaiban egymástól függetlenül is, például: kz. *баксыны*, udm. *бӧксыны* 'bög'; kz. *никсыны*, kj. *н'икси-*, udm. *никсыны* 'szűköl'; kz. *тюрны* 'gurul', udm. *тӧр: тӧр ву вия* 'víz sugárként folyik' stb.

Néhány származékszónak szintén nincsen etimonja. Ezekben az esetekben a szótárban hivatkozás történik az alapszóra, ennek rekonstruálják az alapalakját: kz. *паськыд* 'széles', udm. *паськыт* 'ua.', vö. *пась* 'nyitott' (KESzK: 217); kz. *пуавны* 'megszökik fáról fára átugorva (mókusról)', udm. *пуаны* 'ua.' – *пу* 'fa' szó származéka (KESzK: 230) stb.

Gyakran nem történik etimologizálás összetett szavak esetében. A szótár szerzői ilyenkor strukturális vizsgálatot végeznek vagy azokra a szócikkekre hivatkoznak, ahol az adott összetett szó komponensei önálló szavakként szerepelnek: kz. *пельнянь* 'pelményi, hússal töltött barátfüle', kp. *пельнянь* 'ua.' – összetett szó: *пель* 'fül', *нянь* 'kenyér', azaz 'füldre hasonlító kenyér', udm. *пельнян* 'ua.' (KESzK: 219); kz. *синва* 'könny', udm. *синву* 'ua.' – összetett szó: *син* 'szem', *ва* 'víz' (KESzK: 256). Az ilyen alakulatok megléte a mai permi nyelvekben, melyek olyan típusú reáliák megnevezésére szolgálnak, amelyek biztosan jellemzők voltak őseinkre is az előző korokban, bizonyosan megalapozzák azt a megállapítást, hogy ezek az elnevezések megvoltak már az előpermi alapnyelvben is. Következésképpen a megfelelő alapalak rekonstruálása ugyanúgy szükséges, ahogy egyszerű szavak esetében is.

Időnként az etimológia megállapítását zavarják bizonyos szabálytalan hangváltozások, amelyek a mai nyelvi példákban megfigyelhetők: *вись* 'előkomí 'áldozat',? udm. *вось* 'imádkozás, áldozati szertartás'. Ez a megfelelés, amely az irodalomból ismeretes, fonetikai okokból ingatag lábakon áll, mert a komi *u* magánhangzónak nem felel meg *ö* (KESzK: 58).

Sokkal több olyan szó van, amelynek nem adják meg az alapalakját az összevetett anyag szemantikai eltérései miatt: kz. *букыш* 'komor', udm. *букос* 'hótorlasz' (KESzK: 393); kp. *тлим* 'hajfür', udm. *пильыны* 'széthasít, kettétör' (KESzK: 221) stb.

A szótár nem adja meg az alapalakot néhány idegen eredetű szó esetében sem, csak megjelöli a kölcsönzés forrását: kp. *коба* 'rokka', kj. *куба*, udm. *кубо* < ócsuvas *коба* (KESzK: 408); kz. *рам* 'szelíd, engedelmes' vö. udm. *римырес* 'ua.' < iráni, vö. pehl. *rām* 'nyugalom, csend' (KESzK: 239, 422) stb. Eközben egy egész sor más szócikkben a jövevényszavak közé tartozó szavak teljes etimologizáláson esnek át, például: kz. *нурт* 'kés', udm. *нурт* 'ua.' < közpermi. **purt* < iráni (KESzK: 233).

Az etimologizáláson átesett közpermi eredetű szókincs sem homogén azonban saját állományán belül. Az összevetett anyag teljességétől függően a következő típusú etimológiákat lehet elkülöníteni:

1) Olyan etimológiák, amelyek valamennyi permi nyelv anyagán alapulnak: kz. *джын* 'fél, fele', kp. *žin*, kj. *žon*, udm. *жыны* 'ua.' (KESzK: 89).

2) Olyan etimológiák, amelyek három nyelv példáin alapulnak: kz. *бон* 'áztatott hársfaháncs', kj. *bon*, udm. *бун* (KESzK: 40); kz. *нөк* 'tejföl', kp. *нөк*, udm. *нөк* (KESzK: 195); kz. *ош* 'medve', kj. *ош*, kp. *ош* (KESzK: 209); kp. *зын* 'bűz, büdösség', kj. *zøn* 'szag, illat', udm. *зын* 'szag, illat' (KESzK: 108).

3) Olyan etimológiák, amelyek két nyelv anyagán alapulnak: kz. *кес* 'harapófogó', udm. *кис* 'fogó. csípóvas' (KESzK: 122); kp. *майөв* 'kovász, élesztő', udm. *маял* 'ua.' (KESzK: 168); kz. *сәр* 'kesői, késő', kj. *s'ər* 'ua.' (KESzK: 253); kj. *пунтасөн* 'kölcsönösen', udm. *пунэмэн* 'ua.' (KESzK: 232); kz. *сыкавны* 'hó roskad olvadás közben, vesztít szilárdságából', kp. *сікалэм* 'rothadt' (KESzK: 268); kp. *порйөтны* 'gratulál', kj. *porjet* 'üdvözöl, gratulál' (KESzK: 225) stb.

4) Olyan etimológiák, amelyek egy permi nyelven alapulnak. Ebbe a csoportba csak azok a szavak tartoznak, amelyek kizárólag a komi-zürjén nyelvben vannak meg: *nöль* 'nagyapa', *масма* 'szíj', *шобди* 'búza' stb. Ennek a csoportnak az a jellegzetessége, hogy mivel más permi nyelvekben hiányoznak a megfelelések, e szavak alapalakját más rokon nyelvek segítségével rekonstruálják. Így a *маджа* 'folyó medrében levő víz, amely zavarja a malomkerék működését' és a *шан* 'fehér, szappanos hab' szavaknál a szótár a lapp, a *nöль* 'nagyapa' és a *чирмöz* 'heves, lobbanékony' szavaknál a finn megfelelőt adja meg, míg a *пошиктыны* 'liheg, piheg' szónak a magyar, hanti és manysi megfelelőit, a *мозмыны* 'sikerül, szerencsésen alakul' esetében pedig a nyenyec megfelelőt.

A szókincsnek ezekben a csoportokba (típusokba) való beosztása arról is vall, hogy van kapcsolat ezen típusok és etimológiáik megbízhatósága között. Minél több egy ágba tartozó nyelv anyagát használják a rekonstrukciókor, az annál kifogástalanabb és fordítva, minél szűkebb a megfeleltetések köre, annál kevésbé meggyőző az adott lexikai egység etimológiájának ajánlott verziója.

Az etimológiai vizsgálat végeredménye a lexikai egység alapalakjának rekonstrukciójában rejlik, amely megmutatja a rekonstruált ősi szó fonetikai arculatát, morfológiai felépítését, eredeti szemantikáját, de ezen kívül fontos a keletkezési forrás megállapítása is – vagyis annak meghatározása, hogy belső vagy külső keletkezésű-e az a bizonyos lexéma.

A közpermi eredetű szókincs alapalakjainak rendszere 647 etimomból áll. A rekonstruált alakok legnagyobb része egytagú lexikai egység: **aski* 'holnap', **gu* 'gödör', **kut* 'légy' stb. A két tagból álló lexémák csoportjába 15 elnevezés tartozik: **ob-vól* 'nincsen, nem létezik', **ord-lü* 'borda', *pad-vež* 'útkeresztződés' stb. Önálló, tartalmas jelentéssel bíró szavak mellett a közpermi eredetű szókincsben rekonstruálják a hangutánzó szavakat is. Ebbe a csoportba 11 alapalak tartozik: **ž'en-* 'bah!', *kot-* 'kotkodácsol', *č'up-* 'csókol' stb. Meg kell említeni, hogy az etimologizált szavak legnagyobb része önálló tartalmas jelentéssel bír. Csak 4 példa van viszonyzóra: **a* – viszonyzó (> *a* 'hiszen, ugye'), **ke* – kötőszó és partikula (> *kö* 'ha, vala-, bár-') stb. Három szócikkben teljes önálló lexikai egység helyett az adott külön fonémát rekonstruálják: **ā* < kz. *мам* 'anya', udm. *мумы* 'anya, nőstény' (KESzK: 169); **a* < kz. *нарви* 'csap, pecek, retesz', udm. *нарва* 'ua.' (KESzK: 155); **a* < kz. *öч* 'mag, bogyó', udm. *вазь* 'tönkölybúza' (KESzK: 213).

A legtöbb szócikkben egy alapalak szerepel. De néhány esetben a szótár nem egy, hanem két etimont is megad, amelyek tükrözik az összehasonlított anyag fonetikai különbségeit: **ob-vól*, **ob-ül* 'nincsen, nem létezik' (KESzK: 29), **bag-*, **bak-* 'látási vagy beszédbeli fogyatékoságú ember' (KESzK: 35). Olyankor is egynél több alapalak szerepel a szócikkben, amikor egy bizonyos szó különböző változatait vagy az alapszót és a származékszót együtt vizsgálják: **vijal-* 'folyik', *vijet-* 'szűr', tő: **vij-* (KESzK: 59).

A közpermi eredetű szókincs egy részét jövevényszavak alkotják, ebben a csoportban a szótár 63 alapalakot rekonstruál. Az itt megadott etimológiák között szerepel indoeurópai (**lδs-* 'megkopaszodik, tollát/szőrét hullatja'), indoírani (**das* 'tíz', *kureg* 'csirke'), óbolgár (**kis* 'бөрдө', **šabala* 'ekevas'), őstörök (**susa* 'vetelő') és balti-finn (**ruč'* 'idegen; orosz') kölcsönzés.

Az anyag vizsgálata arról tanúskodik, hogy a közpermi eredetű szókincs alapalakjainak rendszerében teljes és nem teljes etimologizálás különböztethető meg.

Teljes etimologizálás esetén egy adott szó teljesen rekonstruálható mind felépítése, mind jelentése szempontjából: **ker* 'gerenda', **majber* 'boldogság'. Ide tartozik a képzett származékszavak egy része is: **žesküt* 'szűk', **derem* 'ing'.

Nem teljes etimologizálás esetében csak részlegesen rekonstruálják egy bizonyos szó felépítését, vagy nem adják meg az alapforma jelentését. Az ilyen szócikkekben rendszerint csak a szó tövét rekonstruálják, más elemeit nem vizsgálják, mert a mai nyelvekben ezeket különböző morféma képviselik: **vel*- 'síkos' < kz. *вильыд*, udm. *волег* (KESzK: 57). Az ilyen, részlegesen rekonstruált alapalakok inkább igék esetében jellemzők: **vod*- 'lefekszik' < kz. *водны*, udm. *выдыны* (KESzK: 60); **žug*- 'üt' < kz. *жугодны*, udm. *жугыны* (KESzK: 103). Egy másik típusú nem teljes etimologizálás esetében a közös jelentés megállapításának lehetetlenségét a mai nyelvekben használatos megfelelők nagy szemantikai különbsége okozza: kz. *напыд* 'nedves, nem száraz', udm. *нап* 'sűrű' > **nap*- (KESzK: 185); kz. *мыс* 'hályogfolt, (szürke) hályog', udm. *мыс* 'külső, alak, szín' > **tus* (KESzK: 288) stb.

Ily módon tehát a kutatás során először is megvizsgáltuk a közpermi eredetű szókincs etimologizálásának technikáját. Az ősi komi szókincs egyik legfontosabb részének, nevezetesen az alapalakok rendszerének vizsgálata és a feltárt törvényszerűségek e rendszer bővítésének és további tökéletesítésének megbízható eszközeiként szolgálhatnak.

Rövidítések

kj. – jazvai komi, **kp.** – komi-permják, **kz.** – komi-zürjén, **pehl.** – pehlevi, **udm.** – udmurt

Irodalom

KESzK 1970: Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. М.

Litkin, Guljajev 1975: Дополнения к Краткому этимологическому словарю коми языка // Коми филология. Труды Ин-та яз., лит-ры и истории Коми филиала АН СССР, вып. 18, с. 3–45 (приложения). Сыктывкар.

KESzK: Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар, 1999.

Rakin, A.N. 2006: Коми-пермский компонент лексики общепермского происхождения // Пермистика XI: диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками: материалы XI Международного симпозиума. Пермь, с. 78–84.

Rakin, A.N. 2008: Удмуртский компонент лексики общепермского происхождения // Ономастика Поволжья: Материалы XI Международной научной конференции. Йошкар-Ола, с. 44–55

Николай Ракин
Тарту

**ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА С ОДНОГО ФИННО-УГОРСКОГО ЯЗЫКА
НА ДРУГОЙ (НА ОСНОВЕ КОМИ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ
ФИННО-УГОРСКИХ ПЕРЕВОДОВ «КАЛЕВАЛЫ»)**

Как известно, художественный перевод обогащает мировую литературу и культуру в целом. Его посредством читатели могут ознакомиться с литературой других народов, с их культурой, традициями, историей и особенностями повседневной жизни.

«Калевала», появившаяся в середине XIX века, и ее первые переводы обратили внимание Европы на финнов, способствовали появлению интереса к этому северному финно-угорскому народу. Этот финский эпос, собранный, обработанный и изданный Элиасом Леннротом в 1835 и 1849 годах, показал, что финский народ обладает своей культурой, традициями и историей, что на финском языке возможно создание произведений, подобных эпосам Гомера.

«Калевала» наиболее переводимое финское произведение. Она издана на 45 языках. Первый перевод «Калевалы» появился на свет в 1841 г. Это было шведское издание так называемой старой «Калевалы». Первый перевод новой «Калевалы» вышел в 1852 г. на немецком языке. Большинство переводов финского эпоса сделаны непосредственно с оригинала, в том числе на так называемые мировые языки – английский, немецкий, русский, которые в свою очередь послужили основой для переводов на многие другие языки. Следует отметить, что таким посредником оказался и венгерский язык. Так с его помощью появились на свет два перевода «Калевалы» на экзотические языки: на африканский язык пулар и на вьетнамский язык (Kaukonen 1979: 190–192; Kuusi – Anttonen 1985: 173–184; Laaksonen 1999: 165–168; Puranen 1985; Karanko 1998: 7).

Вопросы, связанные с переводами «Калевалы», актуальны и по сей день. Так, стремление иметь на своем языке наиболее идеальный перевод привело к тому, что венгры могут гордиться пятью полными переводами финского эпоса. Среди российских финно-угров уже с начала XX века предпринимаются попытки переложения этого произведения. Вначале это делалось посредством русского языка. Позже специалисты начинают работать непосредственно с финским оригиналом. Таковым, например, является перевод на коми язык А.И. Туркина.

Переводчики «Калевалы» во время своей работы столкнулись с определенными трудностями, которые были связаны в первую очередь с особенностями формы и языка финского эпоса. К особенностям формы относятся аллитерация, параллелизм и стихотворный размер. Специфика языка данного эпоса заключается в том, что он не соответствует современному финскому литературному языку, а представляет собой сплав устаревшего и диалектного финского. Ни одному из переводчиков не удалось избежать проблемы передачи особенностей оригинала и каждый из них решал ее по-своему.

В последующем мы хотим остановиться на этой проблеме на примере венгерских, коми и удмуртского переводов финского народного эпоса.

Венгерские переводы Калевалы

Согласно исследователям, уже начиная с 1835 г. в венгерской прессе появляются первые единичные сообщения о собирании финской народной поэзии, об Элиасе Леннроте и его работе. Первый венгерский ученый, кто лично ознакомился с «Калевалой», был Антал Регули (Reguly Antal). В 1839 г. он попадает в Финляндию и осенью 1840 г. в городе Вааса создает первый венгерский перевод отрывков эпоса (Voigt 1985: 423–424).

Следующими, кто экспериментирует с переводом эпоса, были Иштван Фабиан (Fabián István) и Пал Хунфалви (Hunfalvy Pál). В 1861 г. в I томе «Книги для чтения по финскому языку» Хунфалви публикует собственноручные переводы отрывков из старой и новой «Калевалы» и из «Кантелетара» (Szj 1985: 399).

На сегодняшний день на венгерском языке существует 5 полных переводов «Калевалы». Первый полный перевод появился в 1871 г., его автор – Фердинанд Барна (Barna Ferdinánd). Следующий перевод был выполнен Белой Викаром (Vikár Béla) и опубликован в 1909 г. Третий появился в 1972 г. и был работой Кальмана Надя (Nagy Kálmán). Всего спустя 4 года в 1976 г. появляется новый перевод, его автор – Иштван Рац (Rác István). Пятый и последний перевод «Калевалы» вышел в свет в 1985 г., его исполнитель – Имре Сэнтэ (Szente Imre).

Фердинанд Барна, кто впервые полностью перевел «Калевалу» на венгерский, не был профессиональным переводчиком. Финский язык он выучил самостоятельно. Его целью было сделать возможным прочтение всей «Калевалы» от начала и до конца на родном языке. И хотя ему не удалось передать настоящую атмосферу финского эпоса и его поэтические особенности, его заслугой было ознакомление венгерской читающей публики с героями эпоса, с финской народной культурой и мифологией. При переводе эпоса Барна, подобно оригиналу, помещает строки рун одна под другую. В «Калевале» вместо рифм используется аллитерация, так часто, что это является основной особенностью формы эпоса. Барна, однако, либо не считает аллитерацию важной, либо просто не замечает ее в оригинале, в любом случае, она у него отсутствует. Здесь каждая строка рифмуется с предыдущей, чего нет в оригинале. Уже у него присутствует параллелизм, но это скорее всего из-за того, что Барна жестко придерживается текста оригинала, переводит чуть ли не дословно.

Венгерские критики следующим образом оценили работу Барны: «Перевод Фердинанда Барны – пионерское начинание, но с точки зрения поэзии работа дилетантская.» «Появилась «Калевала». Фердинанд Барна, кто, может быть, и основательно знаком с финским языком и литературой, не смог в достаточной степени передать поэтической красоты известного эпоса», «Его перевод не настоящая «Калевала», а какая-то «Барневала»» (Domokos 1972: 18–19, 20).

Перевод Барны многие в свое время сильно критиковали, но все же это первопроходческая работа, которая являлась понятным тогдашнему читателю, верным оригиналу переводом. Из-за почти дословного перевода встречаются

ошибки (непоэтичность, отсутствие атмосферы оригинала), но все же он не такой уж нечитабельный, непонятный, каким его представляют критики.

Перед создателем второго перевода «Калевалы», Белой Викаром, было два пути: или подобный переводу Барны пуританский буквализм, либо неизбежное опозитизирование. Викар выбрал последнее. Это произошло вследствие того, что он, используя язык и мотивы венгерских народных песен, усиливает поэтичность эпоса. Несмотря на то, что «Калевала» не рифмованная, а где и встречаются рифмы, это результат параллелизма и сопутствующего ему синтаксиса, Викар, где только может, использует рифму, ищет как можно наиболее чистые, длинные рифмы. У него чуть ли не каждая строка рифмованная. Критики именно эту чуть ли не искусственную рифмовку считают его ошибкой. Наличие аллитерации в переводе так же ни количественно, ни качественно не достигает уровня оригинала. Строки перевода длиннее строк исходного текста. Что касается языка перевода, то для него характерно употребление венгерской диалектной лексики, использование новейших литературных слов, которые не характерны для внутреннего мира народной поэзии, намного его моложе. Сильная сторона перевода Викара в том, что в отличие от Барны, он смог передать атмосферу и поэтическую красоту оригинала. Высокую оценку этому переводу дал знаменитый финский лингвист Х. Паасонен, согласно которому, если исчезнет оригинал «Калевалы», то ее можно будет реконструировать по переводу Викара (Domokos 1983: 240). Этот перевод долгое время являлся определяющим, превратившись в классику, который обратил внимание венгерской публики на финскую литературу и, вообще, на финский народ.

В третьем венгерском переводе его создатель Кальман Надь стремится упростить помпезный язык Викара. Он выполнен на современном разговорном языке, здесь отсутствуют диалектные слова, непонятные выражения. Лексика повседневная, сдержанная. Но наряду с этим, язык «Калевалы» становится более цельным, естественным. Чаще всего в строках 3 слова. Надь впервые успешно передал трохеический размер финского эпоса. Аллитераций больше, чем у Викара. Но все же автор считает аллитерацию второстепенной по сравнению с главной задачей – как можно более точно и адекватно передать мысли оригинала. Поэтому для него намного важнее параллелизм, причем до такой степени, что часто для пущей выразительности он даже не изменяет вторую строку по отношению к первой, т.е. она повторяется, как в балладах. Он порывает с рифмами, унаследованными от Викара, работает больше с ассонансом и перекрестными рифмами, что намного ближе к оригиналу.

Следующий Венгерский переводчик «Калевалы» так определяет свои цели: «В своем переводе я старался сделать аллитерацию более заметной... Будучи привержен передаче аллитерации, передо мной постоянно вставала одна и та же дилемма: нужно было выбирать между дословной или более свободной, поэтической верностью оригиналу. Где я видел, что, изменяя отдельный эпитет или другое слово, но, однако, не нарушая содержания, имеется вариант с аллитерацией, выбирал последнее» (Rácz 1980: 406).

Самое заметное нововведение в переводе Раца – это визуальная форма эпоса. Издания «Калевалы» в Финляндии к тому времени уже выходили в новом формате. Его использует и Рац: соединяет две строки эпоса в одну. Таким образом, параллели-повторы попадают рядом друг с другом. Вследствие этого,

строки становятся длиннее, страдает динамичность, но это способствует более легкому прочтению. С другой стороны, форма становится похожей на длинные строки классических эпосов. Не только форма перевода, но и его изобразительность становится более эпической. «Калевала» Викара лирическая, Кальмана Надя – балладическая, а Раца – эпическая.

В качестве достоинств перевода Раца отмечаются современный, плавный стиль, легкочитаемость, верность оригиналу, понятность. Возможно, только поэтичность – та область, в которой ему не удалось превзойти двух своих предшественников. Викар и Надя смогли найти более сильные слова для передачи содержания эпоса.

Пятый венгерский переводчик «Калевалы» по собственному признанию перевел эпос не потому, что был недоволен результатами других переводчиков, а для того, чтобы доказать, что рядом с четырьмя хорошими переводами найдется место и пятому, который все еще может дать что-то новое (Szente 1987: 5–14).

Основные особенности перевода Имре Сенте: он помещает строки эпоса рядом друг с другом наподобие прозы, делая единицей текста отдельный обзац; большое внимание уделяется аллитерации; параллелизм здесь одного ранга с аллитерацией; количеством аллитераций и параллелизмов перевода равен оригиналу; язык перевода, однако, нельзя назвать цельным: в нем присутствуют и диалектные, и архаические, и современные слова.

Удмуртский перевод Калевалы

Первый опыт перевода «Калевалы» на удмуртский язык приходится на 1935 год. В этом году в журнале «Молот» появляется статья М.П. Петрова, посвященная 100-летию «Калевалы». В ней автор приводит 22 строки эпоса на удмуртском языке. Следующая попытка относится к 1985 году, когда в том же журнале «Молот» публикуют перевод нескольких отрывков эпоса, выполненных Анатолием Уваровым.

Далее, в 2001 году в Ижевске в виде отдельной книги выходят в свет на удмуртском языке избранные руны эпоса. Автор перевода – А.Н. Уваров. В этой книге помещены не только удмуртский перевод произведения Леннрота, но и вступительная статья, в которой переводчик знакомит читателей с обстоятельствами появления финского эпоса, рассказывает о его влиянии на немногочисленную удмуртскую интеллигенцию в начале XX века, а также об обстоятельствах работы над переводом. В конце книги помещен финский текст переведенных на удмуртский язык рун эпоса. В следующей части книги её автор в виде небольшого словаря приводит объяснения встречающихся в «Калевале» собственных имен (личных и географических названий), а также удмуртских слов, которые могут быть непонятны читателям (архаизмы, диалектная лексика).

Одной из проблем, которую нужно было преодолеть переводчику, был выбор стихотворного размера. Так как в удмуртском языке ударение в слове падает на последний слог, используемый в оригинале трохей не подходил. Наиболее употребляемые в удмуртском фольклоре размеры – ямб и анапест. На чередовании, смешении этих двух размеров строится ритм произведений удмуртской народной поэзии. Этот ритм использовал в своем переводе вышеупомянутый М.П. Петров в 1935 г. А.Н. Уваров в 1985 г. стремится

использовать восьмислоговый трохей оригинала, но приходит к выводу, что удмуртский текст, выполненный в этом размере, выглядит искусственным, чуждым. Поэтому в 2001 г. он возвращается к традиционному удмуртскому ритму. Здесь в одной строке чередуются анапест – ямб – анапест, что дает восемь слогов.

Следующая проблема, с которой встретился переводчик, – это передача аллитерации и параллелизма. Особенности удмуртского языка делают невозможной переложение аллитераций. Поэтому, как пишет сам А.Н. Уваров, он большое внимание уделяет как можно более точной передаче параллелизма. Вместо аллитераций Уваров сознательно и последовательно использует рифму.

В своей работе А. Н. Уваров опирается среди прочих и на венгерский перевод «Калевалы» Иштвана Раца (Уваров 2001: 6–8).

Коми переводы «Калевалы»

Первый комиязычный перевод отрывка из «Калевалы» появился в 1923 г. в книге «Вьль туйод» («Новым путем»). Он был сделан автором книги В.И. Лыткиным и помещен среди собственных стихотворений. Это был перевод 41 руна, в которой рассказывается об игре Вяйнямёйнена на кантеле. По мнению некоторых исследователей, в планах В.И. Лыткина, который свободно читал и говорил по-фински и в качестве стипендиата провел продолжительное время в Хельсинки, значился перевод всего финского национального эпоса. Но по определенным причинам воплотить это в жизнь ему не удалось (Domokos 2002: 127). В 1942 году в журнале «Коми му» («Коми земля») был опубликован отрывок из эпоса в 27 строк в переводе В.Т. Чисталева (Туркин 1985: 9).

Следующим, кто попытался перевести финский эпос на коми язык, был Адольф Туркин, ученик В.И. Лыткина. Сам он так описывает в статье «Калевалалы» – 150 во» («Калевале – 150 лет»), опубликованной в журнале «Войвыв кодзув» («Северная звезда»), свое знакомство с «Калевалой» и проблемы, связанные с ее переводом: «В Ленинградском Университете мне выпала удача посещать лекции и семинары, посвященные «Калевале», которые проводили большие специалисты по этому эпосу. Во время этих занятий у меня появилась идея о переводе этого эпоса на коми язык. По моему, «Калевала» очень близка живущему на севере коми народу: природа Калевалы, одежда героев, их жизнь и способ мышления похожи на коми. Два родственных языка, финский и коми, с точки зрения строения и словарного запаса также стоят близко друг к другу» (Туркин 1985: 9).

Но, несмотря на это, по его мнению, перевод «Калевалы» на коми язык – не легкое дело. ««Калевала» написана старым финским языком, в особенном стихотворном размере, которые не соответствуют коми языку. Невозможно предать на коми язык аллитерации, параллелизм и гиперболы эпоса. При переводе восьмислововым трохеем это все утрачивается. События, о которых говорится в эпосе, очень давние. В коми литературном языке отсутствует тот пласт лексики, с помощью которого можно было их отобразить. С этой точки зрения большую помощь оказывают древнепермский язык и коми диалекты. Также были очень полезны при переводе обороты коми народной поэзии и

пословицы, поговорки, соответствия которым имеются не только в «Калевале», но и в других родственных языках» (Туркин 1985: 9).

Всего в переводе Туркина в журнале «Войвыв Кодзув» было опубликовано 9 калевальских рун: первая (в 1985 г.), четвертая (1969 г.), пятая (2000 г.), шестая (2000 г.), седьмая (2000 г.), восьмая (2000 г.), девятая (2000 г.), десятая (1984 г.) и сорок первая (1980 г.).

Среди особенностей формы эпоса у А.И. Туркина на наш взгляд не было проблем со стихотворным размером, т. к. восьмисложный трохей легко передается на коми язык. Ему, с нашей точки зрения, удалось передать и параллелизм оригинала (несмотря на то, что местами он все таки, не использует его, упрощает или опускает). Аллитерация, однако, полностью отсутствует в переводе. Основной причина этого являются различия между двумя языками, в первую очередь фонетические и лексические.

Другая особенность «Калевалы», которую невозможно передать на коми – подлинность языка эпоса. Коми текст, в отличие от оригинала, звучит на литературном языке. А.И. Туркин старается вводить устаревшие слова, архаизмы, диалектизмы, но их доля в тексте мала. Подобная лексика помогает показать, что действие разворачивается в доисторические времена и то, что произведения финской народной поэзии, положенные в основание «Калевалы» родились не сегодня, а столетия назад.

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на мелкие недостатки, которые неизбежны в любой работе подобного рода, А.И. Туркину удалось воспроизвести атмосферу и суть оригинала, создать с точки зрения формы и содержания довольно точный перевод «Калевалы». Он, хотя и неполный, хорошо вписывается в ряд переводов «Калевалы», и пополняет собой число переводов, сделанных непосредственно с одного финно-угорского языка на другой.

Литература

- Barna Ferdinand 1871. *Előszó*. In.: Kalevala. A finnek nemzeti eposza. Fordította Barna Ferdinánd. Pest. 3–15.
- Domokos Péter 1972. *A finn irodalom fogadtatása Magyarországon*. Budapest.
- Domokos Péter 1983. *A Kalevala és Magyarország*. In.: Kaukonen Väinö. A Kalevala születése. 234–253.
- Domokos Péter 2002a. *A Kalevala nálunk és nyelvrokoinainknál*. In.: Domokos Péter írásaiból. Budapest. 125–130.
- Kalevala*. SKS. Helsinki. 1924.
- Kalevala. A finnek nemzeti eposza*. Fordította Barna Ferdinánd. Pest. 1871.
- Kalevala*. Fordította Vikár Béla. Budapest. 1909
- Kalevala*. Fordította Nagy Kálmán. Budapest. 1975.
- Kalevala*. Fordította Rácz István. Budapest. 1980.
- Kalevala*. Fordította Szente Imre. München. 1987.
- Karanko, Outi 1998. *Előszó*. In.: Kalevala. Fordította Rácz István. Talentum diákkönyvtár. Budapest.
- Kaukonen, Väinö 1979. *Lönnrot ja Kalevala*. Helsinki.
- Kuusi, Matti – Anttonen, Pertti 1985. *Kalevalalipas*. Helsinki.

- Laaksonen Pekka 1999. *Kalevala*. In: Finland. A cultural encyclopedia. Finnish Literature Society. Helsinki. 165–168.
- Puranen, Rauni 1985. *The Kalevala abroad*. Finnish Literature Society. Helsinki.
- Rácz István 1980. *Utószó*. In.: *Kalevala*. Fordította Rácz István. Budapest. 393–409.
- Szente Imre 1987. *A fordító előszava*. In.: *Kalevala* Fordította Szente Imre. München. 5–9.
- Szűj Enikő 1985. *A Kalevala és a magyarok*. In: *Nyelvtudományi Közlemények LXXVII*. 399–417.
- Voigt Vilmos 1985. *A Kalevala – egy 19. századi nemzeti eposz*. In: *Nyelvtudományi Közlemények LXXVII*. 418–424.
- Калевала*. Перевод с финского Л. П. Бельского. Ленинград. 1984.
- Калевала*. Удмурт кылэ берыктиз Анатолий Уваров. Ижевск. 2001
- Туркин А.И. «Калевалалы» – 150 во. In.: *Войвыв кодзув* 1985. № 7. Сыктывкар. 8–9.
- Уваров А. Азыкыл. In.: *Калевала*. Удмурт кылэ берыктиз Анатолий Уваров. Ижевск. 5–8.

THE HISTORY AND VARIATION OF THE ADJECTIVE SUFFIX *-TA

1. Introduction

This study focuses on the derivational suffix *-TA that has been used to form adjectives and on the history and variation of this suffix in the Uralic languages. Furthermore, this presentation summarizes the notions and suggestions of the previous studies in Finnic as well as in other Uralic languages.

Many descendants have been suggested for the Proto-Uralic suffix *-TA in the different Uralic languages, which include Finnic, Saamic, Mordvin, Mari, Permic and also the Samoyedic languages (e.g. Beke 1911; Lehtisalo 1936; Uotila 1933; Janhunen 1981). At least in the Finnic and Saamic languages, this suffix has been rather popular in forming adjectives, but it no longer seems productive. In the Finno-Ugric languages, the suffix is used to form adjectives and it is denominal. In the Samoyedic languages, the suggested cognate forms participles, and this has led Juha Janhunen (1981) to assume that the original function of PU *-TA would have been deverbal.

In this analysis, I refer to the suffix *-TA, which is the suggested form for the suffix in Proto Uralic (see e.g. Janhunen 1981), as in the Finnic form *-eTA, the *-e- is assumed to have split from the stem to the suffix. The form and function of the suffix *-TA has been a target of debate since Budenz (1886–87), who first made the connection between the Finnish -ea/-eä and the Permic adjective suffix Ko -jd, Udm -jt, (e.g. Uotila 1933; Lehtisalo 1936; Janhunen 1981). According to Hakulinen (1979: 121), the function of the suffix *-eTA in Finnic has been possessive: e.g. *makea* ‘sweet’ < *maku* ‘taste’, meaning that *makea* = ‘something that has taste’. It is important to note that the function of the suffix is crucial to the discussion concerning the word classes in the Uralic languages (see e.g. Pajunen 1998).

Valmen Hallap (1983) noticed that in Finnic, the suffix *-eTA (< PU *-TA) varies with the suffixes *-keTA and *-kkV, which are all used to derive adjectives. This variation seems to be common for all Finnic languages, and it is very systematic especially in Karelian. The reason for this kind of vast variation in adjectives is the need to create new expressions. This typically occurs with adjectives, but as a word class, adjectives associate with loanwords rarely (e.g. Ojanen 1985: 40). Instead, the new adjectives are mostly created through alternating suffixes, not through borrowing a word from other languages.

2. History of the suffix

In the following, I will inspect the origin of the suffix *-TA and its descendants in the Uralic languages. The suffix *-TA has been assumed to be Proto-Uralic (Janhunen 1981) and it is at least Finno-Permic (e.g. Beke 1911; Uotila 1933; Lehtisalo 1936).

The most widely accepted cognates of the suffix *-TA belong to the Finnic, Saamic and Permic language families (Fi. -eA, e.g. *vihreä* ‘green’, SaaN -at, attr. -s, e.g. *fiskat*, attr. *fiskes* ‘yellow’, Ko -jd, e.g. *jugjd* ‘luminous’, Udm -jt, e.g. *pejmjt* ‘dark’). Ödön Beke has suggested that the suffix -kəðə, -kəðə in Mari (e.g. *βiškəde* ‘flüssig, dünn,

biegsam') could be of the same origin as the Finnic **-eTA* (Beke 1911: 129). Furthermore, the Mordvin E *-do*, M *-da* (e.g. *naksado*, *naksada* 'light, luminous, bright') has been suggested as a cognate, especially with regard to the word E *valdo* M *valda* 'light, luminous, bright', that has been connected with Fi *vaalea* (e.g. Budenz 1886–87: 286; Lehtisalo 1936: 272; SKES: 1574, 1621). This Mordvin suffix *-do*, *-da* is mentioned by Serebrennikov, who considers it to be an adjective suffix (1967: 215). In her handbook of the Mordvin languages (1999), Raija Bartens does not mention this type of suffix. The Reverse dictionary of Mordvin has only a few words with this suffix, and most of them seem to be participles, e.g. E *ozado* 'sitzend, in sitzender stellung' (Luutonen et. al 2004; MdWb: 1481).

One potential cognate to the Finno-Permic (or Uralic) **-TA* that might occur is a colour suffix *-tə* in Khanty, (e.g. *wir-tə* 'red' < *wir* 'blood' (= Fi *veri* 'blood')). This suffix is rare and occurs in a few colour terms only: *Пумы* 'black' (~ Hu *fekete* 'black'), *вурмы*, *урмы* 'red', and *восмы* 'green, blue' (Šuryškar dialect). The first example, *wirtə*, clearly indicates that the *-tə* is used as a suffix, as the form is still a transparent derivation from *wir* 'blood'. One would expect that the vowel in the end would have disappeared, which is the regular development in Khanty. It has been maintained that when suffixes carry an independent meaning or function, they may alter differently than stems (Korhonen 1991). Thus, it is possible that the end vowel (*-ə*) is preserved because of its function as an adjectivising suffix.

The Uralic origin of the adjectival suffix **-TA* is dependent on one, single adjective, namely **pilmz* 'dunkel, dunkel werden' (Fi *pim-ää*, Ko *pem-ïd*, NeT *paw°-dya* 'dark-PCPLE') (UEW 381–2). Janhunen (1981) suggests two Proto-Uralic forms, **pilmz* 'be dark' and **pilmitä* 'dark' that is **pilmz* with the added suffix **-TA* (Janhunen 1981). Janhunen (ibid.) assumes that the participle suffix in Samoyedic, for example, in Nenets *paw°-dya* 'dark-PCPLE' would be a descendant of the Uralic suffix **-TA*. However, Tibor Mikola (2004: 131) has demonstrated that in the Proto Samoyedic, the participle form has been **-ntV* (> neT *-dya*) and because of this **-n-*, it does not phonologically match with the PU suffix **-TA*. According to an e-mail conversation with Tapani Salminen (2010), the Proto Samoyedic form of the Tundra Nenets *paw°-dya* should be **pəjmüjtä*, and this does not fit in phonologically with the suggested PU form **pilmitä*. In earlier studies uncertainty also arose over the Permic suffixes Ko *-ïd*, Udm *-ït* due to the voiced stop in Komi where a nasal **-n-* would have been expected (Setälä 1896: 432; Hallap 1983: 431). However, the form *-ïd* is a later development in Komi, where the single stops have become voiced after the second syllable (Bartens 2000: 38). Udmurt as well as some dialects of Komi still represent the older voiceless *-t*.

Janhunen assumed that the original function of the suffix **-TA* would have been deverbal because the suggested cognate in Samoyedic is used in forming participles. In all other languages where this suffix still occurs, the function is only adjectival, and there seems to be no division in which the suffix would be used to form adjectives from verbs rather than nouns, or vice versa. This means that we have to take into account the possibility that this suffix would have been used exclusively to form adjectives. If there was an adjective suffix, should there also have been a category for adjectives in Finno-Permic or even in the Finno-Ugric languages? (For a more in depth discussion of the word classes in the Uralic languages, see e.g. Pajunen 1998.)

3. Variation

3.1 Variation **-eTA*/**-keTA*/**-kkV* in Finnic languages

The Finnic suffix **-eTA* (PU or PFP **-TA*) varies with the suffixes **-keTA* and **-kkV* in the Finnic languages (Hallap 1983). Moreover, the forms **eTA*/**-keTA*/**-kkV* can be treated as allomorphs of one and the same suffix. Thus, changing the suffixes does not usually cause changes in the semantical content of the word. The form *-kkV* is rather an exception, as it is more noun-like than the other two, e.g. Finnish *vaalea* ‘light (of colour)’, *valkea* ‘white’, *valkko* ‘a white horse’. The form *-kkV* is likewise found in the word forms *vireä* ~ *virkeä* ~ *virku* ‘lebhaft, flink’ (see Table 1). The form *virku* can be used either as a noun or as a name of some animal, unlike the word forms *vireä* and *virkeä*, that are strictly adjectives. The suffix *-kkV* is also etymologically of a different origin than the suffixes **-eTA* and **-keTA*. Hallap (1983: 432) assumes that the original form would have been **-kkA*, as in Finnish forms *jyreä* ~ *jyrkeä* ~ *jyrkä* ‘steep’. In addition, the suffix *-kkV* seems to be more common in Karelian and in the Eastern dialects of Finnish than in the other Finnic languages.

The forms **-eTA* and **-keTA* are almost alike, except for the *-k-* in the latter form. There are some plausible explanations for the appearance of this *-k-* in the suffix. The first is that the *-k-* is originally from the stem of some word that has been understood as being part of a suffix. This kind of explanation is offered for the vowel **-e-* in the suffix. It is thought to have split from the stem to a part of the suffix. It is probable that the original suffix **-TA* has been used predominately in the end of the words ending with **-i* or **-e*.

The second plausible explanation is that the suffix **-keTA* constructs of two separate suffixes. For example, Lude has the adjectives *leved* ‘broad’ and *lefked* ‘quite broad’. The meaning in the form with *-ked* is moderative, and thus suggests that *-k-* originally may have been a moderative suffix. This assumption requires more evidence, and it has to be also considered, that the moderativity of the suffix *-ked* may have developed later in Lude, or this might also have been merely a coincidence.

The third plausible explanation is that the appearance of *-k-* may also be connected to a wider phenomenon where the velar stop appears in a consonant cluster, as in the words Fi *helistä* ~ *helskyä* ‘jiggle’ (see e.g. Kulonen 2010), but also in Proto Uralic **piðe* ~ **piðkä* (> Fi *pitkä*) ‘long’, of which the latter has been interpreted as a derivation **pið-kä* (Janhunen 1981: 239).

Suffix variation in Finnish has been studied by Osmo Nikkilä (1998), and he has also taken into account other suffixes or endings than only the ones I have presented in this paper. He compares such word forms as *musea* ~ *musta* ‘black’, *lyheä* ~ *lyhyt* ‘short’, *nopea* ~ *nopsa* ‘quick’. He has used a term *suffiksinvaihto* ‘suffix alternation’ of a phenomenon of this type, and points out that when studying this type of variation, attention should be turned to morphology instead of phonology. The etymological dictionaries usually ignore this type of variation, although it seems to be regular and also analogical, as Hallap (1983) as well as Nikkilä (1998) have shown. The dictionaries use the term *descriptive* as an explanation to this variation. For example, in SSA, words such as *vireä*, *virkeä* and *virku* have each a word article of its own (SSA 3: 455, 457), but the words are compared, and the explanation is that these words are of the same, possibly descriptive origin. The term *descriptive* does not offer any answers to etymological questions, and the etymological dictionaries are criticized for the vast

use of a term that itself is rather vague and difficult to explain (Nikkilä 1998, Saarikivi 2006).

	FiW	FiE	Ing	Ka	Lu	Va	Ve	Est	Li	SaaN
<i>vir-eä</i>	<i>vireä</i>	<i>vireä</i>		<i>viirie</i>				<i>vire:vired</i> <i>a</i>		
	Rege, rührig, lebhaft, flink; stark (Wind)	virkeä, reipas, ripeä, virkku, ahkera		lebhaft, aufmerksam, munter				quick, nimble; sharp, bitter (wind)		
<i>vir-keä</i>	<i>virkeä</i>	<i>virkeä</i>						<i>virges</i>	<i>virgiji, virgī</i>	<i>fargat; fargad-</i>
	lebhaft, aufmerksam, munter	lively, active, spry						energetic, diligent, lively, active, spry	lively, vivid, active	quick, energetic
<i>vir-kkV</i>	<i>virkaa, virkko</i>	<i>virkaa, virkko, virkka</i>		<i>virkku</i>			<i>virkku</i>	<i>virkk:</i> <i>virgu, virga</i>		
	lebhaft, rege, rührig; flink, aufmerksam; fleißig	lebhaft, rege, rührig; flink, aufmerksam; fleißig		energetic; diligent			energetic	energetic, vivid, diligent		

Table 1. The variation of *vireä*, *virkeä*, *virkkV* in Finnic and North Saami.

3.2 Remarks on the variation in other Uralic languages

	FiW	FiE	Ink	Ka	Lu	Va	Ve	Est	Li	Md	Ma
<i>vaalea</i>	<i>vaalea</i> , <i>vaaleva</i>	<i>vaalea</i> , <i>vaaleva</i>	<i>vālia</i>	<i>voalie</i>			<i>vālia</i>				
			light (adj)	light (adj)			light (adj)				
<i>vale-</i>	<i>valeva</i>							<i>valev</i>			
								light, shining			
<i>valkea</i>	<i>valkea</i>	<i>valkea</i>	<i>valkie</i>	<i>valkie</i>	<i>valged</i>	<i>vauged</i>	<i>valkea</i>	<i>valge</i>			<i>valjəðə</i>
	fire	white; bright, luminous	white; bright, luminous; n. light, fire	white; blond; pale; luminous; light; eggwhite	white, luminous; light (noun)	white, luminous, bright (noun)	white, luminous	white, luminous; light (noun)			brightness, clearness; bright, clear
<i>vald-</i>									<i>vālda</i>	<i>valdo</i> , <i>valda</i>	
											luminous
											white; white cow

Some examples suggest that the form **-keTA* would also occur in other than Finnic languages. For example, Hallap presents examples from Mari and Mordvin where the form **-keTA* also may occur (Hallap 1983: 431). In some cases words with the suffix **-keTA* seem older than the ones with only **-TA* (or the Finnic form **-eTA*). For example, the Finnish *virkeä* ‘lively, active, spry; fresh’, also occurs in Saamic: SaaN *fargat* ‘quick, agile’, but the form *vireä* does not occur outside the Finnic languages (see Table 1). However, this is not always the case. The Finnish adjectives *vaalea* ‘light (adj.)’, and *valkea* ‘white’, both have cognates found in Uralic languages (see Table 2.). In SSA (3: 384, 399), as well as in SKES (pages 1574, 1621), these words are in separate articles, and the cognates from other languages are added to the articles according to whether there are references to the former **-k-* in the consonant cluster or not. It is obvious that the words *vaalea* and *valkea* are etymologically of the same origin, and they seem to follow the **-eTA/*-keTA*-variation. The Mari word *walyǎḏḏ* ‘brightness; clarity; bright, clear’, has the *-k-* in the middle. Mordvin E *valdo*, M *valda* ‘light, luminous, bright’, could be a cognate of either Finnish *vaalea* or *valkea*, at least according to SSA (3: 384). The Livonian form is *vālda* ‘white; name for a white cow’, and in the Salats dialect the form is *vald* (pl. *valded*) (Kettunen 1938: 473). Kettunen assumes that the original form could have been **valgda*. Usually the Livonian cognates of the Finnish adjectives with suffix *-ea* have suffix *-də*, e.g. *liebdə* ‘mild’ = Fi *liepeä*.

The Saamic has some words that could have the same type of variation as in Finnic (all the examples mentioned here are from North Saami). One suggestion is that in Saamic, the word *njuolgat* (attr. *njulges*) ‘straight’, would have been developed from the word *njuolla* ‘arrow’ using the suffix **-keTA*. Another example could be the two terms for grey: *čuoŕri* and *čuorgat*. Sammallahti has stated that the word *čuorri* is of a Proto-Aryan origin: SaaN *čuorri* < PS **čōrē* < P-Ary. **šārā-* ‘bunt, scheckig’ < PIE **kē-ro-* ‘Farbzeichnung’ (Sammallahti 1999: 78; Lehtiranta 2001: 30–31). If this etymology is correct, it is probable that the form *čuorgat* has been created independently in Proto Saamic (PS **čōrke*). In that case, the **-k-* would belong to the suffix, not to the stem.

4. Discussion

The results I have presented thus far are the following: in light of recent research, it seems that the suffix **-TA* cannot be reconstructed as Proto Uralic. Janhunen’s suggestion has been that the participle ending in Samoyedic would reconstruct to the suffix **-TA*, but this does not seem to be correct. However, the suffix is at least Finno-Permic, and perhaps even older if the comparison with the suffix *-t3* in Khanty (as in *wirt3* ‘red’) is correct. Losing the Samoyedic part from the list of suffixes re-opens the question of the original function that the suffix **-TA* has had. In all languages that it occurs in now, it is used to form adjectives and thus there is no other function yet to be attributed to the suffix earlier in history. If this is the case, it adds a new element to the discussion of the history and development of the adjectives in the Uralic languages.

The variation **-eTA/*-keTA* is widespread and regular in the Finnic languages and some references suggest that this variation might also occur in some other Uralic languages. This type of suffixal variation should also be studied further in the other Uralic languages than the Finnic. The research should also be extended to cover other suffixes and to attempting to find regularities instead of abandoning analysis when

encountering problems related to a variation that seems to be very typical to adjectives (e.g. the list of Nikkilä 1998) and also, on some level, of verbs (e.g. Kulonen 2010). As Nikkilä has pointed out, in these cases, the etymological study should concentrate on what kind of suffixal variation different words have, especially adjectives, and whether there are some other suffixes that vary similarly to *-eA/-keA/-kkV*. It would also be important to find out the underlying mechanisms as to how this variation has been produced.

References

- Bartens, Raija 1999: *Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys*. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 232. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- Bartens, Raija 2000: *Permiläisten kielten rakenne ja kehitys*. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 282. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- Beke, Ödön 1911: *Cseremis nyelvten*. Finnugor Füzetek 16. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
- Budenz, József 1886–87: Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első rész. Az ugor nyelvek szóképzése. – *Nyelvudományi Közlemények* 20.
- Hakulinen, Lauri 1979: *Suomen kielen rakenne ja kehitys*. Neljäs, korjattu ja lisätty painos. Helsinki: Otava.
- Hallap, Valmen 1983: Eesti ja sugulaskeelte adjektiivitüüpe. *Keel ja kirjandus*, pp. 422–432.
- Janhunen, Juha 1981: Uralilaisen kantakielen sanastosta. *Journal de la Société Finno-Ougrienne* 77, pp. 219–271. Helsinki: Société Finno-Ougrienne.
- Kettunen, Lauri 1938: *Livisches Wörterbuch*. Lexica Societatis Fenno-Ugricae V. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- Korhonen, Mikko 1991: Uralin tällä ja tuolla puolen. Johanna Laakso (ed.): *Uralilaiset kansat. Tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista*. Helsinki/Juva: WSOY.
- Kulonen, Ulla-Maija 2010: *Fonesteemit ja sananmuodostus – Suomen kontinuaatiivisten U-verbijohdosten historiaa*. Suomi 197. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
- Lehtiranta, Juhani 2001: *Yhteissaamelainen sanasto*. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 200. 2. painos. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- Lehtisalo, Toivo 1936: *Über die primären uralischen Ableitungssuffixe*. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 72. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- Luutonen, Jorma – Mosin, Mikhail – Shchankina, Valentina 2004: *Reverse dictionary of Mordvin*. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XXIV. Helsinki: Société Finno-Ougrienne.
- MdWb = *Heikki Paasonens Mordwinisches wörterbuch*. Zusammengest. von Kaino Heikkilä. Unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearb. u. hrsg. von Martti Kahla. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XXIII: 1–4. Helsinki 1990–1996: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- Mikola, Tibor 2004: *Studien zur Geschichte der samojedischen Sprachen*. Studia uraloaltaica 45. Szeged: SzTE Finnisch-Ugrisches Institut.
- Nikkilä, Osmo 1998: *nop-ea* → *nopsa*, *selkeä* → *selvä*: Suffiksinvaihto ja suomen sanojen etymologointi. – Urho Määttä & Klaus Laalo (toim.), *Kirjoituksia muoto-*

- ja merkitysoipista*, pp. 77–101. *Folia Fennistica & Linguistica* 21. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
- Ojanen, Muusa 1985: *Adjektiivikategoria venäläis-lyydiläisissä kontakteissa. Lingvistinen interferenssitutkimus*. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 188. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- Pajunen, Anneli 1998: Pääsanaluokkien eriytymättömyydestä uralilaiskielissä. – Anneli Pajunen (ed.): *Kieliopillistumisesta, analogiasta ja typologiasta*, pp. 59–109. Suomi 185. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
- Papp, Ferenc 1969. *Reverse-alphabetized dictionary of the Hungarian language*. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- Saarikivi, Janne 2006: Vanhoja etymologioita uusissa kansissa. – *Virittäjä*, pp. 111–123.
- Saarikivi, Janne 1999: Saamen kielen ja saamelaisten alkuperästä. – Paul Fogelberg (ed.): *Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan*, pp. 70–90. *Bidrag till kannedom av Finlands natur och folk* 153. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica.
- Serebennikov, B. A. 1967: *Istoričeskaja morfologija mordovskih jizikov*. Moskva: Nauka.
- Setälä, E. N. 1896: A finn-ugor δ és δ' . – *Nyelvtudományi Közlemények* 26, pp. 377–437.
- SKES = Y.H. Toivonen & Erkki Itkonen & Aulis J. Joki & Reino Peltola 1955–1978: *Suomen kielen etymologinen sanakirja* 1–6. *Lexica Societatis Fenno-Ugricae* XII. Helsinki: Suomalaisen-Ugrilainen Seura.
- SSA = Erkki Itkonen & Ulla-Maija Kulonen (eds.) 1992–2000: *Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja*. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 556, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 62. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus – Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
- Uotila, T. E. 1933: *Zur Geschichte des Konsonantismus in den permischen Sprachen*. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 65. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Александра Родионова
Петрозаводск

ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА КАРЕЛОВ

Категории пространства и времени занимают одно из центральных мест не только в лингвистике и других науках, но и в повседневной жизни человека. Ведь всё, что человек познает и делает, происходит в определенном месте и определенное время. Человек существует в пространстве и времени: все, что он осуществляет, о чем мыслит – связано со временем и пространством. С одной стороны пространство и время влияют на человека, с другой стороны сам человек влияет на пространство и время, становясь центром пространственно-временных отношений. В традиционной культуре пространство признается как безграничное, а время как бесконечное. Последовательность событий (время) и их мерность (пространство) имеют оценку только благодаря наличию наблюдателя (Дмитриев: 2007: 267).

Существует несколько различных, и в тоже время взаимосвязанных и взаимообусловленных подходов к решению проблемы определения пространственно-временных отношений: философско-эстетический, психологический, общеискусствоведческий и филологический, который, в свою очередь, подразделяют на литературоведческий, лингвистический и фольклористический (Герасимова: 2008: 12). В своем докладе я остановлюсь на лингвистическом подходе.

Лингвистическим аспектом категории пространства и времени называется совокупность способов выражения средствами языка сущности физического и философского аспектов различных категорий. К фрагментам системы языковых средств выражения пространства и времени относят падежные словоформы (грамматический способ выражения пространства и времени), послелогии (синтаксический) и наречия (лексический). Рассмотрим каждый способ более подробно.

Лексический способ (при помощи наречий, обозначающих пространство и время):

Наречие является неизменяемой частью слова, выражающей место, время, состояние, количество и т.д. Наречия находятся в определенных синтаксических связях с глаголом, уточняя характер его действия. Значение многих наречий места и времени детализируется в контексте.

Все наречия, служащие для выражения пространственных и временных отношений, так же как и падежи, послелогии и предлоги, имеют значения места, пространственного направления и времени.

В карельском языке наречий, обозначающих место и пространство, огромное количество: например, ливв. *aiganah* 'современно, вовремя'; *aigassah* 'до поры, до времени'; *alguperäh* 'первоначально, сначала'; *rinnal* 'рядом'; *ymbäri* 'вокруг' (см. СКЯ), собств.-кар.: *alahakkali* 'низко, низом'; *aikaseh* 'ранехонько'; *ennein* 'раньше'; *rinnalla* 'рядом' (см.: КРС).

Наречия, выражающие пространственные выражения определяют как, местонахождение предмета, так и движение его в пространстве, являясь при этом богатой различными семантическими оттенками и нюансами грамматической категорией частью речи, отличающейся по своим морфологическим, синтаксическим и семантическим признакам от других: *aloih* 'вниз', *ympäri*, *ymbäri* 'вокруг', *rinnal*, *rinnalla*, *lähäl*, *vieres* 'рядом' и т.д.

Временные наречия в предложении определяют время действия в предложении, и указывают на конкретное время (значение времени года, частей суток, значение времени по отношению к какому-либо определенному периоду как исходной точке отсчета), относительных отрезков времени (указывающие на кратковременность или близость совершения действия, выражающие его давность или продолжительность, временную соотнесенность действий, указывающие на начальный, исходный момент действия, значение неопределенности времени совершения действия) и частотность действия: *aikaiseh*, *aigazeh* 'рано', *amtuin*, *amtu* 'давно', *huomena*, *huomei* 'завтра', *ikinäh* 'никогда', *nugöi* 'сейчас' и т.д.

В данной статье мы остановимся на морфологическом и синтаксических способах выражения пространственно-временных отношений, семантике грамматики пространства и времени. Термин «семантика грамматики» впервые употребила польский лингвист Анна Вежбицкая. Она открыла новую область семантических исследований – толкование смысла грамматических показателей, ведь семантика – это смысловая сторона, значение отдельных языковых единиц: морфем, слов, словосочетаний, а также грамматических форм. Падежные окончания, послеложные конструкции имеют свою семантику. По мнению исследователя семантичен и синтаксис. Моё исследование посвящено семантике грамматике пространства и времени в карельском языке.

Следует отметить, что пространственные отношения, наряду с временными, являются одним из типов базовых отношений, воспринимаемых человеком и отображаемых формами языка. Пространственно-временные координаты присущи всякой материи, стоит отметить, что пространственные отношения более просты в восприятии, нежели временные. Пространство связано с существованием предметов действительности, время – с последовательностью и сменой состояний. В связи с этим, для осознания пространственных связей достаточно непосредственного восприятий устанавливающего их лица, для осознания временных связей человеку необходимо пережить или отметить в наблюдаемом объекте смену ряда состояний. Именно поэтому во многих языках пространственные отношения выступают, как первичные (ТФГ 1996: 6–7). Это касается и падежной системы. Как известно, еще в прафинно-угорском языке из 5–6 имевшихся падежей (мнения ученых-финноугроведов о количестве падежей в языке-основе отличались друг от друга) (см. напр. Основы 1974: 234–235, Зайцева 1981: 27–30) локатив, латив и аблатив обладали явным местным значением.

В архаичной картине мира пространство не противопоставлено времени. Пространство и время не отделимы друг от друга, образуя пространственно-временной континуум. В мифопоэтическом хронотопе время сгущается и становится формой пространства, в свою очередь, пространство

темпорализуется. В ряде языков встречаются совпадения в обозначении больших единиц пространства и времени, например, значения *земля, мир, пространство* с одной стороны и *год*, с другой передаются однокоренными словами: ср. лат. *orbis* 'окружность круг', *orbis terrarum* 'земля, мир', *orbis temporum* 'круговорот времени, год'. Русское слово пространство обладает исключительной семантической емкостью и мифопоэтической выразительностью. Его внутренняя форма (**pro-stor-*: **pro-stirati*) апеллирует с такими смыслами, как *вперед, вперед, вовне, открытость, воля*. По мнению Топорова, если прислушаться к языку, то в слове пространство явно слышится некий простор (Топоров 1983).

Поэтому неудивительно, что грамматические формы с основным пространственным значением обозначают и время. Так, например, в карельском языке все внутренне-местные падежи (инессив, элатив и иллатив), а также внешне-местный падеж адессив обладают и временным значением. Причем основные значения пространственных падежей совпадают с основным временным.

В серию внутренне-местных падежей входят инессив, элатив, иллатив, общим для которых является обозначение действия внутри чего-либо, вхождение или выходение из чего-либо, т.е. из значения связаны с внутренней сферой предмета, лица, явления:

Инессив. Основным значением инессива является обозначение места, находящегося внутри чего-либо.

ливв. *Andilas istuu suures čipus* (где?) 'Невеста сидит в красном углу' (Essoilan külä); с.-к.: *Lahnua on miän järvissä on oikein* (Oulanka) (где?) 'Лещ в нашем озере водится' (NKK: 1994, 33); люд. *paštettih kodis* (где?) (Kuujärvi) 'дома (в доме) пекли' (NKK: 1994: 442).

Кроме этого инессив обозначает также и время, в течение которого совершается то или иное действие:

ливв.: *Käüzin minä vuvves kerdua kaksi* (когда?) (Essoilan külä) (№ 699) 'Ходил пару раз в год'; с.-к.: *Vuuvvessa on nellä Iivanan päivyä* (когда?) 'В году четыре Ивановых дня'; люд. *üöss em tagannu* 'всю ночь не спал' (Kujola: 1944: 507).

Элатив передает значение исходности.

ливв.: *Sit Norjaspäi tul dih kaksi nuordu miestä* (откуда?) 'Потом из Норвегии прибыли двое молодых мужчин' (Essoilan külä), с.-к.: *Mečästä suau hos midä* (откуда?) 'Из леса можно принести хоть чего'; люд.: *Kived otetaa päčis pie* (откуда?) (Tiudia) 'Камни достают из печи' (NKK: 1994: 351).

Для элатива характерно также указание на время начала действия (когда? = с какого момента времени?):

ливв.: *Ongele mendih ildupäiväs* (когда? = с какого момента времени?) 'На рыбалку пошли с вечера'; с.-к.: *Huomeneksesta alkau kouluaika* (когда = с какого момента времени?) 'С завтрашнего дня начинается учеба в школе'.

Иллатив указывает на вхождение во внутрь чего-либо:

ливв.: *Riäpöi tulou randah* 'Ряпушка подходит к берегу' (Essoilan külä) (№ 696); с.-к.: *Verkoja panet järveh* (Oulanka) 'Сети закинешь в озеро' (NKK: 1994, 32); люд.: *Šiid e panet päčči* (Tiudia) 'Потом и положишь в печь' (NKK: 1994: 355).

Иллатив может обозначать время, до которого совершается какое-либо действие:

ливв.: *Viego piässen toizeh päiväh vai täl kuollen?* (когда? =до какого момента времени?) (Essoilan külä) (№ 702/1) 'Доживу ли до завтра, или здесь умру?'

В собственно-карельском наречии иллатив употребляется чаще всего с послелогом *suati* 'до': с.-к.: *Tähä päiväh suati potakkua ei liikutettu* 'До этого дня картошку не трогали' (когда? = до какого момента времени?).

Интересно, что в серии внешне-местных падежей временным и пространственным значениями одновременно обладает лишь адессив. Как известно, в карельском языке принято выделять 3 внешне-местных падежа – адессив, аблатив и аллатив, однако в диалектной речи эти падежи слились в одно: окончанием аллатива-аблатива-аллатива в говорах ливвиковского и людиковского наречий является *-l*, в собственно-карельском наречии окончание адессива *-lla* совпадает с окончанием аблатива (см. Атлас, 1997, к. 123):

ливв.: *Istummo kivel* (где? на чем?) (Essoilan külä) (№ 702/1) 'Сидим на камне'; с.-к.: *Järvien rannoilla eletti* (где? на чем?) (Kontokki) 'На берегах озера жили' (NKK: 1994, 111); люд.: *Keiteta päčän hiilel* (где? на чем?) (Tiudia) 'Варят на углях в печи' (NKK: 1994, 349).

Адессив также обозначает время суток, года, когда происходило действие:

ливв.: *Läkkä tüünel illal järviä müö soudelemah* (когда? в какое время?) (Essolan külä) (№ 705) 'Пойдем тихим вечером на озеро покатаемся на лодке'; с.-к.: *šükšüllä i kešällä* (когда? в какое время?) (Oulanka) 'осенью и весной' (NKK 1994, 32); люд.: *Talvel müö huuhtoimme randas* (когда? в какое время?) (Tiudia) 'Зимой мы полоскали на берегу' (NKK 1994, 350).

Наряду с падежами в финно-угорских языках всегда использовались послелого, которые дополняли падежную систему, выражая локальные или грамматические связи. Значение места и времени зависит от семантики послелога: напр. *al, alla* 'под' < *ala* < **alak* (SSA I, 66) "нижняя часть, находящийся внизу, нижний и т.д.", *tagua* 'за' < *taka* < **tayak(-)* (SSA, III, 257) "задняя часть, находящийся внизу, задний", *rinnal* "рядом, около" (ср. кар. *rindu, rinta* "грудь"), *korval* "около" (ср. кар. *korva, korvu* "ухо"), *aigua, aigah, aijakse* 'во время' < ливв. *aigu* 'время', фин. *aika*, вепс. *aig* и т.д.

Существует определенный иерархический ряд в развитии значений: пространство > время > причина. Отсюда многие конструкции, имеющие свое основное пространственное значение развивают в себе как временное, так и, например, причинное. Примером этому служат некоторые послелого карельского языка, обозначающие пространство, и, вследствие, например, влияния других как близкородственных, так и неродственных (речь, прежде всего, идет о влиянии русского языка) обладают и другими значениями (причины, цели и т.д.):

ливв. *kiriköin ümbäri* (где?) 'вокруг церкви' (Kiiškoinniemi) ср. *Sroičan pien ümbäri* (когда?) (Ugmoilu, № 695) 'во время Троицы'; с.-к. *d'ärven ymbäri* (где?) (Paatene) 'вокруг озера' (KKS, VI, 753) ср. *vuvvet ympäri* (как долго?) (Kontokki) 'в течение года' (KKS, VI, 754);

ливв. *seinii müöten* (где?) 'вдоль стен' (Korza, № 697) ср. *aigoa myö* (когда?) (Säämäjärvi) 'время от времени' (KKS, III, 404) ср. *sidä müö* (поэтому, согласно этого) *dogadiimmos* 'Я поэтому (и) догадался' (СКЯ: 1990, 218); с.-к. *siltua myöten!* 'по мосту!' (КРС: 1999, 112) ср. *karvoa myöte* (по какому признаку?) (Tunkua) 'по масти (животного)' (KKS, III, 408); люд. *randam müödäi* 'по берегу' ср. *meid müö* 'по нашему мнению' (Kujola: 1944, 251-252).

Группа послелогов с пространственным значением в карельском языке наиболее обширна кроме того, языковеды полагают, что именно послелого, обозначающие ориентацию в пространстве, являются самыми древними из всех послелогов. Именно пространственные послелого вследствие полисемии стали обладать и другими значениями.

Зачастую и послеложные конструкции с основным пространственным значением, обладают и временным. Это можно пронаблюдать на примере нижеперечисленных конструкций:

Инессивная форма послелого *ies* (*iessä, edes*) 'перед' выступает в послеложных конструкциях с основным пространственным значением, это можно проследить во всех основных наречиях карельского языка:

ливв.: *päč̄in ies* (где?) *keitettih* (Säämäjärvi) 'перед печью (в печи) варили' (NKK: 1994, 280); с.-к.: *nenän iessä* (где?) 'перед носом' (КРС: 1999, 20, 36); люд.: *püörüü zirkalon edes* (где?) 'Долго перед зеркалом кружится' (ЛТ, III, 77).

Адессивная форма *iel* (*iellä, edel*) чаще выступает в послеложных конструкциях со значением времени:

ливв.: *Vihman iel* (когда?) *käzīi ülen äijäl kivištäü* (Vieljärvi) 'Перед дождем сильно болят руки; с.-к.: *šurman iellä* (когда?) (Paatene) 'перед смертью' (KKS, I, 422); люд.: *vihman edel* (когда?) 'перед дождем' (Kujola 1944, 44).

Послелог *ymbäri* (*ympäri*), обладая основным пространственным значением, в конструкциях выступают и в значении времени:

ливв.: *Kiriköin ymbäri* (где?) *koit oldih* (Kiiškoinniemi) 'Вокруг церкви стояли дома'; *Pyhälaskuloin ymbäri* (когда?) *pani lundu* (Säämäj.) 'Во время мясопушта выпал снег' (KKS, VI, 753); с.-к.: *niemen ympäri* (где?) (Uhtua) 'около мыса'; *magain tšuassut ymbäri* (сколько?) 'спал в течение нескольких часов' (KKS, VI, 753); люд.: *kolodass ümbäri* (где?) 'вокруг колоды' (Kujola 1944, 506).

Во время опроса информантов различных возрастных групп в ходе экспедиций в Пряжинский район Р. Карелия было установлено, что и в настоящее время жители могут использовать в составе послеложных конструкций со значением пространства и времени один и то же послелог:

Словосочетания *около дома, около пяти вечера* были переведены одним из информантов следующим образом: *rinnas kodi* 'рядом с домом', *rinnas viizi* 'около пяти' (п. Пряжа). Здесь, конечно же сказывается влияние русского языка, когда послелог *rinnal* используется в качестве предлога, а входящее в состав, в данном случае уже предложной конструкции, существительное употреблено информантом в номинативе. Второй информант перевёл вышеназванные словосочетания следующим образом: *kodin rindal* 'рядом с домом', *viijen čuasun rindal* 'около пяти вечера' (п. Пряжа), используя в конструкциях со значением пространства и времени послелог *rindal*.

Столь значительное количество послеложных конструкций с пространственно-временным значением можно объяснить тем, что при формировании языковой картины мира еще древними прибалто-финнами, для них важно было более точно определить именно пространство и время действия, которое совершается в пространстве. Достаточно сложно определить, какое значение, пространственное, или временное было первичным, какое – вторичным. Еще у древних карелов пространство и время не отделимы друг от друга: они рассматривали пространство и время как единое целое, в связи с этим в грамматике языка мы

наблюдаем так называемый дуализм основных значений падежей, так и послеложных конструкций.

Литература

- Дмитриев В.А. Пространство и время в традиционной культуре: историографический аспект историко-культурного изучения // Вестник Санкт-Петербургского университета, 2007. № 4. С. 267–280.
- Зайцева Н.Г. Именное словоизменение в вепском языке. Петрозаводск: Издательство Карелия, 1981. 182 с.
- Основы = Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. М.: Наука, 1974. 425 с.
- Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 227–284.
- ТФГ = Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Поссесивность. Обусловленность. Спб: «Наука», 1996. 230 с.

Сточник

- Атлас = ALFE = Atlas Linguarum Fennicarum I. Helsinki: SKS, 2004. 464 с.
- KKS = Karjalan kielen sanakirja. Helsinki: Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, I – 1968. 576 с.; VI – 2005. 782 с.
- Kujola J. Lyydiläismurteiden sanakirja. Helsinki: SUS, 1944. 543 с.
- LT = Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä, III. Helsinki: SUS 131, 1964. 402 с.
- NKK = Näytteitä karjalan kielestä I (Образцы карельской речи). Joensuu–Петрозаводск, 1994. 455 с.
- SSA = Suomen sanojen alkuperä. Helsinki: SKS, I – 1992. 486 с.; III – 2000. 503 с.
- KPC = П. Зайков, Л. Ругоева. Карельско-русский словарь (северно-карельские диалекты). Karjalais-venäläini sanakirja (pohjois-karjalaiset murteet). Petroskoi: Periodika, 1999. 216 с.
- Расшифровки магнитофонных записей из личного архива канд. филол. наук Рягоева В.Д. (Фонограммархив Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН)

ВЫВОДЫ СИБИРСКИХ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК ИЗ 19 ВЕКА

В конце 19 века в Финляндии Финно-угорское Общество послало молодых исследователей в Сибирь для изучения языка и культуры малых родственных народов: ханты и манси. Среди учёных были этнограф У.Т. Сирелиус, лингвист К.Ф. Карялайнен. В то же время в Венгрии граф Зичи организовал третью экспедицию в Азию с участием молодых талантливых специалистов: этнографа Яноша Янко, лингвиста Ёжефа Папаи, археолога Бела Пошта.

Финские и венгерские учёные вступали в связь друг с другом, даже некоторые из них работали и вместе. По обычаю той эпохи каждый из названных учёных писал дневник во время своих научных экспедиций. Из этих записок многие уже напечатаны, но до сих пор только в рукописи можно читать дневники Ёжефа Папаи. Все дневники этих исследователей сам по себе являются увлекательными чтениями. Сопоставляя их друг с другом мы узнаем много интересных деталей о том же самом событии с разных точек зрения.

Большая часть рукописного наследия Ёжефа Папаи хранится в Дебрецене, в библиотеке Реформатской Коллегии. Известный учёный финно-угроведения в этом городе жил и работал с 1908-ого года до его смерти (1931). Папаи только что окончил университет в 1897-ом году, и перед ним неожиданно открылась огромная возможность: лингвистом мог участвовать в азиатской экспедиции графа Зичи. Его предложил графу Жигмонд Шимони, лингвист-профессор столичного университета. Шимони был уверен в том, что свой ученик очень талантливый, и умеет твёрдо и успешно работать. Как известно, членом экспедиции Папаи совершил выдающуюся работу: он разобрал хантыйское собрание Антала Регули и сам собрал среди хантов огромный этнографический материал и ценные произведения народной поэзии. После смерти Ёжефа Папаи большая часть его рукописного наследия осталась в Дебрецене, между прочим много писем и его дневники, которые он написал во время экспедиции.

Папаи начинал писать свой дневник в день отъезда, и почти до последнего дня экспедиции продолжал его. Он точно записал число венгерского и русского календаря, утреннюю температуру, а потом все важнейшие события дня. Из дневника мы узнаём, что Папаи поехал в Санкт-Петербург 18-ого декабря 1897-ого года. Его будущие сотрудники-спутники (Бела Пошта и Янош Янко) уже находились там, и работали в музеях, в библиотеках города, продолжали предварительную работу; в то же время они тоже вели дневники. И по этим дневникам известно, что молодой финский этнограф, У.Т. Сирелиус познакомился с Яношом Янко ещё в Хельсинки, осенью этого же (1897) года. Янко был уже признанным знатоком этнографии, и финские учёные сами предлагали Сирелиусу учиться у Яноша Янко. Археолог Бела Пошта лестно отзывался об этом в своём дневнике 13-ого октября 1897-ого года: „Jankó nagy sikerét jelenti, hogy a fiatal Sireliust, az etn. múzeum asszisztensét kiküldik vele, további orosz tanulmányújtaira, hogy azon kitűnő módszert, melyet ő a tárgyi

etnográfiaiban használ, tőle eltanulja és hazai etnográfiaja érdekében értékesítse. Szép elismerése az igazi érdemnek. Sajnos, ezt odahaza nem kapja meg.” является большим успехом Яноша Янко, что молодого Сирелиуса, ассистента этнографического музея выслали с ним на дальнейшую научную исследовательскую работу в Россию, чтобы Сирелиус усваивал отличный метод, использованным Яношом Янко в предметной этнографии, и в интересе своей родины, Финляндии позже пользовался ним. Это является красивым признанием настоящего отличия. К сожалению дома он не получает такого признания (Rósta–Banner 1963: 48). А Янко записал в свой дневник, что финские учёные были в том мере довольными Сирелиусом после учёбы, что его выслали в Сибирь для изучения хантыйского рыболовья (Jankó–Kodolányi 2000: 32).

По дневникам венгерских учёных стало ясно, что они сами не знали, по какому маршруту будут ехать вместе с графом. Их меценат, Ено Зичи был очень богатым, искателем приключений, но он был не искущён в науке. У него были иллюзорные планы и воображения. В своей речи к депутатам парламента он заявил, что он намерен искать венгерскую прародину, там живущие гунские остатки; он хочет даже достать в Китае старые венгерские хартии, которые ещё татарский хан, Бату нёс собой в 1241-ом году и кроме этого он надеялся найти своих родственников в Кавказе. Пока три учёные продолжали в Петербурге предварительную подготовку, в Венгрии были опубликованны статьи о планах Графа Зичи. В России находившиеся венгры узнали об этих планах из писем своих друзей, которые извещали их о родинских событиях. Пошта, Папай и Янко имели определённые планы, и надеялись на их осуществление. 28-ого января 1898-ого года Папай горко записал в свой дневник (рукописное наследствие 1673/1), что по желанию Зичи надо было бы совершить экспедицию у хантов за 2–3 месяца. На самом деле Папай потом провёл в Сибири больше года.

Граф Зичи приехал в Россию только в середине марта 1898-ого года. Папай и его сотрудники не один раз встречали их мецената – ещё в этом месяце в Одессе, и позже в городе Тбилиси – чтобы обсуждать свои планы. Учёные пока были вынуждены вместе ехать с графом, посещать его знакомых, ходить на экскурсии. Зичи заплатил всё, но он не дал деньги исследователям, они не могли самостоятельно работать. Они жаловались об этих обстоятельствах в своих дневниках. Янко писал 30-ого марта 1898-ого года, что граф сделал дома вполне другую программу, с которым он отправил учёных восемь месяцев тому назад, и Янко убедился и о том, что путь графа идёт по дорогам первого сорта, и вопрос состоит именно не в научном исследовании (Jankó–Kodolányi 2000: 33–34). А 6-ого апреля Пошта отсоветовал графу вместе ехать в Китай – об этом можем читать в его дневнике. 9-ого апреля Папай записал в свой дневник (1673/2), что обязательные посещения, экскурсии вместе графом утомительные и лишние, из-за этого он только потеряет своё время, ему хотелось бы с наукой заниматься. В то время обострение противоречий между графом и учёными дошло до крайних пределов. В эти дни Янко и Пошта сочиняли свои просьбы письменно, и эти записки послали через посредство двух других членов (лесника и барона) экспедиции на место квартиры графа. В последнем письме было написано, что условия графа нельзя принимать, и они уедут домой на следующий день.

Наконец 11-ого апреля Папай получил 1000 рублей и разрешение графа на поездку в Сибирь, а потом позже Пошта и Янко тоже могли отправиться на

самостоятельную исследовательскую работу. Об этом мы узнаём больше из дневников исследователей (нпр. Jankó–Kodolányi 2000: 99–100). Учёные вспоминают горькие споры, но были готовы всё забывать, когда проблема наконец решилась, и Зичи по влиянию учёных стал склонен соглашиться с ними и изменить свои первоначальные планы. В конце концов при всех спорах и противоречиях исследователи вспомнили признательностью графа Зичи, ведь он всё-таки делал много для службы венгерской науки, жертвовал деньги.

15-ого июня 1898-ого года Папаи приехал в город Тоболск, Карялайнен уже там был за 4 дня. Они почти каждый день встречались, работали вместе в библиотеке музея, много разговаривали, и стали хорошими друзьями. Финский лингвист по рассказам Папаи написал в свой дневник, что у него большое счастье, что удалось первым из экспедиции начинать самостоятельную работу. Ведь в гостях у губернатора, у знакомых в Грузии и т. д. нельзя лингвистическую работу совершить (Karjalainen–Krohn 1921: 30).

В следующем месяце, 22-ого июля 1898-ого года Янош Янко и Карялайнен вместе отправились к хантам на реке Иртышь, они ехали на лодке венгерского этнографа. Через пять дней учёные прощались друг с другом. Карялайнен записал, что он так чувствовал, поведение Янко вызвало в душе хантов недоверие к иностранным учёным, то есть он без разрешения здешних жителей унёс собой некоторые идолы.

В сентябре этого же года Янко и его бывший ученик, Снрелиус неожиданно встретились на берегу Нарыма. Они оба записали это событие в свои дневники (Jankó–Kodolányi 2000: 220, Sirelius–Schellbach 1983: 154–155). Их корабли срочно отправились по разным маршрутам, им осталось только 10 минут на разговор. По совету Янко финский учёный изменил свой план и поехал к реке Вах.

В Обдорске Папаи познакомился и с членами миссии, между прочим с деловым монархом, Иринархом. (Его первоначальную фамилию – Шемановский – носит сегодня библиотека города.) Карялайнен тоже вспоминал о нём (Karjalainen–Krohn 1921: 33). Финский учёный считал его весёлым, молодым русским мужчиной, кто сам посещал хантов в своих юртах. Йожефа Папаи пригласили даже на торжественное открытие миссионерской школы, которое состоялось 2-ого октября 1898-ого года (1673/4). Там участвовали 4 ученика, они сказали и пели православянские молитвы на хантыйском языке. 5-ого ноября по дневнику Папаи число учеников в миссионерской школе было уже 7. Одному из них не хотелось остаться, его с насилием принёс дедушка.

Папаи написал в каждый день в своём дневнике, что случилось с ним, с кем именно встретился, чем он занимался, у кого собрал песни народной поэзии. Он часто записал в свой дневник и краткие тексты, маленькие словники, делал рисунки об интересных предметах.

Папаи энтузиазмом писал об одном из своих информаторов, о Миколке: Не имеет ни малейшего понятия о том, какое сокровище есть в его душе, не понимает эту ценность, он поёт как лестная птичка (1673/6. 18. 01. 1898). С помощью Миколки удалось Йожефу Папаи пробирать собранные Анталом Регули хантыйские тексты. Миколка был одарённый хорошей памятью, умел припомнить песни, сказки и соседних родов.

В ноябре 1898-ого года Папай увидел на берегу Оби одно святое место, где были видимы на деревья повешенные рога оленей и из дерева сделанный идол Ели. Ёжефу Папай удалось заслужить доверие хантов: в январе у него было много гостей, то есть ханты, с которыми он познакомился летом, посещали его во время обдорской ярмарки (1673/5. 09. 11. 1898, 09. 01. 1899); даже в один раз два мужчины запросили помощи у Папай в сочинении жалобного письма к царю из-за высокого налога.

2-ого апреля 1899-ого года Папай начинал работу с новым информатором, с Григорием Торикоптином. В следующий день писал последние строчки о своём пути, наверно собрание материала занял вполне его время и силу и следующие страницы дневника полны неписанными страницами хантыйских выражений.

В конце концов можем сказать, что дневники названных учёных содержат много интересных деталей, и добовляя наши знания даннымми рукописной записки Папай появляются незнакомые до сих пор обстоятельства, соотношения научной жизни 19 века.

Литература

- Jankó János – Kodolányi János 1993: Jankó János: Finnországi jegyzetek. Szerkesztette és közzéteszi ifj. Kodolányi János. Néprajzi Múzeum, Budapest. A Néprajzi Múzeum tudománytörténeti kiadványsorozata. Series Historica Ethnographie 7.
- Jankó János – Kodolányi János 2000: Jankó János: Utazás Osztyájköldre. Közzéteszi ifj. Kodolányi János. Budapest. A Néprajzi Múzeum tudománytörténeti kiadványsorozata. Series Historica Ethnographie 11.
- Karjalainen, K. F. – Krohn, K. 1921: Siperian-matkoilta. Porvoo.
- Pápay József kéziratos debreceni hagyatéka. A Tiszántúli Református és Kollégiumi Nagykönyvtár kézirattára, az R 1670–1692 szám alatt besorozva.
- Pósta Béla – Banner János 1962: Posta [sic!] Béla születésének százados ünnepe 1862–1962. Az előszót, életművének méltatását, naplószerű feljegyzéseinek bevezetését írta és a kéziratot sajtó alá rendezte Banner János. Budapest. Múzeumi közlemények melléklete. Életrajzok, Múzeumtörténeti Sorozat 1.
- Sirelius, Uno Taavi – Schellbach, Ingrid 1983: Reise zu den Ostjaken. Übersetzt und herausgegeben von Ingrid Schellbach. Verzeichnis der Objekte bearbeitet von Ildikó Lehtinen. Helsinki. Suomalais-ugrilaisen Seuran Kansantieteellisiä julkaisuja XI.

CASE MARKING AND WORD ORDER IN THE FINNISH LANGUAGE

1. Introduction

In my previous papers (2006, 2009) I have argued the peculiarity of the case marking system of the Finnish language. What is peculiar is that the Finnish language has three morphological cases that are available for core arguments, i.e. the subject and the object. The cases are the nominative, the genitive and the partitive case. This fact may suggest that the case marking system of core arguments of the Finnish language is loose in spite of its rich case morphology. The grammatical functions conveyed by core arguments are very important to guarantee a proper interpretation of the sentence in question. Then, it would not be desirable that core arguments are marked in somewhat a loose manner. Then, we should clarify whether the case marking system of the Finnish language is really loose or not.

2. Loose case marking system

First of all, in the plural a core argument that is quantitatively definite is always marked in the nominative case irrespective of its grammatical function:

- (1) Kaikki oppilaat ovat lukeneet nämä kirjat.
all-nom. pupil-nom.pl. be-3.pl.pr. read-p.p. this-nom.pl. book-nom.pl.
All the pupils have read these books.

Secondly, when a possessive suffix is attached to a core argument, the distinction between the subject and the object is neutralized:

- (2) Kirjani on kadonnut jossain.
my book-nom.sg. be-3.sg.pr. lose-p.p. somewhere-iness.
My book was lost somewhere.

- (3) Unohdin kirjani kotiin.
forget-1.sg.p. my book-nom.sg. home-illat.sg.
I left my book at home.

Thirdly, when a core argument is a numerical phrase, it is marked in the same way irrespective of its grammatical function:

- (4) Kaksi karhua vaeltaa metsässä.
two-nom.sg. bear-part.sg. wander-3.sg.pr. forest-iness.sg.
Two bears are wandering in the forest.
- (5) Metsästäjät kaatoivat kaksi karhua.
hunter-nom.pl. knock down-3.pl.p. two-nom.sg. bear-part.sg.
Hunters knocked down two bears.

Moreover, when the subject is marked in the genitive case, also the object can sometimes be marked in the same case:

- (6) Luulen metsästäjän kaataneen karhun.
think-1.sg.pr. hunter-gen.sg. knock down-p.p. bear-gen.sg.
I think that the hunter has knocked down the bear.

All these things seem to indicate that the Finnish language has a somewhat loose case marking system. The choice between the nominative case and the genitive case is not necessarily prerequisite to distinguish the object from the subject.

3. Hypothesis

As for this loose system, it is possible to build up two hypotheses. One possibility is that the default case of the subject and the object is the nominative and the genitive respectively. The case marking of the grammatical functions changes only when some relevant condition is satisfied.

There is, however, an objection which can be raised against this hypothesis. According to this hypothesis, the nominative marking of the object is secondary, and it is necessary to clarify the reason the case marking changes from the genitive case to the nominative case. As a matter of fact, nominative objects can appear in various constructions, including the necessitative construction, imperative sentences and impersonal passive sentences. Moreover, the object of infinitives can be sometimes indicated in the nominative case:

- (7) Metsästäjällä on lupa kaataa karhu.
hunter-adess.sg. be-3.sg.pr. permission-nom.sg. knock down-inf. bear-nom.sg.

The hunter has permission to knock down the bear.

Therefore, the syntactic environments in which the object can appear in the nominative case are diverse, and we cannot find anything common to these various kinds of nominative object. Then, it is difficult to explain the reason of the nominative marking of the object on the basis of the hypothesis stated above.

4. Another hypothesis

Another possibility is that the nominative is the default case not only for the subject but also for the object. This means that the nominative case has some other function than indicating a particular grammatical function, and the genitive case serves as the marked counterpart of the nominative case. If this is the case, the nominative case is assigned to all the core arguments that are quantitatively definite at the first stage of the derivation, irrespective of their grammatical function. Next, if there are both the subject and the object in one and the same clause, the nominative case of the object alternates with the genitive case. When the subject does not agree with the predicate, however, also the case marking of the subject itself changes from the nominative to the genitive case. This is the case where the predicate is non-finite. If there is only one argument in a clause, its case marking does not alter irrespective of its grammatical function. In other words, the sole argument is always indicated in the nominative case.

Needless to say, all these things do not apply to arguments which are quantitatively indefinite. Such arguments are invariably marked in the partitive case. This means that the primary distinction among core arguments is not between the subject and the object but between quantitatively definite and indefinite arguments. We should not overlook, however, that the subject has a stronger tendency to be quantitatively definite than the object. Then, it is a mistake to think that the distinction between the subject and the object is needless. As a matter of fact, it is only the nominative subject that can agree with the predicate. This fact will suffice to show that the subject has priority over the

object. What has to be noticed is that the precedence of the subject over the object is only relatively true in the Finnish language.

5. Analysis

The case marking pattern of various constructions can be successfully described by the approach stated in the last section. The nominative marking of the object in various syntactic constructions can be regarded as a natural consequence, since the nominative is the case assigned originally at the initial stage of derivation. The original nominative marking is maintained through the derivation unless otherwise specified.

However, the case marking pattern of the following sentence is somewhat problematic:

- (8) Metsästäjän on pakko kaataa karhu.
hunter-gen.sg. haveto-3.sg.pr. knock down-inf. bear-nom.sg.

The hunter has to knock down the bear.

The nominative marking of the object remains unchanged, although the object co-occurs with the subject in one and the same clause. The point to observe is that the genitive-marked subject of the necessitative construction is optional. If such an optional subject is not counted as the co-occurred subject, the nominative marking of the object can be explained straightforwardly.

6. Existential sentences

In existential sentences the argument after the predicate can be marked in the nominative case:

- (9) Pihalla on lapsi.
yard-adess.sg. be-3.sg.pr. child-nom.sg.

In the yard there is a child.

The argument after the predicate is indeed marked in the nominative case but it does not agree with the predicate, since the predicate of existential sentences is always in the third person singular. As is stated above, a nominative argument that does not agree with a finite predicate cannot be regarded as the subject. Needless to say, the argument in question cannot be considered to be the object, either. But, if it is neither the subject nor the object, why is it marked in the nominative case?

This fact can be properly accommodated by slightly revising the approach stated above. That is, at the first stage of the derivation, the nominative case is assigned to all the subjects, and to all the other core arguments that are quantitatively definite as well. Moreover, all the core arguments excepting the subject are invariably marked in the partitive case, if their referent is quantitatively indefinite.

7. Plural and numerical arguments

The question which we must consider next is the reason the syntactic object cannot be marked in the genitive case in the plural. In the following sentence, the argument following the predicate should be considered to be the object, since the other argument *oppilas* agrees with the predicate:

- (10) Oppilas on lukenut nämä kirjat.
pupil-nom.sg. be-3.sg.pr. read-p.p. this-nom.pl. book-nom.pl.

A pupil has read these books.

The point to observe is that the argument after the predicate is marked in the nominative case. According to the approach stated above, the case marking of the object should be changed from the nominative case to the genitive case, if the object co-occurs with the subject in one and the same clause. Thus, we should clarify the reason the nominative marking of the object in question remains unchanged.

While the plural object in question is quantitatively definite indeed, plural objects are usually considered to be quantitatively indefinite. Then, the partitive marking is a default alternative for plural objects. This means that the nominative marking of plural objects is highly exceptional. On the other hand, the double nominative marking in one and the same clause is exceptional in itself. Then, it is possible to assume that the double nominative marking is a means to indicate a highly exceptional character of the plural object in question.

Another question is why a numerical phrase functioning as the object cannot be marked in the genitive case. In the following sentence the numeral of the numerical phrase serving as the object is marked not in the genitive case but in the nominative case, although it co-occurs with the subject marked in the nominative case:

- (11) Metsästäjät kaatoivat kaksi karhua.
 hunter-nom.pl. knock down-3.pl.p. two-nom.sg. bear-part.sg.
 Hunters knocked down two bears.(=5)

To consider this question, we should not overlook that a numerical head is in the singular in form but in the plural in meaning. Thus a numerical head can be regarded as a de facto plural object. If this is the case, one can explain the unavailability of the genitive case along the same line applied to plural objects.

8. Word order and syntactic interpretation

We should admit that the syntactic interpretation of core arguments cannot be determined by merely considering their morphological cases, if both the subject and the object are in the nominative plural or contain a numeral in the nominative case. In the following sentences, one can decide that the argument preceding the predicate is the subject, only on the basis of the meaning conveyed by each sentence:

- (12) Kaikki oppilaat ovat lukeneet nämä kirjat.
 all-nom. pupil-nom.pl. be-3.pl.pr. read-p.p. this-nom.pl. book-nom.pl.
 All the pupils have read these books.(=1)
- (13) Kolme metsästäjää kaatoi kaksi karhua.
 three-nom.sg. hunter-part.sg. knock down-3.sg.p. two-nom.sg. bear-part.sg.
 Three hunters knocked down two bears.

In other words, we should recourse to the meaning in order to determine the syntactic status of each argument in these sentences. The subject before the predicate and the object after the predicate are the preferred word order of the Finnish language indeed. But the subject and the object can often be inverted. Then, in these sentences the word order cannot serve as a decisive factor for the syntactic interpretation of the core arguments.

However, the word order can sometimes serve as a clue to the syntactic interpretation. In the following sentence, the case marking alone cannot determine the syntactic interpretation, since the two arguments are identical in their case marking:

- (14) Luulen metsästäjän kaataneen karhun.
 think-1.sg.pr. hunter-gen.sg. knock down-p.p. bear-gen.sg.
 I think that the hunter has knocked down the bear.(=(6))

What should be noticed here is that the word order of a genitive subject and a non-finite predicate is relatively fixed. This is because the relation between a genitive subject and a non-finite predicate corresponds to the relation between a genitive possessor and a noun in noun phrases.

Moreover, if the nominative before the predicate and the genitive or the partitive after the predicate are the unmarked word order of the Finnish language, it follows that the nominative after the predicate shows an unusual character of the sentence in question. In fact, many constructions, including the necessitative construction and existential sentences, have a marked word order. This point deserves explicit emphasis.

9. Concluding remarks

From what has been said above, the case assignment to core arguments can be straightforwardly explained by adopting the second hypothesis stated in the section 4. It becomes also clear that the case marking system of the Finnish language is partially deficient, in that the case marking is not always sufficient to determine the syntactic interpretation. What is important is, however, the case marking is a primary factor for the syntactic interpretation all the same. First of all, an argument marked in the nominative case is interpreted as the subject by default. It can be regarded as the object only when it does not agree with the predicate. On the other hand, an argument marked in the genitive case is interpreted as the object except when it is followed by a non-finite predicate. Moreover, an argument marked in the partitive case is interpreted as the object by default.

However, it remains an unsettled question what is the basic function of each case. Since the nominative case can indicate both the subject and the object, it must carry out some other function than indicating a particular grammatical function. The same is true of the genitive case. If the second hypothesis is valid, it can be said that the nominative is the default case for quantitatively definite arguments and the genitive is its marked counterpart. The question is how we can validate this claim on the safe and sound basis.

Since the nominative is the morphologically simplest case, it would be reasonable to assume that it marks the highest argument available on the hierarchy of the grammatical functions. On the other hand, the genitive is the case available for dependents. It is employed to indicate not only a nominal modifier preceding a nominal head but also a nominal complement of a postposition. Then, we can safely expect that an argument, a dependent of a verbal head, will be marked in the genitive case. What is important to note is that the two cases are competing with each other, as for the case marking of core arguments. When there is only one argument, however, the genitive case is not available. This means that the nominative case has precedence over the genitive case. Even if the argument in question serves as the object, it is marked in the nominative case. This may be because the sole argument can be easily associated with the predicate and need not be marked overtly.

Abbreviations

nom. – nominative	sg. – singular
gen. – genitive	pl. – plural
part. – partitive	pr. – present
iness. – inessive	p. – past
illat – illative	inf. – infinitive
adess. – adessive	p.p. – past participle

References

- Brattico, Pauli. 2010. Long-distance case assignments in Finnish. Paper presented at the 11th International Congress of Finno-Ugric Studies, Piliscsaba, Hungary, 10th August 2010.
- Chesterman, Andrew. 1991. On definiteness: A study with special reference to English and Finnish. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen, Irja Alho (eds.), 2004. Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
- Itokonen, Terho. 1980. Species suomessa ja germaanisissa kielissä. *Virittäjä* 84: 27–38.
- Laitinen, Lea. 2006. Zero person in Finnish: A Grammatical resource for constructing human reference. Marja-Liisa Helasvuo & Lyle Campbell (eds.), *Grammar from the Human Perspective: Case, space and person in Finnish*: 209–231. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Laitinen, Lea & Maria Vilkuna. 1993. Case Marking in Necessive Constructions and Split Intransitivity. Anders Holmberg & Urpo Nikanne (eds.), *Case and Other Functional Categories in Finnish Syntax*: 23–48. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter.
- Sakuma, Jun'ichi. 2006. Semantic Roles and Grammatical Functions: A study with special reference to the Finnish language (In Japanese). In Makoto Minegishi (ed.) *Toward the Construction of the Foundations of Linguistics*, 71–92. Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies.
- Sakuma, Jun'ichi. 2009. Case Marking and Word Order in the Finnish Language. *Nagoya University Journal of the School of Letters* 5: 17–29.
- Sakuma, Jun'ichi. 2011. “Deficient” Case Marking System of the Finnish Language. *Nagoya University Journal of the School of Letters* 7: 33–44.
- Tiainen, Outi. 1997. Suomen eksistentiaalilause – päättymätön tarina. *Virittäjä* 101: 563–571.

Tiiu Salasoo
Sydney

EARLY ESTONIAN-ENGLISH BILINGUALITY – A COMPLEMENT OR HINDRANCE?

1. Introduction

In this article bilinguality refers to individual ability to use more than one linguistic code for communication, whereas bilingualism is taken as a societal state applying to a bilingual community (after Hamers and Blanc, 1990). Although most researchers seem to make such a distinction, not all use this distinctive terminology.

It is taken as a matter of course that every child learns to speak his mother tongue. It just happens. Babies initially only cry – yet every mother learns to attach meaning to cries of different kind. Soon babies start making other funny little noises that we call babbling, out of which we start distinguishing single words, which soon combine into two-word sentences that grow into longer ones. Toddlers' number of words for concepts grows and grows, and words become marked (or are placed in a certain order) to convey grammatical notions, such as what happens now and what happened yesterday, or giving something to someone and taking something from someone, or indicating what one is sure about and what only might be true. All that a child achieves by natural acquisition, apparently effortlessly, without formal tuition.

A child performs actually an enormous task by learning a language just by hearing what goes on around him. He learns to distinguish words, ties meanings to them and constructs a set of rules, his own grammar (whether partly universal or not), by which to operate these words in order to communicate with those around him. Language learning continues with great speed and soon the child is able to speak on many subjects in his mother tongue.

But in today's world communication needs are greater, and it is almost imperative to speak more languages than one. Actually, the majority of the world's population is believed to be bilingual (De Bot 1992). Even in predominantly monolingual communities children often have parents from different language backgrounds, each wishing to talk to their children in their own language, as that provides the closeness and intimacy needed in a warm parent-child relationship. In the current age of migration some parents may wish to retain a connection with their former homeland and pass on the language of their origin in order to give their offspring the cultural background of their heritage. Other parents may wish for their children to become multilingual adults, able to manage in today's world better than monolinguals would.

Although bilingualism and even multilingualism has existed from time immemorial, over time there have been some cautious voices about children being burdened by learning more languages than one. To cure stammer in one of my own children I was told fifty years ago by a child-psychologist in Australia to stop speaking to him in Estonian, to avoid interference by that language!

According to Hakuta and Diaz (1985) many early studies concluded that bilinguals were linguistically deficient in comparison to their monolingual counterparts, with their vocabulary being reduced (Saer, 1924; Grabo, 1931; Barke & Williams, 1938),

making more grammatical errors and having lower standards in written composition (Saer, 1924; Harris, 1948), as well as having deficient articulation (Carrow, 1957). Negative judgement seemed to be dominant.

Moreover, bilingualism was thought by some to have an adverse effect on intelligence. The so called 'language handicap' of bilinguals was interpreted as a linguistic confusion that deeply affected children's intellectual development and academic performance up to the college years (Hakuta & Diaz, 1985). Fortunately other reviewers (e.g. Darcy, 1953) pointed out that such views were the result of inappropriate measurement and „that bilingualists are penalized when their intelligence is measured on verbal tests of intelligence”.

Research of bilingualism greatly intensified with the resurgence of French Canadian identity in the 1960's and produced a turnaround. The classical study of Peal and Lambert (1962) was possibly the first to indicate bilingualism's association with cognitive benefits, such as ten-year-old French-Canadian bilingual children being more flexible and using a greater number of strategies in problem solving than monolingual children.

Among other cognitive benefits of bilinguality, Ben-Zeev's investigation (1977) indicated bilinguals' superiority in symbol substitution and verbal transformation tasks. Ben-Zeev describes her observations as follows: "Two strategies characterized the thinking patterns of the bilinguals in relation to verbal material: readiness to impute structure and readiness to reorganize". Bialystok (2001: 218) reports bilinguals' enhanced control over attention and inhibition.

In contrast to early psychological studies that provided negative conclusions, early individual linguistic studies came to view early bilingualism as advantageous. Leopold's case study (1939, 1947, 1949a, 1949b) saw the bilingual child's ability to separate the phonetic (by sound) and semantic (by meaning) dimensions of words as leading to an early awareness of the conventionality of words and the arbitrariness of language (Hakuta & Diaz, 1985). Ianco-Worrall's (1972) further investigation of the word-meaning relationship came to the conclusion that 4–6-year-old bilingual children raised in a one-person-one-language environment reach a stage of semantic development 2–3 years earlier than monolingual children.

Some studies have indicated increased metalinguistic awareness, such as bilinguals' superiority in conceptualizing linguistic rules (Ben-Zeev, 1977), others have not been so clear (Cummins, 1978).

Bain and Yu (1980) showed that at about the age of four, children from different language groups raised bilingually in a one-person-one-language situations, were better able to use both overt and covert language as a locative guide.

From the above examples it appears that bilingual children's need to be sensitive to the structural similarities as well as differences of their two languages, has enabled them to develop observational and analytical skills which are employed in their language use, and may also be transferred to perform other cognitive tasks.

2. The Investigation

The current paper proposes to examine whether any differences or advantages can be seen in the early/initial natural language acquisition of three boys, each growing up in a different language environment: one in Estonia, and two in Australia, where English is

the predominant language. In the home of one of the boys in Australia, Lembit, the conversation was almost always in Estonian, used even by his Australian mother, who had learnt the language as an adult only shortly before the child was born. The other boy in Australia, Aksel, was brought up deliberately as a bilingual, with his mother speaking to him in Estonian and his father in English. The boy in Estonia, Karl-Oskar, was exposed only to Estonian and his data is used as a control.

In a longitudinal study spontaneous speech data were collected via periodic recordings of the children's dialogues with their careers during their 2nd and 3rd year of life. Since the bilingually raised boy was older than the other two when his recordings started, his observation was extended until he was four years old.

The vocabulary of the children's recorded utterances was classified according to the word categories and forms used. Each word recorded by a child was critically examined, especially in terms of the stem forms and the grammatical markers used, and assessed against the criteria set for acquisition (Salasoo, 1996a).

Data from the study have been used over time for investigating different aspects of the grammatical and lexical development of the children's language (Salasoo, 1995–2010). Whereas Aksel was regarded as bilingual from the beginning, Lembit was initially accepted as a monolingual Estonian-speaker. It is only lately, when his vocabulary was more closely examined, that the extent of its English component has raised the question of his bilinguality.

The current paper looks at a small section of the journey to gaining fluent language use in order to see whether a child learning naturally two languages at once, benefits from this situation. Since adjectives in Estonian are inflective words and are thus marked for case, they present varied opportunities for examining bilingual use.

3. Findings

Appendix 1 indicates the initial appearance of all the adjectives, both in English and in Estonian, and their forms used by the three boys, as heard in their recordings. The adjectives are presented in the order of their first appearance, shown by the boys' ages. The adjectives and forms used by the boys are printed bold-face. Multiword utterances with the adjective are shown, single word ones are not.

3.1 Emergence of New Adjectives

Analysis of the data in Appendix 1 is shown in Table 1. While counting adjectives, it was discovered that in both languages some of the concepts were covered by several terms in the one language, e.g. *halb*, *paha* and the baby-talk term *päh* all mean 'bad', so 'bad' was only counted once. Contrastingly, some terms cover more than one concept, e.g. *valge* means both 'white' and 'light' and *must* means both 'black' and 'dirty'; consequently *valge* and *must* were counted only once.

Table 1 – Adjective Use by Three Boys

ADJECTIVES	Total used by 3 boys	KARL-OSKAR Aged 1;6–3:0		LEMBIT Aged 1;7–3; 0		AKSEL Aged 2;9–4; 0	
Recording minutes			325		226		63
			Number used /min		Number used /min		Number used /min
English adjectives No.	30	0	0	15	0.07/min	16	0.06/min
English adj. % of total	32%	0		29%		35%	
Estonian adjectives No.	64	36	0.11/min	37	0.16/min	30	0.11/min
Estonian adj. % of total	68%	100%		71%		65%	
Eng+Est adjectives No.	94	36	N.A	52	0.23/min	46	0.17/min
Concepts No.	76	33	0.10/min	44	0.19/min	43	0.16/min
Concepts % of total	81%	92%		85%		93%	
Concepts in both languages No.	19	0	NA	10	0.04/min	4	0.02/min
Concept in both languages % of total	18%	N.A.		19%		9%	

As Karl-Oskar lived in a monolingual environment in Estonia, he used only Estonian adjectives. However, he began using new Estonian adjectives at a distinctly lower rate (0.11 per minute) than Lembit in Australia (0.17 per minute) and at the same rate as Aksel (0.11 per minute). One may wonder why new adjectives appeared rather slowly in his speech. Recently, however, when use of adverbs was investigated, it was found (Salasoo, 2010b) that although the number of Estonian adverbs Karl-Oskar used was smaller than that of Lembit in Australia, who was of the same age as Karl-Oskar, Karl-Oskar compensated for it by using his less numerous adverbs more frequently than the other two boys in Australia. It is likely that the same situation exists with adjectives.

In addition to Estonian adjectives, both Lembit and Aksel also used adjectives in English. Lembit was assumed to have been monolingual, since his parents carefully avoided the use of English with the child. However, even though his English-speaking older sister was at the same time acquiring Estonian, she was unable to express herself fully in Estonian and used also English. Thus Lembit was becoming an “involuntary bilingual” and was found to have in addition to Estonian, also a considerable English vocabulary, with his recording lexicon up to the age of three containing almost the same number of English adjectives (15) as that of the deliberately bilingually raised boy, Aksel (16).

Their English adjectives constituted close to a third of the entire adjective vocabulary of each of the two boys growing up in Australia (29% for Lembit and 35% for Aksel). The additional adjectives in English raised the total mean rate of new

adjective appearance of Lembit to 0.23 adjectives per minute and that of Aksel to 0.17 adjectives per minute, which were considerably higher than the 0.11 adjectives per minute of Karl-Oskar in Estonia.

Thus it can be concluded that at least in respect of these three boys, beginning natural acquisition of two languages at the same time was definitely advantageous in terms of the rate at which new adjectives came into use.

3.2 Variety of Concept Representation

According to an old saying, a beautiful child may have many names. Similarly, a concept may be indicated by several words. Examination of the boys' adjectives indicates, as shown in Table 1, that 44 concepts used by Lembit were presented as 52 different adjectives, which means that 10 (19%) of his adjectives had English counterparts: *ilus* – pretty, *väike* – little, *hea* – good, *paha* – bad, *raske* – heavy, *sinine* – blue, *roheline* – green, *halb* – **bad**, *must* – **black**, *punane* – red.

Aksel used 46 adjectives to indicate 43 concepts, thus only four (9%) of his adjectives were multiple representations for the same concept, and they were all in English, as follows: *suur* – big, *uus* – new, *paha* – bad, *pikk* – long.

It is interesting to note that although Lembit and Aksel used almost an equal number of English adjectives (15 and 16), Lembit used 10 of these as equivalents of the Estonian concepts, whereas Aksel used only 4 for the same purpose. One could say that Lembit acted more as a 'true' bilingual than Aksel.

Only two adjectival concepts of Karl-Oskar, the monolingual boy, were presented by more than one adjective, e.g. 'bad' was stated as *paha*, *halb* and the baby-talk term *päh*; and 'little' was used in Estonian mainly as *väike*, but also on one occasion as idiosyncratic forms *taba-aa* and *täka-täka*.

Thus, in conclusion it can be stated that for the three boys observed, simultaneous acquisition of two languages resulted initially in a greater number and variety of representation of adjectival concepts.

3.3 Use of Inflective Forms

As Estonian is a highly inflective language, use of various forms of a word to convey grammatical concepts begins quite early in a child's development of Estonian language (Salasoo, 1995, 1998, 1999, 2002 for verbs and 1996, 2001, 2006 for substantives).

Adjectives are not used independently, but are used to further refine the meaning of nouns. In Estonian adjectives are inflective words, and congruence, in which an adjective and substantive form a unit, agreeing in case and number, e.g. *väike laps* ('small child', in nominative singular), compared with *väikese lapse* ('of the small child', in genitive singular), also appears early. Learners of English, of course, are not burdened with such details.

Appendix 1 records the forms of Estonian adjectives in the recording lexicon. Let us look just at the Estonian adjective *väike* (little, small). The monolingual Karl-Oskar used it first in the nominative form *väike* at the age of 2:1. At the age of 2:6 he used the nominative plural form **väiksed*, instead of the expected singular form (although use of that form indicates that he must have had an idea of marking for plural with the suffix -d), and at 3:0 he used the partitive singular *väikest*, in agreement with the noun, the object *kala* (fish).

Table 2 – Inflected Estonian Adjectives of Three Boys

Nom plural	Genit singular	Partitive singular	Inessive singular	Adessive plural	Allative plural	Translative singular	Comparative	Formula?
KARL-OSKAR – 9/36 adjectives with 10 marked forms . 0.03 forms/minute								
2;2 pahad	2;10 paksu	2;7 sooja				3;0 mäljaks* (märijaks)	2;11 parem	2;7 palja jalu
2;6 väiked* (väiksed)	2;11 suule* (suure)	3;0 väikest						
2;7 head								
LEMBIT – 10/37 adjectives with 14 marked forms – 0.06 forms/minute								
2;4 märijad	2;5 sinise							
2;5 suured	2;5koll ase	2;5 kollast	2;5 kollases	2;10 *haigetel (haigetele)	2;10 *haigetel (haigetele)		2;7 suurem	
2;5 kuumad							2;7 väiksem	
2;7 soojad								
2;8 mustad								
3;0 valged								
3;0 mustad								
AKSEL – 6/30 adjectives with 7 marked forms – 0.03 forms per minute								
3;1 väiked* (väikesed)	2;11 väikese	2;9 küüma* (külma)						
4;0 suured		2;10 sooja						
		2;11 *pikkat (pikka)						
		2;11 *sinis (sinist)						

For the same adjective, Lembit used the nominative singular form *äike** (admittedly, mispronounced) *raamat* (small book) at the age of 2;0, and the comparative form *väiksem* (smaller) at 2;7. He did not use any markings for case or plurality for this adjective, although such markings were used for other adjectives. At the age of 2;4 he also used the English equivalent in a phrase “is a little light”.

Aksel at the age of 2;10 mentioned the nominative singular *väike mees* (little man). A month later, at 2;11, he used the genitive form *väikese* in a disjointed utterance and at the age of 3;1 the nominative plural *väikesed*.

In terms of numbers, most of the inflected forms used were those marked for nominative plural, followed by the partitive and genitive stems (Table 2). In terms of content, all the boys used inflected forms of *väike* (small) and *suur* (big).

Of Karl-Oskar's 36 Estonian adjectives nine were inflected, which constitutes 25% of his Estonian adjectives. In addition to the nominative singular forms, his recording lexicon contained 10 other forms, three of which were marked for nominative plural (*pahad* – bad, *väiked** (*väiksed*) – small and *head* – good), two each were present as genitive (*paksu* – fat's, *suure* – big's) and partitive (*sooja* – warm, *väikest* – small) stems. One was marked as the translative case (*mäljaks** (*mäljaks*) – wet), one as the comparative (*parem* – better) and *jalu* seemed to be part of a common phrase *palja jalu* (barefoot), probably learnt as a formula. For a comparative purpose, the 10 inflected forms appeared at 0.03 forms per minute.

The bilingual boys differed greatly from one another. Aksel being a year older than Lembit, was expected to use many more inflected forms than Lembit, but his inflected forms appeared at the same rate as those of the monolingual Karl-Oskar, only 0.03 inflected adjective forms per minute, whereas Lembit's rate was twice as high, 0.06 forms per minute. In Aksel's defence it should be stated that he seemed to attempt to differentiate between different forms, but often stopped at using the unmarked stem only. Lembit did not only use twice as many inflected adjective forms (14) as Aksel (7), but he also used more form types – Lembit utilised six cases, plus comparative, against Aksel's four cases.

Thus, although one of the bilingual boys, Lembit, overtook the monolingual Karl-Oskar in the rate at which new marked adjectives appeared and through this the number of ways an idea or concept could be expressed increased, the boys who were acquiring two languages at the same time did not show similar results in terms of early utilisation of grammatical possibilities. The difference seems even greater if it is considered that Aksel had an extra year to acquire the means.

From this one can conclude only that although acquiring two languages simultaneously provided an opportunity to increase the number of ways grammatical concepts could be expressed via adjectives, use of that opportunity varied among the bilinguals.

4. General Conclusions

Observation of three small boys naturally acquiring language in differing environments, one in a monolingual setting in Estonia, and two in bilingual settings in Australia, one of those in a deliberately Estonian–English bilingual home and the other in an incidentally bilingual situation, has permitted drawing some general conclusions on the benefits of simultaneous bilingual acquisition, based on the initial use of Estonian and English adjectives:

1. Apparently simultaneous natural acquisition of Estonian and English favours appearance of new adjectives at a higher rate, and consequently in increased numbers.

2. Increased number and variety of representations of adjectival concepts seems to be an additional result of simultaneous natural acquisition of Estonian and English.

These two benefits of developing bilinguality provide increased variety to the content of the children's language.

3. However, utilization of increased opportunities of expressing grammatical concepts via adjectives, such as use of inflections, varies between the bilingual subjects, possibly influenced by individual differences, such as learning styles and ability.

This is only a very small piece in the investigation of bilinguality. Adjective acquisition as well as other aspects of language acquisition needs more investigation, both empirically and experimentally.

References

- Bain, B. – Yu, A. 1980. Cognitive consequences of raising children bilingually: "one parent one language." *Canadian Journal of Psychology* 31: 304–313.
- Ben-Zeev, S. 1977. The influence of bilingualism on cognitive strategy and cognitive development. *Child Development* 48 (3): 1009–1018.
- Bialystok, E. 2001. *Bilingualism in Development: Language, Literacy & Cognition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carrow, S. M. A. 1957. Linguistic functioning of bilingual and monolingual children. *Journal of Speech and Hearing Disorders* 22: 371–380.
- Cummins, J. 1978. Metalinguistic development of children in bilingual education programs: Data from Irish & Canadian Ukrainian–English programs. In *The Fourth Locus Forum 1977*, M. Paradis (ed.), Columbia, S.C.: Hornbeam Press.
- Darcy, Natalie T. 1953. A review of the literature on the effect of bilingualism upon the measurement of intelligence. *Journal of Genetic Psychology* 82, 21–57.
- De Bot, K. 1992. A bilingual production model: Levelt's Speaking model adapted. *Applied Linguistics* 13, 1–24.
- Grabo, R. P. 1931. A study of comparative vocabularies of junior high school pupils from English and Italian speaking homes. In *Bulletin No. 13*. Washington, D.C.: U.S. Office of Education.
- Hakuta, K. – Diaz, R. M. 1985. The Relationship Between Degree of Bilingualism and Cognitive Ability: A Critical Discussion and Some New Longitudinal Data. In *Children's Language*, Nelson, K. E. (ed.), Vol 5, Hillsdale, N. J.: L. Erlbaum.
- Hamers, J. – Blanc, M. H. A. 1990. *Bilinguality and Bilingualism*. 2nd Vol., Cambridge: Cambridge University Press.
- Ianco-Worrall, A. 1972. Bilingualism and cognitive development. *Child Development* 43: 1390–1400.
- Leopold, W. F. 1939, 1947, 1949a, 1949b. *Speech development of a bilingual child: A linguist's record* (4 vols.). Evanston, Ill.: Northwestern University Press.
- Peal, E. – Lambert, W. E. 1962. The relation of bilingualism to intelligence. *Psychological Monographs*, Vol 76, no. 271–23.
- Saer, D. J. 1924. The effects of bilingualism on intelligence. *British Journal of Psychology* II. 25–38.

- Salasoo, T. 1995. Morfoloogiliste tunnuste esmakasutamine ühe lapse arenevas keeles. *Keel ja Kirjandus* 4. 239–252.
- Salasoo, T. 1996. Observations in the natural acquisition of Estonian morphology – A mix-and-match of stems and suffixes. – Finnish and Estonian. In *New Target Languages. Proceedings of the Fenno-Ugric Languages as Second and Foreign Languages Symposium – Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum 10–15. 8. 1995*. Maisa Martin, Pirkko Muikku-Werner (eds), 86–109. Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, Finland.
- Salasoo, T. 1998. Same goal in three settings: early acquisition of Estonian in native monolingual, non-native monolingual and bilingual environments. In *CD-ROM on XVI International Congress of Linguistics at Paris, France, 20–25. 7. 1997*. Elsevier 147, so7, 24. asiainfo@elsevier.com.sg or nlinfo-f@elsevier.com.
- Salasoo, T. 1999. Initial acquisition patterns of Estonian and language curriculum design. In *Educating via Language*. Castillo, E. H. S. (ed.), 64–76. Manila: Language Education Council of the Philippines & Language Study and Research Center, Inc.
- Salasoo, T. 2001. How do children manage to learn Estonian? Initial acquisition. *Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum, Pars VI*. Tartu, 122–132.
- Salasoo, T. 2002. Use of initial Estonian and English verb forms by a bilingual child. In *Emakeel ja teised keeled III*, Lindström, L. and Palikova, O. (eds.). 181–206. Tartu.
- Salasoo, T. 2006. Marking Estonian Substantives – how does it start? Presented at *Fifteenth Conference of the Finno-Ugric Studies Association of Canada, 29–30. May, 2006* at York University in Toronto (awaiting publication).
- Salasoo, T. 2010. Estonian boys learning how to elaborate with adverbs. Presented at the *17th Conference of the Finno-Ugric Studies Association of Canada (FUSAC), May 29–31, 2010*, Concordia University, Montreal, Canada (to be published).

Appendix 1 – Boys' Initial Use of English and Estonian Adjectives in Chronological Order – 1

ADJECTIVES		KARL-OSKAR			LEMBIT			AKSEL		
English	Estonian	Age	Estonian utterance	Age	Utterance	Age	Utterance	Age	Utterance	
<i>bad</i>	päh#	1;9	mamma päh	-		-		-		
<i>pretty, beautiful</i>	ilus	2;4	see on ilus libli*	2;10:8 1;9 1;10	he's pretty, Wuufi ilus (ilus*) karu ... ilus	3;3	ei ma ei tahia ilus	-		
<i>old</i>	vana	2;1	vana on koll* kaks	2;0	vana jätku istub	2;11	väga vana	-		
<i>little (also bittide* lidade* ligut*)</i>	väike väiksem C väikese G	2;1	suu* pall ja väike	2;4:11 2;0 2;7	is a little lat light äike* raamat aga see ei ole suurem, see on väiksem	2;10 2;11	väike mees minu, minu, ei ta oooa (=?) seda - oo väikese - väiked* (väikesed?) on saal lambad	-		
<i>good</i>	väikesed NP välkest P	2;6 3;0	kutsa *väikesed (väike) kala ammub* (hannustab) seda väikest kala	-		-		-		
	hea	2;6	see on ea* (hea)	2;11:29 2;0 2;4	that was good ena* pe* tötab* aiast* see onnakook* ei ole hea	3;6	sul on haa*(hea) meel meil on? (kas sul on hea meel, et meil need on?)	-		
	head NP	2;7	head teod	-		-		-		
<i>big</i>	suur suure G suurem C suured NP	2;1 2;11	suur auto seal suule*(suure) *paadi (paadiga)	2;4 2;4 2;5	see suur raadio on üleval suurem on väga vana ja konna! (= konna) on ka suured silmad	2;9:5 2;9 2;11 2;11 4;0	yes, that the big slide suur, suur saba sedat* sealt sisse - veel puumala* (suurem?) aga kus on need suured whiitid (wheels?)	-		
<i>tiny</i>	taba-aa#	2;2	te* (?), taba-aa (= väike?)	-		-		-		
<i>tiny</i>	täka-täka#	2;2	täka-täka (=väike?)	-		-		-		
<i>new</i>	uus	2;2	kus on uus televisoor?	2;4	see Austraalia läks uus niitud (?)	3;0:19 2;10	this goes on new one uus paper*(paber)	-		
<i>dear</i>	kallis	2;2	kalli* Ossi on see	2;8	kallis rahakott	-		-		
<i>evil</i>	kuvi, paha	-		-		4;0:12 4;0:12	see on üks evil bad blocks	-		
<i>bad</i>	pahad NP paha	2;2 2;3	pahad *poss* (=poisid) ei (ole) paha	2;10:8 2;10	bad huck! yes (chuckles), yes, no, paha, yee, on paha	2;11	why pull paha, why?: ei (ole) paha olla	-		

Appendix 1 – Boys' Initial Use of English and Estonian Adjectives in Chronological Order – 2

ADJECTIVES			KARL-OSKAR			LEMBIT			AKSEL		
English	Estonian	Age	Estonian utterance	Age	Utterance	Age	Utterance				
<i>grey</i>	hall	2:2	hall	3:0	ja see on suur hall kalu*(karu)	-					
<i>a little</i>	natukene ?	-		2:3	kas natukene piives on? (F?)	-					
<i>long</i>	pikk pikkat* (pikka) P	- 2:3	see pikk saba	2:4	ja see on natuke <i>bonki</i>	4:0;12 2:10 2:11	<i>that's a long way</i> mamma iiga*(liga) pikk ma *pane (paunen) - *pane siit seda *pikk (pikka) - eei, seda pikkat* (pikka), seda *pikk (pikka)				
<i>naked/bare</i>	paljas	2:3	ks*(=kas) pallij* (=paljas) on nuku	-		-					
<i>wet</i>	palja G märg märgad NP märgaks I	2:7 - - 3:0	lume paal*(=pääl) palja jalu märgaks*(märgaks?) õhupall	2:3 2:4 -	teko* mak* (tekk on märg) linnud on kõik märgad	- - -					
<i>heavy/hard</i>	raske	-		2:9;27 2:3	<i>this all very heavy</i> kas see oli liiga raske?	- 3:5	see liim on laske* (raske) #vel valla*(välja) võtta				
<i>broken</i>	katki	-		2:3;19	<i>this is broken; äs broken</i>	-					
<i>blue</i> (blöö* bliit*)	sinine sinise G *sinis (sinist) P	- - -		2:3;19 2:10 2:5	<i>äs, ä ... blöö; äm ... äs bliitü</i> mitte sinine ma ei lähe sinise autoga sõitma	- 3:1	jaa, peal on sinine minu seda *sinis (sinist?) on minu mootopaat*				
<i>nice, splendid</i>	tore	-		2:4;11	<i>äs*(that's) nice</i>	-					
<i>fine, nice</i>	keena	2:4	msuke liit*(=liit) lole*(=tore?)	-		4:0	aga tore on väike beebi				
<i>dangerous</i>	hädavajalik	-		2:4	teine naaber on kena	-					
<i>stupid</i>	loll	-		2:4	see klaas on hädaohtlik	-					
<i>sweet</i>	magus	-		2:4	meie naaber on täitsa loll	-					
<i>tiny</i>	pisit#	2:4	kus pisi tita mummumemm (=lumememm) on?	-	see onnokokk on magus	-					
<i>sharp</i>	terav	-		2:4	ja see Püüpart on terav	-					
<i>hard</i>	köva	-		2:4	see oli köva	-					
<i>dry</i>	kuiv	-		2:4	aga *teki (tekk) on kuiv	-					

Appendix 1 - Boys' Initial Use of English and Estonian Adjectives in Chronological Order - 3

ADJECTIVES		KARL-OSKAR			LEMBIT			AKSEL		
English	Estonian	Age	Estonian utterance	Age	Utterance	Age	Utterance	Age	Utterance	
<i>dirty</i>	must mustad NP *muss (mustaks) I	- - 2;5	laua *muss (= mustaks), emme	2;4 2;8	see oli natuke must need on mustad	- - -				
<i>green</i> (riin*)	roheline	-		2;3;19 2;8	riin*(green) see on roheline tuli	-	selle seest on #roo (roheline)			
<i>empty</i>	tühi	-		2;4	ja see raamat on tühi	2;11	*man (minu/mine?) kööst*(köht) tühi!			
<i>dark</i>	pime	-		2;4	nüüd on pime	-				
<i>same kind</i>	*uks ? *sugune (ühesugust) P	-		2;4	ta juhib ... seda üks* ... sugune* autot	-				
<i>yukkie-poo</i>	kole, vastik	- 2;5	kole on Ossi	2;4;10	nüüd ilm on väga <i>yukkie-poo</i>	-	kole maitse <i>bad blocks</i>			
<i>bad</i>	halb	-		2;10;8 2;4	<i>bad luck!</i> ilm on nii halb ja	3;1 4;0;12				
<i>black</i>	must	- 2;5	see ka palle*(=valge) ja muss*(=muss)	2;4;11 2;5	is i*(it) <i>black?</i> see on must värv	- 2;10				
<i>white</i>	valge	2;5	see ka palle* (valge) ja muss* (muss)	2;10	ja valge *köhu (köht)	2;9 3;3	oo - vaa*(valge) tekk valge papist, on papist mon(=?) mullist(=?)			
<i>light</i>	valged NP	-		3;0 2;4;11	need on valged is a <i>little lai light</i> (kas on natuke valge)	-				
<i>friendly</i>	valge sõbralik	-		2;5	tuvi on väga sõbralik, tuvi mängib	2;11				
<i>yellow</i>	kollane kollase G kollases In kollast P	2;5 - - -	da*(jaa), kolla*(kollane)	2;5 2;5 2;5 2;5	kollane auto on must ma lähen kollase autoga sõitma minu kollases autos on iste peab kollast autot pesema	- - - -				
<i>hot</i>	kuum	-		2;5	see on ... väga kuum	-				
<i>certain</i>	kuumad NP	-		2;5	nad on veel kuumad	-				
<i>clean</i>	kindel puhas	- -		2;5 2;5	ma olen kindel olen nüüd puhas (r)	- -				

Appendix 1 – Boys' Initial Use of English and Estonian Adjectives in Chronological Order – 4

ADJECTIVES		KARL-OSKAR		LEMBIT		AKSEL	
English	Estonian	Age	Estonian utterance	Age	Utterance	Age	Utterance
<i>red</i>	punane punased NP	- 2;5	puna*(punane) lill	2;9;27 -	... <i>whole red line</i>	- 3;1	ja vällast*(väljast) on punane
<i>cold</i>	külm külma P	3;0 -	külm	- -	punased nööpid*	2;9 2;9	seda tee küümm*(külma) kukk toiti*(tõi?) küüma*(külma) soisti*(sousti)
<i>angry</i>	kuri	2;6	kokodill*(kroko-dill) on kul*(kuri)	-		2;11	why de(= the/see?) ku(f)i, why?
<i>capable</i>	tubli	2;6	Ossi tubi*(tubli), *Kaka (kakab) potti	-		2;9	maandi*(ma olen ma?) tubi*(tubli) seda
<i>warm</i>	soe soojad NP sooja P	2;6 - 2;7	see on soo*(soe) vesi jah, ks*(ku?) sooja vett *tule (tuleb), on Ossi sinna ujub	2;7	ma tahan, ää, sojad *(= soojad) sokid	2;10 - 2;10	sooi*(soe?) piim oo, sooja piima
<i>painful</i>	valus	2;6	ei ole valu*(valu)	-		-	
<i>brilliant</i>	brilliantne	-		2;6;19	brilliant (laughter) pumps (expression for hitting)	-	
<i>modest</i>	tagasihoidlik	-		2;8;26	on ainult modest, modest	-	
<i>high</i>	kõrge	2;9	@muna *taha (tahan) minna kõlle*(kõrge) kuuse otsa	-		-	
<i>fat</i>	paks paksu G	- 2;10	@ma *leidsi (leidsin) paksu hennekauna*(hennekauna)	-		2;9	past* loovana*(paks jõuluvana)
<i>fried</i>	praetud	-		-		2;9	baad* muni*(praetud muna)
<i>boiled</i> (boon*)	keedetud	-		-		2;9;5	na*(no), ei boon*(boiled)
<i>happy</i>	rõõmus	-		-		2;9;7	tuhlovana*(jõuluvana) happy
<i>sick</i>	haige *haigetel AP	- -		2;11 2;10	ema selg on haige mul oli see, lapse raha, mis oli *haigetel (haigetel) *lapsele (lastele)	2;11 -	jah, tist(these) to(fwo) a*(are) de (the?) ainge*(haige)
<i>hitting</i> (hittin*)	tagumise	-		-		2;9;19	hit dis*(this) hittin*(hitting) ball
<i>funny</i> (also fanniiit* fan*)	naljakas	-		-		2;10;1	fanniiit*(funny?) inne*(in there) aa*(are)

Appendix 1 - Boys' Initial Use of English and Estonian Adjectives in Chronological Order - 5

ADJECTIVES			KARL-OSKAR			LEMBIT			AKSEL		
English	Estonian	Age	Estonian utterance	Age	Utterance	Age	Utterance	Age	Utterance		
<i>brown</i>	pruun	-		2;10	Nosu kõhit on, ee puun*(pruun)	-		2;10;1	<i>blidde</i> *(=lirile) bit better		
<i>better</i>	parem C	2;11	nii on parem	-		-		2;10;1	*seda (see) minu oma one <i>tiftidi</i> *(different), mamma oma, # <i>dif</i> too (two) <i>diffe</i> *(different) one, <i>one</i>		
<i>different</i> (<i>diftidi</i> *, <i>dif</i> *, <i>diffe</i> *, <i>todiff</i> *, <i>diftent</i> *)	erinev	-		-		-		2;10	seda ... on paras		
<i>just right</i>	paras	-		-		-		2;10;18	*no(not) funny, noisy!		
<i>noisy</i>	lärmakas	-		-		-		2;11	kiil*(kiir-)		
<i>fast</i>	kiir(e)	-		-		-		-			
<i>tasty</i>	maitsev	2;11	see on maitse* (= maitsev), jah	-		-		-			
<i>terrible</i>	hirmus	2;11	... ilmus*(hirmus) palle*(palju) *paati (paate?) oli!	-		-		-			
<i>deep</i>	sügav	2;11	nii sügav, kuku akku*(anku)	-		-		-			
<i>strong</i>	tugev	2;11	tugev	-		-		2;11	*seda(need?) väga keige*(kerge?) *asassa*(asjad?)		
<i>light</i>	kerge	-		-		-		2;11	ooisli*(oraañz)		
<i>orange</i>	oraañz	-		-		-		-			
<i>peculiar</i>	imelik	-		3;0	see on väga imelik rebane	-		-			
<i>good</i>	pai	3;0	(kui) pai poiss oled, siis ei nuta	-		-		-			
<i>violet</i>	lilla	-		-		-		3;1	jaa, ei, seda, seda lilla		
<i>young</i>	noor	-		-		-		3;3	jah, mul on vaja teha üks noor laps siin		
<i>square</i>	nelinurkne	-		-		-		3;4;23	mamma - see on üks <i>square</i> <i>oundäbäit</i> *(roundabout)		
<i>grained</i>	sõmer/ sisse vajutatud	-		-		-		4;0;12	vaat see <i>grainid</i> (grained)		
<i>careful</i>	ettevaatlik	-		-		-		4;0;12	seoko(r)d ma olen väga <i>careful</i>		

= colloquial/ baby talk; * after a word = mispronounced; * before a word = in inappropriate form; bold-type = used form

single-word utterances not shown; P = partitive; G = genitive; NP = nominative plural; I = inessive; A = allative; T = transitive; C = comparative

Светлана Салмиянова
Тарту

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ВЫРАЖАЮЩИХ ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ В МАРИЙСКОМ И ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКАХ

Описание системных связей отдельных фразеосемантических групп (ФСГ) – необходимый этап в познании культурно-языковой специфики языка в целом. В исследованиях по фразеологии в настоящее время внимание лингвистов привлекает репрезентация концепта «время».

Традиционно в философии время выступает в качестве объективной и всеобщей формы существования движущейся материи, внутренне присущей ей. Анализ представлений разных философов о времени показал, что сущность времени можно раскрыть лишь в отношении его к человеку, и поэтому время – форма «интуиции», соответствующая нашему внутреннему чувству. Субъективная оценка времени основана на эмоциях и чувствах, которые непрерывно меняются; значит, время может идти медленно или быстро, останавливаться или менять свое направление.

В лингвистике же «время» – грамматическая категория, значения которой характеризуют временную отнесенность ситуации, описываемой предложением.

Категория времени первоначально оформляется в «наивной» картине мира, так как не существует объективной научной теории о времени. «Наивное» представление о времени отражается во фразеологическом фонде языка.

Статья посвящена сопоставительному анализу лексико-семантических характеристик фразеологических единиц (ФЕ) марийского и эстонского языков с целью выявления сходств и различий в идентификации времени в культурах этих родственных народов.

Источниками анализируемого материала послужили словарь марийских фразеологизмов Грачевой Ф.Т. (Марий фразеологий мутер. – Йошкар-Ола, 1989) и словарь фразеологизмов эстонского языка, составленный Ыйм А. (Õim, A. Fraseoloogia sõnaraamat. – Tallinn, 1993).

Для сопоставительного анализа марийских и эстонских ФЕ, выражающих время, были выработаны фразеосемантические группы (индикаторы), объединенные базовым семантическим компонентом:

1. ФЕ, отражающие время общего понятия (промежуток времени)
2. ФЕ, отражающие временную точку
3. ФЕ, отражающие длительность времени
4. ФЕ, отражающие повторяемость
5. ФЕ, отражающие интенсивность
6. ФЕ, отражающие возраст
7. ФЕ, отражающие временную отдаленность

1. ФЕ, отражающие время общего понятия (промежуток времени)

ФЕ данной группы в своем сигнификативно-денотативном макрокомпоненте значения имеют две интегральные семы: сему времени (*рвезе ijмыр, elukevad, maine teekond*) и сему промежутка времени (*акрет годсек, эр гыч кас марте; aadamast ja iidamast, maast madalast*). Дополнительными дифференциальными признаками являются качественные характеристики временного промежутка, которые, как правило, отражаются адъективным компонентом (*шем кече, рвезе ijмыр, mustad päevad,*) или сема, связанная с состоянием природы (*куван кенеж, vananaise päevad, elusügis, elukevad*). Большинство фразеологизмов данной группы имеет ярко выраженную положительную (*mijj тылзе, mesinädalad,*) или отрицательную оценочность (*шем кече, mustad päevad, sinine esmaspäev*).

Внутри группы были определены полные эквиваленты, фразеологические аналоги, а также безэквивалентные ФЕ. К полным эквивалентам можно отнести фразеологизмы *шем кече – mustad päevad, куван кенеж – vananaise päevad*, к фразеологическим аналогам – *акрет годсек, aadamast ja iidamast*. К безэквивалентным ФЕ относят те ФЕ, которые не имеют соответствий во фразеологической системе другого языка. Именно в этих фразеологизмах отражаются особенности способа мышления, специфические условия развития материальной и духовной жизни носителей языка. Мы в данной статье говорим о безэквивалентных ФЕ в рамках рассматриваемых нами словарей марийского и эстонского языков. В данной группе фразеологизмов, отражающих время общего понятия, можно выделить следующие безэквивалентные ФЕ: *Андрю обед, maine teekond, vaikne tund, sinine esmaspäev*.

В целом можно говорить о значительном сходстве семантики ФЕ марийского и эстонского языков данной группы. Те различия, которые, конечно, существуют, можно объяснить различными способами выражения особенностей быта и социальных установок в разных языках.

2. ФЕ, отражающие временную точку

Сигнификативно-денотативный макрокомпонент значения рассматриваемой группы фразеологических единиц имеет сема момента времени.

На основании семного анализа в данной группе можно выделить две микрогруппы фразеологизмов:

1. Общая для обоих исследуемых языков микрогруппа ФЕ, в значении которых выделяется сема, связанная с состоянием живой и неживой природы (*ijжара печкалтме годым, enne kukke ja koitu, koos kanadega tagata mineta, kanadega üles tõusma*). Фразеологизмы марийского языка данной микрогруппы отличаются своей вариативностью и наличием в коннотативном макрокомпоненте значения образного компонента (*ijжара печкалтме годым, волгыжшаш тйреш, кава печкалтме годым, тйл-дйл дене, чыл-чыл волгалтме годым*).

2. ФЕ эстонского языка, денотативный макрокомпонент значения которых имеет две семы: прибор для измерения времени (*kell kukub*) и единица измерения времени (*tund on käes, tunnike on tulnud, tund on lõonud*). Сигнификативный макрокомпонент фразеологического значения перечисленных здесь ФЕ имеет одну интегральную сему «придет/пришел срок», однако три последних

фразеологизма (*tund on käes, tunnike on tulnud, tund on lõõnud*) имеют дифференциальную сему «пришло время умирать».

3. ФЕ, отражающие длительность времени

Эта фразеосемантическая группа собенно многочислена. На основании семного анализа ФЕ в данной группе можно выделить 4 микрогруппы:

1. ФЕ с семантическим значением «быстро».

Внутри микрогруппы были определены фразеологические аналоги (*ijutыл колтымо гай – nagu oleks kits sabaga lõõnud, nagu koera kaelas vorst; шикш-пурак шикшалташ – nii et tolmab; йолтаганым ончыкташ – et kannad välguvad; шинчам пыч ыштен шукташ огыл – enne kui [keegi] sai nohki ütelda; enne kui [keegi] sai kolmeги lugeda*) и безэквивалентные ФЕ (*меран тупышко шинчын вола, шенгек ончалде каяш, üle öö, nagu oleks kuri kannul, üle pea ja kaela, ahvikiirusega, jalad käivad kuklasse, valu andma*).

Денотативно-сигнификативный макрокомпонент фразеологического значения ФЕ *раз-два веле – пашаже пытыш* имеет дифференциальную сему «просто, легко».

Фразеологизм *valu andma* имеет два семантических значения («делать что-либо быстро» и «подгонять, подстегивать»), что позволяет отнести данную ФЕ и к третьей и о пятой ФСГ (ФЕ, отражающие длительность и ФЕ, отражающие интенсивность).

В числе ФЕ данной микрогруппы есть фразеологизмы имеющие в своем лексическом составе вулгаризмы (*et sitapurujutt taga*).

2. ФЕ с семантическим значением «медленно».

Микрогруппу составляют безэквивалентные фразеологизмы (*малыше меран гай, jalg jala ette, samm sammu järel, jalad kõhu all kinni*). Основанный на гиперболе фразеологизм *kui härja ila venima*, содержит вулгаризм.

3. ФЕ с семантическим значением «долго/давно»: идентичные фразеологизмы с полным соответствием как в плане выражения так и в плане содержания (*пуд шинчалым кочкаш – riuda soola koos ära sööma*) и безэквивалентные ФЕ (*шымыше омым ужаш, лямкам шупшааш, halliks ootama*). Денотативно-сигнификативный макрокомпонент фразеологического значения ФЕ *halliks ootama* имеет дифференциальную сему «безнадежно», а фразеологизм. *лямкам шупшааш – «заниматься тяжелым, изнурительным трудом».*

4. ФЕ с семантическим значением «недолго»

В микрогруппе были выделены аналогичные фразеологизмы (*шйшпык омым малаш – sõba silmale laskma, шйлышым налаш – aega tahta võtma*) и безэквивалентные (*вуйым ончыкташ*).

В коннотативном макрокомпоненте значения всех ФЕ третьей фразеосемантической группы присутствует экспрессивно-стилистический, образный, эмоциональный или оценочный компонент.

4. ФЕ, отражающие повторяемость

К этой немногочисленной группе относятся безэквивалентные фразеологизмы *тошкалма еда, эре итымак тйяш, ушышто пйрдеш, ikka ja alati, viu ja vops, ilmast ilma*. Фразеологическое значение повторяемости действия или явления

передается лексическими компонентами ФЕ. Денотативно-сигнификативное значение повторяемости ФЕ *тошкалма еда, ikka ja alati, ilmast ilma* основано на гиперболе; ФЕ *viu ja vops* – на употреблении синонимичных лексем-звукоподражаний. Коннотативный макрокомпонент значения всех ФЕ рассматриваемой группы имеет эмоциональный (*эре иктымак тийяш, ikka ja alati, ilmast ilma*), оценочный (*ikka ja alati, ilmast ilma*), образный (*тошкалма еда, эре иктымак тийяш, ушышто пйрдеи*) компонент.

5. ФЕ, отражающие интенсивность

На основании семного анализа ФЕ в данной группе выделено 3 микрогруппы:

1. ФЕ с семантическим значением «быстро, интенсивно, беспрестанно».

Микрогруппу составляют фразеологические аналоги (*чон лекшаиш гай – et hing artas, пожарыш кайыме гай – nagu oleks tuli lahti*) и безэквивалентные ФЕ (*вулно ййр, вуй йыр пйрдеи, шенгек ончалде, шйлалтаиш эрык уке, ei ole aega suudki maigutada, täie auruga, nagu jalad võtavad, on saba all*).

Микрогруппа отличается наличием фразеологических вариантов (*вуй йыр пйрдеи, вуйышто пйрдеи, ушышто пйрдеи; шйлалтаиш эрык уке, шйлалтаиш жеп уке; täie auruga, on aur peal; nagu jalad võtavad, jalgadele tuld anda, mitu paari jalgu all; on saba all, saba seljas, tuli on püksis*).

Фразеологическая единица *шенгек ончалде* в зависимости от контекста может быть отнесена как к третьей ФСГ (ФЕ, отражающие длительность времени) так и к пятой ФСГ (ФЕ, отражающие интенсивность), кроме того денотативно-сигнификативный макрокомпонент фразеологического значения упомянутого фразеологизма имеет дифференциальную сему «в страхе».

2. ФЕ с семантическим значением «побуждение к интенсивному действию».

Микрогруппу составляют безэквивалентные ФЕ эстонского языка (*kätel käia laskma, auru juurde panema, jalgu alla tegema, jalad kõhu alt välja, kiiret tegema, valu andma*), имеющие в своем числе варианты (*kätel käia laskma, käsi käia laskma, auru juurde panema, auru peale panema*).

3. ФЕ с семантическим значением «медленно».

В данную микрогруппу семантическим значением «медленно» условно объединены три безэквивалентных ФЕ эстонского языка, семантическое значение которых необходимо описать точнее. Фразеологизм *auru maha võtma* имеет семантическое значение «сбавить темп», фразеологизм *nagu aeg annab* – «неспеша, по мере наличия времени», *pika veoga olema* – «медленно приходящий в действие». Фразеологизм *pika veoga olema* имеет вариант *pikka vedu olema*.

6. ФЕ, отражающие возраст

Эта фразеосемантическая группа немногочислена, однако на основании семного анализа ФЕ в данной группе было выделено 4 микрогруппы:

1. ФЕ с семантическим значением «молодой».

Внутри микрогруппы были определены фразеологические аналоги (*шйр тйрвыштö кошкен огыл – nina on tatine, ужар вуян – kollanokk*), и безэквивалентные ФЕ *шинчалым нулен огыл*. Денотативно-сигнификативный макрокомпонент фразеологического значения ФЕ *шинчалым нулен огыл* имеет

дифференциальную сему «не видевший испытаний». Коннотативный макрокомпонент значения всех ФЕ рассматриваемой микрогруппы имеет оценочный компонент.

2. ФЕ с семантическим значением «старый».

Микрогруппа состоит из частичных эквивалентов (*шонго карта, vana känd*) и безэквивалентных ФЕ (*шинчан срабоч, inimesemuld, teine jalg hauas*). Наблюдается вариативность фразеологизмов данной микрогруппы (*vana känd, vana käbi, vana muld; teine jalg hauas, ühe jalaga hauas*). Коннотативный макрокомпонент значения ФЕ данной микрогруппы имеет оценочный компонент.

3. ФЕ с семантическим значением «зрелый».

Фразеологизмы данной микрогруппы отличаются нейтральной коннотацией, безэквивалентны (*ушым шындаш, капеш шуаш, вуеш шуаш, turjal olema*), фразеологизмы марийского языка вариативны.

4. ФЕ с семантическим значением «дети».

Микрогруппу составляют безэквивалентные фразеологизмы эстонского языка *peen(em) pere, õrn iga, kaelakandja*. Коннотативный макрокомпонент значения ФЕ микрогруппы имеет положительную оценочность.

7. ФЕ, отражающие временную отдаленность

Фразеосемантическая группа состоит из двух, выделенных на основании семного анализа ФЕ микрогрупп, и одного, стоящего особняком, фразеологизма.

1. ФЕ с семантическим значением «когда-либо, неизвестно когда»

Микрогруппу составляют безэквивалентные фразеологизмы (*меран поч кушмеке, Kalevi alla panema*). Коннотативный макрокомпонент значения обоих ФЕ имеет образный компонент, денотативно-сигнификативный макрокомпонент фразеологического значения фразеологизма *меран поч кушмеке* имеет дифференциальную сему «никогда».

2. ФЕ с семантическим значением «скоро».

Микрогруппа состоит из фразеологических аналогов: *вуй їмбалне, нер мучаште, ukse ees olema, on kãpaga katsuda*. Коннотативный макрокомпонент значения всех ФЕ имеет образный компонент.

3. Фразеологизм *omal ajal* имеет семантическое значение «однажды, рано или поздно, когда-нибудь, когда-то (в прошлом)» и распространяется во временном отношении как на будущее, так и на прошлое.

При констративном изучении фразеологии марийского и эстонского языков обнаруживается, что оба языка для выражения определенных коммуникативных намерений часто используют идентичные ФЕ. Степень межъязыковой эквивалентности фразеологизмов исследуемых нами языков довольно высока.

И в марийском и в эстонском языке преобладают фразеологизмы, основанные на сходстве (*волгенче гай – nagu välk, пожарыш кайыме гай – nagu oleks tuli lahti*). Меньшей ФЕ, основанных на гиперболе (*nagu härja ila venima*), алогизме (*меран поч кушмеке, jalad kõhu alt välja*).

Литература

- Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц. Казань: Издательство Казанского университета, 1989.
- Аюпова Р.А. Сигнификативно-денотативный макрокомпонент фразеологического значения в словарной статье и контексте // Москва: Вестник Университета Российской Академии Образования. N3(41), 2008. – С. 31–36.
- Грачева Ф.Т. Марий фразеологий мутер. – Йошкар-Ола, 1989.
- Игнатьева М.Э. Сопоставительный анализ фразеологических единиц со значением «промежуток времени» в русском и английском языках / М.Э. Игнатьева // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Международная научная конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 4–6 октября 2004 г.): Труды и материалы: / Под общ. Ред. К.Р. Галиуллина. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. – С.62.
- Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М., 1996.
- Щербина В.Е. Концепт «время» во фразеологии немецкого и русского языков: Автореф. дис. канд. филол. наук / В.Е. Щербина; Уфа: Башкирский государственный университет, 2006. – 23 с.
- Õim A. Fraseologia sõnaraamat. – Tln., 1993.

Pauli Saukkonen
Helsinki

ORIGINS OF THE FINNO-UGRIC LANGUAGE FAMILY IN THE LIGHT OF EXTRALINGUISTIC EVIDENCE

Determination of the origins of a particular linguistic group calls for interdisciplinary cooperation in which language history is backed up with information on both material and intellectual culture and also from the natural sciences. The most important extralinguistic evidence is perhaps that provided by archaeology, and in the last few decades especially by population genetics. Indeed, the latter may well be said to be the most relevant of all, because language and population belong together. The huge amount of genetic research that has taken place in recent times has yielded an abundance of new information, especially on the populations of areas of essential importance for early settlement in Europe, namely the Middle East, the Caucasus and Central Asia, which together formed a corridor for migration into Europe from Asia. The result has been that we have had to re-think quite essential parts of our existing theories on such matters.

Some linguists maintained a few years ago that population genetics had nothing to do with language history, but I don't believe that they would be of that opinion nowadays or that anyone would venture to voice such ideas today. To quote the work of Karafet et al. (2002) on the linguistically highly varied region of Siberia, "We examined genetic variation on the non-recombining portion of the Y chromosome (NRY) to investigate the paternal population structure of indigenous Siberian groups and to reconstruct the historical events leading to the peopling of Siberia. When we divided our Siberian sample into four geographic regions versus five major linguistic groupings, analysis of molecular variance (AMOVA) indicated higher ϕ_{ST} and ϕ_{CT} values for linguistic groups than for geographic groups. Mantel tests also supported the existence of NRY genetic patterns that were correlated with language, indicating that language affiliation might be a better predictor of the genetic affinity among Siberians than their present geographic position." A similar picture is provided by Nasidze et al. (2004) regarding the situation in the Caucasus.

In ethnolinguistic terms, language shift in a wide area may occur particularly when speakers of a new language enter an area and gain a dominant status there. Otherwise, there is a high probability of a positive correlation between the continuum defined by population genetics and the linguistic continuum. This can be detected with greatest certainty at the macro-level, where language families and linguistic groups are concerned, and it is this that forms the basis of the widely acknowledged view that the Finno-Ugric family of languages, and indeed the whole Uralic family, can be traced back to a population representing a paternal N-haplogroup/lineage.

Greater precision has been introduced into population genetics by mapping subgroups within the haplogroups, and greater breadth by extending the analyses to areas that had previously been unexplored. On the basis of the fact that the family of Finno-Ugric languages and the family of Finno-Ugric peoples depend on each other I shall attempt here to provide a concise overall picture of the origins of the Finno-Ugric

language family. The geneticists themselves have not done this, but Estonian, Finnish and Russian geneticists in particular have put together an excellent arsenal of data concerning the Finno-Ugric populations that has also led me to revise some of the ideas I put forward in my book of 2006. I have summarized the main elements in the demographic process in the accompanying historico-geographical flow chart. Its thicker arrows indicate the continuity of the original Uralic-Finno-Ugric line and the thinner arrows foreign assimilation to this family. The number indicates an estimated age of the haplogroup in the region where it has likely started to expand (the entire age of the haplogroup is much older).

The closest genetically to the original stock among the modern humans inhabiting post-glacial Europe are those representing the paternal I1 and N1 haplogroups and the maternal U5, U4, V and H haplogroups. The paternal haplogroups R1a and R1b are the most common, but their descendants in Europe have been shown in the most recent studies to be younger, e.g. R1a1a7 dating back about 6000 years (Underhill et al. 2010, Klyosov 2009, Balaesque 2010). These new datings are of crucial significance when we consider the relation between the Finno-Ugric and Indo-European linguistic groups. Taken together, all these six macro-haplogroups with their subgroups account for the great majority of the population of Europe. A description of the ages, frequencies and diversity of these haplogroups and their subgroups together with an account of their geographical distribution can reveal, at least in relative terms, something about the regional and historical origins of the present-day populations.

The genetic data suggest that modern humans from Asia colonized Europe by three routes: (1) via Anatolia and the Balkans, (2) via the Caucasus, and (3) from western Central Asia beyond the Caspian Sea. The maternal U and H lineages would appear to have come to Europe by all three routes, the paternal lineage I* or I1 came first to the Caucasus and the Balkans (Nasidze et al. 2004) and the maternal lineage V to the Caucasus, while the paternal lineage N1 migrated via the eastern shore of the Caspian Sea and R1a and R1b perhaps via the Caucasus or else, particularly later, in the wake of the Uralians, to the east of the Caspian Sea as well. This means that the origins of the whole population of Europe lie in the Middle East and Central Asia, in an area to the south and east of the Caspian Sea extending from Iran to the surroundings of Lake Aral. This means that the current notion of the demographic boundary between Europe and Asia as coinciding with the Ural Mountains represents a later situation, and that the original boundary was formed by the Himalayas (Gayden et al. 2007). The genome of the human population to the east of this boundary is different, as a consequence of the population coming later from South-East Asia. There are a number of recent studies that consistently demonstrate that part of the above-mentioned population of western Central Asia inhabited East and North-East Asia at first (and also America some 15 000–16 000 years BP., see Volodko et al. 2008) and that migration in the opposite direction, westwards, took place later and extended especially to the boundary between the Himalayas and the Altai Mountains. “The northern populations in Asia started to expand earlier than the south-eastern populations because they could exploit the abundant megafauna of the ‘Mammoth Steppe’.” (Xue et al. 2006) An eastern influence spread as far as the Urals region some time later, but it may be said in general terms that there is no eastern Eurasian paternal lineage in Europe nor any eastern Eurasian maternal lineage of any significant frequency.

The above implies that paternal lineage N1 in the Finno-Ugric and Samoyed populations similarly did not come from East Asia but directly from the south, and the abundance of the N1(c1) haplotype in eastern and northern Siberia would seem to be derived from their common origin in Central Asia (Irwin et al. 2010, Derenko et al. 2007, Roostalu et al. 2007, Sengupta et al. 2005, Zerjal et al. 2002, Metspalu et al. 2004, Quintana-Murci et al. 2004). Archaeological research confirms that the oldest migration of population in Asia was from west to east (Dolukhanov et al. 2002, 2004; Kuzmin & Keates 2005), so that the Yakuts, for instance, among whom representation of the N1c(1) haplotype is as high as 88%, have been shown in studies of mummified corpses to have moved to the area at a late stage (Crubézy et al. 2010).

The majority of the most ancient among the haplogroups typical of Finno-Ugric populations continue to be the above-mentioned I1, N1, U5/U4, V and H. On a Eurasian scale, both the paternal and maternal ancestors came directly from the south. The most recent research has corrected the previous notion that the maternal lineages U5, H and V came indirectly, via Western Europe. Of the H lineages, the subgroups H2a and H6 are best suited for pairing with N1, and can be found both in the same original areas south of the Urals and in all the Finno-Ugric peoples and the Eastern Slavs (Loogväli et al. 2004, see map on p. 2015). The H1 haplogroup, which is common to all of these may well have come from Caucasia and H3 from the Balkans, while haplogroup V must have spread to the Finno-Ugrians from Caucasia. It should also be noted that N1 spread directly westwards to some extent, to reach the Ukraine and Poland. The oldest haplogroup, U5, is the most problematic. The proposed origin in western Central Asia is supported by the occurrence there of its ancestral groups K (9.1–12.5%) and U*.

The only essential difference between the Finno-Ugric peoples and the other Europeans is that the Finno-Ugric (and Samoyed) paternal lineages are characterized by N1 whereas those of other Europeans (in practise Indo-Europeans) are characterized by R1a and R1b. Thus, both the Finno-Ugric and the Indo-European paternal lineages are derived from the same major region of western Asia; it is simply that N1 is a more northerly haplogroup and entered North Europe at an earlier stage. The Finno-Ugric inhabitants of modern-day Europe have gained some additional maternal lineages from Western Europe and M* from East Asia, but the frequencies are rather low, so that these have been of negligible significance for the initial formation of the Finno-Ugric linguistic group. It is possible that the appearance of M* may have been mediated by the Turks, as it occurs among them at frequencies of 2.0–11.9% and applies particularly to the Ugric group, Samoyeds and Udmurts, who were subjected to East Asian influence.

N is thus a Uralian paternal lineage that is common to both the Finno-Ugric peoples and the Samoyed and is also of significance among Turkic speakers (10–11%). It is descended from haplogroup NO, which occurs only to a minimal extent nowadays. The sister haplogroup, O, is most common in more distant parts, in South-East Asia and Oceania, having moved there from the above-mentioned N area: “It is most likely that these populations have come from Central Asia through the western Indian corridor and subsequently colonized Southeast Asia” (Kumar et al. 2007). O continues to be found in Uzbekistan, Kazakhstan and Tajikistan. The situation was previously thought to be the opposite, that both N and O had originated in South-East Asia and that N had accomplished a major migration to Central Asia via the northern route from North-East

Asia. This would now seem improbable, if only because the South-East Asian branch is demonstrably younger than the Central Asian one.

The forerunners of NO, on the other hand, are L and its predecessor K. K is common in the countries of Central Asia from the eastern shore of the Caspian Sea as far as Mongolia (Zerjal et al. 2002). The main area for haplogroup L comprises India, Pakistan and Iran (especially the Dravidians) and it also occurs among the Turks of Uzbekistan and Kazakhstan and in places in Caucasia. This area overlaps in the north with the southernmost occurrences of N, in northern Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan and Kyrgyzstan (with a frequency of 2–4% among the Uighurs) and continues into China (see Wikipedia: “Y-DNA haplogroups by ethnic groups” and references therein). In other words, the N haplogroup must have originated in this Turkic region of Central Asia, where its precursors K and L are to be found. The region was evidently a refugium during the Ice Age and possesses a high level of genetic diversity. The N haplogroup is estimated to date back some 12 000–20 000 years (or $13\,400 \pm 4\,000$ years according to Mirabal et al. 2009), and its descendant, N1, most probably originated here, too. Possible maternal lineages could have been H (which is common also among the Turkic peoples) and U5/U4 (which has frequencies of 2–8% among these same peoples). The general opinion nowadays, however, is that maternal lineages cannot reliably be used to deduce macro-trends in linguistic development; in other words, languages were not usually transmitted by wives brought from some distance away to the language communities of their husbands. The paternal lineage was more decisive in terms of the language continuum, but of course it could be supported by the old assimilated maternal lineages.

All that has been said above combines to form an essential background to any consideration of the potential ancestral and early stages of the Finno-Ugric and Uralic language families in the light of post-glacial settlement history. Rather than presenting static models of kinship, I have chosen to express the population genetics of the speakers of these languages in processual form, as a flow chart, since the structure of the language families was evidently brought about by an expansion of population that took place in several stages. Although the information in this diagram concerns the ethnic groups currently inhabiting these areas, their two-dimensional historic-geographical patterns can be derived from it.

The age of N1c, a subgroup of haplogroup N1, is around 12 000 years (dated to $11\,800 \pm 6\,800$ years by Rootsi et al. 2007, $10\,700 \pm 3\,400$ years by Mirabal et al. 2009 and about 10 000 years by Derenko et al. 2007, while Wikipedia quotes a figure of about 14 000 years), and that of N1b is 15 800 years according to Mirabal et al. (2009). One can probably speak of Uralic and Finno-Ugric language families only from the point at which one or more population groups representing haplogroups N1c/b, H2/6 and U5/4 had moved further north to the Rivers Ural and Belaya at the southern tip of the Urals and on to the banks of the Kama and Lower Volga and established themselves there. The area is a dichotomous one and may be assumed to have been such also linguistically at first: haplogroups N1b, U4 and H6 (which were also to be found in the Turkic areas to the south and may have originated from there) predominated on the eastern edge, amongst the Ugrians and Samoyeds, while the Finnic-Permian-Volgaic combination in the Volga-Kama area on the western edge is N1c1* (known earlier as N3a) together with U5(b) and H2a1. The Ugrians (especially the Mansi) also possess lineages that belong to the western group.

The Finnic-Permian N1c1(a) pioneers in the westernmost group were the first to break away, moving initially to the Volga-Oka area and arriving in the Baltic region, Finland and Northern Russia by 9000 BP at the latest (dated to 8000–10 000 years by Kasperaviciute 2004, to 8980 ± 1800 BP by Derenko et al. 2007, and to 9700 ± 2600 BP in Kursk and 8200 ± 2500 BP in Arkhangelsk by Mirabal et al. 2009) and also in the Samoyed areas east of the Urals. The age of the maternal lineage U5b1b in the Saami area of northern Scandinavia is placed at 8600 ± 2400 years by Achilli et al. (2005) and that of its predecessor, haplogroup U5b, at 13 000 ± 4000 years, while Ingman & Gyllensten (2007) date the former to 6600–5500 years. The alien groups I1a, V, H1 and H3 came to these areas from further west in Europe. Haplogroup N1c1 had three other branches: N1c1a and N1c1b in Asia and the Komi – Udmurt region, dated to 9980 ± 2410 BP (Derenko et al. 2007), and N1c1c in Eastern Europe and Siberia, dated to 6610 ± 1960 BP (Derenko et al. 2007).

The Samoyed groups N1b1-A would seem to have split off from the Ugrians perhaps only some 6600 years ago (dated to 6200 ± 2000 BP by Rootsi et al. 2007, to 6000–13 000 BP by Mirabal et al. 2009 and to 6660 ± 1670 BP by Derenko et al. (2007). In this it was accompanied by the maternal lineage U4a(1), and also U5a, but not U5b1b. This implies that the Samoyed branch arose substantially later than the Finno-Ugric branch and its migration and development in the Volga–Baltic Sea–Arkhangelsk region. Also, a clan possessing haplotype N1b1 moved into the former Finno-Ugric areas west of the Urals, i.e. Volga, Northern Russia and the Vepsian and Karelian regions. All these migrations will have had linguistic consequences, of course, e.g. the borrowing of typical Samoyed features into other languages and a general merging of old and new strata. N1b1 and N1b1-A are also found in the Turkic regions.

The European branch of N1b1, known as N1b1-E (Derenko et al. 2007), is to be found among the Khanti, Mansi, Udmurts, Komi, Mari, Mordvinians, Tartars, Russians, Vepsians and Karelians, but not among the Saami. This is a younger branch and probably originated in the area around the River Mezen (Balanovsky et al. 2008, Mirabal et al. 2009). At this point, the maternal lineage Z1a from the Volga–Urals region was also transmitted to the Saami (Ingman & Gyllensten 2007).

The subgroups of the maternal lineages reflect the original linguistic divisions to the extent that Finland, Northern Russia, Estonia, Latvia and Lithuania represent haplogroups H2 and H3, and the Volga–Urals region H6, which dates back only 3400 years (Roostalu et al. 2007) and is also present in Eastern Russia and Estonia. Haplogroup H1 is ubiquitous, and together with “Turkic” H8 they are the only H lines to be found among the Saame (Derbeneva et al. 2002). U4a(1) entered the Volga–Urals region and Northern Russia later, together with N1b1 (Malyarchuk et al. 2008). Haplogroups H1(a), H2(a1), H6 and U4/U5 are also represented among the Turkic populations.

The foreign haplogroup I1a, which entered Northern and Eastern Europe via the Balkans and the Caucasus, is perhaps an older European paternal lineage than N1c1, but in the north Lappalainen et al. (2008) calculate its local age to be 7700 ± 1300 years. When it was originally advancing in the east, e.g. along the western bank of the Volga, the population groups may not necessarily have encountered each other at first, and as most groups will have been relatively small, the extensive territories available to be exploited in common will have in any case been sufficient for them. The Finno-Ugric peoples received a substantial I1 input in the course of time, but the language of

this clan that pre-dated the modern Indo-Europeans has not survived other than in the form of substrates. It has been obscured by those of the R1a1 and R1b paternal lineages moving north from areas in Iran and India lying south of the Uralic source region. Haplogroup R1a1a7, which was later mainly representative of the Slavs, spread throughout the Finno-Ugric area (Mirabal et al. 2009, Malyarchuk et al. 2008), so that its oldest stratum in North-Eastern Europe has come to be referred to by scholars as 'pre-Slavonic' (Balanovsky et al. 2008). There has been some controversy concerning its age, however, in that recent, more precise calculations have shown it to be considerably younger and to have coincided with the spread of agriculture (Balaresque et al. 2010). Klyosov (2009) places its age in Europe at 5000–6000 years and Underhill et al. 2010 7900 ± 2600 years. This widespread Indo-European expansion at such a time serves well to explain the passage of old Indo-European loanwords into all the Finno-Ugric languages. The Finno-Ugric people themselves could have brought cultural innovations and loanwords from their original Volga region to the north, when there was a new migration wave (most likely together with Indo-Europeans) 6000 – 7000 BP (Ingman & Gyllenstein 2007).

The R1a1 population entered the Saami area in the north mostly via Norway and Sweden. It should be noted that the frequency distribution of paternal lineages among the coastal peoples of Northern Russia (Pomors) is similar to that among the Saami, with a high proportion of I1a, namely R1a 40.3%, N1c1 28.6% and I1a 20.8%. This means that the ancient population that settled in Scandinavia became mixed with the Finno-Ugric Saami population in Northern Russia as well. A corresponding mixing would also appear to have occurred on the southernmost margins of the Finno-Ugric area, too, where it involved people of Turkic origin, in whom R1a1 is a major paternal lineage. It can thus be assumed that a mixed group was formed in which the paternal lineage was Turkic R1a1a instead of Ugric N1b/c, and that these people preserved Ugric language, in the same way as some of the mixed population in the north retained their Saami language. It is these Turkic-Ugric nomads that must have formed the original tribe with a paternal haplotype R1a1 and a Ugric maternal haplotype H (together with the Turkic-Ugric maternal lineage M*) as its dominant genetic traits that served as the ancestors of the Hungarians.

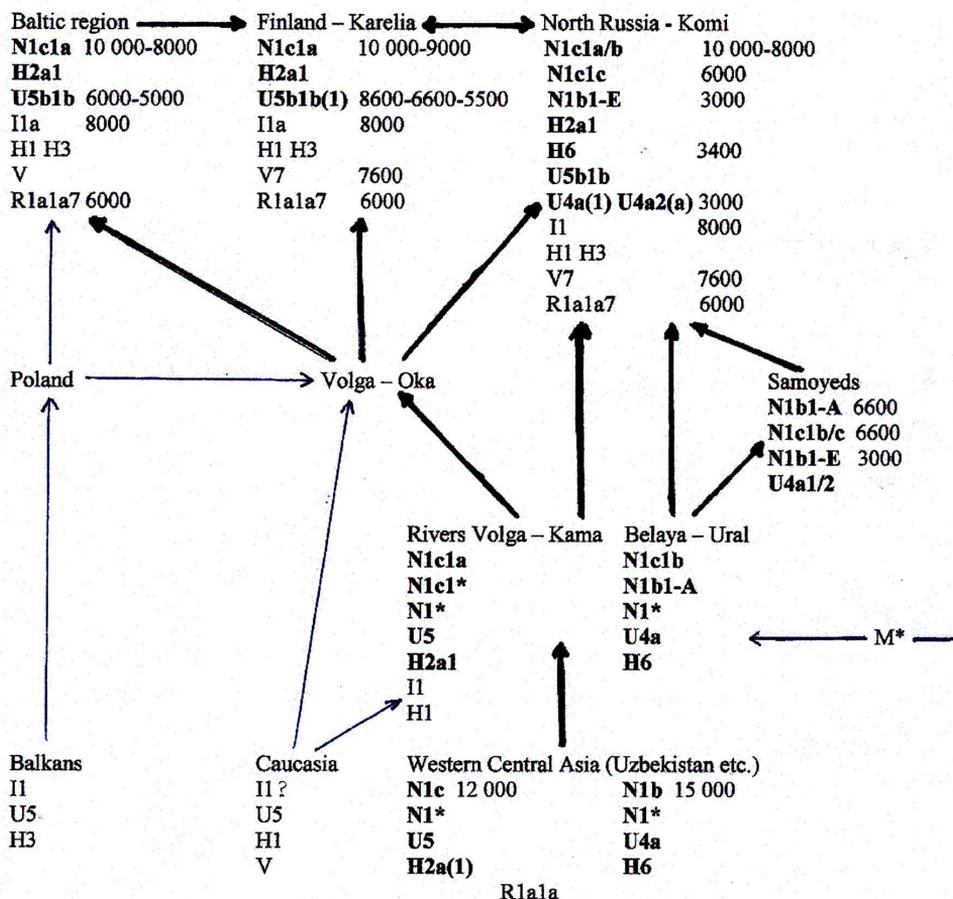
As a variety of interpretations exist regarding the dating of the origins and development of the Uralic family of languages in terms of linguistic history, the question remains as to how these interpretations fit in with the above overall framework. If, for instance, the certain majority of cultural and ethnic groups such as the Komi, Udmurts, Mari and Mordvinians are interrelated both linguistically and demographically, so that their common and distinctive genomes (N1c1a etc.) are descended from common ancestors and the languages are similarly descended from a common proto-language, the two evolutionary processes can be expected to have followed regularly a normal, common, parallel course of development. The difference in timing between the origins of the linguistic and demographic lineages therefore leaves an unsatisfactory gap in the overall picture, and one that in any case calls for an explanation. If the origin deduced for the Finno-Ugric linguistic lineage is markedly younger than that for the corresponding demographic lineage (as has been proposed, especially in recent times), this will imply that the common N1c1a ancestors of the Komi, Udmurts, Mari and Mordvinians originally, some 10 000 years ago, spoke a language belonging to some other linguistic family. But what genetic lineage(s) could

that family have belonged to? Could it have belonged to one of the groups that entered the region from the west, i.e. I1, H1, etc., or to some of the maternal (U5/4, H2a1, H6) subhaplogroups, if they represented a different language family, as they were assimilated with a certain paternal N1c/b subhaplogroup? (This same question also applies to the N1c1a groups, which have possibly drifted apart and changed language and then entered the aforesaid region.)

A straightforward and natural explanation would be that these ancestors of 10 000 years ago spoke an early pre-Uralic form of the same linguistic lineage that it is no longer possible to reconstruct. Some of the remnants, which tend to be ascribed to an “unknown palaeo-European linguistic substrate”, could belong to that language. Another possibility is that these pre-Uralic pioneers became mixed with I1 + H1 populations and adopted their language especially in the north. In this case, their descendants (N1c1a, H2a1, U5b1b) returned later to the ancient language family, when new Uralic expansion waves arrived to their territories.

Regarding the period 10 000–6000 BP as a whole, one could speak, in the same way as for the Indo-European languages, of a multi-stage process of formation of a language family from the early (“Early Proto-Uralic”?) settlement to the second significant (“Middle/Late Proto-Uralic”?) stage of the assimilation of Indo-European R1a1a7 peoples and their linguistic loans.

FLOW CHART of the most significant population lineages: paternal haplogroups I1, N1, R1, maternal haplogroups U, H, V, M and their subhaplogroups and local ages (= years before present, BP). The boldfaced haplogroups indicate an original Finno-Ugric continuum.



References

- Achilli, A. et al. 2005: Saami and Berbers – an unexpected mitochondrial DNA link. *American Journal of Human Genetics* 76: 883–886.
- Balanovsky, O. et al. 2008: Two sources of the Russian patrilineal heritage in their Eurasian context. *American Journal of Human Genetics* 82: 236–250.
- Balaresque, P. et al. 2010: A predominantly Neolithic origin for European paternal lineages. *PLoS Biology* 8 (1).
- Bermisheva, M. K. et al. 2002: Diversity of mitochondrial DNA haplotypes in ethnic populations of the Volga-Ural region of Russia. *Molecular Biology* 36: 990–1001.
- Crubèzy, E. et al. 2010: Human evolution in Siberia: from frozen bodies to ancient DNA. *BMC Evolutionary Biology* 10:25.
- Derbeneva, O. A. et al. 2002: Traces of early Eurasians in the Mansi of Northwest Siberia revealed by mitochondrial DNA analysis. *American Journal of Human Genetics* 70: 1009–1014.

- Derenko, M. et al. 2007: Phylogeographic analysis of mitochondrial DNA in northern Asian populations. *American Journal of Human Genetics* 81: 1025–1041.
- Derenko, M. et al. 2007: Y-chromosome haplogroup N dispersals from south Siberia to Europe. *Journal of Human Genetics* 52: 763–770.
- Dolukhanov, P. M. et al. 2002: Colonization of Northern Eurasia by modern humans: radiocarbon chronology and environment. *Journal of Archaeological Science* 29: 593–606.
- Dolukhanov, P. M. et al. 2004: Reply to Y. V. Kuzmin, S. G. Keates (*Journal of Archaeological Science* 31 (2004) 141–143). *Journal of Archaeological Science* 32: 1125–1130.
- Gayden, T. et al. 2007: The Himalayas as a directional barrier to gene flow. *American Journal of Human Genetics* 80: 884–894.
- Ingman, Max – Gyllensten, Ulf 2007: A recent genetic link between Sami and the Volga-Ural region in Russia. *European Journal of Human Genetics* 15: 115–120.
- Irwin, J. A. et al. 2010: The mtDNA composition of Uzbekistan: a microcosm of Central Asian patterns. *International Journal of Legal Medicine*: advance online publication.
- Karafet, T. M. et al. 2002: High levels of Y-chromosome differentiation among native Siberian populations and the genetic signature of a boreal hunter-gatherer way of life. *Human Biology* 74 (6): 761–789.
- Kasperaviciute, D. et al. 2004: Y chromosome and mitochondrial DNA variation in Lithuanians. *Annals of Human Genetics* 68: 438–452.
- Klyosov, A. 2009: DNA genealogy, mutation rates, and some historical evidence written in the Y-chromosome, Part II: Walking the map. *Journal of Genetic Genealogy* 5 (2): 217–256.
- Kumar, V. et al. 2007: Y-chromosome evidence suggests a common paternal heritage of Austro-Asiatic populations. *BMC Evolutionary Biology* 7: 47
- Kuzmin, Y. V. – Keates, S. G. 2005: Comment on "Colonization of Northern Eurasia by Modern Humans: Radiocarbon Chronology and Environment" by P.M. Dolukhanov, A. M. Shukurov, P. E. Tarasov and G. I. Zaitseva, *Journal of Archaeological Science* 29, 593–606 (2002). *Journal of Archaeological Science* 31: 141–143.
- Lappalainen, T. et al. 2008: Migration waves to the Baltic Sea region. *Annals of Human Genetics* 72: 337–348.
- Loogväli, E-L. et al. 2004: Disuniting uniformity: A pied cladistic canvas of mtDNA haplogroup H in Eurasia. *Molecular Biology and Evolution* 21 (11): 2012–2021.
- Malyarchuk, B. A. – Derenko, M. V. 2001: Mitochondrial DNA variability in Russians and Ukrainians: Implication to the origin of the Eastern Slavs. *Annals of Human Genetics* 65: 63–78.
- Malyarchuk, B. et al. 2008: Mitochondrial DNA phylogeny in eastern and western Slavs. *Molecular Biology and Evolution* 25 (8): 1651–1658.
- Metspalu, M. et al. 2004: Most of the extant mtDNA boundaries in South and Southwest Asia were likely shaped during the initial settlement of Eurasia by anatomically modern humans. *BMC Genetics* 5: 26
- Mirabal, S. et al. 2009: Y-Chromosome distribution within the geo-linguistic landscape of northwestern Russia. *European Journal of Human Genetics* 17: 1260–1273.

- Nasidze, I. et al. 2004: Mitochondrial DNA and Y-chromosome variation in the Caucasus. *Annals of Human Genetics* 68: 205–221.
- Pimenoff, V. N. et al. 2008: Northwest Siberian Khanty and Mansi in the junction of West and East Eurasian gene pools as revealed by uniparental markers. *European Journal of Human Genetics* 16: 1254–1264.
- Quintana-Murci, L. et al. 2004: Where west meets east: The complex mtDNA landscape of the Southwest and Central Asian corridor. *American Journal of Human Genetics* 74: 827–845.
- Roostalu, U. et al. 2007: Origin and expansion of haplogroup H, the dominant human mitochondrial DNA lineage in West Eurasia: The Near Eastern and Caucasian Perspective. *Molecular Biology and Evolution* 24 (2): 436–448.
- Rootsi, S. et al. 2007: A counter-clockwise northern route of the Y-chromosome haplogroup N from Southeast Asia towards Europe. *European Journal of Human Genetics* 15: 204–211.
- Saukkonen, P. 2006: Suomalais-ugrialaisten kansojen ja kielten alkuperäongelma (Origins of the Finno-Ugric peoples and their languages). Helsinki University Press.
- Sengupta, S. et al. 2005: Polarity and temporality of high-resolution Y-chromosome distributions in India identify both indigenous and exogenous expansions and reveal minor genetic influence of Central Asian pastoralists. *American Journal of Human Genetics* 78: 202–221.
- Underhill, P. A. et al. 2010: Separating the post-Glacial coancestry of European and Asian Y chromosomes within haplogroup R1a. *European Journal of Human Genetics* 18: 479–484.
- Volodko, N. V. et al. 2008: Mitochondrial genome diversity in Arctic Siberians, with particular reference to the evolutionary history of Beringia and pleistocenic peopling of the Americas. *American Journal of Human Genetics* 82: 1084–1100.
- Wiik, K. 2008: Where did European men come from? *Journal of Genetic Genealogy* 4: 35–85.
- Wiik, K. 2009: The roots of European men. A study based on Y-chromosome DNA. Uniprint, Turku.
- Xue, Y. et al. 2006: Male demography in East Asia: A north-south contrast in human population expansion times. *Genetics* 172: 2431–2439.
- Zerjal, T. et al. 2002: A genetic landscape reshaped by recent events: Y-chromosomal insights into Central Asia. *American Journal of Human Genetics* 71: 466–482.

Габор Б. Секей
Печ

АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОСОВЫХ СОГЛАСНЫХ В ЯЗЫКЕ МАНСИ

В настоящее время в развитии акустической фонетики открылась новая перспектива, когда распространились семейные компьютеры. С помощью компьютерных программ можно сделать дигитальные записи, архивировать и анализировать свои акустические свойства. Этот новейший тип экспериментальной фонетики играет большую роль в том, что он помогает языковедам документировать и сохранять живую речь и последние звуки малых, умирающих языков в мире.

С 2005 по 2008 с помощью фонда лондонского университета (Endangered Languages Project) я пять раз возглавлял экспедиции на Северный Урал с целью документировать живую речь манси. Самая южная группа народа манси находится в Ивдельском городском округе Свердловской области, по данным переписи 2002 их число 259 человек. Дома они говорят на родном мансийском языке. В апреле 2005 я сделал дигитальные записи по разным темам. Моим информантом был Николай Пакин, ему тогда было 45 лет. Он охотник на Северном Урале, его территория на охоте хребты Tárig-Nyór и Hosa-Tump. Он живёт в Юрте Пакина, которая находится на берегу реки Táltjá, это правый приток реки Ивдель.

Носовые согласные звуки имеют свои акустические свойства, которые нетрудно анализировать. Они смычные звуки, и у них свои формантные структуры похожие на гласные, их часто называются сонорными. Носовые сонанты в языке манси, как известно, следующее: губно-губной смычный (билабиальный) носовой согласный сонант *m*, переднеязычный смычный межзубной апикальный (дентальный) носовой согласный сонант *n*, среднеязычный (палатальный) носовой согласный сонант *ny*, и заднеязычный (велярный) носовой согласный сонант *ng*. Слова манси пишутся с помощью венгерской орфографии.

Результаты моего анализа можно видеть в следующих таблицах. В первом столбце находится слово манси, во втором столбце частота основной форманты F0 в герцах, в третьем частота первой форманты F1 в герцах, в четвёртом частота второй форманты F2 в герцах, в пятом частота третьей форманты F3 в герцах, в шестом столбце длина данного звука (T) в миллисекундах, а в последнем столбце его интенсивность (A) в децибелах (dB). В последней строчке можно считать среднюю величину данных формант. Эта средняя величина получается методом лингвистической статистики.

Билабиальный носовой согласный сонант *m* в начале слова является в следующих анализированных нами словах: *mis* 'корова, tehén', *mén kitign* 'мы двое, mi ketten', *manr* 'что, mi', *má* 'земля, föld', *morah* 'морозка, málna', *mót hótal* 'послезавтра, holnapután', *múngi* 'яйцо, tojás'. Приведём данные о формантных картинах этого звука в таблице 1.

Табл. 1

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
mis	104	348	1382	2523	71	67
mén kitign	100	626	1888	2666	63	61
manr	96	260	1110	2719	42	58
má	113	312	1781	2531	112	60
morah	103	402	923	2476	49	62
mót hótal	98	410	1557	3037	31	64
múngi	105	288	1205	2531	73	63
средняя величина	102,7	378	1405,6	2640,4	63	62,1

Билабиальный носовой согласный сонант *m* стоит и в середине слова: *sime* 'его сердце, *szíve*', *same* 'его глаза, *szeme*', *káminyt* 'мягкий, *lágy, puha*', *wit tump* 'остров, *sziget*', *túlmah* 'росомаха, *rozsomák*', *húl sám*t 'чешуя, *halpikkely*'.

Табл. 2

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
sime	112	335	1048	2407	58	68
same	97	412	1408	2356	99	61
káminyt	95	448	1655	2892	71	62
wit tump	93	310	1325	2782	103	62
túlmah	113	595	1402	2730	76	67
húl sám t	85	562	1712	2921	73	59
средняя величина	99,1	443,6	1425	2681,3	80	63,1

Билабиальный носовой согласный сонант *m* в конце слова тоже находится: *posim* 'дым, *füst*', *sajim jiw* 'гнилое дерево, *rohadt fa*', *am* 'я, *én*', *lyám* 'черемуха, *zelnicemeggy*', *pum* 'трава, *fű*', *tórum* 'небо, *ég*', *tórum má* 'земля бога, *isten adta föld*', *sastum má* 'ровная земля, *zöldülő vidék*', *at wáglum* 'не знаю, *nem tudom*', *asyirm* 'холод, *hideg*', *húrm* 'три, *három*', *tósm pum* 'сухая трава, *száradt fű*'.

Табл. 3

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
posim	95	394	2346	3008	97	61
sajim jiw	98	364	987	2470	107	66
am	114	684	1964	2897	181	57
lyám	77	475	1773	2936	83	54
pum	97	409	1568	3011	175	61
tórum	98	825	2159	2988	95	52
tórum má	99	351	1540	2757	111	61
sastum má	90	533	1870	2802	116	62
at wáglum	96	1000	2297	3142	96	48
asyirm	81	422	1522	2723	61	51
húrm	86	910	2402	3209	93	50
tósm pum	91	362	1223	2551	91	62
средняя величина	93,5	560,75	1804,25	2875	108,8	57

Дентальный носовой согласный сонант *n* в начале слова есть в следующих словах: *nén kitign* 'вы двое, ti ketten', *nang* 'ты, te', *nángk* 'лиственница, vörösfenyő', *nor* 'бревно, gerenda', *núj* 'сукно, posztó'.

Табл. 4

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
nén kitign	96	402	1837	3052	31	60
nang	97	363	1646	2790	64	56
nángk	90	430	1493	2784	33	60
nor	85	395	1654	2692	71	55
núj	105	348	1528	2664	65	59
средняя величина	94,6	387,6	1631,6	2796,4	52,8	58

Дентальный носовой согласный сонант *n* в середине слова оказывается в примерах *kinsungkw* 'искать, keresni', *orwinti* 'выть, ordít, bömböl', *ként* 'шапка, sapka', *konsi* 'коготь, karom', *hajtnut* 'волк, farkas', *sórni* 'золото, arany'.

Табл. 5

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
kinsungkw	114	438	1949	2834	124	67
orwinti	105	370	1310	2674	118	65
ként	95	404	1804	2901	95	57
konsi	111	405	1605	3069	132	68
hajtnut	98	396	1255	2540	30	64
sórni	105	399	1665	2498	71	63
средняя величина	104,5	402	1598	2752,6	95	64

Дентальный носовой согласный сонант *n* стоит в конце слова: *argin* 'медь, réz', *urin ékwa* 'ворона, varjú', *holitan* 'завтра, holnap', *pasan* 'стол, asztal', *kolkan* 'пол, padló', *tán* 'они, ők', *pun* 'мех, szőr'.

Табл. 6

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
argin	78	640	1895	2883	81	52
urin ékwa	92	417	2049	2802	101	60
holitan	80	380	1872	2630	38	53
pasan	82	436	1973	2920	85	53
kolkan	Undef.	437	1699	2805	94	43
tán	122	815	1954	2804	152	59
pun	102	488	1589	2983	136	64
средняя величина	92,6	516,1	1861,5	2842,4	98,1	58,4

Палатальный носовой согласный сонант *ny* в начале слова есть в следующих анализированных нами словах: *nyila* 'четыре, négy', *nyélme* 'его язык, nyelve', *nyára* 'чирки, cipő', *nyohs* 'соболь, soboly', *nyór* 'гора, hegy', *nyuli* 'пихта, szurokfenyő'.

Табл. 7

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
nyila	96	320	1756	3053	89	56
nyélme	89	405	1779	2980	66	60
nyára	105	443	1846	2993	157	45
nyohs	97	431	1423	2535	79	65
nyór	94	356	1596	2904	113	54
nyuli	104	355	1769	2811	93	62
средняя величина	97,5	385	1694,8	2879,3	99,5	57

Палатальный носовой согласный сонант *ny* в середине слова в некоторых примерах: *torwinytangkw* 'хрюкать, horkol', *hanyisytangkw* 'учить, tanít', *ányt* 'рог, szarv'.

Табл. 8

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
<i>torwinytangkw</i>	100	419	1467	2756	72	64
<i>hanyisytangkw</i>	109	387	1418	2976	50	67
<i>ányt</i>	92	409	2121	3399	109	65
средняя величина	100,3	405	1668,6	3043,6	77	65,3

Среднеязычный (палатальный) носовой согласный сонант *ny* в конце слова тоже в некоторых примерах: *any ti* 'сейчас, теперь, most', *húny?* 'когда?', *mikor?*

Табл. 9

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
any ti	93	366	943	2817	105	64
húny	85	453	1977	3203	84	61
средняя величина	89	409,5	1460	3010	94,5	62,5

Велярный носовой согласный сонант *ng* часто есть в конце слова: *hotang* 'лебедь, hattyú', *hasling nyár* 'мшистое болото, zsombékos mocsár', *tinysyang* 'аркан, lasszó'.

Табл. 10

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
hotang	78	420	1478	2493	36	53
hasling nyár	99	373	2046	2721	89	61
tinysyang	82	443	1940	2663	83	61
средняя величина	83,3	412	1821,3	2625,6	69,3	58,3

Велярный носовой согласный сонант *ng* в середине слова перед *k*: *jáنگk* 'лёд, jég', *páنگk* 'грязь, korom, pizsok', *sáنگki* 'пинает, tör, zúz, bök', *pungke* 'его голова, feje'.

Табл. 11

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
<i>já</i> ngk	99	425	2035	2802	111	55
<i>pá</i> ngk	86	484	1901	2878	105	57
<i>sá</i> ngki	116	440	1970	2861	155	67
<i>pung</i> ke	88	381	2015	2728	212	56
средняя величина	97,25	423,5	1980,25	2817,25	145,75	58,75

Велярный носовой согласный сонант *ng* в середине слова перед *kw*: *sé*ngkw 'пар, туман, pára, köd', *sang*kwli 'кочка, zsombék', *á*ngkw 'мать, самка лося, anya, nőstényállat'.

Табл. 12

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
<i>sé</i> ngkw	102	461	2070	2807	76	61
<i>sang</i> kwli	95	466	1240	2563	85	65
<i>á</i> ngkw	104	455	1801	2963	159	65
средняя величина	100,3	460,6	1703,6	2777,6	106,6	53,6

Велярный носовой согласный сонант *ng* всегда оказывается в словообразовательном суффиксе инфинитива: *é*ntuptahtungkw 'подпоясаться, övet köt', *alung*kw 'убить, добить, öl', *jú*ntungkw 'шить, varr', *pátam*tangkw 'выстрелить, lö', *wó*rajangkw 'охотиться, vadászik', *sun*suglangkw 'осмотреть, észrevesz'.

Табл. 13

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
<i>é</i> ntuptahtungkw	84	442	1549	2909	60	54
<i>alung</i> kw	86	450	1220	2631	74	54
<i>jú</i> ntungkw	89	537	2252	3206	79	51
<i>pátam</i> tangkw	83	508	1462	2700	65	56
<i>wó</i> rajangkw	110	446	1484	2854	64	62
<i>sun</i> suglangkw	94	456	1502	2798	106	61
средняя величина	91	473,1	1578,1	2849,6	74,6	56,3

Велярный носовой согласный сонант *ng* есть и в середине слова перед *h*: *tó*nggh 'копыто, pata', *á*nggha 'куропатка, hófajd', *wó*nggha 'яма, gödör', *jó*ngghi 'кружится, körüljár', *ró*ngghégt 'кричат, ordítanak'.

Табл. 14

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
<i>tó</i> nggh	97	507	1910	3167	92	66
<i>á</i> nggha	93	724	1936	2795	72	60
<i>wó</i> nggha	83	632	1988	2983	225	51
<i>jó</i> ngghi	111	411	1142	2408	123	64
<i>ró</i> ngghégt	96	489	1190	2593	52	63
средняя величина	96	552,6	1633,2	2789,2	112,8	60,8

Велярный носовой согласный сонант *ng* в середине слова перед *n* показывает сочетание носовых сонантов *ng* и *n*: *engne* 'его подбородок, álla', *léngn* 'белка, mókus', *wángne* 'его плечо, välla'.

Табл. 15

слово	F0 Hz	F1 Hz	F2 Hz	F3 Hz	T ms	A dB
<i>engne</i>	108	445	1833	2531	142	69
<i>léngn</i>	105	517	1848	2817	85	69
<i>wángne</i>	93	461	985	2555	124	64
средняя величина	102	474,3	1555,3	2634,3	117	67,3

Анализ значения числа этих различных формантов тоже важная научная задача. Дальше можно исследовать частоты формантов шумных звонких, шумных глухих и гласных звуков живой речи языка манси. Существуют некоторые различия между звуками мужчин, женщин и детей по акустическим данным. Акустическая лингвистика живой речи – это другой аспект языкознания. В ней важно исследовать не только абстрактную систему языка, но и свойства конкретной живой речи, чтобы сохранить и изучить современную фонетику манси.

Литература

- Baart, Joan L. G. 2010: A field manual of acoustic phonetics. SIL International, Dallas, Texas
- Fujimura, Osamu 1962: Analysis of nasal consonants. JASA 34: 1865–75.
- Harrington, Jonathan 2010: Phonetic Analysis of Speech Corpora. Wiley–Blackwell
- Ladefoged, Peter 2003: Phonetic data analysis: an introduction to fieldwork and instrumental techniques. Blackwell, Oxford
- Lindquist, J. and Sundberg. J. 1972: Acoustic properties of the nasal tract. *Phonetica* 33: 161–168.
- Ромбандеева, Е.И. 1973: Мансийский (вогульский) язык. Наука, Москва

Александра Сельдюкова
Москва

ЧАСТИЦЫ В ПРИБЕЛЬСКОМ ДИАЛЕКТЕ ВОСТОЧНОГО НАРЕЧИЯ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА

Известный марийский ученый Н.И. Исанбаев классифицирует прибельский диалект как “говор, распространенный на территориях Дюртюлинского, Илишевского и части Бирского, Краснокамского районов Башкирии” (Исанбаев, 1989). Целесообразней придерживаться точки зрения ведущих ученых пермистов Р.М. Баталовой и В.К. Кельмакова, которые считают, что термин “говор” обозначает мелкую территориальную разновидность языка, а под термином “диалект” подразумевают группу говоров, имеющих ряд одинаковых черт. Термин “наречие” они употребляют для обозначения совокупности диалектов, обладающих общими чертами. Следовательно, язык они делят на наречия, наречия – на диалекты, диалекты – на говоры. Такой же точки зрения придерживалась Е.И. Коведяева в своей монографии “Кунгурский (пермский) диалект марийского языка” (Коведяева, 1991). Исследованный ею диалект Н.И. Исанбаевым тоже классифицировался как говор.

Прибельский диалект восточного наречия марийского языка включает в себя говоры, распространенные на северо-западе Башкирии по реке Белой в Дюртюлинском, Илишевском, и в некоторых населенных пунктах Краснокамского и Бирского районов. Данный диалект представляет интерес тем, что находится во взаимодействии с территориально смежными языками. Особенности исторического развития региона привели к взаимодействию языков трех различных семей: финно-угорской (марийский), тюркской (татарский, башкирский), индоевропейской (русский). В зависимости от степени интенсивности контактирования с иноязычным населением в диалектах восточного наречия марийского языка произошли соответствующие изменения.

В речи прибельцев частицы довольно частотны. Они, как правило, вносят различные оттенки в значения других слов, групп слов и предложений, к которым относятся.

Частицы, употребляющиеся в прибельском диалекте, можно классифицировать по местоположению в предложении и по их значениям.

По местоположению частицы бывают:

- 1) постпозитивные: *-əš/š, -at, -ok/-ak, -la, -na, -vele, -lasa, d/δər, g/γəst, vele, γəna*;
- 2) препозитивные: *nə, keč-/koč-, kerek-, iktaž-, älä-, peš, nu, putarak, tek, iže, bek/vek, čəšt, oγata, dotovo, čistaj*;
- 3) свободного перемещения в предложении: *v/bot, v/bet, pu'to, älä, ešo/eša, teve, v/bara, v/bar, ije, tuγe/təγe, lač/ok, čən/ak*.

Частицы присоединяются ко всем частям речи.

По значениям частицы, употребляющиеся в прибельском диалекте, подразделяются на следующие разряды: соединительные, утвердительные, указательные, определительные, вопросительные, усилительные, которые

включают в себя выделительно-усилительные и выделительно-ограничительные, модально-волевые, отрицательные, неопределенные, словообразующие.

Большинство частиц многозначны, поэтому они могут относиться к нескольким разрядам, выражая те или иные значения.

1. Соединительные частицы устанавливают соотношения и связи между элементами речи по смыслу: *adaĥ/at* 'опять/опять же', *eša/ešo* 'еще', союзная частица *-at* 'и', которая также может присоединиться к частицам постпозитивно (*adaĥ/adaĥat ašta* 'снова/и снова сделает', *ešo/eša pura* 'еще зайдет', *lektan/at šiĉna* 'вошли / и вошли сели'). (Перевод везде буквальный.)

2. Утвердительные частицы выражают утверждение или одобрение действия: *tuye* 'так', *ije* 'так, да', *ni* 'ну', *təjlāj* 'так то' (*təye*, *sajən tolən šuanda*, *jörä* 'так, хорошо вы доехали, ладно', *ije man* 'так ведь; скажи "да"', *ni mot aštet ande* 'ну что теперь поделаешь', *təjlāj tuđo koĉkaš kerteš* 'так то он умеет (может, любит) кушать').

3. Указательные частицы указывают на предметы или на те или иные явления: *teve* 'вот', *v/bot* 'вот', *v/bet* 'ведь', *tüväs* 'вот(же); то-то же', *tüvö* 'вот (и)', *tuđo* 'же' (*it kaje teve* 'вот не ходи (вот попробуй не ходи)', *v/bot ande ašte* 'вот теперь сделай', *puranem il'e vet* 'хотел ведь зайти', *tüväs aškat užat vet ande* 'вот же теперь и сам ведь видишь', *tüvö tolən kijat* 'вот (и) идут (букв. вот идут-лежат)', *äjvät liješ tuđo* 'хорошо же получится').

4. Определительные частицы служат для выделения конкретности смысла слова или группы слов: *ĉan/ak* '(и) вправду; верно', *təyak* 'так и', *dotovo* 'до того; совсем', *ĉistaj* 'совсем; совершенно', *laĉak/ok* 'впору; совершенно' (*ĉanak tolən maš tuđo* 'и вправду, оказывается он приехал', *təyak šonenam il'e* 'я так и думал', *dotovo užnem* 'до того (так) хочу его видеть', *ĉistaj nojen pətəšəm* 'совершенно устал', *käkröz kajem il'e* 'как раз (я) шел').

5. Вопросительные частицы выражают (или усиливают) вопрос, также придают оттенки эмоционального и побудительного характера: *a* 'а, что', *mo* 'что', *mo vara* 'что же' (*mijet uke, a?* 'пойдешь ли?', *tolana mo?* 'придем что ли?', *mo vara liješ ande?* 'что же теперь будет?', *älä toləda?* 'придете ли? может быть придете?').

6. Усилительные частицы *a'l'e*, *-at*, *-ak/ok*, *a*, *en* усиливают те слова, к которым относятся: *tol a'l'e* 'подойди-ка', *šap lij a'l'e* 'замолчи-ка', *tolan-at šuo* 'уже пришел (или: очень быстро пришел)', *kajen-ak o kert* 'и уйти не может'. Частица *a'l'e* усиливает форму 2 лица и ед. и мн.ч., в литературном языке исполняющей такие же функции является частица, которая редко, но встречается в речи носителей прибельского диалекта.

Усилительные частицы подразделяются на выделительно-усилительные и выделительно-ограничительные.

1) Выделительно-усилительные частицы подчеркивают и выделяют в предложении значение тех слов, на котором сосредоточено логическое ударение: *-aš/-iš/-aš* 'же; ведь', *-ak* 'же', *-at* 'и; уже', *-jan* '-ка', *v/bet* 'ведь', *γəst* 'еще; же', *daže* 'даже' (*erla kajem-aš ande* 'завтра еду же уже' *aštānem aš-aš* 'хотел же сделать', *tolan-at šuo* 'и уже (быстро) явился', *müyären-ak maγəra* '(даже) рыдая плачет', *pu-jan küzəm* 'дай-ка нож', *vet ojləšəm teŋgeĉe* 'ведь говорил (же) вчера', *puem teve γəst təlat* 'дам вот тебе!', *värä* 'что ли' (*ot kaje mo värä* 'не пойдешь что ли?').

2) Выделительно-ограничительные частицы определяют границы распространения предмета, его действия, состояния или признака: *keč/koč* 'хоть', *gəna/γəna* 'только', *vele* 'только' (*koč unčəlivuɟa košt, pašamat uke* 'хоть на голове (вверх ногами) ходи, и дела мне нет (не мое дело)', *moštet kən γəna üšänäs liješ* 'если только умеешь, можно верить', *tolən vele purəš, sərəzu malaš šuŋγalte* '(придя) только вошел, сразу плюхнулся (повалился) спать'.

7. Модально-волевые частицы выражают отношение говорящего к высказываемой мысли и вносят различные оттенки побудительного, желательного характера: *a(j)δəza* 'давайте', *ajda* 'айда; пусть', *tek* 'пусть', *davaj* 'давай', *dər/δər/tər* 'вероятно; возможно', *putto* 'будто; словно', *peš* 'очень; слишком', *-la* 'пусть', *ämän* 'все-же; все-таки; все еще', *samoj* 'в самый раз, как раз' (*ajdəza temnan deke kajena* 'давайте к нам пойдём', *ajda tek onča ənde* 'да пусть (теперь) смотрит', *tek poγəzo* 'пусть собирает', *davaj unala puren lektəna* 'давай зайдем (-ка) в гости', *erla tolət tər ənde* 'завтра приедут, возможно, теперь', *putto ternəže uleš* 'будто дома у себя', *peš mežəžəm erten tə malaj* 'слишком перешел все границы этот пацан', *əštəže-la* 'пусть делает', *ämän užmo šueš tudo* 'все-таки (все-же) хочется увидеть (увидеться)', *samoj kelšen toleš, a!* 'подходит в самый раз!'

8. Отрицательная частица *uke* 'нет' выражает отрицание высказываемой мысли в предложении, она может заменить целое (простое) предложение: (*tače kulupəšto kino liješ? – uke.* 'Сегодня в клубе кино будет? – Нет.'). Заимствованные повторяющиеся частицы *nə-nə* придают отрицательный смысл тем словам, к которым относятся. Они употребляются при всех частях речи: *nə tače, nə erla* 'ни сегодня, ни завтра'; *nə tolaš, nə kajaš* 'ни прийти, ни уйти'; *nə təŋγe, nə tuŋγe* 'ни сюда, ни туда'.

9. Неопределенные частицы придают неопределенную обобщенность высказыванию или слову: *älä* 'может быть; возможно; неизвестно', *γən...γən* 'то ли... то ли', *mekan* 'то ли' (*älä kajem, älä uke, kalasen om kert* 'может уйду, может нет, не могу сказать', *kočkənam γən, uke γən, iktat o pale* 'то ли ела, то ли нет, никто не знает', *to'lo mekan, uke mekan* 'то ли пришел, то ли нет'.

10. Словообразующие частицы имеют двойственные функции: выражают тот или иной семантический оттенок и служат элементами для образования нового слова: *älä* 'не то', *nə/nə* 'ни', *keč/koš* 'хоть', *kerek* 'хоть'. Они участвуют в образовании неопределенных, отрицательных, определительных местоимений и некоторых наречий.

11. Соотносительные частицы вносят оттенок, выражающий указание на какое-либо отношение данного высказывания к ранее сообщенному или же предполагаемому, т.е. указывают на соотносительность по времени: *ešo* 'еще', *teve γəna* 'только что', *vele* 'только' (*ešo kajen oγəl* 'еще не ушел', *teve γəna təšte il'e* 'только что был здесь', *erla vele liješ* 'будет только завтра'). К этому разряду можно отнести уступительные частицы, которые выражают оттенок уступки, ограничения, согласия на минимально возможное или необходимое, вытекающее из соответствующих обстоятельств: *koč/keč* 'хоть', *tuγe γən* 'в таком случае' (*koč tədəžəm nal* 'хоть возьми это', *tuγe γən, ida əšte* 'в таком случае не делайте'). Заимствованная частица *koč* 'хоть' употребляется с любой частью речи и вносит различные оттенки: соотносительности, уступительности, ограничительности, выделительности. К соотносительному разряду также можно относить частицы,

устанавливающие совпадение действия с другим действием или моментом: *lačok* 'так и надо; как раз', *käkrüz* 'как раз', *imenno* 'именно'. По значению они близки к выделительным и соотносительным, они уточняют и характеризуют значение того слова, к которому относятся.

Из приведенных выше примеров по разрядам видно, что наряду с исконными широко распространены частицы, заимствованные из русского языка: *točno* 'точно', *šoravno* 'все равно', *käkrüz* 'как раз', *puskaj* 'пускай', *tolko* 'только', *prämö* 'прямо', *prosto* 'просто', *dotovo* 'дотово' (диал.); совсем', *samoj* 'так точно; именно так; как раз', *davaj* 'давай', *putto* 'будто', *koč* 'хоть', *čistyj* 'чисто, совсем, вконец', *daže* 'даже' и многие другие. Значение заимствованных частиц из русского языка при употреблении в данном диалекте во многих случаях совпадает.

Возможно скопление нескольких частиц в одном предложении: *prežā ānde naverne aņen pāten đar vet* 'теленка, наверно, теперь уже совсем жажда замучила ведь', *älā, kerteš kən, bāra, peš jōrā il'e* 'возможно, если бы смог, было бы очень хорошо'.

В прибельском диалекте различаются частицы-приставки, частицы-суффиксы и частицы-слова. Одни выступают только в постпозиции или только в препозиции по отношению к тому слову, с которым связаны, другие могут занимать любую позицию в предложении.

Частицы-приставки являются словообразовательными. Частицы *älā-, iktaž-, nē-keč-/koč-* образуют отдельные разряды местоимений (*älā-γō* 'кто-то, неизвестно кто', *älā-γunam* 'когда-то; неизвестно когда', *älā-monar* 'несколько; неизвестно сколько', *älā-mo* 'что-то; неизвестно что', *iktaž-γuš* 'куда-нибудь', *iktaž-moš* 'во что-то; куда-нибудь', *iktaž-γölän* 'кому-нибудь', *nəγudo* 'ни тот, ни другой', *nəγō* 'никто', *nəta* 'ничто', *nəγuš* 'никуда', *keč/koč-kō* 'хоть кто', *keč/koč-kuš* 'хоть куда', *keč/koč-molan* 'хоть зачем; хоть для чего').

Частицы-суффиксы разнообразны по выражаемым значениям и выполняемым функциям. К ним относятся союзная частица *-at*, усилительная частица *-ak/ok*, утвердительная частица *-iš/-eš/-əš*.

Частица присоединяется к первому компоненту соединяемых единиц: *lektān kajāšām-at teve, pōrtem oza deč posna kodo vet ānde* 'букв. вот (вышел и) уехал, дом мой остался вот теперь без хозяина'; она выступает и в усилительном значении: *tač-at erta, erl-at erta, memnan ümārn-at erta manān mura il'e tud-at* 'букв. и сегодня пройдет, и завтра пройдет, так и жизнь наша пройдет, говоря, (и) он пел'. Усилительная частица *-ak/-ok* часто употребляется с наречиями и с именными категориями: *tenij älā-moγaņe elāšte keņež pokšeln-ak lum lumān manēš* 'говорят, нынче в какой-то стране даже в середине лета выпал снег', *küšāč-āk püč* 'отрежь выше(же)', *lěšnāk ila maš tudō* 'оказывается, живет-то он совсем рядом', *tudām-ak kəčal toľām* 'его же и ишу (пришел в поисках его же)', *mānder ümbälze oš-ak lijže ānde* 'наволочка пусть (и) будет белой же', *təγ-ak liješ šonāšāmās* 'думал, что так и будет'. Вариант *-ok* употребляется для более усиленного подчеркивания смысла сказанного: *tuš-ak naņčājen kodo* 'туда же и отнеси', *telām-ok āštāman ile tu pašām* 'еще зимой же надо было (и) сделать ту работу', *škaņem-ok küleš* 'мне самому же и надо', *čerlām-ok kondāšt* 'его уже больного и привезли'.

Утвердительная частица *-iš/-eš/-əš* выступает почти со всеми частями речи (кроме деепричастий, редко с союзами): *ončal, tudak-əš, veše oγal-əš* 'смотри тот

же, не другой же', *tolam mañəm-əs* 'сказал же (что) приду', *tədəže joškaryak-əs* 'этот краснее же', *kadər neran-əs* 'кривоносый же', *kajem il'-is* 'пошел бы же', *eñer pokšelnak-əs* 'посреди реки же'.

Разнообразны по значениям и частицы-слова, свободно перемещающиеся в предложении, к ним относятся следующие: *al'e* '-ка', *vele* 'только', *γəna/kəna* 'только', *γəst/kəzət* 'еще', *jalt(ak)* 'совсем', *var(a)/bar(a)/bärä* 'в самом деле; конечно; небось; разумеется; все равно', *lasa* 'конечно; истинно так; же', *lačak(ok)* 'в самый раз', *teve* 'вот', *eše/eša/ešo* 'еще', *vot* 'вот', *vet* 'ведь', *tože/toža/tožo* 'тоже' (*tənarəm vele poγen šuktəšəm* 'букв. только столько успел собрать', *šarnaltet γəst tošto iləšədəm* 'вспомнишь еще свою прежнюю жизнь', *jalt(ak) nojen pətəšəm* 'совсем устала', *var silom əštəkten ot kert* 'все равно силой не заставишь сделать', *varšəžəm var əštəktəšna* 'потом же все равно (разумеется; конечно) заставили сделать', *ešo munare vičaš küleš?* 'еще сколько надо ждать?', *tožo ilaš šona vet* 'букв. тоже ведь жить думает', *tudən ojlen koltəməžo peš motor lasa* 'его речи-то очень красивые же', *jöra tuγe lijən, jolkolan lačok* 'хорошо так случилось, в самый раз для лентя'.

Можно рассмотреть взаимоотношения частиц с другими частями речи. Сравним некоторые из них: 1. Частицы и союзы. 2. Частицы и наречия. 3. Частицы и местоимения.

В марийском языке, в том числе и прибельском диалекте, встречаются много омонимов частиц и союзов: *да, а, нэ, кerek, коč*. Они представляют собой две части речи, четко различающиеся по своим значениям и функциям.

Частицы

1. *peš kajem il'e da* 'я пошел бы да'
- Частица *да* соответствует значению 'пожалуй'.
2. *təγan'e ulat əlmaš, a?*
'ты такой оказывается, а'
- Вопросительная частица *а*.
3. *nə paša to ənde təde?*
'ну разве это дело?'
4. *məlīm kerek* 'мне *все равно*'

Союзы

1. *kočkam da kajem* 'поем и пойду'.
- Союз *да* соединительный.
2. *tədəžəm kodo, a moləžəm šolo*
'это оставь, *а* остальное выбрось'
- Противительный союз *а*.
3. *nə jyəš, nə kočkašo lij*
'*ни* есть, *ни* пить нельзя'
4. *kerek mo lijže* 'будь, *что* будет'.

Приведенные примеры показывают, что эти частицы и союзы являются омонимами.

Также омонимами могут быть частицы и наречия. Например: *kuško vara ənde kajet?* 'куда же теперь пойдешь?' *Vara əštet* 'потом сделаешь'.

В первом случае *vara* частица, во втором наречие, каждый из них имеет свое значение и свою функцию. Различие между ними вполне определенное. Наречие *vara* имеет самостоятельное значение и является членом предложения – обстоятельством времени. Частица *vara* имеет оттенок усиления значения того слова, к которому она относится.

Обнаруживаются омонимы частиц и местоимений.

Например:

mo təγe əštaš liješ mo värä ənde 'что, можно ли теперь так поступать-то?'; *mo liješ, lijže* 'будь *что* будет'. *Mo* в первом случае частица, а во втором – местоимение. *tolman tudo* 'следует же прийти'. *Tudo* – частица указательная.

tudo kajəš 'он ушел'. *Tudo* – личное местоимение.

Kalašaš kalašem tudo 'сказать то скажу'. *Tudo* – определительная частица.

Tudo škeže kalaša 'он сам скажет'. *Tudo* – личное местоимение.

Из данных примеров видно, что местоимения *to*, *tudo* имеют самостоятельное значение и являются главным членом предложения, а частицы *to*, *tudo* усиливают значение того слова, к которому относятся.

И так, в прибельском диалекте марийского языка функционирует много частиц, и в основном те же частицы, что и в литературном языке, в которых в отдельных случаях имеются изменения в звучаниях и оформлении. Наряду с исконно марийскими частицами употребительны заимствованные из русского языка, и в меньшей степени из тюркских языков, так же имеющих различие в фонетическом оформлении, но выражающие почти те же значения. Также наблюдаются омонимичность частиц и союзов, частиц и наречий, частиц и местоимений.

Литература

Баталова, Р.М. 1975: Коми-пермяцкая диалектология / Р.М. Баталова. М., 1975.

Исанбаев, Н.И. 1979: Некоторые фонетические особенности прибельского говора марийского языка по итогам диалектологической экспедиции 1976 г. // Вопросы марийского языка: Вопросы истории и диалектологии / Н.И. Исанбаев. – Йошкар-Ола, 1979.

Кельмаков, В.К. 1998: Краткий курс удмуртской диалектологии / В.К. Кельмаков. – Ижевск, 1998.

Коведяева Е.И. 1987: Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам. Марийский язык. / Е.И. Коведяева. – М., 1987.

Коведяева, Е.И. 1991: Кунгурский диалект марийского языка / Е.И. Коведяева. – Москва–Hamburg, 1991.

Материалы автора из экспедиций.

**Серафима Сибатрова
Йошкар-Ола**

**АКТИВИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСКОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА)**

Известно, в условиях глобализации общества и расширяющегося национального двуязычия (многоязычия) в мире все более возрастает угроза постепенного растворения языков малочисленных народов в престижных языках. В идеальном варианте подход к решению проблемы сохранения языков и культур должен быть комплексным. На наш взгляд, наряду с экономическими, социальными, юридическими и другими мерами, существенную положительную роль в сохранении и развитии «малых» языков могут сыграть также предложения и действия чисто лингвистического порядка. В ряду последних нами имеется в виду прежде всего активизация использования внутренних языковых ресурсов, охватывающая разные уровни языка, в первую очередь лексику со словообразованием, а также грамматику и орфографию.

Решение проблемы ограничения притока и использования заимствований путем расширения функционирования «родных» средств имеет две стороны – теоретическую и практическую. Первая предполагает выявление в языке результатов иноязычного влияния (слов, грамматических форм и моделей и др.) и собственных эквивалентов с последующим их сопоставлением и определение возможностей замены «неродных» явлений исконными. Практическая сторона предусматривает поиск и реализацию эффективных путей и способов активизации употребления в речи установленных или вновь созданных родных средств. Т.е. проблему необходимо решать путем создания условий для более активного функционирования исконных лексических и грамматических средств на основе изучения и сопоставления тождественных иноязычных и собственных единиц.

В течение последнего столетия марийский язык, как и языки других малочисленных народов (бывшего Советского Союза и) России, подвержен сильному влиянию русского языка. Русские заимствования проникали и проникают самыми разными путями устного и письменного каналов. В докладе будут рассмотрены в общих чертах некоторые возможности ограничения проникновения и употребления русских заимствований в марийском языке на уровне лексики.

Общеизвестно, из чужого языка перенимаются в первую очередь слова, поэтому лексический фонд многих языков содержит значительное количество заимствований. Так, на основе изучения материалов неопубликованных и опубликованных письменных памятников XVIII и XIX вв. – в основном материалов рукописных словарей Дамаскина (1785), В. Крекнина и И. Платунова (1785), «Язык русско-черемисский» (середина XVIII в.) и «Словаря языка черемисского» (конец XVIII в.), печатных словарей венгерских исследователей Й. Буденца (1866) и М. Силаши (1901), финского ученого Г. Рамстедта (1902). –

Н.И. Исанбаевым выявлено около 270 русизмов в словарях XVIII в. и 1125 таких единиц в словарях XIX в. (при этом марийские производные от русских основ совершенно справедливо отнесены автором к «собственно марийским лексическим образованиям» и не включены в число заимствований) (Исанбаев 2007:159, 2009:21, 23). Список заимствованных слов, помещенный в книге А.А. Саватковой «Русские заимствования в марийском языке» (1969), по нашим подсчетам, содержит около 1600 единиц, по замечанию автора, «наиболее употребительных заимствованных слов ... в произношении мари, являющихся носителями диалектной речи и слабо владеющих русским языком» (Саваткова 1969:86). К сожалению, подсчетом русских заимствований современного периода никто конкретно не занимался. Однако заметим, что в марийском орфографическом словаре 1992 г. имеется около 5250 русских заимствований. Понятно, (наряду с другими разного рода обстоятельствами) беспрепятственный массовый приток иноязычных слов, в особенности в современных условиях глобализации и интенсивного технологического развития, угрожает не только самобытности языка, но и его существованию.

В области лексики финно-угроведами (например, Цыпанов 2005:26; Айбабина, Безносилова 2007:16) отмечаются такие основные пути ограничения проникновения и употребления заимствованных слов, как создание новообразований при помощи собственных словообразовательных способов (суффиксации и словосложения), в т.ч. на основе разнообразного (словообразовательного, семантического) калькирования слов и словосочетаний, поиск и ввод в активное использование вместо них существующих (или ранее имевших место в языке) лексических единиц из области синонимов, диалектных и устаревших слов. Безусловно, данные пути в той или иной степени приемлемы и для марийского языка. Однако, учитывая то, что последние лексические новообразования марийского языка нашли отражение в работах ряда специалистов, в докладе остановимся только на потенциале синонимов, диалектных и устаревших слов (причем по происхождению не всегда исконных).

Известно, в условиях двуязычия значительное количество заимствований входит в язык в качестве синонимов-проникновений к уже существующим словам, что подтверждают и словари марийских синонимов. Так, в «Словаре синонимов марийского языка» Е.Н. Мустаева (2000), содержащем «912 синонимических рядов, в которых объединено 3450 слов и устойчивых выражений», 142 ряда (что составляет более 15%) в своем составе имеют русские заимствования, например: *ала, можыт (можыч)* (с. 22), *але вара, неужели* (с. 24), *анык, шапаш, запас* (с. 28), *ваипижмаш, кредалмаш, кучедалмаш, сөй, бой* (с. 45), *границе, чек, пысман* (с. 80) и т.д. Надо заметить, это при том, что иногда русские заимствования явно остались за рамками синонимических рядов, например, ряд *ужга, кұрык* (с. 436) не содержит весьма употребительной в разговорной речи единицы *шуба*. По наблюдениям автора, в некоторых случаях русское заимствование возглавляет синонимический ряд: *окна, тёрза; очки, кугышинча; шляпа, теркупи* (с. 14). Иные синонимические ряды состоят большей частью или только из слов русского происхождения: *туныктышо, учитель, преподаватель, педагог* (с. 415); *врач, доктор, лекыр, першыл* (с. 70) (в последние годы данный ряд пополнился весьма удачным новообразованием *эмлызе*); *клат, амбар, склад* (с. 148); *наган, револьвер* (с. 253).

Несомненно, в случаях наличия синонимов, в особенности при полном совпадении значений, носителям языка, в первую очередь литературного языка, следует давать предпочтение исконным и более ранним равнозначным единицам. Положительно, что в последнее время такая тенденция в какой-то степени наблюдается, например, в литературной речи все более используются слова типа *ала* (а не *можыт* и *можыч*), *анык*, *шапаш* (а не *запас*), *ваштижмаш*, *кредалмаш*, *кучедалмаш* (а не *бой*), *куаныше* (а не *весела*), *унагудо* (а не *гостинице*), *чек* (а не *границе*) и т.д.

Предполагая, что эквиваленты русских заимствований, в случаях их отсутствия в литературном языке, в значительном количестве могут быть представлены в диалектах, мы провели целенаправленное изучение материалов некоторых диалектных словарей (в марийской лексикографии имеется ряд специальных диалектных словарей, а также других обстоятельных словарей, в том или ином объеме отражающих диалектную лексику). Наблюдения над их материалами показали, что диалектных лексических единиц, способных выступать в качестве заместителей русских заимствований, немного. В «Словаре северо-западного наречия марийского языка» И.Г. Иванова и Г.М. Тужарова (1971), содержащем около 7 тысяч слов, обнаружено только 4 таких слова: *кацыпһрса* ‘перец’ (с. 75), ср. лит. *пурьс*; *мһнһшапы* ‘окрошка’ (с. 133); *парешкы* ‘пароконная упряжка’ (с. 153), ср. лит. *пар* имне букв. ‘пара лошадей’; *пöрыкши* ‘шарнир (у привязи)’ (с. 172). А в десяти томах «Словаря марийского языка», включающих около 35 тысяч словарных единиц, таких слов с пометой *диал.* выявлено всего около 30: *агарме* ‘пар’, *арган* ‘гармонь’, *аталык* ‘скобель’, *äпсе* ‘аппендицит’, *возалташ* ‘фотографироваться, сфотографироваться’, *возаиш* ‘фотографировать, сфотографировать’, *вурьс* ‘князь’, *звезлыкташ* ‘штукатурить’, *ирмамык* ‘хлопок’, *ирпызле* ‘акация’, *йоштек* ‘скарлатина’, *йöле* ‘пожар’, *канчар* ‘кинжал’, *кетен*, *лавьдан* ‘коленкор’, *лочорва* ‘манеж (детский)’, *насыллык*, *ыскат* ‘потомство, наследство’, *пошмак* ‘чулки’, *сатуласаиш* ‘торговаться, поторговаться’, *суско*, *сүзгö* ‘совок’, *уксьым* ‘чеснок’, *утрак* ‘стелька (в лаптях)’, *чоргат*, *пуранька* ‘воронка’, *чыНгыртаиш* ‘прессовать’, *шоло* ‘вор’, *шöрем* ‘сито, цедилка’, *эзылма* ‘сифилис’, *юпар* ‘конфета’. Данное обстоятельство, очевидно, объясняется тем, что диалектная речь, как одна из разновидностей устной разговорной речи, более всего подвержена заимствованиям. Именно поэтому в диалектах сложно обнаружить исконные единицы, соответствующие более поздним и современным заимствованиям.

Примеров использования диалектных слов вместо русизмов в современной марийской литературной речи не так много, как хотелось бы, но все же имеются. Например, в последние годы в печати вместо *сниматлаиш*, *фотографироватлаиш* ‘фотографировать, сфотографировать’ все чаще выступает восточно-марийское слово *войзаиш*, и, соответственно, вместо *сниматлалтаиш*, *фотографироватлалтаиш* ‘фотографироваться, сфотографироваться’ – *войзалтаиш*. Подобные примеры являются свидетельством того, что путь пополнения лексики литературного языка диалектными словами в целях замены ими русизмов реален и его необходимо использовать. На наш взгляд, многие из вышеприведенных диалектных лексических единиц вполне способны выступать заместителями своих русских параллелей.

Известно, заимствования нередко вытесняют из употребления собственные слова и последние переходят в разряд устаревших, а именно архаизмов. Поэтому в поисках материала для пополнения словарного состава, в т.ч. соответствиями русских заимствований, не имеющих исконных параллелей в современном языке, определенные положительные результаты может дать изучение памятников марийской письменности, целенаправленное выявление и обобщение круга устаревших слов, зафиксированных в памятниках прошлых веков и также в современных словарях (заметим, что при этом возможно семантическое переосмысление содержания некоторых из устаревших слов применительно к современным условиям жизни). В книге О.А. Сергеева «Истоки марийской письменности» (2002) в качестве приложения дан список забытых и редких слов (гlossарий), составленный по результатам историко-лингвистического анализа рукописных памятников марийского языка XVIII–XIX веков. Он содержит более 450 слов и словосочетаний с переводом на русский язык и со ссылкой на источники. В нем представлены также устаревшие слова, значения которых в современном марийском языке передаются главным образом русскими заимствованиями. По нашим подсчетам, их более 20: *алче* ‘посол’, *осламь* ‘рост, процент’, *ир* ‘степь’, ‘пустыня’, *йыпса* ‘линейка (ткац. стан)’, *каж* ‘колбаса’, *коваитЕшубушь* ‘чемодан’, *кунзйо* ‘воз’, *куна* ‘росомаха’, *майдар* ‘ртуть’, *мынгь* ‘миллион’, *пакча-тарь* ‘мак’, *паке* ‘бритва’, *пјозь* ‘ковёр’, *пл* ‘слон’, *посакь* ‘докладчик’, *серка* ‘уксус’, *такере* ‘поп’, ‘церковь’, *таныктыш(ь)* ‘свидетельство’, *топь* ‘пушка’, *тэрке-шобычь* ‘салфетка’, *түэ* ‘верблюд’, *тюемь* ‘миллион’, *чапкань*, *чапкынь* ‘почтарь’, ‘курьер’, *чатрыкь* ‘парус’ (Сергеев 2002:173–186). Помимо этого, список содержит марийские названия месяцев и старинного денежного счета.

Интересный материал по дублетам русских заимствований в области марийских устаревших слов представлен в десятитомном «Словаре марийского языка». Нами обнаружено всего около 70 таких единиц: *авыртне* ‘кольчуга’, *кортак*, *ортак* ‘артель’, *аманат* ‘заложник’, *амион* ‘миллион’, *анава* ‘каре́та, коляска’, *аныккасса* ‘сберкасса’, *армай*, *савыш* ‘палач’, *вармыш* ‘микстура’, *вйска* г. ‘компаньон (при ловле рыбы сетью)’, *вож*, *вундо* ‘руда’, *возкалыше* ‘секретарь’, *вуйдЫвыл* г. ‘причёска’, *вундо* ‘фонд’, *йола* ‘флюгер’, *йодыш пале* ‘вопросительный знак’, *йолзак* ‘ходок’, *йортоло* ‘кучер’, *йылгыждыр* ‘металл’, *йылмылончыш* ‘грамматика’, *карман*, *ор* ‘крепость’, *коклазе* ‘маклер, посредник’, *күкү* г. ‘фата’, *лужа* ‘сотник, сотский’, *шудывуй* ‘сотник’, *лүм пале* ‘паспорт’, *лүмгече* ‘именины’, *майдар*, *юртук* ‘ртуть’, *надыр* ‘вклад, лепта’, *нерге* ‘эпидемия’, *ньогар*, *ялче* ‘слуга’, *ойвуй* ‘подлежащее’, *ойвуйдымо ой* ‘безличное предложение’, *ойкончыш* ‘сказуемое’, *ойпералтыш* ‘ударение’, *парма* ‘саранча’, *пинерешке* ‘шпик, сыщик, шпион’, *пөлка* ‘класс’, *пёртышгол* г. ‘сельдь’, *тумыгол* ‘сельдь-черноспинка, бешенка’, *пролык* ‘степь’, *пуйол* ‘протез (ноги)’, *пупурса* ‘акация желтая’, *пүрыш* ‘новогодний суд’, *разым* ‘ревматизм’, *сатулаш* ‘торговать’, *сирЫли* г. ‘письменность’, *таннак* ‘кожаная дорожная сумка’, *тодыш* ‘спряжение’, *торйол* ‘гонiec, нарочный, курьер’, *тошкыморва* ‘велосипед’, *төнөж* ‘учреждение, организация’, *төра* ‘начальник, чиновник; господин; судья’, *төразе* ‘чиновник’, *төрәлайш* г. ‘судить’, *туле* ‘насос (для качания жидкости)’, *тултире* ‘шакал’, *тулымбал* ‘сушилка’, *тупыр* г. ‘котомка’, *тутувыш* ‘попугай’, *түе* ‘верблюд’, *ужармужо* ‘чахотка, туберкулёз лёгких’,

чонокса, йозак, лүмокса 'подать, налог', цора г. 'слуга, работник', чывынер 'курок (у ружья)', чыкем, чылгек 'пробка, затычка', шельк 'престол, трон', шитник 'сыщик', южга г. 'веник, метла (из прутьев)'. Надо сказать, многие из них не имеют других соответствий в современном литературном языке, кроме как в ряду русских заимствований.

Из вышеприведенных списков устаревших слов в современном литературном языке в той или иной частотности стали употребляться слова *йодыш пале* 'вопросительный знак', *карман*, *ор* 'крепость', *лүмгече* 'юбилей', *надыр* 'вклад', *пёлка* 'отдел, отделение', *сатулаш* 'торговать', *төнеж* 'учреждение, организация', *төра* 'начальник, чиновник'. Часть таких устаревших слов, несомненно, необходимо вернуть в активное употребление вместо русских заимствований, дать им обрести вторую жизнь, в т.ч. за счет придания в некоторых случаях и нового значения. По мнению О.А. Сергеева, устаревшие слова «вполне могут быть использованы для пополнения лексической системы марийского литературного языка и тем самым будут способствовать сохранению чистоты родного языка от ненужных заимствований и проникновений» (Сергеев 1993:78–79).

Как видно, марийский язык обладает, помимо новообразований на базе родных средств, разного рода другими возможностями для передачи понятий, выражаемых русскими заимствованиями. Это и синонимы, и диалектные и устаревшие слова. Мы согласны с заключением М. Шётшел, сделанным по результатам социолингвистического исследования марийских неологизмов и марийско-русского двуязычия: «...проблемой современного марийского литературного языка является не то, что марийские слова не существуют, а то, что их мало употребляют» (Шётшел 2002:216). Задача марийских лингвистов и всей творческой интеллигенции – проводить эффективную работу по постепенному внедрению таких слов в литературный язык.

Литература и источники

- Айбабина, Безносилова 2007 – Айбабина Е.А., Безносилова Л.М. Об одном аспекте исследования неологизмов в современном коми-зырянском языке // Конференция по уральским языкам, посвященная 100-летию К.Е. Майтинской. Москва, 12–16 ноября 2007 г. Тезисы. М., 2007.
- Иванов, Тужаров 1971 – Иванов И.Г., Тужаров Г.М. Словарь северо-западного наречия марийского языка. Вып. 2. Йошкар-Ола, 1971.
- Исанбаев 2007 – Исанбаев Н.И. Русские лексические заимствования в марийском языке (по письменным памятникам XIX века) // Актуальные проблемы межкультурных и межъязыковых контактов: Материалы региональной научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения проф. Л.П. Грузова. Йошкар-Ола, 2007.
- Исанбаев 2009 – Исанбаев Н.И. Русские лексические заимствования дооктябрьского периода в марийском языке и их тематические группы // Финно-угроведение. Йошкар-Ола, 2009, № 1.
- Марий орфографий мутер. Йошкар-Ола, 1992.

- Мустаев 2000 – Мустаев Е.Н. Словарь синонимов марийского языка. Йошкар-Ола, 2000.
- Саваткова 1969 – Саваткова А.А. Русские заимствования в марийском языке. Йошкар-Ола, 1969.
- Сергеев 1993 – Сергеев О.А. Редкие и забытые слова марийского языка // Вопросы марийской ономастики. Вып. 8. Йошкар-Ола, 1993.
- Сергеев 2002 – Сергеев О.А. Истоки марийской письменности: Историко-лингвистический анализ рукописных памятников марийского языка XIII–XIX веков. Йошкар-Ола, 2002.
- Словарь марийского языка. Т. I. А–З. Йошкар-Ола, 1990.
- Словарь марийского языка. Т. II. И–К (кабак – коса). Йошкар-Ола, 1992.
- Словарь марийского языка. Т. III. (косараш – ляпкыме). Йошкар-Ола, 1994.
- Словарь марийского языка. Т. IV. М–Ӧ (ма – ӧрчыктарымаш). Йошкар-Ола, 1998.
- Словарь марийского языка. Т. V. Ӧ (ӧрчыктарыме), П. Йошкар-Ола, 2000.
- Словарь марийского языка. Т. VI. Р–С. Йошкар-Ола, 2001.
- Словарь марийского языка. Т. VII. Т. Йошкар-Ола, 2002.
- Словарь марийского языка. Т. VIII. У, Ӱ, Ф, Х, Ц, Ч. Йошкар-Ола, 2003.
- Словарь марийского языка. Т. IX. Ш, Щ. Йошкар-Ола, 2004.
- Словарь марийского языка. Т. X. Ы, Ъ, Э, Ю, Я. Йошкар-Ола, 2005.
- Цыпанов 2005 – Цыпанов Е.А. Лексическое обновление в коми, удмуртском и марийском языках: общее и особенное // История, современное состояние, перспективы развития языков и культур финно-угорских народов: Материалы III Всероссийской научной конференции финно-угроведов. Сыктывкар, 2005.
- Шётшел 2002 – Шётшел М. Марийские неологизмы и марийско-русское двуязычие // *Volgan alueen kielikontaktit. Symposiumi Turussa 16–18.8.2001.* Языковые контакты Поволжья. Симпозиум в городе Турку. 16–18.8.2001. Turku, 2002.

Сокращение

г. – горное наречие марийского языка.

IDEGEN NYELVI HATÁSOK A MAGYAR NYELV GRAMMATIKÁJÁBAN

1. Köztudomású, hogy a magyar története során sokféle más nyelvvel került kapcsolatba. Ezeknek az idegen nyelveknek a hatása a legegyszerűbben és a legközvetlenebbül a szó- és kifejezőképességünk változásaiból mutatható ki. A nyelvünkben meghonosodott különféle eredetű jövevényszavak kérdéskörét sokan és sokszor vizsgálták mind az átadó nyelvek vonatkozásában, mind az egyes nyelvtörténeti korokat tekintve. Mivel ezek mostani tárgykörünket nem érintik, felsorolásuktól eltekinthetünk.

A nyelvi változások a grammatikai szinteken lassabban és nem igazán szembeötlően mennek végbe, ezért ezek kevésbé ismertek, illetőleg kevésbé vesszünk tudomást arról, hogy a különböző nyelvekkel való érintkezés, hosszabb-rövidebb ideig tartó kölcsönhatás a magyar nyelv morfológiájában és szintaxisában is nyomot hagyott. Ha sorra vesszük a későbbi korokban az alapnyelvi jellemzőktől eltérő nyelvtani megoldásokat, új szerkezeteket, könnyen belátható, hogy ezek közül nem egy valamely másik nyelv hatására jött létre.

Természetesen csak hosszas vagy intenzív nyelvi érintkezés esetén lehet kimutatni egy-egy adott idegen nyelv sajátosságait, elsősorban a magyar írásbeliségben. Már korai szövegemlékeinkben is jó néhány olyan példát találunk, amelyekből érdemi következtetéseket lehet levonni elsősorban a latin mintákat illetően. Az egyes nyelvek sajátosságainak kimutatása a magyar szövegekben csak átfogó összehasonlító vizsgálatokkal lehetséges, amire itt most nincs mód.

A 20. század utolsó évtizedeitől kezdve az angol nyelv terjedésének egyoldalú következményei már felismerhetőek a mai magyar nyelv szerkezeti változásaiban. Ennek alapos és széles adatbázison nyugvó grammatikai vizsgálata – tudomásom szerint – egyelőre csak igényként jelentkezik.

Jelen áttekintésben a teljesség igénye nélkül veszem sorra azokat a morfológiai és szintaktikai jelenségeket, amelyek a magyar nyelv külön életében alakultak ki, feltehetőleg valamely idegen nyelv hatására. A finnugor sajátosságoktól való eltérés mibenlétére, okaira, valamint az egyes, a magyarral kölcsönhatásban álló nyelvek tulajdonságaira a terjedelmi korlátok miatt csak utalok. A változások megértéséhez azonban mindenképp szükséges az alapvető finnugor jegyek felvázolása, amelyhez elsősorban Bereczki Gábor (2003) tankönyvét vettem alapul.

2. Ugyan még mindig sokan és sokszor kétségbe vonják a magyar nyelv finnugorságát, a mértékadó tudományos körökben világszerte elfogadott tény, hogy a magyar a finnugor nyelvcsaládnak a legtöbb (kb. 14–15 millió) anyanyelvi beszélővel és a legkorábbi nyelvemlékkel rendelkező tagja.

2.1. A morfológiai jellemzők bemutatásakor hangsúlyozni kell, hogy a nyelvrokonság bizonyítékai között nagyon jelentősek az alapszókinccs egyezésein túl az időtálló grammatikai sajátosságok, ezeken belül a képzők, ragok, jelek. A nyelv története

során bekövetkezett funkcióváltásokra most nem térünk ki, az egyes toldalékkategóriák főbb jellemzőire összpontosítunk.

2.1.1. Mai képzőink többsége szorosan összefügg az uráli, finnugor vagy ugor képzőrendszerrel, egy-egy ősi képző folytatásaként vagy több ősi képzőből alakult összetett képzőként.

A mai képzőrendszer alapvonásai nem térnek el lényegesen az alapnyelvi képzőrendszer jellemzőitől, bár ma már az ősi többfunkciójú képzőket külön, homonim formánsként tekintjük, és hagyományosan a deverbális és/vagy denominális névszó- vagy igeképzők között tartjuk számon őket. (A rendszerezés általános problémáival már sokszor foglalkoztam – vö. T. Somogyi 2000 –, itt most nem térek ki rá.)

A nyelvújítók szabálytalanak tartott szóalkotásai jól példázzák, nyelvünk természetéhez jól illeszkedik, hogy ugyanaz a képző igéből és főnévből is hozhat létre új szavakat, így a kimondottan denominálisnak tartott *-ász/-ész* foglalkozásnév-képző (*lov-ász, méh-ész* stb.), az ortológusok tiltakozása ellenére meg tudott maradni igék mellett is, pl. *szül-ész, épít-ész*.

2.1.2. A ma jeleknek minősíthető morféimák is alapnyelvi eredetre vezethetők vissza, és mind az igei, mind a névszói paradigmában betöltött szerepük párhuzamba hozható a rokon nyelvi fejleményekkel. Az ősi személyes névmásokra visszavezethető birtokos személyjelezés is sajátos finnugor vonásokat mutat ugyanúgy, mint a szám és személy egyeztetése, valamint a birtokos jelzős szerkezetek. Ez a terület a külső hatásoknak erősen ellenáll, zárt egységet alkot, új elemeket nem fogad be.

2.1.3. Ige- és névszóragjaink egyértelműen levezethetők az alapnyelvi előzményekből annak ellenére, hogy többségük a magyar nyelv külön életében nyerte el mai hangalakját, és különböző funkcióváltásokon is keresztül ment. Megjegyzendő, hogy az alapnyelv múlt időkben igen szegényes volt, az árnyaltabb kifejezés lehetőségét az egyes rokon nyelvek más nyelvek hatására alakították ki jóval a szétválást követően. (A magyarban a latin szerepét hangsúlyozhatjuk.)

2.1.4. A toldalék kifejezést a magyarral kapcsolatban szinte mindig használhatjuk suffixum értelemben. Nyelvünk a többi finnugor nyelvhez hasonlóan az agglutináló típushoz sorolható. Mint a természetes nyelvek általában, más vonásokat is mutat, az igeragozás tekintetében kevésbé tiszta típus, mint pl. a finn, de jóval határozottabban sorolható be, mint pl. az észt (vö. Havas 1974: 87). Nem agglutináló típusú jelenségek (pl. *sok ~ több, hal ~ holt, megy ~ mégy*, a névutós viszonyítás, az összetett igealakok és általában a komplex igei személyragok) háttérben a legtöbbször nem kell idegen nyelvi hatást keresni.

2.2. Szintaktikai, mondattani vonatkozásban is jól körülhatárolhatóak a magyar nyelvben fellelhető finnugor vonások. A részletes mondattani bemutatás nagyon szétfeszítené a dolgozat kereteit. Most elsősorban azokat a jegyeket veszem számba, amelyeket idegen nyelvi hatások valamilyen formában érintettek.

2.2.1. Az indoeurópai nyelvekkel ellentétes tulajdonság, hogy a határozott és a határozatlan számnevek után, valamint a páros testrészek és a hozzájuk tartozó ruhadarabok nevében is egyes szám használatos, pl. *öt könyv, sok ember, szép lába van; új zoknit vett*. Érdemes megemlíteni a megőrzött, sajátos vonzatú határozós szerkezeteket is, pl. R, N. *elmarad valahová, odahagy valamit, tőle szebb, tőlem erősebb* stb.

2.2.2. Az alapnyelvben jellemzőek voltak az igeneves szerkezetek az alárendeléses mondat szerkesztéssel szemben. Még az ősmagyar korban sem használtak kötőszavakat

az összetett mondatokban, feltehető az is, hogy nemcsak mellérendelő mondatok, hanem mellérendelt mondatrészek sem voltak, a mellérendelés jelölésére az állítmány ismétlését használhatták fel, illetve az egymás mellé kerülő főnevek egyforma szuffixumot kaphattak.

3. A következőkben tehát olyan, a magyar nyelv külön életében kialakult alak-, illetőleg mondattani jelenségre hozok néhány példát, amelyek valamely idegen nyelvi hatással magyarázhatók. Mondatszerkezetek bemutatására, elemzésére e keretek között nincs mód.

3.1. A különböző nyelvekkel való érintkezések következtében számos olyan jól érzékelhető változásról adhatunk számot, amely a morfológia tárgykörébe utalható.

3.1.1. A képzőrendszert érintő változások a legérdekesebbek és talán a legszembetűnőbbek is. Meg lehet figyelni, hogy elsősorban mennyiségi növekedésről van szó, a rendszer alapjai érintetlenek maradnak.

3.1.1.1. Talán nem tűnik túlzásnak, ha az idegen eredetű képzők megjelenésével kapcsolatban a szóátvételekkel vonunk párhuzamot. Bár mennyiségileg meg sem közelítik a nyelvünkbe került jövevényszavakat, de ugyanúgy vizsgálhatjuk őket nyelvenként és nyelvtörténeti koronként, sőt szófajonként is. Természetesen most nem fogok részletes elemzésekbe bocsátkozni, a legismertebb példák segítségével próbálom felvázolni, hogyan illeszkedtek a magyarba a jövevényképzők. Adataim a megjelenés előtt álló etimológiai toldaléktárhoz készült, a legalapvetőbb forrásokra és szakirodalomra támaszkodó saját adattárból való. A leggyakoribb toldalékok szócikkét már publikáltam az Etimológiai Szótárban (Zaicz 2006).

Ezek között a legtöbb példát a latin átvételre találjuk. Van közöttük ige-, főnév- és melléknévképző is.

Az *-izál* jövevény igeképző a 17. században került át nyelvünkbe a középlatin *-isare* igeképző magyarításával. Származékai változatos jelentésárnyalatúak, pl. *politizál* 'politikával foglalkozik', *memorizál* 'memóriájába vés', *urizál* 'urakat utánoz, urak módjában viselkedik'. Magyar alapszó mellett ma már elavult, meghonosodott idegen névszók igésítő képzőjeként azonban gyakori, pl. *terrorizál*, *szinkronizál*.

Másik, 1835-től adatolható latin eredetű igeképzőnk a *-ficare* végződés *-fikál* alakban való átvétele. Elsősorban idegen (latin) szavakon fordul elő, de hozzákapcsoltuk magyar tőhöz is, pl. *sétafikál* ~ *sétifikál*. A ritka, természetlen toldalékok közé tartozik.

A névszóképzők közül a legelterjedtebb az *-izmus* főnévképző, amely a 17. században került át a latinból a magyarba. Származékai elsősorban az alapszóban megnevezett tan, irányzat, felfogás, magatartás követését fejezik ki, pl. *pozitívizmus*, *liberalizmus*. Főleg idegen szavak képzőjeként terjedt el. Korábban – egy-két esetben – magyar alapszóval is előfordult, pl. *betyárizmus*.

Ugyancsak gyakori, ma is eleven, termékeny toldalék a nyelvünkben 1562 óta adatolható *-ista*. Főleg idegen szavakhoz járul mint mellék- vagy főnévképző. A 17. század óta magyar szavakat is továbbképez. Fő jelentései: 1. 'valamilyen felfogás, irány híve', pl. *kálvinista*, *ördögista* (Pázmánynál); 2. 'valamivel foglalkozó, valamiben jártas, pl. *forghalmista*, *zongorista*, *egyetemista*.

A névszók között is vannak ritkábbak vagy elavulóban lévők. Az *-ia*, az *-ikus* és az *-órium*, *-tórium* is latin szavak végződésének az adaptálásával alakult magyar képzővé, bár magyar szavak mellett alig fordultak, illetőleg fordulnak elő, legfeljebb régi és

tréfás használatban, pl. *Palócia, Magyararia; bolondikus, parasztikus; dorgatórium, pipatórium*.

Az egyéb képzőátadó nyelvek közül a szláv nyelveket és a németet kell megemlíteni. Szláv átvételnek tarthatjuk a magyarban már 1024-től kimutatható *-nok/-nek/-nök* foglalkozásnév-képzőt. A leginkább elterjedt vélemény (D. Bartha 1958: 133) szerint a szlávból átvettük az *udvar* szót és származékát, az *udvarnokot* is, ennek alapján elvontuk a *-nok* képzőt, amellyel új származékokat hoztunk létre. Ezzel szemben van olyan nézet is, amely szerint már korábban is létezett a magyarban *-nik* kicsinyítő képzőbokor, Balázs János Kniezsa és Pais nyomán arra a következtetésre jutott, hogy végső soron idegen kapcsolatú, de feltétlenül magyar eredetű képző (1983: 80). Ha a tisztán szláv eredetet ez az okfejtés kétségbe vonja is, az erős szláv hatás tényét nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az a megállapítás, hogy a belső nyelvi fejlemények erősíthetik, vagy legalábbis elősegíthetik más nyelvek hatásának érvényesülését, ebben az esetben is igazolódni látszik.

A történeti nyelvtan már nem szláv, hanem szláv kapcsolatú képzőként említi (Szegefi 1991: 213). Eredetétől függetlenül e képzőnket a nyelvújítók különösen kedvelték, igéhez, névszóhoz, egyéb szófajú alapszóhoz egyaránt kapcsolták, ma szótározott szavaink többsége ebből a korból származtatható, pl. *elnök, főnök, gyakornok, hivatalnok, mérnök*.

(Itt kell megjegyezni, hogy más foglalkozásnév-képzőink eredeztetése sem tűnik egyszerűnek, nehéz kibogozni a finnugor gyökerek és az idegen nyelvekkel való kapcsolat összekuszálódott szárait pl. az *-ár/-ér* esetében, vö. Balázs i. m. 64–71).

A német szóképzésből kölcsönöztük – legalábbis részben – az *-éroz/-íroz* igeképzőt, az adatok tanúsága szerint először 1705-ben. Az *-ieren* képzős igék *-ir* igevégződését magyar *-z* igeképzővel kiegészítve hoztuk létre a német jövevényszavak beillesztésére, pl. *komandíroz, brillíroz*. A 19. században magyar szavak mellett is előfordult, pl. *bolondíroz, mulatíroz*. Ma már csak korlátozottan termékeny, főleg idegen igék nyelvünkbe illesztésére alkalmazzuk, pl. *treníroz, tupíroz*.

3.1.1.2. A beillesztő képzők kérdésköre elég sajátos a magyar igeképzésben. Még a honfoglalás előtt nyelvünkbe az ótörök eredetű igéket alapalakjukban vettük át (pl. *ír, szök-ik, szűn-ik*), később ez nem volt lehetséges, az ómagyar kortól kezdve – bármely más nyelvből származtak is – szigorúan csak ún. beillesztő képzővel (*-l, -z, -ál, -izál, -íroz*) ellátva honosítottuk az igéket. Ez a szabály ma is érvényes, nincs kivétel, teljesen mindegy, hogy milyen a végződése, új ige csak ezeknek a képzőknek a segítségével fogadható be akár átmenetileg, akár véglegesen. Ezt jól mutatják a mai angol átvételek, vö. *lájkol*.

3.1.2. A szóképzéstől független egyéb idegen eredetű alaktani jelenségekkel kapcsolatban elmondható, hogy jelek, ragok nem kerülhettek a nyelvbe. A névszók esetében egyértelműen kiderül, hogy az egyes szám alany esettől eltérő paradigmatis alakokat a magyar alapalakként értelmezte és értelmezi ma is. A régi nyelvből vett példák közül a legismertebbek a *paradisum, Aegiptum*, melyek hiába voltak akkuzatívusban a latin szövegben, a magyarba átemelve már ragtalan, jeltelen főnévvé lettek, hiszen nem volt rajtuk *-t* tárgyrag, ami magyar nyelvű szövegben a tárgyeset kizárólagos végződése.

A későbbiek során is érvényesült, hogy egy-egy, az átadó nyelvben többes számot kifejező szó magyar többesszám-jel nélkül egyes számú alakként illeszkedett a szókincsünkbe, pl. *bricsesz, keksz, klipsz*, sőt gyakran emlegettek *Beatleseket* is.

Nemcsak az angol -s többesjelet elimináltuk, hanem a latinból átvett *média* is nem egyszer hallható volt az 1990-es évek elején *médiák* formában magyar -k többesjellel.

Az igeragozás vonatkozásában már számolhatunk idegen, közelebbről latin hatással, amely elsősorban az összetett igeidők bőségében mutatkozik meg. (pl. *meg fojtja vala* ‘fojtogatja’; *odutta vola, írtam volt; kezd hallani, fognak mondani*). Szinte bizonyos, hogy ezek csak az írott nyelvben, azon belül is a kódexek szövegében fordultak elő. Tudjuk, hogy a későbbi korokban a latin fordításirodalom megszűnésével az összetett múlt idők teljesen visszaszorultak, és csak a jövő idő kifejezésében maradt meg a fog+főnévi igeneves szerkezet.

3.1.2.2. Balázs János areális nyelvészeti kutatásaiban feltételezi, hogy az igeragozási rendszer változásai között említhető magázás is latin hatásra indult meg (i. m. 95). A *tua gratia* latin kifejezés magyarítására a *te kegyelmed* terjedt, első adata 1486-ból való. A *tua magnificentia* megfelelője, *te nagyságod* pedig 1513-tól adatolható. Ezek a szerkezetek alkalmasak voltak a magázás kifejezésére, és érthető, hogy az egyes szám 3. személyű alak használatát tették szükségessé.

3.1.2.3. A nyelvtani nem meghonosításának kísérlete olyan közismert példa, amely azt igazolja, hogy valamely nyelv a meghatározó jegyeivel ellentétes idegen nyelvi jellemzőket nem képes be-, illetőleg elfogadni. A *-né* képző mint a nőnem végződése – nyelvtani nemek híján – csak az *Alvina* című regényben maradt fenn. A Folnesics-féle kísérlet eleve kudarcra volt ítélve, és ma már csak a nyelvújítás nevetséges túlkapasai között tartjuk számon.

3.2. A Nyelvművelő kézikönyv megfogalmazása szerint „Az idegenszerűségek (barbarizmusok) fogalmába tágabban értelmezve minden olyan kifejezőeszköz beletartozik, amely nem az illető nyelv sajátos belső törvényszerűségei szerint, hanem egy más, idegen nyelv hatására keletkezett szintaktikai jelenségek” (Grétsy–Kovalovszky 1980: 954). A dolgozat tárgyának megfelelően az idesorolható latinizmusok, germanizmusok, russzizmusok, anglicizmusok közül most nem foglalkozunk a szókészletet érintő hatásokkal, idegen szavakkal, tükörfordításokkal; azokat a szintaktikai (morfoszintaktikai) szerkezeteket tekintjük át néhány példa erejéig, amelyekben a fenti nyelvek – többségében a latin és a német – hatására jelentek meg nyelvünkben.

3.2.1. Jellemzőek lehetnek az ún. vonzatváltozások. Ide tartozik többek között a Sylvester Új Testamentumában is megtalálható *féli az Istent*, ami a latin *timere Deum* kifejezés fordításaként a magyarban szabályos *fél az Istentől* helyett áll.

Többnyire a germanizmusok körébe utalhatók az egyszerű ragos szóalakok helyett használt névutós szerkezetek. A *mértékre* helyett elterjedt *mérték után*, a *csodálkozik vmin* helyett – jobbára a német *über* előljáró hatására – gyakran használják a névutós *csodálkozik, viccelődik, megbotránkozik vmi fölött* formát. A német *im Rahmen (von...)* szerkezet pontos mása a magyar *keretében* ragos névszó névutószerű használata. El kell ismerni, hogy a *keret* szó ilyen értelmű használata már korábban is megvolt a magyarban, de terpeszkedő kifejezésekben való előfordulása fölösleges és kerülendő (vö. Grétsy–Kovalovszky 1157), tehát az *előadásában* helyett az *előadása keretében* idegenszerű.

A magyar nyelv szempontjából hibás egyeztetések között a legszembetűnőbbek a számbeli egyeztetések. Kódexeink nyelvében gyakran találkozunk ilyenekkel, és természetesen a bibliafordításokban is. Ezeknél a latinból való fordítás hatása egyértelmű. A történeti nyelvtan 16. századi példái (S. Hámori 1995: 355) ezt jól

szemléltetik (*három aldozatokat, nolcz napokban* stb.). Az adatokból azonban az is kiolvasható, hogy ugyan jelentős a latinosságot tükröző többes számú alakok száma, de a nyelvünkben ősi örökségként élő egyes számú alakokból lényegesen több található.

Nyelvünk történetében és a nyelvjáráásokban is találunk hasonló példákat, de a mai magyar nyelvhasználati szabályok értelmében a jelzett szó egyes számban használatos az alapnyelvi sajátosságoknak megfelelően. Viszont a német mintájú *minden körülmények között* (= *unter allen Umständen*) és néhány ehhez hasonló kifejezés megengedhető emelkedett stílusban (vö. Grétsy–Kovalovszky 1985: 149).

3.2.2. A latin hatás megjelenése a mondatszerkesztésben – pontosabban az írott nyelvben – a kódexekben mutatkozik meg leginkább. Az egyszerűbb alárendelések helyett a latin szövegek fordítói gyakran alkalmaztak igeneves szerkezeteket. Az is aligha lehet kétséges, hogy az alárendelésnek a bonyolultabb formái is jórészt latin hatásra kezdtek fejlődni. A szolgai fordításból adódó körülírásos felszólítások, mint pl. *Ne akarjatok meg ijednetek*, nem tudtak meggyökeresedni nyelvünkben, mivel ennek nem voltak megfelelő előzményei.

Azt a törvényszerűséget, hogy a nyelvi integrálódás során az átvevő nyelv csak azt tudja tartósan magába olvasztani, ami szintaktikai alkatának is megfelel, jól mutatja az a mód, ahogyan középkori kódexeink fordítói igyekeztek minél hívebben lemásolni latin mintáik igeneves szerkezeteit, főleg a kései ómagyar korban.

A középmagyar korban latin hatásra kezdődött el az *-andó/-endő* képzős beálló melléknévi igenév célhatározóként való használata. Ilyen szerkesztésmód mai nyelvünkben is megfigyelhető, pl. *a jelentést megtárgyalandó* (vö. Grétsy–Kovalovszky 1980: 956).

(Napjainkban az alárendelő mondatokat igenevekkel kiküszöbölő mondatmegoldások legtöbbször – különösen angolból fordított szövegek esetében – az angol mondatszerkesztés szolgai másolásának köszönhetőek, de mindez azért lehetséges, mert nyelvünkől alapvetően nem idegenek az igeneves szerkezetek, az már nyelvhelyességi és stilisztikai probléma, hogy használatuk mikor indokolt, és mely esetekben válik nemcsak idegenszerűvé, hanem értelemzavaróvá is.)

3.2.3. Az ún. kötőmód is a latinból fordított kódexszövegekben virágzott, mai nyelvünkben ennek már nyoma sincs. Ilyen például a Bécsi kódexben is olvasható: *Es ug kiral èrassen vudta hog behozattatnanac a magosoc* [És úgy királ erőssen üvöltő hogy behozattatnánac a mágosok].

A történeti nyelvtanban a kései ómagyar kor adatait vizsgálta Abaffy Erzsébet (1992: 168–84) a feltételes mód felszólító értelmű, latinos használatát illetően. Megállapította, hogy eleinte csak a pontos fordítás következménye volt a magyar szövegekben, később előfordult fordítástól függetlenül is, végső soron azonban nem tudott meggyökeresedni nyelvünkben.

3.3. A szintaktikai kérdésekhez kapcsolható, hogy kötőszavak mind nyelvünk külön életében keletkeztek; ez természetesen nem jelenti azt, hogy idegen nyelvi hatásra keletkeztek, de az nem vonható kétségbe, hogy létrejöttükben a latinnak is szerepe volt. *A tudniillik* kétségkívül a latin *scilicet* (< *scire licet* 'tudni szabad, tudni lehet') pontos megfelelőjeként jött létre. A mondatszóként és módosítószóként egyaránt használatos *persze* pedig az ugyanszak latin *per se intelligitur* 'magától értetődik' kifejezésből (vö. Balázs 1983: 96).

4. A magyarban átmenetileg megjelenő vagy meghonosodó idegen nyelvi jelenségek megítélése, elfogadása vagy elutasítása az egyes nyelvtanokban, nyelvújító munkákban elsősorban azt mutatja meg, hogy az adott norma érvényesülésében vagy érvényesítésében milyen szempontok kerültek, illetőleg kerülnek előtérbe, a szerzők mennyire voltak vagy vannak tisztában nyelvünk fő sajátosságaival.

4.1. Nyelvtanírásunk kezdeteit a legátfogóbban Szathmári István tekintette át. Korai nyelvtanaink többsége normatív jellegű. Nem mindegy azonban, hogy az egyes szerzők hogyan látták nyelvünk szabályait, egyáltalán felismerték-e.

Érdekes és tanulságos összevetni Sylvester és Geleji Katona véleményét a számnevek utáni jelzett szó egyes, illetőleg többes számú használatával kapcsolatban. Sylvester János a *Grammatica Hungarolatinában* (1539) hangsúlyozza, „hogy anyanyelvünk sajátja ellen vét, aki a latinhoz hasonlóan a kettőt vagy többet jelentő számnévi jelző után a jelzett szót többesbe teszi” (Szathmári 1968: 97). Geleji Katona István ezzel szemben a *Magyar Grammatikáskában* (1645) a logika túlzott érvényesítésének következtében „kel ki a többet jelentő számnevek utáni névszók egyes száma ellen” (uo. 249).

4.2. Külön dolgot tárgya lehet a nyelvújítók, illetőleg az ortológusok, majd a Magyar Nyelvőr megindulásával fellépő új ortológusok és a nyelvünkben megtalálható idegenszerűségek viszonya.

A magyar nyelvet a 18–19. században elárasztó németességek elleni harc egyrészt a szókincsfejlesztésben, az idegen szavak helyett újak alkotásában, másrészt a vélt vagy valódi magyartalanságok könyörtelen kipellengérezésében teljesedett ki. Természetesen minden téren voltak túlkapások, de sokkal fontosabb az, hogy a viták során világossá vált, melyek a magyar nyelv legfontosabb és legjellemzőbb sajátosságai.

4.3. Nyelvtörténeti szempontból viszonylag könnyű értelmezni és minősíteni az idegen hatásra létrejövő időleges vagy tartós nyelvtani változásokat, viszont a mai nyelv vonatkozásában csak jóslásokba bocsátkozhatunk az újonnan jelentkező grammatikai jelenségeket illetően. Ugyan megfelelő mélységű kutatási eredmények birtokában értékelhetjük pl. az angolos mondatszerkezetek terjedését az írott sajtóban, azt is vizsgálhatjuk, hogy miért és hogyan, mely más mondattani sajátosságokkal összefüggésben alakulhatott ki nyelvünkben ez a szerkesztésmód, de azt, hogy végül meg tud-e gyökeresedni, nem tudhatjuk előre, legfeljebb analógiákat kereshetünk az előző korokból.

El kell ismerni, hogy a többi nyelvvel való kölcsönhatás sok esetben fejlesztette nyelvünket, segített az európai kultúrába beilleszkedni, és a károsnak ítélt jelenségekkel kapcsolatban továbbra is bízhatunk abban, hogy a nyelvi integrálódás során az átvevő nyelv csak azt tudja tartósan magába olvasztani, ami morfológiai, szintaktikai alkatának, tipológiai jegyeinek is megfelel. Az egyes elemek, szerkezetek „csak akkor tudnak meghonosodni, ha a befogadó nyelvben térnyerésüket valamiféle már meglévő, de nem eléggé közkeletű konstrukció segíti” (Balázs 1983: 95–96).

Irodalom

- E. Abaffy Erzsébet 1992: Az igemód- és igeidőrendszer. In Benkő Loránd főszerk.: *A magyar nyelv történeti nyelvtana II/1*. Akadémiai Kiadó, Budapest. 120–83.
- Balázs János 1983. *Az areális nyelvészeti kutatások története, módszerei és főbb eredményei*. MNyTK. 166. sz. Budapest.
- Bereczki Gábor 2003: *A magyar nyelv finnugor alapjai*. Universitas, Budapest.
- D. Bartha Katalin 1958: *A magyar szóképzés története*. Tankönyvkiadó, Budapest.
- Grétsy László - Kemény Gábor szerk. 2005: *Nyelvművelő kézisztár*. Tinta Könyvkiadó, Budapest.
- Grétsy László - Kovalovszky Miklós főszerk. 1980–85. *Nyelvművelő kézikönyv*. I–II. Akadémiai Kiadó, Budapest.
- S. Hámosi Antónia 1995: Az alárendelő szerkezetek. In Benkő Loránd főszerk. *A magyar nyelv történeti nyelvtana II/2*. Akadémiai Kiadó, Budapest. 329–426.
- Havas Ferenc 1974. *A magyar, a finn és az észti nyelv tipológiai összehasonlítása*. NytudÉrt. 85. Akadémiai Kiadó, Budapest.
- Kiss Jenő – Pusztai Ferenc szerk. 2003: *Magyar nyelvtörténet*. Osiris Kiadó, Budapest.
- T. Somogyi Magda 2000: *Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései*. Tinta Könyvkiadó, Budapest.
- Szathmári István 1968: *Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelviünk*. Akadémiai Kiadó, Budapest.
- Szegfű Mária 1991. A névszóképzés. In Benkő Loránd főszerk. *A magyar nyelv történeti nyelvtana I*. Akadémiai Kiadó, Budapest. 188–258.
- Zaicz Gábor főszerk. 2006: *Etimológiai szótár*. Tinta Könyvkiadó, Budapest.
- NyÚSz. Szily Kálmán 1902–1908: *A magyar nyelvújítás szótára*, Budapest.
- TESz. Benkő Loránd szerk. 1967–76: *A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–III*. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Veronika Szelid
Budapest

**DEVASTATING FLAMES OR WARMTH OF A FIRE-PLACE
A COGNITIVE LINGUISTIC ANALYSIS OF THE CONCEPT OF 'LOVE'
IN MOLDAVIAN SOUTHERN CSÁNGÓ AND STANDARD HUNGARIAN**

1. Introduction

Few people would deny that 'love' is one of the most determinant and fundamental emotions of a person's life. But what do we mean by 'love'? Does this fine tissue of physical attraction, deep understanding and spiritual harmony have the same texture for language communities living in different socio-economic and cultural circumstances?

In an interview I asked my informants from Budapest about what 'love' can be compared to. Some of the most interesting answers I received were: *bungee jumping, roller coaster, volcanic eruption, electric shock, floating, arrhythmia, a pair of earrings, sunshine, walking in the clouds, a white dove*. It is striking to see that these entirely different verbal metaphors, many of which even oppose each other in certain aspects, serve to describe the same concept. Some of them speak about a very dynamic, short-term, shocking experience that determines one's fate, others about a peaceful, long-lasting state. Some suggest being up, while others plunging downwards, some refer to health, others to illness.

In order to be able to see our concept in focus in its entirety, we need to go behind these very explicit verbal metaphors and look at the way people in their natural conversations refer to 'love', by discovering the underlying conceptual metaphors that tend to structure our thoughts and language (Lakoff–Johnson, 1980).

In this study I shall analyze the way speakers of two variants of Hungarian conceptualize 'love' with cognitive linguistic methods and shed light on how similar and different these love models are from the western model of romantic love (Kövecses 1988, 2000).

Thus, my study aims to find the answer to a central question of cognitive linguistics that has only been discussed by few researchers so far (Geeraerts 2005, Kövecses 2005, Szelid–Geeraerts 2008), whether diversities of forming concepts can be detected language-internally. As one of the language variants studied here is a dialect of Hungarian, this paper also wishes to contribute to the elaboration of cognitive dialectology, the tradition of which has not taken shape yet. Concerning this field of studies, only few sporadic attempts can be encountered (e.g.: Swanenberg 2000, Benő 2006, Szelid–Geeraerts 2008).

2. Two language variants in focus

The two variants of Hungarian my research has been conducted on are Moldavian Southern Csángó (SCs) and Standard Hungarian (SH). Although these are variants of the same language, their speakers live under diverse circumstances that have a strong effect on the speaker's conceptual system.

While SH is spoken as the official language in Hungary, SCs is one of the most ancient Hungarian language variants and is spoken as an unrequired dialect in some remote villages of the eastern slopes of the Carpathian mountains.

SH went through a Language Reform in the 18–19th century, as a consequence of which its vocabulary has changed radically. Due to the fact that Csángó villages have never formed part of the official territory of Hungary, their dialects, among which SCs, have preserved a great part of their ancient Hungarian vocabulary.

Even the lifestyles of these two language communities of Hungarian differ in many respects. While SH is spoken in a modernized country with effects of globalization, where religion has a marginalized role, Csángós are people from nature, leading an agricultural and stock-breeder's way of life, practicing Roman Catholic religion, having a strong faith in God beside which they preserve ancient magic traditions. Csángós form a cultural, religious and language island in an orthodox, Romanian-speaking environment. Their survival is in danger because of the lack of intellectuals, and the crisis of identity caused by the strong Romanian ambition for assimilation.

3. Data, research method and hypotheses

As Moldavian Csángós do not read or write in Hungarian, I needed to rely on the spoken language data I collected from them as a result of interviews with 40 informants and participant observation in Bogdánfalva (Valea Seacă), Újfalu (Bălcescu), Trunk (Galbeni), Diószén (Gioseni) and Nagypatak (Valea Mare). To make my Standard Hungarian corpus comparable to these results, I also interviewed my informants in Budapest (anonymous on-line interview, 70 informants), but these data were completed by texts from the internet (blogs, websites found with the help of Google), as well.

The data were analyzed with a cognitive linguistic method based on the theory of conceptual metaphors and metonymies. According to this view our abstract concepts are basically motivated by both our physical experiences (Lakoff-Johnson 1980) and the cultural background surrounding us (Kövecses 2005, Yu 2003, Sharifian et al. 2007), through which they fit into a system. On the level of language it is manifested in the metaphorical and metonymical richness of our expressions. Metaphor and metonymy are used in a broader sense by cognitive linguists, they are means by which we are able to understand abstract concepts.

When we understand an abstract domain (target) in terms of a concrete one (source), we use a conceptual metaphor. If we say "*Look how far we've come*", "*We're at crossroads*" and "*We can't turn back now*" we understand the concept of 'love' by the concrete domain of 'journey'. Thus, the underlying conceptual metaphor is LOVE IS A JOURNEY. A target can be described by diverse sources, the reason for which is that each source highlights a new aspect of the target and hides the rest.

Conceptual metonymies are conceptual shifts within the same domain. When after a presentation we say to the presenter "*You were brilliant*" we praise the presentation by referring to the whole person. Thus, source and target are contiguous, the type of metonymy used here is CREATOR FOR CREATION.

What are these conceptual metaphors and metonymies motivated by? When Csángó people say 'the man is the sole of the house' they mean that men provide security for their family. The physical motivation of this figurative expression lies in the fact that

the sole is able to hold a whole person. If the husband is conceptualized by the source concept 'sole', the family and the marital relationship is condensed in the figure of a man standing on his soles. The cultural motivation of the expression appears in the fact that the tasks of a man fundamentally differ from those of a woman. These in a modern society take shape in an entirely different way.

Based on the fact that cognitive linguistic methods consider the broader social and cultural context of language, my hypotheses are that 'love' and 'marriage' differ in their cores in the mind of the two language communities and the conceptualization of these concepts in SH is close to the romantic love model of American English (Kövecses 1988, 2000). I also suggest that religion plays a crucial role in Csángó conceptualization (based on Szelid 2007).

4. The analysis

Although we may be able to speak about our emotions in a poetic way and describe our love with the most unique rhetorical flourishes, we can only do it while adjusting to the conceptual system of our language community, using the very same general conceptual metaphors and metonymies as anyone else living under similar circumstances around us.

When starting the analysis of 'love' we can progress in two different ways. We either speak about it as an emotion or as a relationship.

4.1 Standard Hungarian: Emotional, self-centered love

4.1.1 Love as an emotion

Considering 'love' as an emotion, the main source domain we come across is some kind of emotional force that wants to overcome the passive rational self. The latter one tries hard to keep control, but in most of the cases the emotional self wins the battle. In my SH corpus the emotional force is present in a number of ways. It can be a physical force (mechanical, electric, magnetic, natural), a mental force, the force of fire and heat and the force of an opponent. Kövecses (2000) had a very similar result analyzing American English expressions of 'love'.

a) LOVE IS A PHYSICAL FORCE

LOVE IS A MECHANICAL FORCE

Hegyeket lehet megmozgatni vele. ('You can *move mountains* with it.')

LOVE IS AN ELECTRIC FORCE

Valami *vibrálni kezd* benned tőle. ('Something starts *vibrating* in you from him.')

LOVE IS A MAGNETIC FORCE

Vonzák egymást. ('They *attract* each other.')

LOVE IS A NATURAL FORCE

A humorérzékével *vette le lábáról*. ('He *has swept her off* her feet with his sense of humour.')

b) LOVE IS A MENTAL FORCE

A szerelem olyan, mint egy *függőség*. ('Love is like an *addiction*.')

c) LOVE IS FIRE AND HEAT

Szív lángok élesztése. ('Raising *flames* in the heart.')

d) LOVE IS AN OPPONENT

Az se igaz, hogy az ember *áldozatnak* született volna. Ha nagyon akarja, el tudja felejteni.

('It's not true that we are born to be *victims*. If you really want to, you can forget him.')

4.1.2 Love as a relationship

While emotion can arise in anyone, regardless of whether this feeling is returned or not, a relation always involves two people. Thus, when 'love' is referred to as a relationship, it is the strength of the bond between its two members that is highlighted, unlike in the case of force metaphors seen above that focus on the intensity of the emotion in the heart of a person.

One of the main metaphors describing love as a relationship is LOVE IS A UNITY, the source of which is Plato's *Symposium*. It tells us about how Zeus divided the people into two parts giving an aim to their lives: to find their other halves. Kövecses (1988) argues that this is a central metaphor of 'love' in traditional societies. Let us see examples for the different types of this metaphor taken from SH.

a) LOVE IS A UNITY

LOVERS ARE COMPLEMENTARY PARTS

Mindenki keresi a *másik felét*. Mindenki *fél!* ('Everyone is looking for his/her soul mate /*other half*/. Everyone is merely *a half*.')

A beteljesedni vágyó szerelem. ('Love is longing for *fulfillment*.')

LOVERS ARE PARTS MELTED TOGETHER

Otthon érezhetik magukat egymásban, hogy *egésszé olvadva* egységet alkothassanak. ('They can feel at home in each other, can *melt into a unity*.')

LOVERS ARE HARMONIZING TONES

Teljes lelki és testi összhang. ('There is *full physical and spiritual harmony*.')

Ez a *tökéletes egymásra hangoltság* a szeretet. ('Love is *being in perfect harmony with each other*.')

LOVERS ARE CREATORS OF AN ENTITY

Huzamosabb kapcsolat *kiépítésén dolgozunk*. ('We are *working for building up* a long-lasting relationship.')

The UNITY metaphor has the following entailments:

There is only one person for everyone

Igaz szerelem csak egy van. ('*There is only one true love*.')

Love lasts forever

Az igaz szerelem *sose múlik el*. (True love lasts forever.)

Két hasonló, értelmes, fejlődőképes embernél *tarthat a síríg*. ('In the case of two similar, intelligent people who are open to develop themselves, it can last till they die.')

It seems that this originally traditional model of 'love' is present in modern Hungarian conceptualization; however, there are some telltale symptoms showing the modification of the metaphor. Apart from the above-mentioned classical examples that focus on the reciprocity of this emotion, we can find the so-called "twisted" version of the UNITY metaphor. This means that people use it to speak about its opposite.

There is not only one complementary part

Találkozhat *két-három* olyan emberrel, akiből lehetne „*az igazi*”. (‘One can meet *two or three* partners who could possibly become *the One*.’)

There is no need for complementary part

Egy nőnek azért is lehet jó egyedül, mert végre *kiteljesítheti önmagát*. (‘A single woman can be lucky to be alone because *she can* finally *accomplish herself on her own*.’)

Only one of the two halves finds his/her complementary part

Sok esetben csak az *egyik fél* találja meg a szívkirályát vagy a szívkirálynőjét. (‘In many cases it’s only one of the two soul mates /halves/ who finds the lord/queen of his/her heart.’)

Another metaphor that serves to describe the relationship aspect of 'love' is one that is the typical love model in many modern societies: LOVE IS A TRANSACTION. It opposes the moral of the UNITY metaphor and stands closer to its "twisted" version, as it reflects a self-centered way of thinking about the bond of 'love', highlighting one's benefit from a relationship (Kövecses 1988). Let us see some examples of it.

b) LOVE IS A TRANSACTION

LOVE IS AN EXCHANGE

Ő lényegesen *többet adott*, mint *amennyit kapott* a kapcsolatban. (‘He was doing *more of the giving* and *less of the receiving*.’)

LOVE IS AN EXPLOITMENT

Túl sokat *nyújtanak* a párjuknak. Úgy érzik, hogy *csak adnak és adnak*, míg egyszer csak már nem lesz mit adniuk. (‘They *give* too much to their partners, feeling that *they only do the giving* and there will be a time when there is nothing else to give.’)

Our results show that SH reflects both a mutual (classical UNITY metaphor) and a self-centered (FORCE metaphor, twisted UNITY metaphor, EXCHANGE metaphor) model of thinking about 'love'. The changes of the UNITY metaphor and the fierce presence of 'love' as an emotion suggest that the latter one is gaining more and more importance.

4.2 Moldavian Southern Csángó: Moral love

Summarizing the results of the research conducted in Moldavia, in the conceptualization of my Csángó informants 'love' is only acceptable in the frame of marriage, and there is even more to it: it is impossible to live a moral life without marriage.

Azok [akik nem házasodtak meg] *elzülltek*, se nem mennek a templom felé, sehova, csak a *korcsomákat űzik*. *Csalnak, lopnak*. (‘Those who have not got married are

reduced to being down and outs. They do not go to church, only to pubs. They cheat and steal.’)

The UNITY metaphor typical of traditional societies also appears in this corpus, but only in its classical sense. Its so-called "twisted" version seen above cannot be discovered.

**LOVE / MARRIAGE IS A UNITY
SPOUSES ARE COMPLEMENTARY PARTS**

Isten kettőből csán egyet. ('God makes one out of two.')

Its entailments are present in diverse ways:

The object of love is irreplaceable

Z enyém meghót, montam, *nem házasodom többet*. ('Mine has died, I said, I would not marry again.')

Love lasts until the grave

Végig az életen kell mennyen. Örökké, végig. ('They need to go together till the end of their lives. Forever, till the end.')

The model of moral 'love' intertwined with the concept of 'marriage' is most essentially framed by the well-elaborated metaphor LIFE IS A JOURNEY and its numerous mappings.

**MARRIAGE IS A JOURNEY
WEDDING IS THE BEGINNING OF THE JOURNEY**

Tudja, hogy milyen *utra indul, s kivel indul*. ('He knows which way to go and who to go with.')

MARRIAGE IS CARRYING THE CROSS TOGETHER

Egyet rendelt, melyikkel szent keresztet elvetted. Isten keresztet atta, *ketten viszik*. ('God has commanded one with whom you have taken the holy cross. The holy cross was given them by Him, they need to carry it together.')

SPOUSE IS A COMPANION ON THE ROAD

Együtt viszik a keresztet. ('They carry the holy cross together.')

THE WICKED IS A HIGHWAYMAN

Ha eltetted [a keresztet], akkor a *rossz elkapott*. ('If you put it [the cross] down, the wicked one has captivated you.')

UNFAITHFULNESS IS WALKING OFF THE ROAD

Örökké *féremenen*. ('He is forever walking off the road.')

DIVORCE IS WALKING IN TWO DIFFERENT WAYS

Nem mehet *ő egyfelé, s te másfelé*. ('It is not possible to go in two different ways.')

RECOVERING MARRIAGE IS RETURNING TO THE ROAD

Ha megromlik es, meg kell *jőjön oda, honnat elment*, hogy jó legyen. ('Even if the relationship turns sour, he / she needs to come back where she has departed from to fix the problem.')

HAPPINESS OF THE AFTERLIFE IS DESTINATION

Várjuk, hogy *mennyiünk túlfele*, mert ott jobb. ('We are longing for getting to the other part, as life is better there.')

DEATH IS THE END OF THE JOURNEY

Eccer leköttem magamat, asztán *végigmentem*. Halálig. ('Once I bounded myself, I have walked along the road till the end. Till death.')

The LOVE IS A JOURNEY metaphor can be seen as a special, dynamic type of the UNITY metaphor. The spouses here do not look towards each other, but complement each other looking into the same direction. As seen in the mappings of the metaphor, during the journey the companion and the destination gain major importance. The passengers are the spouses who have a common goal and carry the same load on the way. The destination is, according to their Roman Catholic faith, the kingdom of the Lord, the happiness of the afterlife. Some other underlying metaphors can also be discerned here: MORAL IS STRAIGHT, MORALITY IS STRENGTH. Only weak people "walk off the road" and cheat on their spouses. Strong people refuse temptations or if they should fail once, they have the spiritual strength to repent of their sins and "come back to the road". The love model of the present-day Csángó dialect is not shaped by the „an eye for an eye” morality of the Old Testament, but announces the forgiveness of Christ, and thus is rooted in the New Testament: „A rosszat felejtet, s mensz a jóval elé” ('You forget the bad things and go ahead with the good ones').

5. Conclusion

Summarizing the results of the analysis above we can observe that the conceptualization of 'love' is fundamentally different in the two variants of Hungarian. The typical love model of the SH speech community is a mostly self-centered one. SH speakers often refer to it as an emotion and have a rich list of images to describe it. When 'love' is referred to as a relationship, either the UNITY or the EXCHANGE metaphor is present in the utterances. The two oppose each other but the balance tilts to the self-centered side, because even the UNITY metaphor has a "twisted" type. These symptoms make this love model similar to the Western model of romantic love (Kövecses 1988, 2000).

The SCs data, on the other hand, presents a different model of 'love'. It is not conceptualized as an emotion, only as a relationship that is intertwined with the concept of 'marriage'. Apart from the typically traditional examples of the UNITY metaphor, its special subtype appears in the form of the LOVE IS A JOURNEY metaphor with its very detailed mappings. It suggests a dynamic type of UNITY, being the direction that the couple faces unique.

On the basis of Kövecses's research, love as a relationship and as an emotion are connected by the RELATIONSHIP IS A BUILDING metaphor and its mapping EMOTION IS THE FOUNDATION OF THE BUILDING (Kövecses 2000: 112–113). The process of the analysis related to this topic raises a question: if the emotion aspect of 'love' is absent from SCs data, what can secure the foundation of the building? As a result of the analysis I have found that it is the MORALITY IS STRENGTH metaphor that the relationship of two people is based on in the Csángó conceptualization of 'love', instead of emotional force. Thus, through morality 'love' gains strength and intentions to defeat the forces of evil.

References

- Benó Attila 2006. Kontaktológia és kognitív szemantika. [Contactology and Cognitive Semantics] Konferenciaelőadás. MANyE. XVI. Gödöllő.
- Geeraerts, Dirk 2005. Lectal variation and empirical data in Cognitive Linguistics. In Francisco J. Ruiz de Mendoza–Sandra Peña Cervel szerk., *Cognitive Linguistics: Internal Dynamics and Interdisciplinary Interaction*. Mouton de Gruyter. Berlin/New York. 163–189.
- Kövecses Zoltán 1988. *The Language of Love: The Semantics of Passion in Conversational English*. PA Bucknell University Press. Lewisburg.
- Kövecses Zoltán 2000. *Metaphor and Emotion—Language, Culture, and Body in Human Feeling*. Cambridge University Press. New York.
- Kövecses Zoltán 2005. *Metaphor in Culture: Universality and Variation*. Cambridge University Press. Cambridge/New York.
- Lakoff, George – Johnson, Mark 1980. *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press. Chicago.
- Sharifian, Farzad – Dirven, René – Yu, Ning – Niemeier, Susanne (szerk.) 2007. *Culture, Body, and language: Conceptualizations of Internal Body Organs across Cultures and Languages*. Applications of Cognitive Linguistics. Mouton de Gruyter.
- Swanenberg, J. 2000. *Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd. Over het benoemen van vogels in Zuid-Nederlandse dialecten*. [Lexical Variation, a Cognitive Linguistic Approach. Bird Names in the Southern Dutch Dialects] PhD dissertation. Katholieke Universiteit Nijmegen.
- Szelid Veronika – Dirk Geeraerts 2008. Usage-based dialectology: Emotion concepts in the Southern Csángó dialect. *Annual Review of Cognitive Linguistics*, Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco José (ed.), 23–49. John Benjamins Publishing Company.
- Szelid Veronika 2007. Szerelem és erkölcs a moldvai déli-csángó nyelvhasználatban. Kognitív nyelvészeti elemzés. [Love and Morality in the Moldavian Southern Csángó Dialect. A Cognitive Linguistic Approach] PhD dissertation. Eötvös Loránd University, Budapest.
- Yu, Ning 2003. Metaphor, Body and Culture. The Chinese Understanding of Gallbladder and Courage. *Metaphor and Symbol* (18(1)), 13–31.

QUANTITY OF LEIVU – ESTONIAN LANGUAGE ISLAND
IN CONTACT SITUATION

Abstract. This paper presents an analysis of the acoustic characteristics of quantity in Leivu. Leivu was an Estonian language island in North Latvia. The sound system of Leivu has similarities with both South Estonian and Latgalian High Latvian. In the present paper, spontaneous speech of three male speakers of Leivu is analyzed. In words expected to be in Q1, the syllable duration ratio is 0.8–1.5. The smaller ratio is similar to the syllable ratio in Estonian Q1 words. Although the bigger ratio is characteristic of Estonian and also Leivu Q2 words, these words have significantly shorter duration of the first syllable than Leivu Q2 words. There is an overlap in syllable ratios of Q2 and Q3 words (the ratios are 1.5–2.6 and 1.7–2.8 respectively). However, the ratio under 2 is above all characteristic of Q2 words and the ratio over 2 of Q3 words. A fundamental frequency (F0) analysis shows that Q1 and Q2 words are characterized by a late F0 peak in the first syllable and Q3 words by an early F0 peak. The present analysis found some words where stød was expected. These words showed an early F0 peak and a laryngealization period.

Introduction

Leivu was an Estonian language island or linguistic enclave in North Latvia. There are no more Leivu speakers left. It is known that the last speaker of Leivu – Anton Bok – died in 1988 (Nigol 1988). However, there are tape recordings of Leivu in the language archives of the University of Tartu and of the Institute of the Estonian Language. These recordings can be used for experimental phonetic analysis.

Researchers of Leivu have pointed out that the grammatical structure of Leivu resembles that of the Hargla sub-dialect of South-Estonian Võru dialect. There are similarities in the vocabulary and sound structure (Nigol 1955: 149, Pajusalu et al. 2002: 190–191). As to the phonetic features of Leivu, Salme Nigol (1955: 149) has for example drawn attention to the first half-long component of late diphthongs, where the second component is a raised vowel, e.g. *sòì* ‘wolves’, *pàida* ‘to escape’ (‘ marks glottal stop but also laryngealization at syllable boundary).

On the other hand, a strong influence of Latvian on Leivu phonetics has been observed. Leivu linguistic enclave was in the area where Latgalian High Latvian is spoken (Viitso 2009, cf. Gāters 1977, Rudzīte 2005).

What concerns vowels, the following changes have been named as due to Latvian influence. The labialization of *a* ($a > \text{ã} > o > uo$), e.g. *voxn* ‘old’, *kãnge* ‘strong’. The diphthongization of mid vowels in Q2 words, e.g. *kiele* ‘language, gen.sg.’, *püörü* ‘grinding wheel, gen.sg.’, *skuoli* ‘school, gen.sg.’. In Q3 words, as in other South Estonian dialects, mid vowels are raised, e.g. *kiil* ‘language’, *püür* ‘grinding wheel’, *skuul* ‘school’ (see Teras 2003). The diphthongization of long high vowels, e.g. *leim* ‘glue’ : *leimi* ~ *liimi* ‘glue, gen.sg.’, *möür* ‘wall’ : *möürü* ~ *müürü* ‘wall, gen.sg.’, *sour*

‘big’ : *sourõ* ~ *suurõ* ‘big, gen.sg.’ (Ariste 1931, Niilus 1935, 1937a, Nigol 1955, Tauli 1956, Suhonen 1989, Vaba 1997, cf. Gätters 1977, Rudzīte 2005).

What concerns consonants, the following changes have been seen as Latvian influence. Short plosives are voiced. There has been a quality change of *l* to *o*-colored *l* before back vowels. An alveolar *s* has been changed to postalveolar *š* or *ž* (especially in intervocalic position or before *i*), e.g. *suži* ‘wolf’, *mi mašši* (Q2) ‘pay, imperf. 1 pl.’, *püššü* (Q2) ‘gun, nom.pl.’. Unlike in Võru South-Estonian, the word-initial *h* has been lost in Leivu (Niilus 1936). The intervocalic short *h* has been completely lost in the weak grade words, e.g. *l’ehm* ‘cow’ : *l’e(m)mä* ‘cow, gen.sg.’, *ria* ‘rake’, *püübä* ‘Sunday’, or has been replaced by the approximant *j*, e.g. *täht* ‘star’ : *täije* ‘star, gen.sg.’, *jaijõ* ‘chilly’, *vaijõr* ‘maple’. In most examples, the loss of short *h* has caused stød at the syllable boundary, e.g. *ra’a* ~ *raa* ‘money’, *vä’ämb* ‘less’, *na’a* ‘skin, gen.sg.’, *pä’ä* ‘head, illat.sg.’, *ta’a* ‘I want’, *tu’a* ‘ash, nom.pl.’, *vi’ma* ‘rain, nom.pl.’. (Ariste 1931, Nigol 1955, Niilus 1935, 1937a, Tauli 1956, Suhonen 1989, Vaba 1997, Winkler 1999.) This can be compared to stød in Latvian and Livonian (cf. Lehiste et al. 2008).

Nigol (1955) has pointed out the Latvian influence on Leivu quantity relations. The vowels of the short first syllable are pronounced longer than in Standard and South Estonian, e.g. *mùnà* ‘egg’, *kànà* ‘chicken’, *p’èza* ‘nest’ (Niilus 1935). But the transcriptions of Leivu (cf. Niilus 1937b) show variation in vowel durations of this type of words, e.g. *jèma*, *jemà*, *jèmà* ‘mother’.

In the following the acoustic phonetic characteristics (duration ratios and fundamental frequency movement) of Leivu quantity 1 (Q1), quantity 2 (Q2) and quantity 3 (Q3) words will be analyzed (see also Teras 2007, 2010). Answers to the following questions will be sought: 1) what are the syllable duration ratios in disyllabic words in spontaneous Leivu? 2) is there any difference in pitch contours associated with differences in syllable ratios? 3) what are the acoustic characteristics of words where stød is expected?

Material and method

Spontaneous speech of three male speakers of Leivu was analyzed. The speaker Peeter Melec (PM) was born in 1867. He lived in Soosaare (Sūzaři) village and was recorded by Valmen Hallap in 1956 (tape EMH0003a in the archive of Estonian dialects at the Institute of the Estonian Language). The speaker Anton Bok (AB) was born in 1908. He lived in Pajušilla (Kärklupe) village. He was recorded in 1971 by Paulopriit Voolaine (tape F-158-05-06 in the archive of Estonian dialects and related languages at the University of Tartu). The speaker Artur Peterson (AP) was born in 1914. He lived in Paikña (Paikñeni) village. He was recorded in 1971 by Paulopriit Voolaine (tape F-158-01-04 in the archive of Estonian dialects and related languages at the University of Tartu).

Disyllabic Q1, Q2 and Q3 words were selected from spontaneous speech. The analyzed material consisted of 407 words in total (170 Q1 words, 135 Q2 words, and 102 Q3 words). The first long syllable (Q2 and Q3 words) contained either a long monophthong or a diphthong as a syllable nucleus or a short vowel followed by a voiced consonant (the first part of a geminate consonant or consonant cluster). The analyzed words were in phrase-initial (109 words), internal (209 words) or final (89

words) position. All words carried sentence-level stress. Examples: Q1 *tarõ* ‘room, farmhouse’, *terä* ‘grain, seed’, *eza* ‘father’; Q2 *naanõ* ‘woman, wife’, *skuolin* ‘school, iness.sg.’, *talvõ* ‘winter, gen.sg.’; Q3 *peima* ‘milk, part.sg.’, *lamba* ‘sheep, gen.sg.’, *sauna* ‘sauna, part.sg.’.

The recordings were analyzed using the Praat software for speech analysis (Boersma, Weenink 2007–2010). The duration of all segments was measured. Syllable durations and duration ratios were calculated. When the first syllable (S1) is open, syllable duration equals that of the syllable nucleus. When the syllable is closed, the duration of the coda consonant is added to the duration of the syllable nucleus. The second syllable (S2) duration equals the duration of the second syllable vowel. Fundamental frequency measurements were taken at the beginning and end of each syllable, and at the peak or turning point of F0 curve within the first syllable. The location of the F0 turning point relative to the beginning of the first syllable was also established and will be given in percentages.

Durations and duration ratios in Q1, Q2 and Q3 words

Average syllable durations, standard deviations and duration ratios of syllables in Q1, Q2 and Q3 words independent of their position in the sentence are presented in the following Table.

Table. Average syllable durations (in milliseconds, ms), duration ratios and standard deviations (s.d.) of Q1, Q2 and Q3 words. (N – number of measurements, Q1/Q2/Q3)

Speaker		N	Q1			Q2			Q3		
			S1	S2	S1/S2	S1	S2	S1/S2	S1	S2	S1/S2
PM	Average	75/48/52	131	126	1.15	212	111	2.07	250	104	2.55
	s.d.		35	37	0.54	61	36	0.74	55	33	0.78
AP	Average	29/46/23	105	108	1.06	159	96	1.79	217	83	2.75
	s.d.		38	33	0.56	44	31	0.68	48	26	0.72
AB	Average	66/41/27	119	101	1.27	169	105	1.67	199	87	2.33
	s.d.		28	36	0.36	58	35	0.53	61	22	0.60
All	Overall average	170/135/102	119	112	1.16	180	104	1.84	222	91	2.55
			34	35	0.49	54	34	0.65	55	27	0.70

In Leivu Q1 words (examples: *vana* ‘old’, *vili* ‘grain’), average durations of the first and second syllable are 119 ms and 112 ms, and the average duration ratio is 1.16 (s.d. 0.49). In Q1 words, two syllables have almost equal durations. In Q2 words (examples: *teezel* ‘other, adess.sg.’, *leivu* ‘Leivu’), the average syllable durations are 180 ms (S1) and 104 ms (S2), and the average duration ratio is 1.84 (s.d. 0.65). In Q2 words, the first syllable is longer than the second syllable. In Q3 words (examples: *kuuldze* ‘hear, imperf. 3 pl.’, *jernid* ‘pea, part.pl.’), the syllable durations are on average 222 ms (S1) and 91 ms (S2), and the average duration ratio 2.55 (s.d. 0.70). In these words, the first syllable is much longer than the second syllable.

Standard deviations show that the duration ratios of Q1 words vary greatly: 43% of Q1 words had the duration ratio that was smaller than or equal to one. This ratio is

similar to that of Estonian Q1 words. However, 57% of the words expected to be in Q1 had the ratio that was larger than one. This ratio is much bigger than in Estonian Q1 words and resembles that of Estonian (but also Leivu) Q2 words where the ratio is 1.5. However, an ANOVA shows that there is a significant difference between the duration of the first syllable and also the second syllable of these Q1 words and Q2 words (having the ratio smaller than 2) at $p < 0.001$ level.

Standard deviations of duration ratios of Q2 and Q3 words indicate that there is some overlap of duration ratios in these words. In both quantities, duration ratios smaller than or equal to two and larger than two can be found. 67% of Q2 and 25% of Q3 words had the ratio smaller than two, and 33% of Q2 and 75% of Q3 words had the ratio larger than two. Although the ratio varies quite a lot, it can be seen that Q2 words are primarily characterized by a smaller and Q3 words by a larger ratio.

In Figure 1 syllable durations and standard deviations in these six groups of words are given. Average syllable duration ratios are as follows: Q1 words – 0.79, 1.53; Q2 words – 1.47, 2.6; Q3 words – 1.7, 2.81.

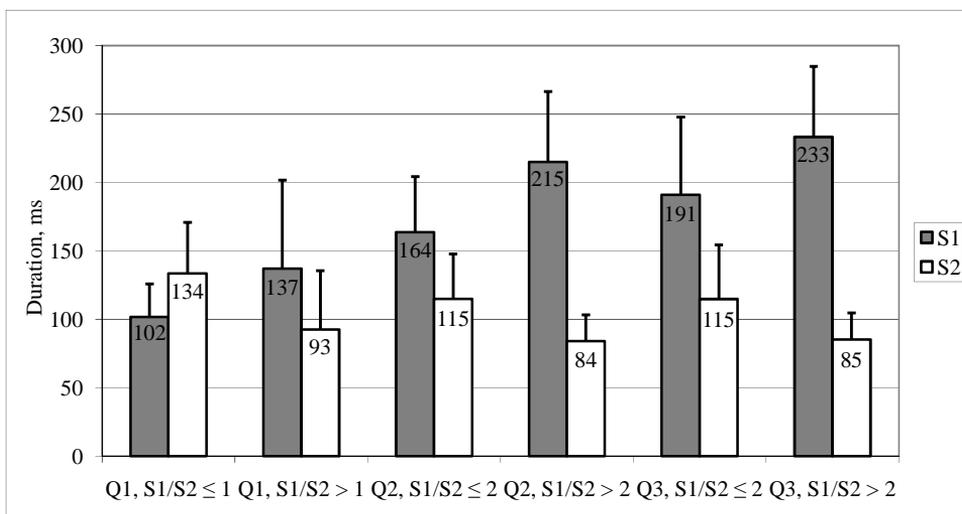


Figure 1. Average syllable durations and standard deviations in Q1, Q2, and Q3 words divided into two groups according to their duration ratios.

It is quite probable that the location of F0 turning point can differentiate such Q2 and Q3 words where the duration ratios are similar. Fundamental frequency contours of Q1, Q2 and Q3 words will be dealt with next.

Fundamental frequency contours of Q1, Q2 and Q3 words

F0 values in the beginning and end of each syllable and at the turning point (or peak) were measured. The location of F0 turning point in relation to the total duration of the first syllable was calculated and is given in percentages. When the F0 turning point occurs in the first half of the first syllable, it will be called an early F0 turning point, and when it occurs in the second half of the first syllable, it will be called a late F0 turning point.

The majority of Q1 words (84%) had a late F0 turning point, and only 16% of Q1 words had an early F0 turning point. Q2 words are also mainly characterized by a late F0 turning point. 79% of these words had such a F0 contour. 21% of Q2 words had an early F0 turning point. Q3 words are characterized by an early F0 turning point that occurred in 79% of the words. 21% of Q3 words had a late F0 turning point.

Figure 2 shows the most common F0 contours for words in all three quantities. Average syllable durations have been calculated on the basis of the same words having these common F0 contours.

In Q1 and Q2 words there is a late F0 turning point occurring on average at 77% and 74% of the total duration of the first syllable. It can be seen from Figure 2 that in these words F0 is rising during the first syllable and after reaching the peak it is falling. In Q3 words the F0 peak is reached already in the first third of the first syllable (at 27%) and the pitch is falling already during the first syllable and continues to fall in the second syllable. The F0 values in the beginning of the first syllable of Q3 words are higher than in Q1 and Q2 words.

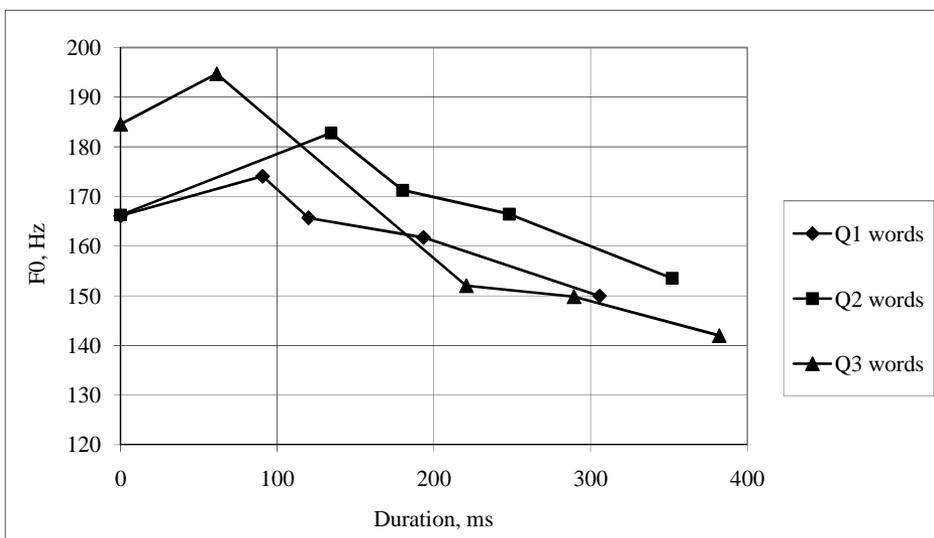


Figure 2. The most characteristic F0 contours of Q1, Q2, and Q3 words. Average F0 values in the beginning, at the peak and in the end of the first syllable, and in the beginning and in the end of the second syllable.

The data contained only some words where stød was expected. Examples: speaker PM *ra'aga* (< *rahaga*) 'money, comit.sg.' (an early F0 turning point, the duration of the laryngealization period 32 ms); speaker AB *pa'at'* (< *pajat'*) 'tell, imperf. 3 sg.' (2 times, an early F0 turning point); speaker AP *ra'a* (< *raha*) 'money' (an early F0 turning point, the duration of the laryngealization period 79 ms), *ra'ad* (< *raha*) 'money, part.sg.?' (an early F0 turning point, the duration of the laryngealization period 126 ms), *pa'atti* 'tell, imperf. 3 pl.' (2 times, an early F0 turning point, the duration of the laryngealization period 210 and 208 ms). In these words, there was always an early F0 turning point and in most of the words, the laryngealization period occurred.

Conclusion

The Leivu sound system has similarities with that of the South Estonian Hargla sub-dialect. It also gives evidence of language contacts with Latvian.

In the present study, spontaneous speech of three male speakers of Leivu was analyzed. Standard deviations of syllable duration ratios in disyllabic Q1, Q2 and Q3 words showed considerable variation. In words expected to be in Q1, the syllable duration ratio was 0.8–1.5 (average ratio 1.2). The smaller ratio is similar to the syllable ratio in Estonian Q1 words. Although the bigger ratio is characteristic of Estonian and also Leivu Q2 words, these words have significantly shorter first and second syllable duration than Leivu Q2 words. The bigger ratio may indicate a Latvian influence on Leivu pronunciation. In Latvian, when both syllables in a disyllabic sequence are short, the first vowel is pronounced longer than the second syllable vowel. There was an overlap in syllable durations of Q2 and Q3 words. The ratio is 1.5–2.6 (average ratio 1.8) in Q2 words, and 1.7–2.8 (average ratio 2.6) in Q3 words. However, a ratio under 2 was primarily characteristic of Q2 words and a ratio over 2 of Q3 words.

The fundamental frequency analysis showed that Q1 and Q2 words were characterized by a late F0 peak in the first syllable and Q3 words by an early F0 peak. Even if the duration ratios in Q2 and Q3 words overlapped, the two quantities were differentiated by the location of F0 peak. There were only some words where stød was expected. These words were characterized by an early F0 turning point and almost always by a laryngealization period.

Acknowledgements

This research was partly supported by grant of the Estonian Science Foundation “Prosodic correlates of southern Balto-Finnic and Volga languages” (No. 6983).

References

- Ariste, Paul 1931. *Lisandeid Koiva murrete vokaalide häälikuteloole*. – Eesti Keel X, 175–179.
- Boersma, Paul – Weenink, David 2007–2009. *Praat: doing phonetics by computer* (Versions 4.6–5.1) [Computer program]. Retrieved 2007–2009, from <http://www.praat.org/>.
- Gäters, Alfrēds 1977. *Die lettische Sprache und ihre Dialekte*. Trends in linguistics, 9. The Hague: Mouton.
- Lehiste et al 2008 = Lehiste, Ilse–Teras, Pire–Ernštreits, Valts–Lippus, Pärtel–Pajusalu, Karl–Tuisk, Tuuli–Viitso, Tiit–Rein 2008. *Livonian Prosody*. *Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia* 255. Helsinki.
- Nigol, Salme 1955. *Märkmeid matkalt leivu keelesaarele*. – Emakeele Seltsi aastaraamat. Tallinn, 147–151.
- Nigol, Salme 1988. *Anton Boks (1908–1988), viimane Leivu*. – Keel ja Kirjandus, 755.
- Niilus, Valter 1935. *Leivu murret. Häälikutelooline ülevaade I–III*. AES 179. Käsikiri Eesti Keele Instituudis (kopeerinud 1952 Elju Siidva, koopia TÜ eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivis, H-82–84).

- Niilus, Valter 1936. *Leivu (Koiva) murde h-hääliku arengust*. – Eesti Keel XV, 36–41.
- Niilus, Valter 1937a. *Heikki Ojansuu lõuna-eesti murdekogudest*. – Eesti Keel XVI, 140–146.
- Niilus, Valter 1937b. *Valimik leivu murdetekste. Choix de textes dialectaux leivu*. Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised XXXI. Tartu.
- Pajusalu et al 2002 = Pajusalu, Karl–Hennoste, Tiit–Niit, Ellen–Päll, Peeter–Viikberg, Jüri 2002. *Eesti murded ja kohanimed*. Tallinn.
- Rudzīte, Marta 2005. *Darbi latviešu dialektoloģijā*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
- Suhonen, Seppo 1989. *F. J. Wiedemann ja Heikki Ojansuu leivun murteen tutkijoina*. – *Ferdinand Johann Wiedemannin muisto*. – Castrenianumin Toimitteita 31, 39–52.
- Tauli, Valter 1956. *Phonological Tendencies in Estonian*. Det Konglige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser 36, 1. København.
- Teras, Pire 2003. *Lõunaeesti vokaalisüsteem: Võru pikkade vokaalide kvaliteedi muutumine*. Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 11. Tartu.
- Teras, Pire 2007. *Leivu häädusjoontest*. – Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat. Tartu, 19–30.
- Teras, Pire 2010. *Quantity in Leivu*. – *Linguistica Uralica*, XLVI (1), 1–16.
- Vaba, Lembit 1997. *Uurimusi läti-eesti keelesuhetest*. Tallinn, Tampere.
- Viiitso, Tiit-Rein 2009. *Livonian and Leivu: shared innovations and problems*. – *Linguistica Uralica* XLV (4), 269–282.
- Winkler, Eberhard 1999. *Katkeintonatsiooni tekkimisest läänemeresoome keeltes*. – Võro Instituudi Toimõitiseq 6. Õdagumeresoomõ veeremaaq = Läänemeresoome perifeeriad. Võro, 201–206.

Надежда Тимерханова
Ижевск

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИДАТОЧНЫМИ ВРЕМЕНИ В УДМУРТСКОМ И ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКАХ

В удмуртском и венгерском языках сложноподчиненные предложения с придаточными времени (СППсПВ) имеют общие и специфические черты.

И в удмуртском, и в венгерском языках СППсПВ могут иметь расчлененную структуру и нерасчлененную.

В обоих языках главная и придаточная части могут соотноситься посредством предикатов, при помощи коррелята и союза или местоимений (местоименных наречий), опорного слова и союза или союзного слова. Например: связь при помощи коррелята и союзного слова: *Нюлэсьёс утизы асьмеды со дыре, ку ёклскиз сюресмы дунне тыр* (Ар-Серги В.). – Леса берегли нас в то время, когда протянулась наша дорога на весь мир. *Sokkal szebb az erkély azóta, mióta virágoznak a petúniák* (MG 2000: 504). – Балкон гораздо красивее с тех пор, как цветёт петуния.

И в удмуртском, и в венгерском языках СППсПВ могут иметь отношения одновременности: полной и частичной; разновременности: предшествования и следования.

1. В удмуртском языке отношения одновременности могут выражаться в предложениях с союзным словом *куке* (*ку*) ‘когда’ и союзом *дырья* ‘когда’.

В СПП с отношением одновременности сроки действия главного и придаточного предложений совпадают. Дифференцированным союзом, выражающим отношение одновременности является союз *дырья* ‘когда, пока’: *Музьем вылын адямиос кькл на дырья, дуннеен кузёяськиллям Инмар, Пери но Шайтан* (Романова Г.). – Когда на земле ещё не было людей, миром распоряжались Инмар (Бог), Пери (Дух ветра) и Шайтан (Дьявол).

В предложениях полной одновременности указывается на то, что каждый момент действия главного предложения совпадает с каждым моментом действия придаточной части. В удмуртском языке нет союза или союзного слова, специализированного для выражения отношений полной одновременности: *Мон кй бкрды, куке ткды юсь дһськутэн, ткды юсь дһськутэн ськр гуртысь чебер кен тон доры карьяськиз, осконме таласа* (Кутянова Л.). – Я не плакала, когда в одеянии белой лебёдушки, в одеянии белой лебёдушки не из нашей деревни невеста к тебе поселилась, отняв мою надежду. *Мамык лымы ткды бусэн куке солэсь воштэ туссэ, шыпыт мкзмись умктьёссэ ас вктэным мон цошатһ* (Байтеряков Н.). – Когда пушинки снега белым туманом меняют её облик, её тихие скучающие сны я сравнил со своим сном. *Mialatt ebédelték, szólt a zene* (MG 2000: 505). – В то время когда (они) обедали, звучала музыка.

При частичной одновременности отношения могут быть представлены следующим образом:

а) действие главного предложения является временным фоном, с одним из моментов которого совпадает единичное действие придаточного предложения:

Мон сое цемысь адъицьско, куке со ужаны мынэ. – Я его часто вижу, когда он идёт на работу. *Éppen jött le a lépcsón, amikor megcsörrent a telefon* (MG 2000: 507). – [Он] как раз спускался по лестнице, когда зазвонил телефон;

б) действие придаточной части представлено как период или процесс, на фоне которого осуществляется единичное действие в главном предложении: *Малы ачид тон кунулскид, куке вкзад мон вамышьяй?* (Матвеев С.). – Зачем сама ты взяла под руку, когда я с тобой шагал? *Mialatt a zene szólt, belépett Zsuzsi* (MG 2000: 505). – В то время, когда звучала музыка, вошла Жужа.

Для выражения отношения одновременности в венгерском языке могут использоваться союзы: *mikor* ‘когда’, *hogy* ‘как, когда’, *amint* ‘как’, *mialatt, mikorra* ‘в то время как’, *miközben* ‘пока’, союзные слова *amikor* ‘когда’, *ahogy* ‘как, когда’, *amikorra* ‘в то время как’, корреляты *akkor* ‘тогда’, *akkorra* ‘в то время’, *azalatt* ‘в то время’, *aközben* ‘в то время’ (MG 2000: 506): *Nagyon megörültem, mikor megjött a leveled* (MG 2000: 504). – Очень радовался, когда пришло твоё письмо. *Nagyon szoktunk örülni, amikor megérkezik hozzánk a nagyanyó* (MG 2000: 504). – Обычно очень радуемся, когда к нам приезжает бабушка.

Также могут выражаться отношения с дополнительным оттенком:

а) начального временного предела: *Трос аръёс ортчизы уни со дырысен, ку мон ас синмыным адъи нылмурт сюлэмлэсь чылкытсэ...* (Самсонов Е.). – Много лет прошло с тех пор, как я своими глазами увидел чистоту девичьего сердца... *Мон тодмай тонэ со дырысен, куке школа усьтһд мыным...* (Покчи-Петров М.). – Я узнал тебя с тех пор, как мне открыла школу...

В венгерском языке подобными являются предложения с союзами и союзными словами (*a*)*mióta* ‘с тех пор как’, *hogy* ‘как’, с коррелятами *azóta, attól, kezdve* ‘с тех пор’: *Mióta sütt a nap, azóta jobb a kedvem* (MG 2000: 505) – С тех пор, как греет солнце, у меня лучше настроение. *Sokkal szebb az erkély azóta, mióta virágoznak a petúniák* (MG 2000: 504). – Балкон гораздо красивее с тех пор, как цветёт петунья;

б) конечного временного предела: *Мон доры эн ни пыра со дырозь, пока берен кд вай книгаме.* – Не заходи ко мне до тех пор, пока не вернешь книгу.

В венгерском языке подобными являются предложения с союзами и союзными словами (*a*)*mire, (a)mikorra* ‘в то время как’, (*a*)*míg* ‘до тех пор как’, с коррелятами *akkorra* ‘в то время’, *addig* ‘до тех пор’: *Addig játszottak a gyerekek a kertben, amíg süttött a nap* (G 2000: 505) – Дети играли в саду до тех пор, пока грело солнце. *Mire vége lett a viharnek, elmúlt a félelmük is* (MG 2000: 505). – К тому времени как закончился ураган, прошёл и их страх.

2. Отношения разновременности

В удмуртском языке, как и в венгерском, отношения разновременности имеют 2 типа: 1) отношения предшествования, 2) отношения следования.

Отношения предшествования: в удмуртском языке: *Куке нош чаклай тэль ськрэз... отчы но укно цогиськем...* (Ившин В.). – А когда посмотрел за лес... и туда прорубилось окно... *Собере уни, бкрысьгес, куке Кузязе сэпалтыса дэри вуэ сализ Сазонов, отставной капитанэд тюрмаез но шкмяз, лэся* (Самсонов Е.). – Потом уже, попозже, когда, оттолкнув, отбросил Кузю в грязную лужу, отставной капитан узнал, вроде, что такое тюрьма;

в венгерском языке: *Miután lezárta a rádiót, kiment a szobából* (MG 2000: 505). – После того как выключил радио, вышел из комнаты. *Miután megírta a leckét, elment sétálni* (MG 2000: 507). – После того как дописал лекцию, вышел погулять. *Lehetek-e boldog, mikor annyi embert boldogtalanná tettem?* (MG 2000: 507). – Могу ли быть счастлив, когда столько людей сделал несчастливыми? *Azóta, hogy utoljára láttalak, sok minden történt* (MG 2000: 505). – С тех пор, как видел тебя в последний раз, много всего произошло. *Ahogy abbahagyta a dohányzást, hízott néhány kilót* (MG 2000: 507). – Как бросил [он] курить, пополнил на несколько кило. *Boldizsár akkor kezdett hozzá a tanuláshoz, amikor elment a barátja* (MG 2000: 505). – Балтазар приступил к учёбе тогда, когда ушёл его друг. *Mióta elmentél, szomorú vagyok* (MG 2000: 505). – С тех пор как ты ушёл, я печален. *Majd ha megírtad a leckét, mehetsz focizni* (MG 2000: 507). – Как сделал уроки, можешь играть в футбол.

В удмуртском языке такие отношения выражаются при помощи союзного слова *куке* (*ку*) ‘когда’, союзов *гинэ*, *гинэ но* ‘как только, только’. В венгерском языке для выражения подобных отношений могут использоваться союзы *miután* ‘когда’, *mikor* ‘когда’, *(a)hogy* ‘как, когда’, *mióta*, *míg* ‘с тех пор как’, союзные слова *amióta* ‘с тех пор как’, *amikor* ‘когда’, *amíg* ‘до тех пор пока’, корреляты *akkor* ‘тогда’, *azután*, *azóta*, *attól*, *kezdve* ‘с тех пор’, *addig* ‘до тех пор’.

Предложения с отношением предшествования с дополнительным значением контактирования действий придаточной и главной частей в удмуртском языке выражается при помощи союзов *гинэ*, *гинэ но* ‘как только, только’, корреляты *соку*, *соку ик* ‘тогда’: *Кеносысь потыса, кеньыр кисьтӥ гинэ – анайзы кокаса быдтӥське вал* (Виль дунне. 1989). – Только, вынеся из клетки, высыпал крупу – их мать чуть все не выклевала. *Уть ай, кышноез поттылӥ гинэ но, соку ик кс кусны йырзэ мычиз...* (Самсонов С.). – Смотри-ка, лишь только упомянул о жене, тогда же просунул голову в двери.

В венгерском языке такие отношения выражаются при помощи союзов *alighogy*, *amint*, *ahogy*, *mihelyt* ‘как только, только’, коррелятов *nyomban*, *azonnal*, *legottan*, *tüstént*, *máris* ‘только, сразу, тотчас’: *Alighogy elállt az eső, rögtön kislőtött a nap is* (MG 2000: 505). – Как только прекратился дождь, сразу же запекло солнце.

В предложениях с отношением следования (придаточные следования) действие придаточной части следует за действием главного предложения.

В предложениях с отношением следования действия придаточной части в венгерском языке могут использоваться союзы *mielőtt* ‘перед тем как’, *mire*, *mikorra*, *meddigre* ‘к тому времени как’, ‘до тех пор пока’, союзные слова *amikor* ‘когда’, *amire*, *amikorra*, *ameddigre* ‘к тому времени как’, *amikor* ‘когда’, корреляты *azelőtt* ‘перед тем’, *akkor* ‘тогда’, *addig* ‘до тех пор’, *akkora* ‘к тому времени’: *Mielőtt elmész hazulról, kapcsold le a fűtést!* (MG 2000: 505). – Перед тем как уходишь из дома, выключай обогреватель! *Mire Péter negyvenesztendő lett, már kétszer elvált* (MG 2000: 505). – До тех пор пока Петеру исполнилось 40 лет, он уже 2 раза разводился. *Addig jár a korsó a kútra, míg eltörik* (MG 2000: 505). – До тех пор ходит кувшин к колодцу, пока не разобьётся (сравните: ... *amíg el nem törik*. – ... пока не разобьётся. – отношения одновременности с конечным пределом). *Anna már felöltözött, amikor beléptem* (MG 2000: 507). – Анна уже оделась, когда [я] вошёл.

В удмуртском языке с подобными придаточными нами обнаружены лишь предложения с конструкцией *куке ... ни* 'когда ... уже', которые имеют дополнительное значение приуроченности: в удмуртском языке: *Кукe Вани васькиз корка сигысь, Дани корказьын кй вал ни*. – Когда Ваня слез с чердака, Данила в сенях уже не было; в венгерском языке: *Mire hazaérnek a gyerekek, sütök palacsintát* (MG 2000: 505). – К тому времени когда вернутся дети, нажарю блинчиков.

Таким образом, и в удмуртском, и в венгерском языках имеются конструкции с подобными временными отношениями. Но в удмуртском языке, в отличие от венгерского, набор союзных средств и коррелятов и самих сложноподчиненных предложений с придаточными времени невелик. Это объясняется тем, что в удмуртском языке вместо СПП чаще используются синонимичные деепричастные и отглагольные обороты.

Литература

MG – Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2000.

Ольга Титова
Ижевск

О НАИМЕНОВАНИЯХ ГУЖЕВОГО ТРАНСПОРТА В ПЕРМСКИХ ЯЗЫКАХ

Средства транспорта, возникшие еще в глубокой древности в процессе жизнедеятельности человека и призванные облегчить труд людей в передвижениях – результат длительного исторического развития. Рельеф и природно-климатические условия проживания пермских народов обусловили исключительное многообразие средств передвижения. Гужевой транспорт – вид транспорта, в котором в качестве тяги используется сила упряжных животных (лошадей, волов, оленей, собак и др.) – играл важную роль в хозяйственной жизни удмуртов и коми. Широкое развитие автотранспорта привело к постепенному вытеснению гужевого транспорта, и в настоящее время данный вид транспорта находит применение в основном в сельских местностях для перевозок людей и грузов на короткие расстояния.

В данной статье рассматриваются наименования гужевых транспортных средств и их основных деталей в пермских языках. Анализ проводится на материале четырех словарей современных пермских языков: «Удмуртско-русского словаря» (2008), «Коми-роч кывчукр» (2000), «Русско-коми словаря» (2003), «Коми-пермяцко-русского словаря» (1985). Также к работе привлечены полевые материалы, собранные автором во время экспедиций в различные районы Удмуртской Республики.

Наименования гужевых транспортных средств выбраны нами для исследования не случайно. Зачастую лишь лингвистические данные о происхождении тех или иных терминов могут быть надежным источником информации о происхождении ряда культурно-исторических реалий. Это касается и возникновения гужевого транспорта у пермских народов. Является ли оно финно-пермским или даже финно-угорским наследием, или появилось у пермских народов под влиянием контактов с другими этносами? Представляется, что анализ этимологий лексики гужевого транспорта может дать ответ на этот вопрос.

В значении «гужевой транспорт» в удмуртском языке используется словосочетание *урбоен-валэн нуллон* (УРС: 700) (букв. ‘возка телегой-лошадью’), в коми языке – *вöла транспорт* (РКС: 175) (букв. ‘конный транспорт’). Наименования гужевых транспортных средств в пермских языках складывались в течение многих веков под воздействием различных факторов. В лексике данной тематической группы выделяется как исконная, так и постепенно усвоенная в результате влияния языков лексика.

Древнейшими средствами передвижения считают волокуши. В данном значении в коми-зырянском языке используется словосочетание *вуж додь* (КРК: 190) (букв. ‘сани из корня’). Данное наименование отражает тот факт, что волокуша представляла собой ствол дерева с корнем. Оглобли, вырезанные из ствола дерева, прикрепляли к хомуту, а корневища волочились по земле. В

удмуртском языке понятие «волокуша» передается тюркским заимствованием *суэри* (УРС: 618) < ? тат. диал. *söjräk* ‘вещь, которую тащат волоком’, *söjrä-* ‘тащить волоком за собой’ < ? др.-тюрк. **siür-* (Csúcs 1990: 262)]. Наряду с данным наименованием, в срединных говорах удмуртского языка в этом значении функционирует слово *шача* (лит. ‘прут’), в южном наречии отмечено описательное словосочетание *турын кыскан ньөр* (букв. ‘ветка для тянущая сена (травы)’). В коми-пермяцком языке понятие «волокуша» передается лексемой *няридз* (КПРС: 285). Этимология данного слова нам не известна. Предполагаем, что основа *няр-*, возможно, одного происхождения с *ньөр* ‘прут, ветка, лоза’ (удм. *ньөр* ‘тж.’ < общеп. *n’qr* ‘тж.’ (КЭСК 1999: 198) < ? ур. *ñsrz* (*ñsrz*, *ñsrkz*) ‘прут; молодой росток’ (UEW 1988: 331)), *-дз* – словообразовательный суффикс.

Одним из наиболее древних транспортных средств являются сани. Об этом свидетельствуют и языковые данные: в пермских языках в значении «сани» используются лексемы исконного происхождения. Для обозначения саней, нарт наиболее ранней по происхождению является лексическая единица финно-пермского происхождения **norta* (UEW 1988: 709): к. *норт* ‘нарты’ (КРК: 436), удм. *нурт* ‘сани’ (УРС: 471) (зафиксировано в письменных источниках удмуртского языка, однако в современном удмуртском языке данное наименование уже не используется) < общеп. **nort* ‘нарты, сани’, сопоставляют с морд. *нурдо* ‘сани’ (КЭСК 1999: 194). А. Туркин при исследовании коми-ненецких языковых контактов отмечает, что из коми языка заимствовано в ненецкий язык слово *норт* ‘длинная нарта с дощатым настилом’ (Туркин 1985: 197). Славянское слово *нарты* нередко рассматривается как заимствование из финно-угорских языков. Учитывая наличие сходных слов в тунгусо-маньчжурских языках, о *нартах* говорят также как о «древнем арктическом бродячем слове», финно-угорские и тунгусские филиации которого слились в русском языке. Некоторые исследователи полагают, что для лексемы *нарты* несомненна исконная этимология. Слово *нарты* происходит из славянского **narъty* < **na-* + **ryty* ‘лыжа’. Что касается материально очень близких к *нартам* финно-угорских фактов, то не исключено влияние последних на семантику русского слова (развитие значения ‘нарты, сани’) (Аникин 2000: 403–404).

Для обозначения саней в пермских языках широко используются лексемы общепермского происхождения: удм. *додьы* (УРС: 188), к. *додь* (КРК: 190) < общеп. **dod’z* ‘сани’. Из коми языка заимствованы в хант. *tuijt*, манс. *tuiD* (КЭСК 1999: 94).

В значении «полоз (саней)» в пермских языках используются лексемы исконного происхождения: удм. *сюл* (УРС: 627), к. *сюв* (КРК: 629) < общеп. **s’ul* ‘полоз, связка’ (КЭСК 1999: 273). Данные слова под знаком вопроса сопоставляют с мар. *šolkama*, *šalkama* ‘брошка, закладка на груди’ | мордЭ. *šulgamo*, мордМ. *šulgam* ‘брошка, застежка’ | ф. *solki* ‘пряжка, застежка’, *solkipuu* ‘соединяющая, связывающая поперечина’. В «Уральском этимологическом словаре» приводится реконструкция прафинно-волжской, со знаком вопроса прафинно-пермской основы **solke* ‘пряжка, застежка’, указывается, что пермские слова в данном случае сомнительны из-за семантической основы (UEW 1988: 774–75).

Иного мнения придерживается Р.Ш. Насибуллин, считая, что полозья напоминают волочащуюся кишку. Такая ассоциация с кишками древним предкам коми и удмуртов дала повод эту деталь саней называть словом *сюл* ‘кишка’ (Насибуллин 2007: 26). В говорах русского языка лексема *кишка* может выступать в следующих значениях: 1. извилина, излучина реки; 2. глубокая длинная канава; 3. узкое длинное возвышение среди болот; 4. малая укладка снопов; 5. поленница дров (СРНГ 1977: 250). В удмуртском языке лексема *сюл* имеет следующие значения: 1. полоз (саней); 2. кишка; 3. валки (сена); ряд (сжатого хлеба, скошенной травы) (УРС: 627); используется в качестве составляющего компонента словосочетаний *сюл кыскыны* ‘волочить’, *сюл кыстйськыны* ‘волочиться’, *сюл-кал кыскыны (кыскаса поттыны)* ‘тащить волоком, волочить’, *сюл-кал мыныны* ‘следовать неотступно за кем-л.’. Можно предположить, что семантика слова *сюл* могла развиваться следующим образом: *сюл* ‘кишка’ → *сюл кадь кыстйськыны* ‘тянуться как кишка’ → *сюл кыстйськыны* ‘волочиться’ → полоз (волочащаяся по снегу часть саней) или *сюл* ‘кишка’ → что-то узкое, длинное, тянущееся → (след полозьев) → полоз.

Названия многих деталей саней представляют собой метафорические наименования по схожести с частями тела человека (животных): например, удм. *дӱдды ныр* (УРС: 188), к. *додь ныр* (КРК: 190) ‘передок (саней)’ (букв. ‘нос саней’); удм. *дӱдды пыд* диал., к. *додь под* (КРК: 190) ‘копыл (саней)’ (букв. ‘нога саней’); удм. *дӱдды пинь* ‘копыл (саней)’ (УРС: 188) (букв. ‘зуб саней’); удм. *дӱдды бурд* ‘отвод (саней)’ (УРС: 188) (букв. ‘крыло саней’); кп. *додь бӱж* ‘задок (саней)’ (КПРС: 124) (букв. ‘хвост саней’).

К одним из наиболее древних заимствований относятся лексемы индоиранского происхождения: удм. *вайыж* (УРС: 99), к. *вож* (КРК: 109) ‘оглобля’ < общеп. **wqǝ*, сопоставляют с мордЭ. *ažija*, мордМ. *ažje* ‘дышло, оглобля’. К. > хант. *иӥ* ‘дышло’. < фп. **ajša* ‘дышло’ < праии. **aiša-*, ср.: авес. *aēša* ‘плуг’. Можно предположить, что в пермских языках произошло звуковое изменение **jš* > **jž* > удм. *již*, к. *ž*. (UEW 1988: 605). В «Кратком этимологическом словаре коми языка» указывается, что удм. *вайыж*, вероятно, образовалось по контаминации из *vaj* ‘развила, ветка’ и *waž* ‘оглобля’; волокуши делались из целого дерева, в которых оглоблями служили толстые ответвления (развилки) дерева (КЭСК 1999: 60).

Вышеприведенные слова можно сопоставить со словами прибалтийско-финских языков (ф. *aisa*, эст. *ais* ‘оглобля’), но только в том случае, если предположить, что в данных словах произошло незакономерное изменение согласных внутри слова. В прибалтийско-финских языках традиционно происходит звукопереход **š* > *h* (Häkkinen 2002: 39), следовательно от праформы **ajša* должно было развиться слово *aiha*. По этой причине, предполагают, что слова прибалтийско-финских языков были заимствованы из какого-нибудь другого индо-европейского языка, предположительно из балтского языка (SSA 1992: 59–60; NES 2005: 34).

Лексема *дӱдды* ‘сани’ с уточняющими словами обозначает различные виды гужевых транспортных средств. В пермских языках обнаруживаются однообразные наименования: например, удм. *пу дӱдды*, к. *пу додь* (КРК: 190) ‘дровни’ (букв. ‘деревянные сани’); *куродӱдды* ‘розвальни для возки соломы’

(УРС: 357), к. *корадодь* 'легкие пошевни (сани с коробом или корзиной, с двумя сиденьями, обитые лубом или листовым железом)' (КРК: 291) (букв. 'сани из луба'). Трудно определить, являются ли однообразные наименования пермским наследием или они возникли вследствие самостоятельного развития пермских языков на базе лексики общепермского происхождения. В удмуртском языке существует много наименований описательного характера. Определительный компонент часто указывает на своеобразии внешнего вида саней: *бурдоддды* 'розвальни' (УРС: 83) (букв. 'крылатые сани'), на материал изготовления: *кабддды* 'кошевка' (УРС: 271) (букв. 'рогожные сани'), *ньорддды* диал. 'кошевка' (УРС: 476) (букв. 'прутяные сани').

В наименованиях гужевых средств передвижения выделяются слова, заимствованные из русского языка: удм. *кошовка* (УРС: 326), к. *көшйөва* (РКС: 366) 'кошевка', к. *рөзваль* 'розвальни' (КРК: 567). В ряде случаев для обозначения отдельных видов транспортных средств к стержневому слову в качестве определения добавляются заимствованные слова: удм. *кошовка ддды* 'кошевка' (УРС: 326), к. *рөзваль додь* 'розвальни' (КРК: 567), к. *болкъя додь* 'возок с верхом, крытая повозка' (КРК: 50) (< рус. *болок* 'дорожные сани с верхом').

Колесные транспортные средства появились сравнительно позднее. В значении «телега» в удмуртском языке выступает лексема *уробо* (УРС: 700), заимствованная из болгарского языка (ср.: чув. *урапа* ~ *орапа* 'телега; колесо' < араб. Из болгарского источника также мар. *орва*, *орава* 'телега' (Тараканов 1993: 135; Федотов 1996: 284)). В удмуртском языке наименование колеса *питран* ~ *питыран* (УРС: 529) является производным от глаг. *питыраны* 'катиться'. Основа *питыр-* является болгарским заимствованием (ср.: чув. *пётёр* 'крутить, вить, завивать' (Тараканов 1993: 107)). По происхождению является болгарским заимствованием и лексема, обозначающая ось телеги *дйнгыли* ~ *тйнгыли* (УРС: 184, 642) (ср.: чув. *тёнёл* 'тж.' Др.-чув. **tingil* > венг. *tengely* 'ось' (Тараканов 1993: 53, 126; Федотов 1996: 216–217)). В наименованиях деталей телег выделяются слова, заимствованные из татарского языка: например, *кечер* 'ось (телеги)' (УРС: 297) < тат. *кУчкр* 'тж.' (Тараканов 1993: 85), *киндык* диал. 'шкворень (телеги)' (УРС: 302) < тат. *кендек* 'тж.' (Тараканов 1993: 82).

Распространение телег у коми связано с русским влиянием. Об этом свидетельствуют и термины для обозначения телеги и ее отдельных деталей, заимствованные из русского языка: например, к. *телега* (КРК: 638) (< рус. *телега*), *тарантас* (КРК: 636) (< рус. *тарантас*), *көльёса*, *көлеса* (РКС: 346) (< рус. *колесо*), *болт* 'шкворень телеги' (КРК: 50) (< рус. *болт*), *трубича* 'ступица колеса' (КРК: 658) (< рус. *трубица*).

«Для развития сухопутного колесного транспорта большое значение имело изобретение колеса. Оно зародилось от кругляков, подкладываемых под тяжести, передвигаемые волоком. Вначале колеса не отделялись от оси, а вращались вместе с ней и имели форму диска. Колеса, вращающиеся на неподвижной оси, вошли в употребление значительно позже» (Муратов 1972: 346).

Как уже указывалось выше, в коми языке наименования колеса представлены русскими заимствованиями, в удмуртском языке основа наименования является болгарским заимствованием. Для обозначения колеса пермскими народами также созданы слова на базе собственно удмуртской и коми лексики. Колеса в

большинстве случаев именуется словами, обозначающими предметы круглой конфигурации и поэтому при необходимости способные производить кругообразное вращательное движение. Например, удм. *поглян* ~ *погылян* 'колесо' (УРС: 532, 533) образовано при помощи суффикса *-ан(-ян)* от глаг. *погыляны* 'катиться, скатиться, покатиться'. В основе данных лексем лежит удмуртское слово *пог* 'ком, комок; колобок'. В коми-зырянском языке *гӧгыль* 'колесо' (КРК: 152), основа данной лексемы *гӧг-* встречается также в коми словах *гӧгӧр* 'кругом, вокруг, около (чего-либо)', *гӧгрӧс* 'круглый', *гӧгыльтны* 'катить, скатить, покатить'. Авторы КЭСК предполагают, что возможно данные слова являются производными от *гӧг* 'пуп', который является центром «круга» (т. е. живота) (КЭСК 1999: 80). В северном наречии коми-пермяцкого языка лексема *гӧгыль* используется в значении 'круг' (КПРС: 105). Предполагаем, что данное значение более архаичное.

Географические условия коми края не способствовали широкому распространению в этом регионе колесного транспорта. Двухколесные телеги *кык гӧгыля телега* (КРК: 638) (букв. 'телега с двумя колесами') были преобладающим типом колесных средств передвижения. По количеству колес дано наименование и тарантасу *нӧль гӧгыля телега* (КРК: 638) (букв. 'телега с четырьмя колесами').

В удмуртском языке существует много наименований колесных средств передвижения, образованных на базе удмуртской лексики. Один и тот же вид телег может иметь несколько обозначений. Это связано с тем, что в основу номинации могут быть положены различные мотивирующие признаки. Некоторые наименования связаны с функциональным назначением (*ворттылон уробо* 'дрожки; тарантас; выездная телега' (УРС: 700), букв. 'телега для езды'), другие – с конструктивными особенностями (*бекыроуробо* 'двуколка' (УРС: 63), букв. 'наклонная, накрененная телега', *мыркуробо* 'двуколка' (УРС: 452), букв. 'тупая телега'), часть обозначений указывает на величину транспортного средства (*кузь уробо* 'дроги' (УРС: 700), букв. 'длинная телега'), на материал изготовления (*кортуробо* 'тарантас' (УРС: 321), букв. 'железная телега').

Как видно из вышеприведенных примеров, в удмуртском языке при обозначении различных видов гужевых транспортных средств в качестве определяемого компонента как правило выступают лексемы, обозначающие телегу или сани. Однако в ряде случаев в сложных образованиях компонент *уробо* 'телега' или *дӧды* 'сани' утрачивается. Семантика определительного компонента расширяется: например, *корт кечер* '1. железная ось 2. тарантас', *корт сюлмос* '1. железная ось 2. тарантас', *лап бурд* диал. '1. низкий отвод 2. розвальни с низкими отводами', *бекырес* '1. наклонный, накрененный 2. двуколка'.

Удмурты восприняли от русских более совершенные формы колесного транспорта. Этот процесс сопровождался проникновением и утверждением в удмуртском языке некоторых русских терминов: например, для обозначения объекта 'двухколесная телега с опрокидывающимся ящиком – кузовом для перевозки земли, навоза и др.' в диалектах удмуртского языка используются следующие лексемы: *бэстарка* (< рус. *бестарка* 'длинный ящик для перевозки зерна, устанавливаемый на дрогах' (СРГСУ: 44)), *калама-шка* (< рус. *колымажка* – легкая телега (двуколка или одноколка) с опрокидывающимся ящиком –

кузовом для перевозки земли, песка, соли и т. п. (СРНГ Вып. 14. 1978: 208)), *кол'ово-зка* (< рус. *коловозка*), *тарата-йка* (< рус. *таратайка* – легкая, обычно двухколесная телега (ССРЛЯ Т. 15. 1963: 119)); для обозначения объекта 'двухколесная телега с резиновыми колесами' употребляется слово *кача-лка* (< рус. *качалка* – беговой двухколесный экипаж (ССРЛЯ Т. 5. 1956: 886)); *площатка* 'рабочая телега с плоским кузовом' (< рус. *площадка* – телега без бортов для перевозки сена, снопов и т. д. (СРНГ Вып. 27. 1992: 161)). С усовершенствованием колесного транспорта в удмуртский язык вошли наименования деталей телег русского происхождения: например, *тяги*, которые натягиваются с концов оглоблей к концам передних осей, появились довольно поздно, в удмуртском языке наименование этой детали телеги *маж* (УРС: 745) восходит к рус. *тяж*; вместе с возникновением новых реалий появились и следующие лексемы: *грэб'онка* < рус. *гребенка* – зубчатая железная пластинка на оглобле, служащая для крепления и натягивания тяжа (СРНГ Вып. 7. 1972: 121), *подрэз* < рус. *подрез* 'железные полосы, прибываемые к нижней поверхности санных полозьев' (ССРЛЯ Т. 10. 1960: 560), *подмог* < рус. *подмог* 'крепление в виде железного крючка, соединяющее брус повозки с осью (с подушкой)' (СРНГ Вып. 28. 1994: 81), *га-йка* 'гайка тележной оси' < рус. *гайка* и т. д.

Северные коми (ижемцы) восприняли от ненцев и оленный транспорт. Наименования некоторых видов нарт и их отдельных деталей представляют собой заимствования из ненецкого языка, например, *утича* 'нарта для перевозки шестов, стоек чума' (КРК: 692), *сябуча* 'нарта для перевозки досок, служащих в чуме полом и для настила под постель' (КРК: 632), *нин* диал. 'боковая жердь у нарты (верхняя связка)' [(КЭСК: 191).

В зависимости от специализации коми-ижемцы изготавливали до 15 видов различных нарт. Выделялись ездовые (*дадь*) и грузовые (*додь*) нарты (НПИП 2000: 115). Лексема *дадь*, по-видимому, одного происхождения с *додь* (КЭСК 1999: 87). Для обозначения некоторых видов нарт к вышеприведенным лексемам в качестве определительного компонента добавляются коми слова, указывающие на лиц, для которых предназначен данный вид транспорта: *мужик дадь* 'мужские нарты', *баба дадь* 'женские нарты' (НПИП: 115); указывающие на время года, когда использовался данный вид нарт: *гожсеё дадь* 'летние нарты', *тёлоо дадь* 'зимние нарты' (НПИП: 115); указывающие на наличие каких-либо дополнительных деталей, характеризующих данный вид транспорта: *ящик дадь* 'нарты с ящиком для перевозки продуктов' (НПИП 2000: 115) (букв. 'ящик сани'), *кантука додь* 'нарта для перевозки бочек с рыбой, мясом и другой провизией, в которых на поперечины ставили дополнительные брусья с углублениями по форме бочек' [(НПИП 2000: 115) (*кантук* 'кадка, кадушка', -а – суффикс обладания, букв. 'нарта с кадкой').

По словам этнографов, в бассейне р. Усы у коми было известно и упряжное собаководство. Применялись собачьи упряжки и у коми населения верхней Печоры Специальные собачьи нарты – грузовые и ездовые – близки к оленьему транспорту (ТКНК 1994: 104).

Таким образом, анализ слов и словосочетаний показывает, что основная часть наименований полозовых гужевых транспортных средств в удмуртском и коми языках имеют исконно пермское происхождение. Практически без изменения

значения сохранились в этих языках рефлексы общепермских слов, таких как **nort* ‘сани, нарты’, **wqʒ* ‘оглобля’. Представляется, что наличие этих терминов позволяет согласиться с гипотезой В.В. Напольских об использовании на финно-пермском уровне (рубеж III–II тыс. до н. э. – вторая половина II тыс. до н. э.) гужевого транспорта и скота для пахоты (Напольских 2007]). Это предположение позволяет сделать вывод об исконном характере упряжного коневодства у пермских народов, истоки которого уходят в III–II тыс. до н. э. Возможно, оно формировалось под влиянием контактов с какими-то из индоиранских племен. Большинство других терминов образованы с помощью сложения рефлексов общепермских слов уже в эпоху отдельного существования пермских языков. Колесный гужевой транспорт зародился уже после распада пермской языковой общности. У удмуртов этому способствовали связи с соседями – тюркскими и русским – народами, у коми – с русскими.

Условные сокращения

авес. – авестийский язык; араб. – арабский язык; букв. – буквально; венг. – венгерский язык; диал. – диалектное слово; др.-тюрк. – древне-тюркский язык-основа; др.-чув. – древне-чувашский язык-основа; к. – коми язык; кп. – коми-пермяцкий язык; лит. – литературный язык; манс. – мансийский язык; мар. – марийский язык; морд. – мордовский язык; мордМ. – мокша-мордовский язык; мордЭ. – эрзя-мордовский язык; общеп. – общепермский язык-основа; праии. – праиндоиранский; рус. – русский язык; ср. – сравните; тат. – татарский язык; тж. – то же; удм. – удмуртский язык; ур. – уральский язык-основа; ф. – финский язык; фп. – финно-пермский язык-основа; хант. – хантыйский язык; чув. – чувашский язык; эст. – эстонский язык.

Список использованной литературы

- Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. Москва, Новосибирск: Наука, 2000. 768 с.
- КПРС – Коми-пермяцко-русский словарь: Ок. 27 000 слов / Р.М. Баталова, А.С. Кривошекова-Гантман. М.: Русский язык, 1985. 624 с.
- КРК – Безносикова Л.М., Айбабина Е.А., Коснырева Р.И. Коми-роч кывчукър: 31 000 кымын кыв / Россияса наукаяс Академиялэн Урал юкнса Коми наука шкринлэн Кыв, литература да история институт; Л.М. Безносикова редакция улын. Сыктывкар: Коми небкг лэдзанін, 2000. 816 л. б.
- КЭСК – Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка / Под. ред. В.И. Лыткина. Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1999. 431 с.
- Муратов С.Н. Некоторые наименования сухопутных средств передвижения и их деталей в алтайских языках // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков / Институт языкознания АН СССР. Л.: Наука, 1972. С. 337–353.

- Напольских В.В. К реконструкции лингвистической карты центра европейской России // Арт 2007. № 4.
- Насибуллин Р.Ш. Удмуртские названия тележного колеса // Наука Удмуртии. 2007. № 5 (18). С. 24–33.
- НПИП – Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. М.: Наука, 2000. 579 с.
- РКС – Безносилова Л.М., Забоева Н.К., Коснырева Р.И. Русско-коми словарь: Более 52 000 слов / Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН; под ред. Л. М. Безносиловой. Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 2003. 1104 с.
- СРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала / Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. Т. I. Свердловск: Средне-Уральское Книжное изд-во, 1964.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1–41. 1965–2007.
- ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. Москва–Ленинград, 1948–1965.
- Тараканов И.В. Иноязычная лексика в современном удмуртском языке: Учебное пособие / Удм. гос. ун-т. Ижевск, 1981. 105 с.
- Тараканов И.В. Удмуртско-тюркские языковые взаимосвязи. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1993. 172 с.
- ТКНК – Традиционная культура народа коми: Этнографические очерки. Сыктывкар: Коми книжн. изд-во, 1994. 272 с.
- Туркин А. Коми-ненецкие языковые контакты // СФУ, XXI. Таллин, 1985. С. 190–203.
- УРС – Удмуртско-русский словарь: Ок. 50 000 слов / РАН. УрО. Удм. ин-т ИЯЛ; Отв. ред. Л.Е. Кириллова. Ижевск, 2008. 925 с.
- Федотов М.Р. Этимологический словарь чувашского языка. В 2-х тт. Т. 2. С–Я. Чебоксары: Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 1996. 509 с.
- Csúcs S. Die tatarischen Lehnwörter des Wotjakischen. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. 306 S. (Bibliotheca Uralica: 10).
- Häkkinen K. Suomen kielen historia 1. Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen historiallista taustaa. Turku, 2002. 122 s.
- NES – Häkkinen K. Nykysuomen etymologinen sanakirja. Juva, 2005. 1633 s.
- SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1. A–K. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992. 486 s.
- UEW – Rédei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Uralische und finnisch-ugrische Schicht. Wiesbaden: Harrassowitz, 1988. XLVIII + 593 S.

Susanna Virtanen
Helsinki

DIRECT OBJECT MARKING IN EASTERN MANSI

Introduction

In this paper, I will outline the effect of direct object marking in the Middle-Konda dialect, which belongs to the Eastern dialects of Mansi. The main topics of my paper are:

1. Referential factors of the direct object marking
2. The function of verb agreement
3. The function of case marking
4. Other marking categories

From a typological point of view, Mansi represents the *Case + agreement* type of morphosyntactic coding, which means that both verb agreement and case marking exist. Mansi also belongs to the languages with Differential Object Marking (DOM); only some of the direct objects in Mansi are explicitly marked. Other typical features for Mansi object marking are the high frequency of dative shift and the very active nature of passive inflection.

The effect of transitivity in Eastern Mansi consists of the following three parts that interact closely:

1. Direct object marking: verb agreement, case marking
2. Variation of ditransitive constructions: oblique construction vs. dative shift
3. Active versus passive.

This paper will concentrate on direct object marking only. Four morphological devices are used for marking the direct object: the objective conjugation of verbs, the accusative case, the possessive suffixes and the possessive accusative. In the Eastern dialects, the whole system of object marking is slightly more complicated than in the Northern ones¹⁵ due to the existence of the accusative case. In the Northern dialects, the accusative appears only with personal pronouns.

Previous studies

Direct object marking in Mansi has been mentioned and briefly discussed in various studies during the last decades, but no comprehensive study has been conducted on this subject. For example, Ahlqvist (1894), Kálmán (1989), Rombandeeva (1973), Balandin – Vahrusheva (1989), Kulonen (1989, 2007), Nikolaeva (1999) and Skribnik (2001) at least mention the devices used for marking the direct objects in Mansi, and discuss the way they are marked. The older studies state that the main referential factor is definiteness, while the newer studies talk about topicality.

¹⁵The written standard in Mansi is based on the Northern dialects.

Referential factors of direct object marking

The theoretical basis of my study is Differential Object Marking (DOM),¹⁶ which is applied to those languages that mark some direct objects but not others. According to Aissen, one main function of the object marking is to make a difference between the subject and object; and that is why markedness is based on the two factors of animacy and definiteness.

However, according to previous studies and my own research data, these referential factors cannot be applied to Mansi. My data show that inanimate, animate and human direct objects are marked equally (see the examples later on). As Skribnik has already demonstrated concerning Northern Mansi (Skribnik 2001), the Eastern Mansi direct object marking is also based on topicality.

By the notion of topicality, I refer to the distinction between old and new information. The topic is the already known, old information in the output. Focus refers to the new information that has not been mentioned yet. It is quite natural that sentences contain more than one topical element and we can therefore talk about primary and secondary topics. In Mansi, the primary topic usually occupies the place of the subject, and a topical direct object represents the secondary topic.

In Eastern Mansi, the primary way to mark the direct object is by verb agreement. Focal objects are not marked. However, topical objects are verb marked, and verb agreement can be complemented by case marking or possessive marking.

Marking of focal objects

The following examples contain unmarked focal objects. The predicate verbs are inflected in subjective conjugation, and the nominal object constituents are in the nominative case. The key in (1) is mentioned for the very first time in the text. The discussion in (2) is about women in general: the person does not see any woman at all, so the object is not specified at all.

(1)

Inanimate patient:

jiiw-oosymøsy kom öälmønt -i.
wood-key man carry -3SG
'The man carries a wooden key.'

(2)

Animate patient:

nee öät uusyøntöäl -i.
woman NEG see -3SG
'He does not see any woman.'

Marking topical objects

As mentioned earlier, topical objects can be either only verb marked or double marked. Double marking means that the verb agreement is complemented by noun marking.

The construction with verb marking alone is referred to as zero anaphora, and it appears with highly topical direct objects: whenever a direct object is already known

¹⁶Bossong 1968, Aissen 2001.

and it can be recognized in context, a verb ending alone is sufficient for expressing it. Examples (3) and (4) have direct objects that are expressed by zero anaphora:

(3)

Inanimate patient:

towøł-wojøł jål- pøšøwl -øš -tø.

then PREF- blow -PRET -SG<3SG

‘Then he blew it (i.e. the fire) out.’

(4)

Animate patient:

juw- tåt -ølään!

PREF- bring-IMP.SG<2PL

‘Bring (him) in!’

The direct objects in (5) and (6) are topical, as are those in (3) and (4), but those in (5) and (6) are double marked: in addition to the verb agreement, both examples also include an accusative-inflected nominal object constituent. In (5), the wood has already been under discussion, but it needs to be specified to avoid confusion.

(5)

Inanimate patient:

jiiw -ty -mø sok juw- tåtø -s -te.

wood-PL-ACC all PREF- bring-PRET-SG<3SG

‘He brought all the wood home.’

The function of the accusative marking in (6) is rather one of emphasis: the bear has all the time been at the centre of the discussion, but as a sacred animal, it must still be emphasized:

(6)

Animate patient:

öänsyøx^o -mø päätt -øš -tø.

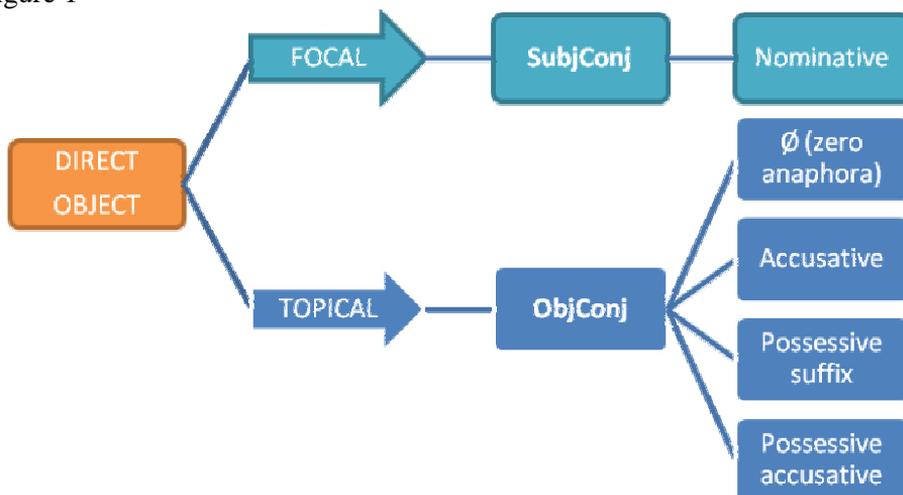
bear -ACC shoot-PRET-SG<3SG

‘He shot the bear.’

A possessed direct object is marked with a possessive suffix instead of an accusative case. The third-person possessors also occur with the so-called possessive accusative, which is a kind of combination of an accusative case and a possessive suffix. Possessive accusative endings are used in the same way as the absolute accusative case ending.

According to the data presented thus far, the following constraints are proposed:

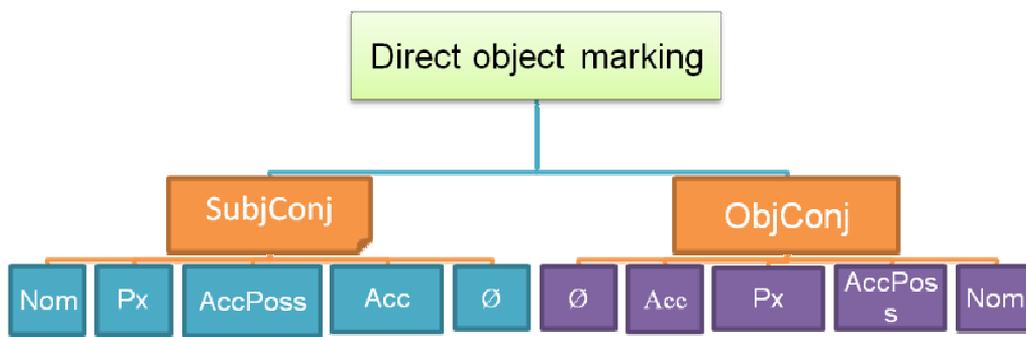
Figure 1



Exceptions

However, my data show that the situation is more complicated. Figure (2) shows all the combinations found in my data.

Figure 2



Several rather interesting combinations stand in direct contrast to the basic assumption presented earlier. For example, how can we explain the accusative or possessive marked nominal object constituents accompanied by subjective conjugation, or the nominative forms accompanied by objective conjugation? In my data, even zero anaphora occurs with subjective conjugation. In the following, I will provide explanations for some of the exceptional devices.

Contrastive topic

One rather infrequent but very interesting phenomenon is the appearance of the accusative case together with subjective conjugation, as in (7):

- (7)
näärsons -i, sågrøp -mø sons -i.
what look -3SG axe -ACC look -3SG
'Wherever he looks, he sees the axe.'

Here the direct object seems to be topical, but why then is it not verb marked? In this type of sentence, the direct object represents a *contrastive topic*: it is topical, but it identifies one target selected from several given possibilities.

The function of possessive marking

Previous studies stated that possessive marking always triggers objective conjugation. Despite these earlier claims, according to my data, it seems quite clear that the possessive suffix does not demand objective conjugation. Examples (8) and (9) contain possessive marked nouns accompanied by subjective conjugation:

- (8)
ton k°än -pöäl -nø seemøl-nyoxøš, såjrøng-nyoxøš
DEM up.side -LAT black-sable white-sable
jälp -øng toågl -äät nok -posyg -øš.
sacred -ADJ cloth -POSS.SG3SG PREF- pull -PRET3SG
'Upon that he put on his sacred costume of black sable, of white sable.'

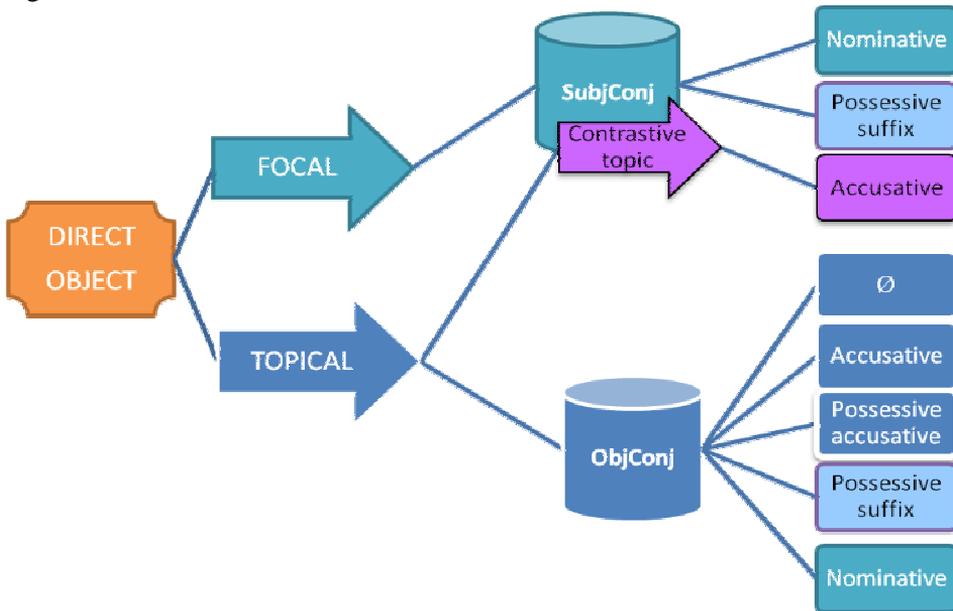
- (9)
soolyøsy-toågl -äät k°ås køsm -øš...
stoat -costume -POSS.SG3SG although start.searching-PRET3SG
'Even though he starts searching for his stoat leather costume ...'

This is maybe one of the most important of my findings thus far. Why should we assume that a possessive suffix automatically triggers objective conjugation? From the point of view of topicality, it is natural that focal objects can appear with possessive suffixes: if a possessed direct object is mentioned for the first time, it includes a possessive suffix but is not topical. Therefore, this seems even clearer: an object with a possessive suffix can naturally also appear as a focus.

Conclusions

In Eastern Mansi, direct object marking is based on topicality. Figure 3 presents the whole picture, although some questions remain.

Figure 3



The basic assumption is that focal objects are expressed with subjective conjugation and the nominative, while the primary device for marking topical objects is verb agreement, which can be complemented by noun marking. Should a direct object need to be specified or emphasized, verb agreement is complemented by the accusative case marking or a possessive suffix. Possessive marked nominal object constituents can also be accompanied by subjective conjugation when the possessive marked direct object is focal. Furthermore, the accusative case can be accompanied by subjective conjugation when the direct object represents a contrastive topic.

References

- Ahlqvist, August 1894. *Wogulische Sprachtexte nebst Entwurf einer wogulischen Grammatik aus dem Nachlasse des Verfassers*. Herausgegeben von Yrjö Wichmann. Helsinki: SKS.
- Aissen, Judith 2003. *Differential Object Marking: Iconicity vs. Economy*. *Natural Languages & Linguistic Theory* 21, 435–483.
- Bossong, Georg 1985. *Differentielle Objektmarkierung in den neuiranischen Sprachen*. Empirische Universalienforschung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Kálmán, Béla 1976: *Chrestomathia Vogulica*. Második, átdolgozott kiadás. Budapest.
- Kannisto, Artturi 1951–1963: *Wogulische Volksdichtung I–IV*. Bearbeitet und hrsg. von Matti Liimola. MSFOu 101, 109, 111, 114, 116, 134. Helsinki.
- Kulonen, Ulla-Maija 1989: *The passive in Ob-Ugrian*. MSFOu 203. Helsinki.
- Kulonen, Ulla-Maija 2007: *Itämansin kielioppi ja tekstejä*. Suomalais-Ugrilainen Seura. Helsinki.

- Munkácsy, Bernát – Kálmán Béla 1986: *Wogulisches Wörterbuch*. Akadémiai Kiadó. Budapest.
- Murphy, Lawrence Walter 1968: *Sosva Vogul Grammar*. Indiana University. Unpublished Ph.D. Dissertation.
- Nikolaeva, Irina 1999. *Object agreement, grammatical relations, and information structure*. *Studies in Language* 23: 341–86.
- Skribnik, Elena 2001: *Pragmatic structuring in Northern Mansi*. Т. (Hg.): *Congressus Nonus Internationalis Fenno-ugristarum. 2. Pars VI. Dissertationes sectionum: Linguistica III*. Tartu. P. 222–239.
- Баландин, А.Н. – Вахрушева, М.П. 1957. *Мансийский язык: Учебное пособие для педучилищ*. Ленинград.
- Ромбандеева Е.И. 1973: *Мансийский (вогульский) язык*. Москва: Наука.

Mika Waseda
Nagoya

THE HUNGARIAN VERBAL PREFIX *KI* AND THE ‘FAKE’ REFLEXIVE PRONOUN – A COGNITIVE APPROACH TO THE HUNGARIAN VERBAL PREFIXES

1. Introduction

The Hungarian grammatical category called *igekötő* ‘verbal prefix’ or ‘verbal particle’ involves many difficulties. Linguistically it can be hardly defined, syntactically and semantically it is quite difficult to describe properly. Thus, it is no wonder that the learners of the Hungarian language find the verbal prefixes one of the most difficult categories to acquire. For example, the following sentence puzzles the Japanese learners.

- (1) *Ki-pihentem magam.*
out-rested myself.ACC
‘I had a rest and recovered my strength.’

First, in (1) why the verbal prefix *ki* ‘out’ appears with the verb *pihen* ‘rest’? What is the meaning of the verbal prefix *ki*? Secondly, why the prefixed verb *ki-pihen* ‘out-rest’ becomes transitive and requires the pseudo-object or fake object, that is, the reflexive pronoun *magam* ‘myself’? The first question concerns semantics, the polysemous nature of verbal prefixes. The second one concerns syntax, as in some cases a verbal prefix causes the case alternation between locative case and accusative case.

The purpose of my paper is to find out some semantic explanation for these questions with which the adult learners of the Hungarian language encounter, applying the framework of cognitive linguistics.

2. Semantics of the verbal prefix *ki*

First, let us examine the meaning and the function of the verbal prefix *ki*. Generally the verbal prefix *ki* describes ‘outward movement from a closed space’ shown in (2).

- (2) *Kati ki-ment a szobából.*
Kati out-went the room.FROM
‘Kate went out from the room.’

The central image schema of the verbal prefix *ki* could be as follows:

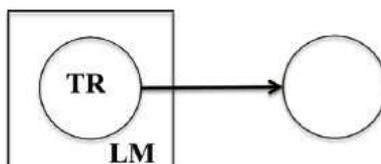


Figure 1. The image schema of the verbal prefix *ki*

In the image schema, the linguistic relations are defined in terms of trajector (TR) and landmark (LM). Following Langacker (1987), I will use the term ‘landmark’ to refer to the entity that is construed as the reference point, and ‘trajector’ to refer to the element that is located with respect to it. A trajector is an entity that becomes involved in a given action process or state (event), whereas a landmark is an entity that serves as point of reference for locating the trajector and the trajector moves along the ‘path’ that is shown by the arrow.

Figure 1 depicts that the trajector (TR) moves out from the landmark (LM). This central image schema of the space relation can be elaborated and extended into non-spatial abstract domains, in many cases by metaphors and metonymies, forming an interrelated semantic network.

I would like to argue that the following sentences with the verbal prefix *ki* could be explained as metaphorical extensions from the central image schema.

- (3)a. Kati ki-pihente magát.
Kati out-rested herself.ACC
‘Kati had a rest and recovered her strength.’
- b. Kati ki-aludta magát.
Kati out-slept herself.
‘Kati got enough sleep.’
- c. Kati ki-dolgozta magát.
Kati out-worked herself.ACC
‘Kati worked herself tired.’
- d. Kati ki-sírta magát.
Kati out-cried herself.ACC
‘Kati had a good cry.’

Sentences (3a) and (3b) mean that Kati had enough rest or sleep and she recovered her strength, and (3c) means that Kati worked so hard that she got completely tired. These constructions express that the agent (Kati) has attained a new state as a result of her own action expressed by the base verb, that is, to have a rest, to sleep, or to work respectively. The meaning of *ki* could be described as doing something ‘to a sufficient extent.’ According to Kiefer (2006) in these cases the verbal prefix *ki* expresses saturative aktionsart.

It is well known that metaphor is a fundamental property of the everyday use of language (Lakoff & Johnson 1980) and the polysemous structures of verbal prefixes and verbal particles in various languages, for example English, Dutch, Polish and Russian (Brugman 1981, Tyler & Evans 2003, Rudzka-Ostyn 1985, Janda 1988, Dewell 1994) are analyzed as metaphoric processes in the cognitive framework developed by Lakoff (1987) and Langacker (1987, 1991). Concerning the Hungarian verbal prefixes Szili (2003, 2005ab) describes the semantics of the Hungarian verbal prefixes *ki* and *be* in detail.

I would like to argue that in the above sentences conceptual metaphor is working, that is the notion of container. A human being is conceptualized as a container. Our

body is a container for emotions (Kövecses 2002). According to Lakoff and Johnson (1980: 50–51) physical and emotional states are entities within a person and vitality is a substance.

In sentences (3a–d), the body, that is, the container functions as a landmark (LM) and the physical or emotional states (tiredness, working energy, sadness or tears) function as a trajector (TR). For example, in (3a) tiredness goes out as a result of resting and in (3c) energy moves out of the body because of working so hard.⁴ Note that these verbs are all unergatives, they have an agent subject. The container is the body of the agent, that is, it is the body of the subject. Thus, it is logical that the landmark is expressed by reflexive pronoun.

This can be supported by (4), which means same as (3a), although *magából* ‘from herself’ is only assumed an element in the underlying sentence.

- (4) Kati ki-pihente (magából) a fáradalmakat.
 Kati out-rested (herself.FROM) the toil.ACC
 ‘Kati had a rest and recovered her strength.’

What these sentences describe is not process of moving out, but resultative state. The agent has attained a new state as a result of one’s own action. The verbal prefix *ki* marks a resultative state. According to É. Kiss (2006) resultative particles mark telic sentences that describe an inherently delimited change of state and denote the resultant state of the individual that has undergone the change.

This could be accounted for by end-point focusing, shifting the attention to the final stage of the process and highlighting the end-point of the process. The end-point location, that is, the completion of the process is foregrounded.

This is quite natural cognitive process, because there is a metonymic relationship between the path followed by a moving entity and any point located on the path, and the particularly salient point on the path is naturally the end-point, that is the completion, achievement or accomplishment of the event.

The final resulting state of the central image schema is focused upon and the path is backgrounded, as it is illustrated in Figure 2. The backgrounded elements are described by dotted lines. Compare with Figure 3, which illustrates the whole event of moving out.

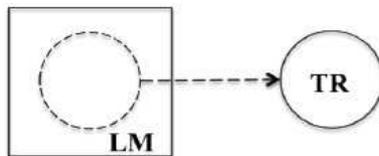


Figure 2. The image schema of the resultative state

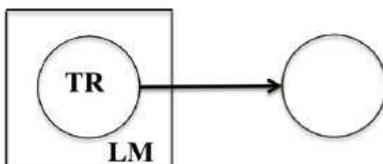


Figure 3. The image schema of the process of moving out

It is like the gestalt shift in the classic face-vase illusion (Figure 4) in which the figure and ground switches places according to how we perceive it.



Figure 4. Rubin's vase

I would like to claim that the perfectivizing function of the verbal prefix, for example that of *'meg'* has been derived through this end-point focusing process, through grammaticalization from the original directional meaning 'back' to the perfectivizing functional meaning.

We can construe one event in more than one way; a change in location in space could be metaphorically extended to a change in state. Movement through space is inherently also movement through time, and movement through time is conceptualized as changing state through time. Thus, a change in location is a change in state and the end-point of the changing process is the resultative state.

In sum, the meaning of (1) is explained by the metaphorical extension from the directional meaning of moving out. In this process the end-point is focused upon, and at the same time two conceptual metaphors are working. A change in location is a change in state and our body is a container. A state is conceived as a location in a space of possible states, and change is equated with moving from one location to another in that state-space. We conceptualize our body as a container and the tiredness goes out from the body, which is expressed by reflexive pronoun.

3. Argument structure and case alternation

Let us now consider the second question. It concerns the argument structure of verbs derived by prefixation.

If we omit either the pseudo-object or the verbal prefix *ki*, the sentences become ungrammatical:

- (5) a. *Kati ki-pihent.
Kati out-rested.
- b. *Kati pihente magát.
Kati rested herself.
- c. Kati ki-pihente magát.
Kati out-rested herself.ACC
'Kati had a rest and recovered her strength.'

I would like to argue that the verbal prefix *ki* requires a landmark, when it attaches to a verb, because its original central (prototypical) image schema needs a landmark. In (5c) the landmark is the body of Kati as we have discussed in the preceding part, thus, the sentence needs the reflexive pronoun ‘herself’.

The reason why the landmark (reflexive pronoun) takes accusative case could be accounted for by analyzing the following case alternation.

- (6) Kati ki-ment a szobából.
 Kati out-went the room.FROM
 ‘Kati went out from the room.’
- (7) a. Kati ki-pakolta a vagonból a szenet. (path/movement)
 Kati out-loaded the wagon.FROM the coal. ACC
 ‘Kati unloaded the coal from the wagon.’
- b. Kati ki-pakolta a vagon. (end-point/state)
 Kati out-loaded the wagon. ACC
 ‘Kati unloaded the wagon and the wagon is empty.’

The trajector plays the role of subject when the verb is intransitive (6), it plays the role of direct object when the verb is transitive (7a), and the landmark is marked by relative case in both sentences. It is natural that the trajector is played by either the subject or the direct object, because the trajector is the active moving part of the event, the most salient argument of the verb.

According to Langacker (2001) subjects and objects are nominal expressions that respectively elaborate the trajector and (if there is any) the landmark of a profiled relationship and they are the primary and secondary focal participants of the process (event) denoted by the predicate.

In (7a) the whole path is profiled describing the movement and in (7b) the end-point is focused on describing the state. (7a) describes the movement of the trajector ‘coal’ from the landmark ‘wagon’, (7b) describes that the landmark ‘wagon’ became empty after the coal was unloaded.

A verb specifying a movement of some contents could be reconstrued as specifying a change in the state of a container. When the end-point (the state of the landmark) is foregrounded as in (7b), it is promoted to become a direct object and takes the accusative case. The trajector disappears in the background, and the sentence describes the state of change.

This locative and accusative case alternation could also be accounted for from the cognitive perspective. That is the focus shift, in other words, foregrounding or figure/ground reversal, the figure being a perceptually prominent element against the ground which is less prominent background in the visual perception of human beings. In (7b) the ‘wagon’ is foregrounded and became a figure.

In (7a), we have the trajector (coal) as the direct object, because the event is construed as something being done to the ‘coal’. In (7b), we have the landmark (wagon) as the direct object, because the event is construed as something being done to the ‘wagon’.

Similarly (8b) construction is derived from (8a) by foregrounding the landmark, which is Kati's body. The landmark argument 'herself' is expressed as a direct object of the verb in (8b).

- (8) a. Kati ki-pihente (magából) a fátalakat.
 Kati out-rested (herself.FROM) the toil.ACC
 'Kati had a rest and recovered her strength.'
- b. Kati ki-pihente magát.
 Kati out-rested herself.ACC
 'Kati had a rest and recovered her strength.'

The focused or foregrounded element is marked by the accusative case, because it is construed as the affected entity, and affected entities that change state are expressed in syntax as direct objects. The affected entity as the direct object implies that something was done to the whole thing, not just part of it (the holism effect). In (7a), the wagon is entirely empty and in (8b), Kati has thoroughly recovered.

In sum, when the verbal prefix *ki* attaches to a base verb, the predicate requires a landmark, and when the landmark is focused, it is marked by the accusative case.

4. Generative approach

Csirmaz (2006) analyzes the same type of sentences in the generative framework. She argues that non-argument objects (fake reflexives and body parts) are required in certain Hungarian resultative constructions. With certain predicates the appearance of fake reflexives is obligatory in the presence of a resultative construction. The distribution of these constituents is constrained by an event structure restriction, which requires the presence of an argument for each sub-event, adopting the proposal of Rappaport Hovav and Levin (2001) who make the same claim for English reflexives.

Argument-per-sub-event condition: There must be at least one argument XP in the syntax per sub-event in the event structure.

If we apply the theory of Csirmaz, (8b) contains two sub-events: (i) Kati had enough rest, and (ii) as the consequence of resting, she recovered her strength. The existence of two sub-events requires the presence of an additional 'argument.' Since the same participant is found in both sub-events, the object, which represents the participant in the second sub-event, is realized as a reflexive pronoun. The reflexive object is required by the argument-per-sub-event condition.

É. Kiss (2005) argues for the hypothesis that the presence versus absence of the verbal particle in a sentence is determined by the structure of the event expressed. She asserts that the verbal particle expresses complex events and functions as a secondary predicate of the theme argument.

According to Csirmaz (2006) and É. Kiss (2005), sentences with verbal prefixes express complex events. This could be also explained by cognitive semantic perspective. The prototypical meaning of verbal prefixes is directional moving, then

moving from one place to another is one event and the resultative location after moving is another event.

According to É. Kiss (2006), an unergative verb can only be ‘telicized’, i.e. enable to express an inherently delimited change, if it is supplied with both a pseudo-object and a resultative element (e.g. a verbal prefix).

These rules that generate grammatical sentences are important and useful, but I believe that semantic explanation for linguistic phenomena is also helpful especially for adult learners of foreign languages.

5. Conclusions

In sum, the Hungarian verbal particle *ki* whose prototypical meaning is ‘out’ has an extended meaning of ‘doing something to a sufficient extent.’ It refers to the sufficient state resulting from the process specified by the base verb. This non-spatial meaning is derived by the focus shift, foregrounding the end-point of the process and extended by the conceptual metaphor ‘moving is changing’.

In the discussed sentences, the conceptual metaphor ‘our body is a container’ is working. The human body is a landmark from which a trajector moves out. As it is the body of the agent-subject (verbs are unergatives), it is expressed by reflexive pronoun. The reflexive pronoun is marked by accusative as a result of foregrounding the landmark.

In this paper, I have tried to show that meaning is dependent on human perceptions and cognition and linguistic expressions code a particular way of perceiving the relevant scene. Linguistic coding involves such factors as focus shift, foregrounding, backgrounding or figure/ground reversal. At the same time, various conceptual metaphors, metonymies and analogies also play important roles.

Notes

1. About semantics and syntax of Hungarian verbal prefixes see Horvath (1978), Beöthy & Altmann (1985), Ladányi (2000), Komlóssy (1992, 1994), Kiefer, Ferenc (1992), É. Kiss, Katalin (2002, 2005, 2006), Farkas, Donka & Henriëtte de Swart (2003), Koopman, Hilda & Anna Szabolcsi (2000), among others.

2. The verbal prefix plus base verb complex is spelled as one word. For expository purpose, I separate them by a hyphen.

3. The transitivization of verbs through prefixation has a parallel in the use of verb particles in English: the simplex verb *laugh*, for example, is intransitive, but can be transitivized by the addition of the particle *out*, as in *They laughed him out of the room*.

4. In certain idiomatic cases, the pseudo-object can be a body-part of the agent. The eye is a container for tears.

Kati ki-sírta a szemét.

Kati out-cried the her eye.ACC

‘Kati cried and got red eyes from weeping.’

5. Similar phenomena are observed in English and in Hungarian.

- (i) a. John sprayed water on the roses.
 b. John sprayed the roses with water.
- (ii) a. Kati vajat kent a kenyérre.
 Kati butter.ACC spread the bread.ON
 ‘Kati spread butter on the bread.’
- b. Kati megkente a kenyeret vajjal.
 Kati PERF-spread the bread.ACC butter.WITH
 ‘Kati spread the bread with butter.’

6. The appearance of a reflexive pronoun in English resultative constructions is explained by the argument-per-sub-event condition by Rappaport Hovav and Levin (2001).

- a. poor Sam... had coughed himself into a hemorrhage....
 b. *Poor Sam had coughed into a hemorrhage.

Abbreviations

ACC	accusative
PERF	perfective

References

- Beöthy, E. – Altmann, G. (1985) The Diversification of Meaning of Hungarian Verbal Prefixes I. *meg. Nyelvtudományi Közlemények* 87, 187–196.
- Brugman, Claudia (1988) *Story of OVER*. New York: Garland.
- Csirmaz, Anikó (2006) Accusative Case and Aspect. In Katain É. Kiss (ed.) *Event Structure and the Left Periphery*. Studies in Natural Language and Linguistic Theory. 159–200. Dordrecht: Springer.
- Dewell, Robert B. (1994) Over again: Image-schema transformations in semantic analysis. *Cognitive Linguistics* 5–4. 351–380.
- Farkas, Donka – Henriëtte de Swart (2003) *The semantics of incorporation*. Stanford: CSLI.
- Horvath, Julia (1978) Verbal prefixes: A non-category in Hungarian. *Glossa* 12.2. 137–162.
- Janda, Laura A. (1988) The Mapping of Elements of Cognitive Space onto Grammatical Relations: An Example from Russian Verbal Prefixation. In Brygida Rudzka-Ostyn (ed.) *Topics in Cognitive Linguistics*. 327–343. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Kiefer, Ferenc (1992) Aspect and conceptual structure: The progressive and the perfective in Hungarian. In Ilse Zimmermann and Anatoli Strigin (eds.) *Fügunspeztenzen. Studia Grammatica XXXIV*. 89–110. Berlin: Akademie-Verlag.

- Kiefer, Ferenc (1994a) Aktionsarten in Hungarian. *Revista Di Studi Ungheresi* 11. 45–54.
- Kiefer, Ferenc (1994b) Aspect and syntactic structure. In Ferenc Kiefer and Katalin É. Kiss (eds.) *The Syntactic Structure of Hungarian. Syntax and Semantics Vol. 27*. San Diego: Academic Press.
- Kiefer, Ferenc (2006) *Aspektus és akcióminőség*. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- Kiefer, Ferenc – Ladányi, Mária (2000) Az igekötők. In Kiefer Ferenc (ed.) *Strukturális magyar nyelvtan. 3. Morfológia*. 453–518. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- É. Kiss, Katalin (2002) *The syntax of Hungarian*. Cambridge: CUP.
- É. Kiss, Katalin (2005) First steps towards a theory of the verbal particle, Christopher Piñón and Péter Siptár eds. *Papers from the Düsseldorf Conference, Approaches to Hungarian 9*. 59–88. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- É. Kiss, Katalin (2004) Egy igekötőelmélet vázlatja. *Magyar Nyelv*. 100, 15–43.
- É. Kiss, Katalin (2006) The function and the syntax of the verbal particle, Katalin É. Kiss (ed.) *Event structure and the Left Periphery*. Studies in Natural Language and Linguistic Theory. Dordrecht: Springer.
- Komlóssy, András (1992) Régenek és vonzatok. In Ferenc Kiefer (ed.) *Strukturális magyar nyelvtan. Vol. 1. Mondattan*, 299–527. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- Komlóssy, András (1994) Complements and adjuncts. In Kiefer, Ferenc & É. Kiss, Katalin (eds) *The Syntactic Structure of Hungarian. Syntax and Semantics Vol. 27*. San Diego: Academic Press. 91–178.
- Koopman, Hilda – Szabolcsi, Anna (2000) Verbal complexes. MIT.
- Kövecses, Zoltán (2002) *Metaphor*. New York: Oxford University Press.
- Ladányi, Mária (2000) Productivity as a sign of category change. The case of Hungarian verbal prefixes. In Wolfgang U. Dressler et al. (eds.) *Morphological Analysis in Comparison*, 113–141. Amsterdam: John Benjamins.
- Lakoff, George (1987) *Woman, fire, and dangerous things*. Chicago, London: University of Chicago Press.
- Lakoff, George – Johnson, Mark (1980) *Metaphors We Live by*. Chicago: University of Chicago Press.
- Langacker, Ronald W. (1987) *Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1, Theoretical Prerequisites*. Stanford: Stanford University Press.
- Langacker, Ronald W. (1991) *Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 2, Descriptive Applications*. Stanford: Stanford University Press.
- Langacker, Ronald W. (2001) Topic, subject, and possessor. In: Simonsen, Hanne Gram-Endresen, Rolf Theil (eds.): *A cognitive approach to the verb. Morphological and constructional perspectives*. Berlin: Mouton de Gruyter. 11–48.
- Rappaport, Hovav M. – Levin, Beth (2001) An event structure account of English resultatives. *Language* 77. 766–797.
- Rudzka-Ostyn, Brygida (1985) Metaphorical process in word formation: The case of prefixed verbs. In Wolf Paprotté & René Dirven (eds.) *The Ubiquity of metaphor: Metaphor in language and thought*. Amsterdam: Benjamins. 209–241.
- Szili, Katalin (2001) A perfectivitás mibenlétéről a magyar nyelvben a meg igekötő funkciói kapcsán. *Magyar Nyelv*. 97. 262–282.
- Szili, Katalin (2003) A ki igekötő jelentésváltozásai. *Magyar Nyelv*. 99. 163–188.

- Szili, Katalin (2005a) A *be* igekötő jelentésváltozásai I. *Magyar Nyelvőr*. 129. 2. 151–164.
- Szili, Katalin (2005b) A *be* igekötő jelentésváltozásai II. *Magyar Nyelvőr*. 129. 3. 282–299.
- Tyler, Andrea – Evans, Vyvyan (2003) *The Semantics of English Prepositions*. Cambridge: Cambridge University Press.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ *ЛА/ЛӀ* ПОКАЗАТЕЛЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ?

В горномарийском (и в луговомарийском) языках широко встречается показатель *ла/лӀ*, который принято рассматривать в связи с так называемым сравнительным падежом, или компаративом, как, например, в случаях: *тирӀлӀ урмыжаши* «выть волком», *мӱскаӀлӀ ашкедӀаши* «шагать как медведь» и т.д. Но он также встречается и в других случаях, которые мы перечисляем ниже:

– в глагольных сочетаниях типа *лыдыла шижӀайи* «свистеть уткой», *ошыла каяши* «выглядеть белым», где *л*-овая конструкция выступает либо в качестве свободного определения глагола, либо в качестве обязательного управления;

– в деепричастных сочетаниях типа *выдыши валымыла ямаши* «исчезнуть, как в воду кануть», где *л*-овая конструкция выступает в качестве свободного определения основного глагола;

– в наречных сочетаниях типа, *тенгелӀ ышитӀаши* «делать так», где *л*-овая конструкция выступает в качестве обстоятельственного определения основного глагола;

– в инфинитивных сочетаниях: *школыши кемылӀ* «нужно бы идти в школу, где *л*-овая конструкция выступает в составе горномарийского инфинитива на *мыла/мылӀ*;

– в послеложных конструкциях, таких как например: *тыдын докыла* «к нему».

Здесь перечислены далеко не все случаи употребления показателя *ла/лӀ*. Как мы видим, *л*-овый показатель может примыкать к единицам, представляющим разные морфологические категории, включая и отглагольные образования. Возникает вопрос: является ли *ла/лӀ* исключительно показателем сравнительного падежа в марийском языке? С нашей точки зрения, нет. Нам представляется целесообразным объединить все вышеупомянутые примеры употребления *л*-ового показателя под одним общим названием: *л*-овые модальные конструкции. Можем ли мы условно обозначить данные конструкции как *СОМР*, то есть, компаратив? Данный термин, с нашей точки зрения, может вызвать некоторые разногласия в его понимании, так как им обозначается также и сравнительная степень имен прилагательных, компаратив. Поэтому нам представляется более целесообразным обозначить их как *МОД*, то есть, как модальные конструкции. Данные конструкции представляют большой интерес с точки зрения их исследования, так как ранее их дескриптивное описание не было представлено в научной литературе. Попробуем представить их синтаксическую классификацию в следующем виде:

1. Конструкции с показателем *ла/лӀ*, выступающие в функции обстоятельства перед основным глаголом.

1.1 Конструкция [VP[[{NP_{МОД}}{AP_{МОД}}{ParticipleP_{МОД}}}V]], в которой к основному глаголу примыкает независимое обстоятельство образа действия,

Ведь секретым цилӓн колмыла ак попен
 Ведь секрет-ACC все-GEN слышать-GER.MOD не говорить-NEG.PL
 'Ведь секретов при всех не рассказывают' (Беляев, 1994: 86).

3. Конструкция [VP[[AdvP_{MOD}]V]], где в качестве свободного обстоятельства выступает наречие:

Солам лӓктым, токынала ашкедӓм
 Деревня-ACC выходить-IMP.1SNG домой-POSS.2PL.-MOD шагать-PRES.1SNG
 'Я вышел из деревни, шагаю по направлению к нашему дому' (Игнатъев, 1995а: 51).

Мыры суасламарла, кырык марла, рушла
 Песня по-чувашски-MOD по-горномарийски-MOD по-русски-MOD
йонгалтын
 звучать-IMP.3SNG
 'Песня разнеслась по-чувашски, по-горномарийски, по-русски' (Жерӓ 2004, 8 июня, № 40: 3).

Вышеупомянутые конструкции можно схематично представить, как [VP[[MOD]V]]. Всех их объединяет то, что в данных словосочетаниях главным компонентом является глагол, перед которым выступают разного рода несогласованные определения, содержащие с *л*-овую модальную конструкцию. Подобное распределение составных компонентов схемы можно вполне логично объяснить порядком слов в марийском языке (SOV), где все определения предшествуют глаголу.

Кроме того, конструкции с показателем *ла/лӓ* выступают также в составе модального инфинитива долженствования на *мыла*. Обозначим их как [INF_{MOD}]:

Но рапсым веремӓшты нӓлмылӓ
 Но рапс-ACC вовремя нужно бы купить
 'Но рапс нужно бы купить вовремя' (Жерӓ 2004, 4. июня, № 38–39: 1).

А также в составе послелогов [PP[[NP]P_{MOD}]]:

Кым мыныге шергиндӓ ярелӓ качкын колта
 Три яйцо-COM пресная лепешка с-POSTP.MOD съедая отпускать-PRES.3SNG
 '(Он) съедает все три яйца вместе с пресной лепешкой' (Игнатъев, 1995а: 62).

Поп Савик докыла мий
 Поп Савик к-POSTP.MOD идти-PRES.3SNG
 'Поп идет к Савику' (Игнатъев, 1995б: 49).

Таким образом, мы представили краткое дескриптивное описание модальных конструкций, благодаря которому нам представляется возможным утверждать, что *л*-овый показатель обладает большим спектром синтаксических функций и предоставляет широкую область для дальнейших исследований.

Источники

- Беляев, 1994 – Беляев К.И. Нӧргы тум. – Йошкар-Ола: Мары книгӧ издательство.
- Грачева, 2001 – Грачева Ф.Т. Горномарийские пословицы, поговорки, загадки, приметы. Ред. Н.Ф. Молчанова, Н.И. Куторов. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет.
- Жерӧ, 2004 – Издания газеты «Жерӧ» 2004 года. Учредительвлӧ: Кырык мары районын администрацийжы, редакцин коллективжы. – Йошкар-Ола: «Мары Элын периодика».
- Игнатъев, 1995а – Игнатъев Н.В. Айырен нӧлмы произведенийвлӧ: Роман, повесть, лыдышвлӧ, шайыштмашвлӧ, пьесывлӧ, статьявлӧ / Н.С. Садыков поген / ред. Р.М. Апакаева. – Йошкар-Ола: Мары книгӧ издательство, 1995. – Т.1.
- Игнатъев, 1995б – Игнатъев Н.В. Айырен нӧлмы произведенийвлӧ: Романвлӧ, повесть, шайыштмашвлӧ, сатирический обозренийвлӧ, статьявлӧ / Н.С. Садыков поген / ред. Р.М. Апакаева – Йошкар-Ола: Мары книгӧ издательство, 1995. – Т.2.
- Майкова, 1998 – Майкова Л.Е. Айо. Шайыштмашвлӧ. – Йошкар-Ола: Мары книгӧ издательство.
- Петухов, 1984 – Петухов В.А. Шужвӱк йӱмы выд. – Йошкар-Ола: Мары книгӧ издательство.
- Пирогов, 1996 – Пирогов Г.М. Корны тырытыш ломбы // У сем. – Йошкар-Ола, 1996. N 1. – с. 56–86.
- Поствайкин, 1989 – Поствайкин Е.М. Тынным ыдыр выча. – Йошкар-Ола: Мары книгӧ издательство.

Symposium 1.

Evgenij Cyranov: The development and cultivation of literary languages in view of approaching globalisation / Развитие и культивация литературных языков в условиях надвигающейся глобализации

Жомбор Богдан
Будапешт

УДМУРТСКИЕ ПЕРЕВОДЫ БИБЛИИ И ЯЗЫКОВОЙ СТАНДАРТ

Для становления письменности и развития литературных языков история переводов Библии имеет большое значение. По мнению Борислава Араповича, Стефан Пермский, который перевёл Библию на коми язык, является первым русским человеком, создавшим перевод Библии не на свой родной язык. Можно утверждать, что начало переводов Библии на языки народов России тесно связано с финно-угорскими народами (Арапович 1999: 28).

Прежде всего возникает вопрос: что такое языковой стандарт? Ответить на этот вопрос трудно, но можно дать ему следующее определение: языковой стандарт является единой, нормализованной, автономной разновидностью языка, включающая в себя ее устную и письменную формы. Этот стандарт каждый день в разных ситуациях активно используется всеми носителями языка. Языковой стандарт укрепляется в конце процесса кодификации, нормализации и языкового планирования. В этом процессе важную роль выполняют те тексты и издания, которые носители языка употребляют часто в повседневной жизни, например именно библейские переводы могут иметь большое значение при таком прогрессе развития (Szathmári 2001: 8–9).

Известно, что удмуртский языковой стандарт представляет собой совмещение особенностей разных наречий.

В книге Бориса Ивановича Каракулова об истории удмуртского литературного языка предоставляется подробный список дореволюционных изданий на удмуртский язык, из которого выясняется, что больше всего переводы были выполнены в 19-ом веке. Первые переводы на удмуртский язык являются первыми печатными книгами на удмуртском языке, которые были доступны для относительно широких кругов носителей языка, а также для интересующихся удмуртским языком (Каракулов 2006: 118–200). Именно поэтому они играли значительную роль в формировании удмуртского языкового стандарта. В настоящее время переводы религиозной литературы могут стать главным ресурсом возникновения неологизмов.

По исследованиям Михаила Гавриловича Атаманова, христианизация удмуртского населения началась в 17-ом веке. В середине 18-ого века, в Казани было создано миссионерское общество, которое отвечало за крещение удмуртов в массовых масштабах. Христианизация порой имела насильственный характер, обещанные льготы для новокрещенных не предоставлялись. Многие противники новой веры переселились на территорию современной Республики Башкортостан или остались язычниками.

Обращение инородцев в православие усложнялось и тем, что богословские тексты и богослужение на церковнославянском языке были непонятны для народа. Позже, в начале 19-го века, было открыто Казанское отделение Библейского общества для переводов Священного писания на местные языки. В этом обществе были задействованы и носители удмуртского языка. В Библейском обществе были созданы первые переводы Евангелий на удмуртский язык (Атаманов 2002: 85–86).

С 1917-го года по 1990-ые годы перевод Библии и других текстов религиозного содержания на удмуртский язык, как и на другие финно-угорские языки России, не осуществлялся.

В наши дни работой по переводу Библии на удмуртский язык руководит Институт Перевода Библии. Этот институт был создан в Стокгольме в 1973-ем году. Долгое время данным институтом руководил Борислав Арапович, славист, доктор философских наук, поэт, член Шведского Союза писателей. С 1973-го по 1975-ый год этот институт переиздал имеющиеся дореволюционные переводы религиозной литературы на финно-угорских языках России. В 1980-ом году на Международном Конгрессе Финно-угроведов в Турку эти переиздания были представлены. В 1983-ем году был основан институт перевода Библии в городе Хельсинки, который и по сей день специализируется на осуществлении переводов Священного писания на финно-угорские языки России. Сейчас Институт имеет три центра: в Хельсинки, в Стокгольме и в Москве. С 1996-го года Институт Перевода Библии имеет возможность не только переводить, но и издавать переводные книги. Переводы осуществляются носителями языка, чаще всего богословами, лингвистами. Конечно, этот процесс очень сложный. Одной из наиболее важных проблем является создание библейской терминологии.

По нашему мнению, в результате осуществления переводов сознательно или бессознательно происходит процесс обновления языка. С 1990-ых годов Институт Перевода Библии издал следующие книги на удмуртском языке:

(Арапович: 37–41 и об истории Института см.:

http://www.ibt.org.ru/russian/about_ru.htm)

8. 1993: все четыре Евангелие
9. 1994: Иисус – друг детей
10. 1996: Деяния святых Апостолов
11. 1997: Новый Завет
12. 1999: Псалтырь
13. 2001: Библия для детей
14. 2003: Библейские истории для детей
15. 2004: Книга пророка Ионы
16. 2005: Книга пророка Исаии
17. 2006: все четыре книги Царств
18. 2007: книга Иова
19. готовится: Ветхий Завет

В Удмуртии также издаются богослужebные книги, например: Литургия, Каноник и другие. Благодаря работе Михаила Гавриловича Атаманова, переводчика религиозной литературы на удмуртский язык, количество духовных книг растет.

При сравнении переводных текстов разных эпох, можно констатировать, что Михаил Гаврилович Атаманов в работе над удмуртскими переводами использует опыт как дореволюционных религиозных изданий на удмуртском языке, так и параллельные русскоязычные тексты.

Материалом нашего анализа послужили: текст современного удмуртского перевода Евангелия от Матфея, а также результаты анкетирования носителей удмуртского языка по вопросам лексического состава переводного текста Евангелия от Матфея.

В предоставленной анкете были сформулированы следующие вопросы:

- Относится ли слово к активной лексике удмуртского литературного языка?
- Знает ли это слово и его значение?
- Употребляется ли это слово в повседневной разговорной речи?
- Я сказал/сказала бы иначе: ... (и другие замечания).

Всего в анкете было предоставлено 64 лексемы. В анкетировании приняли участие 10 респондентов в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, из разных районов Удмуртии.

Нами был также проведен сравнительный анализ, при котором сопоставлялись следующие тексты:

[1] Евангелие от Матфея, 1847 на сарапульском наречии

[2] Евангелие от Матфея, 1847 на глазовском наречии и

[3] Евангелие от Матфея, 1997 на современном удмуртском литературном языке

Михаилом Гавриловичем Атамановым в статье «Библейская терминология в удмуртском переводе «Нового Завета»» (2002) выделены группы терминов на удмуртском языке переведенных библейских текстов:

1) слова, встречающиеся и в дореволюционных переводах, или же выражения языческого происхождения, например: *Инмар* 'Бог', *лул* 'душа', *сiйён* 'завет', *кылчин* 'ангел';

2) архаические и диалектные слова, например: *бакель карыны* 'благословить', *визяны* 'поститься', характерны для южного наречия, название *Быдзымнунал* 'Пасха', характерно для южного и среднего наречий;

3) неологизмы, созданные разными способами:

а) с помощью суффиксации, например: *мадён* 'притча' – образовано от глагола *мадьыны* 'загадывать загадки, петь, рассказывать тайну', и при помощи продуктивного суффикса *-о(н)/-ён*, образующего существительное от глаголов, а также *каньыллык* 'мир, покой, радостное состояние' – образовано из наречия образа действия *каньыл* 'легко, удобно' и суффикса *-лык*;

б) с помощью словосложения, например: *кузёйыр* 'начальник' – от *кузё* 'господин, хозяин' и *йыр* 'голова', или *лулмур* 'плоть' – от *лул* 'душа' и *мур* 'телo';

в) с помощью сочетания слов, например: *улзыса султон* 'воскресение' (бкув. «воскреснув вставание») – дееспричастие от глагола *улзыны* 'воскреснуть' и существительное от глагола *султыны* 'встать, подняться' *при помощи суффикса -он*.

г) кальки и заимствования; например: *эксэй* 'царь, князь' (иранское заимствование), *сьёлык* 'грех' (тюркского происхождения), *шайтан* 'дьявол, сатана' (арабского происхождения), *черк* 'церковь' (русское заимствование), апостол, фарисей, Евангелие (древнегреческого, латинского происхождения) (Атаманов 2002: 87–91).

Лексемы первой группы, как правило, стандартны и хорошо знакомы для носителей языка.

По мнению участников анкетирования, имеются неологизмы, которые на данный момент не получили достаточного распространения ни в письменной ни в устной речи удмуртского языка, например, такие как: *азыса-калгыса улон* 'прелюбодейство', *дун-шектэм* 'святой', *мед-кузьым* 'награда', *бакель карыны* 'благословить', *визяны* 'соблюдать пост'.

По мнению анкетированных, заимствованные, в частности архаические слова и слова древнегреческого и латинского происхождения также не употребляются в активном словаре удмуртской речи. Являются исключением слова русского происхождения, а также слова, которые часто употребляются и в другом контексте, или имеют несколько значений. Например: *апостол*, *легион*, *пророк*.

В тексте нового перевода Евангелия содержится большое количество неологизмов. Наши исследования показали, что современный удмуртский литературный язык включает в себя разные признаки удмуртских диалектов. Например: в тексте нового перевода включаются слова и выражения из южного наречия удмуртского языка. Примеры: *ёбкелыса сьёлыкёслэсь кушитйськыны* 'покаяние' (южн.), *эксейлык* 'царство' (южн.).

Исследование показало, что автор перевода часто использует лексические элементы южного диалекта, как при переводе в целом, так и при создании неологизмов.

Некоторые участники анкетирования отмечали возможность замены той или иной лексемы, предлагались следующие варианты: вместо *азыса-калгыаса улон* – предлагается *шонертэм улон* ('прелюбодейство'), вместо *бакель карыны* – *благословить карыны*, ('благословить') вместо *закон – кат*, вместо *закон тодйсь – закон валазь* ('законник'), вместо *пылатйськыны – креститься*, *Быдзымнунал – Великтэм* ('Пасха'), *визь сынаны – рос-прос тодъялласькыны*, *визь мертаны* ('вводить в искушение').

Словосочетания *визь сынаны* ('вводить в искушение') и *визь туганы* ('прельстить/путать') респондентами воспринимаются в качестве синонимов.

Вместо глагола *визяны* ('соблюдать пост') анкетированными рекомендуются следующие выражения: *пост возыны*, или *визь тырыны*. Надо обратить внимание на то, что глагол *визяны* относится к лексическому составу южного наречия, а также следует отметить, что глагол встречается уже в обоих ранних переводах Евангелий.

Перевод 1997-го года снабжен кратким словарем с пояснениями религиозной лексики. Несколько новых религиозных слов и выражений, встречающихся в современном переводе Евангелия от Матфея, наличествуют в удмуртско-венгерском словаре (2002 г.), например: *дун-шектэм* ('святой'), *кабыл басьтыны*

('принять благосклонно'), *Кузё-Инмар* ('Господь'), *курон-косон* ('заповедь') *лулмугор* ('тело'), *мадён* ('притча'), *мед-кузьым* ('награда'), *обкельыса съёлыкъёслэсь куштійськон* ('покаяние'), однако, отсутствует: *улзыса султыны* ('воскреснуть'). В новый удмуртско-русский словарь 2008 года включено много религиозных терминов и выражений. Нами не обнаружены такие выражения, как: *курбон нянь* ('хлеб предложения'), *обкельыса съёлыкъёслэсь куштійськыны*, *пиштійсь даньлык* ('слава').

Вышеперечисленные неологизмы не используются в активном удмуртском словаре, так как они обладают религиозной стилистической ценностью или не имеют добавочных значений. Большую ценность представляет сам факт существования перевода Евангелий на удмуртском языке.

В анкете у элемента *азыса-калгыса улон* ('прелюбодейство') выяснилось, что выражение соответствует языковому стандарту, но не употребляется в разговорной речи. Сочетание *азыса-калгыса улон* ('прелюбодейство') внесено в новый удмуртско-русский словарь 2008 года. В тексте раннего перевода используется глагол *накасъясъкыны*, который можно найти в удмуртско-венгерском словаре с пометкой о его диалектном происхождении.

Также в новом словаре найдено выражение *бакель карыны* ('благословить'), и параллельно с ним отмечен глагол – *бакелляны*, *бакель сётыны*.

Слово *выт* ('налог') участники анкетирования признали архаичным, но следует отметить, что в библейском контексте иногда лучше использовать устаревшие слова.

Неологизмы *дун-шектэм* ('святой, непорочный, совершенный'), *каньыллык* ('лёгкость, мир, покой'), *лулмугор* ('тело') зафиксированы в новом словаре, но по мнению участников анкетирования, они не используются в их разговорной речи.

Лексема *курон-косон*, т. е. 'заповедь', респондентами была отмечена, как относящаяся к активному словарю удмуртского языка. Причиной чего может быть то, что у этого элемента есть дополнительные значения: требование, норма.

Значение 80% лексем, включенных в анкету, участниками опроса понятно. Стиль соответствует нормам современного литературного удмуртского языка, 60% этих слов соответствует стандарту удмуртского языка.

При образовании неологизмов в тексте современного перевода (1997 г.) М. Г. Атамановым учитывался и опыт ранних переводов. Переводчик, как правило, выбирал соответствующие лексические единицы, учитывая ранние переводы, или создавал собственные неологизмы.

Большинство участников анкетирования осведомлены о существовании Библии на удмуртском языке. Анкетируемые единогласно выражают желание преумножения переводов христианской литературы на удмуртском языке. Переводы духовной религиозной литературы на удмуртский язык (а также и на другие финно-угорские языки) стимулирует расширение функций родного языка. В условиях усиливающейся глобализации это очень большая и важная задача для носителей финно-угорских языков.

Литература

- Арапович, Б. Перевод Библии в России, странах СНГ и Балтии в мировом контексте // Перевод Библии в литературах народов России, стран СНГ и Балтии. Материалы конференции. Москва, 2–3 декабря 1999 г., М.: Институт перевода Библии, 2003. С. 27–42.
- Атаманов, М.Г. Библейская терминология в удмуртском переводе «Нового Завета» // Первой удмуртской грамматике 225 лет. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2002. С. 85–92.
- Вьль Сӥзӥн. Эскерыса поттон. Удмурт кылэ берыктӥз Михаил Атаманов, диакон, филологи наукаосъя доктор. Стокгольм-Хельсинки: Библиез берыктонъя Институт, 1997. 773 с.
- Каракулов, Б.И. Удмурт литературной кыллэн сюресэз XVIII–XXI даурӥс. История удмуртского литературного языка XVIII–XXI века. Ижевск: Удмуртия, 2006. 208 с.
- Институт Перевода Библии: О нас. История, принципы, персоналии. [Электронный ресурс] // URL: http://www.ibt.org.ru/russian/about_ru.htm (дата обращения 23. 10. 2010).
- Первые печатные книги на удмуртском языке: Глазовское наречие / Сост.: Л.М. Ившин. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2003. 560 с. [Репр.: Господа Нашего Иисуса Христа Евангелие отъ св. евангелистовъ Матфея и Марка на русском и вотякском языкахъ. Глазовскаго нарѣчія. Казань, 1847.]
- Первые печатные книги на удмуртском языке: Сарапульское наречие / Состав.: Л.М. Ившин. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2003. 441 с. [Репр.: Господа Нашего Иисуса Христа Евангелие отъ св. евангелиста Матфея на русском и вотякском языкахъ. Сарапульскаго нарѣчія. Казань, 1847.]
- Удмуртско-русский словарь / Отв. ред. Л.Е. Кириллова. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2008. 925 с.
- Szathmári István: A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2001. 104 p.
- Udmurt magyar szótár / Kozmács István. Szombathely, Savaria University Press, 2002. 540 p.

Indrek Jääts
Tartu

“LITTLE DEEDS” FOR HIS PEOPLE: GEORGI LYTKIN’S WORK FOR EMANCIPATION OF THE KOMI LANGUAGE

The Komi (Zyrians) of the 19th century were a classic example what educated people of that time regarded as ‘peasant people without history’. A part of the Komi had russified already and educated Russians shared the belief that all the rest will switch to Russian soon. Central government’s nationalities policy departed from this conception – all the factors counteracting to russification of the Komi should be eliminated at the very beginning. Russian language dominated the public sphere in Komi area. Religious services were held in Church Slavonic. Russian was the main language of instruction at local schools. Few translations of church literature were the only tolerated form of the Komi printed word. Secular literary texts in Komi were regarded as useless or even harmful by the authorities. Standard written Komi didn’t exist yet. Different dialects were used by translators.

What could one man, a patriot, nationalistically minded intellectual, do for his people, for the Komi, in a situation like this?

Georgii Lytkin (1835–1907) started his activity for the Komi and their language in 1850s. Being a student of St. Petersburg University, he wrote some poems with great potential of national revival, but the texts remained unpublished. However, two of his poems dedicated to the death of Nicholas I and to the ascension to the throne of Alexander II were published as separate leaflets (Komi börd-kyv..., 1988). Yes, these verses were monarchic by content, but I claim that Lytkin’s main aim in publishing them was to make his mother tongue visible to the wider public, to create a precedent. These two poems were the first belletristic works ever printed in Komi.

In 1860 Lytkin was doing fieldwork in Kalmyk steppe. He was a promising young scholar specialised in mongolistics. These were turbulent times in Russian Empire, and Lytkin was grasped by the wish to give up his academic career and serve his own people, to dedicate himself fully for the Komi enlightenment. In 17 January, 1861 he wrote in his report: “Only in my sweet homeland, in Ust-Syssolsk, among Komi compatriots, my health will improve and my heart and soul will find peace, and I can help in a practical way my Komi compatriots, whom I always wished to enlighten, despite of enthusiastic dealing with science” (Zaboev, 1972).

Lytkin wanted to get the position of school inspector in Ust-Syssolsk (now Syktyvkar, the capital city of the Komi Republic), but the appointment took time. Meanwhile he returned to St. Petersburg and became *narodnik*, a member of the secret organisation “Zemlia i volia”, and hence an opponent to the official regime. Repressions against *narodniks* didn’t touch Lytkin directly, but he was under police surveillance for some time, and had difficulties in finding job. After three years of waiting, he was informed that there would be no appointment to Ust-Syssolsk. The state officials probably considered Lytkin a potential rebel, a nationalist, who could have unfavourable influence on his countrymen. Government attitude towards non-

Russian peripheries and their inhabitants was stiffer than ever before as a result of recent Polish uprising. In 1 January, 1870 Lytkin wrote to well known Russian intellectual Mikhail Pogodin: “The idea to return to homeland, even in old age, hasn’t left me, but now, at these seesaws, which prevail today, one can’t even think about fulfilment of my most ardent desire: there are people who would regard my activities as separatism.” (Martynov)

Dmitrii Pisarev, Russian publicist and literary critic, had come out with the theory of little deeds (*teoriia malykh del*) in early 1860s. Pisarev regarded massive poverty and illiteracy as the main problems of Russia and recommended individual self-education and spread of knowledge as remedies. Many Russian liberals and socialists believed in the theory of little deeds in following decades. This theory had its impact on the non-Russians too, including early Zyrian intellectuals, such as Georgii Lytkin, and Ivan Kuratov (Ivanov–Razumnik 1997).

Since about 1870 Lytkin had dedicated most of his spare time to the development of the Komi education and literary language. It was probably even more important for him than his pedagogical career at St. Petersburg 6th gymnasium. Lytkin had made thousands of hours of unpaid job to serve his people. As a Zyrian patriot, he understood the need to develop the Komi literary language and used the only legal channel open to the Komi written word in those times: he started to translate Orthodox texts into Komi.

To the end of 1870s Lytkin had translated into Komi the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John, Psalter, the Divine Liturgy of St. John Chrysostom and some other religious texts. He introduced himself as a successor of Stephen of Perm’s missionary work in Komi and as a collaborator of famous Russian lay missionary Nikolai Il’minskii, whose approach to the missionary education in non-Russian languages was approved by imperial authorities in 1870 (for more detailed approach of connection between the Komi and Il’minskii system, see Jääts, 2005). And he managed to use the 500th Anniversary of Perm bishopric (1883) to publish and spread some of his translations.

Lytkin was a linguistic purist. In his works, he tried to create the Komi literary language, free of Russian influences. The proponents of prevailing translation tradition (Pavel Savvaitov and some clergymen of Komi origin) resisted his effort. They proceeded from pragmatic considerations in their work and regarded their translations as temporary measure – many Zyrians, especially women, just didn’t understand Church Slavonic or Russian yet. These men shared the idea that the Komi will melt into Russians quite soon. Lytkin on the other hand was Zyrian patriot believing in and working for the Komi emancipation. In his letter to a young Komi intellectual Aleksei Cheussov (February 1901), Lytkin expressed an opinion that after 40 years the Komi would have rather substantial literature of their own (Cheusov, 1924).

Lytkin’s main book (Zyrianski...i 1998) “The Komi area under the Bishops of Perm and Komi language. Textbook for the Komi learning Russian” was ready in 1884, but there were many time consuming problems, including financial, with publishing. Lytkin planned it as a schoolbook and turned to the Ministry of Education for support. However, officials hesitated about the necessity of such kind of book, and asked some authoritative scholars (Ferdinand Johann Wiedemann, Pavel Savvaitov) to review it. Savvaitov probably realised Lytkin’s nationalistic aims. In his review he wrote, that if to read Lytkin’s book carefully, it becomes clear that it is determined to alienate the

Komi from Russian language, rather than to teach it to them. Savvaitov claimed that Lytkin, just like sc. Ukrainophiles (i. e. Ukrainian nationalists), had excluded even those Russian words from Komi, which have been already adopted. Furthermore, Savvaitov added, Lytkin had harshly criticized those scholars, who had tolerated Russianisms in their translations (like Savvaitov himself) (Otzyv... 1901).

Finally, Lytkin himself paid for the copies of his main book. It wasn't easy for him, he had to borrow this money and repay for years. But the book came out at last in 1889. However, it was a bit too voluminous and expensive to be used as a textbook at the Komi schools.

During the first years of 20th century, Lytkin requested the Ministry of Education to allow his works to be distributed in the schools of Komi area. But the Ministry judged that Lytkin's aims were not in correspondence with government's aims in educating non-Russians, and that his works were inappropriate at schools because the Komi themselves were already using Russian eagerly and increasingly (Kostromina, 2004).

Hence, Lytkin's works access to the Komi schools was blocked by the authorities. This was Lytkin's tragedy. His literary language and linguistic innovations were not included into school curriculum and remained strange for his compatriots. Nevertheless, Lytkin's ideas met response among the next generation of Zyrian intellectuals and have had long-term impact on the evolution of Komi literary language (Lytkin, 1975).

*

Can we learn something from all of this, from Georgii Lytkin's experience? I think we can. His patriotism and readiness to do unpaid work to serve his people and to develop his mother tongue could serve as examples for contemporary Finno-Ugric intellectuals. He worked in social environment not supporting his efforts, but he was smart enough to reach at least some of this goals. Lytkin's skills in positioning himself as a successor of St. Stephen of Perm and a collaborator of N. Il'minskii, but also his ability to use different anniversaries to promote his cause, are worth following in contemporary context.

References

- Cheusov, A., K vospominaniem o Georgii Stepanoviche Lytkine – *Komi Mu-Zyrianskii krai*, No. 4–6, Iiun' – Avgust 1924, p. 44.
- Cheusov, A., K vospominaniem o Georgii Stepanoviche Lytkine – *Komi Mu-Zyrianskii krai*, No. 4–6, Iiun' – Avgust 1924, p. 44.
- Ivanov–Razumnik, *Istoriia russkoi obshchestvennoi mysli. V trekh tomakh*. Moskva: „Respublika, 1997, tom 2, pp. 171–172; D. V. Bosov, K voprosu o religioznykh i obshchestvenno-politicheskikh vzgliadakh I. A. Kuratova – *Art* 2, 2004, p. 135.
- Jääts, Indrek, Left Outside: The Komis and the Il'minskii System – *Studia Slavica Finlandensia*, Tomus XXII. Helsinki: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, 2005, pp. 28–50.
- Komi börd-kyv Nikolai Mudröi kulöm vylö and Komi kyvvor Aleksandr Nikolaevich sarstvo puks'öm vylö*. Leaflets were published on 17 March, 1855. See: V. I. Martynov, *Stanovlenie komi literatury. Ideino-esteticheskii aspekt*. Moskva: “Nauka”, 1988, p. 91.

- Kostromina, I.N. „...istinno zyrianskaia entsiklopedia...“ – *Art 2*, 2004, pp. 186–189.
- Lytkin, V. I. Georgi Stepanovich Lytkin – *Sovetskoe finno-ugrovedenie*, No. 4, XI, 1975, pp. 291–293.
- Martynov, V.I. *Stanovlenie komi literatury*, p. 97.
- Otzyv pokoinago P. I. Savvaitova, izvestnago arkheologa i znatoka zyrianskago iazyka, o perevodakh Sviashchennago Pisaniia na zyrianskii iazyk i drugikh rabotakh po chasti zyrianskago iazyka, ispolnennyh G. S. Lytkinym. (Soobshchil sviashchennik A. Krasov) – *Vologodskiiia eparkhal'nyia vedomosti*, No. 18, Sentiabria 15, 1901, pp. 521–522.
- Zaboev, A., Sluzhenie nauke – *Krasnoe znamia*, No. 151 (14211), 29 iunia 1972.
- Zyrianskii krai pri episkopakh permskikh i zyrianskii iazyk. Posobie pri izuchenii zyrianami russkago iazyka*. Sostavil G. S. Lytkin, prepodavatel' S.-Peterburgskoi shestoi gimnazii (SPb., 1889)

Николай Кузнецов
Тарту

**МЕСТНЫЕ ПАДЕЖИ КОМИ ЯЗЫКА В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
АППРОКСИМАТИВА)**

1. Теоретической базой данной работы служит когнитивная грамматика (в России нередко используется термин «когнитивная семантика»), предложенная и развиваемая с 1976 года Рональдом В. Лангакером. (О когнитивном подходе в языкознании вообще и теории когнитивной грамматики Лангакера в частности на русском языке см., например, Лакофф 1995, Лангаккер 1992, Маслова 2008, Рахилина 1998: 274–323, Рахилина 2006: 370–389, Скребцова 2000, Ченки 2006: 340–369, Янда 2000).

В своей когнитивной грамматике Лангакер для наглядности широко использует схематические рисунки, призванные помочь объяснить принципы данной теории. Предлагаются не точные и подробные толкования языковых единиц, а лишь условные схемы – зато такие, которые можно сравнить друг с другом (Рахилина 2006: 379).

Основание для такого сравнения дают *профиль* (profile) и *база* (base), являющиеся ключевыми в структуре схем (Рахилина 2006: 378). Профиль является наиболее выпуклой частью (в схеме выделяется жирным) и, по сути, несёт семантическую ценность языковой единицы. Базой (в схеме – всё кроме профиля) является область, необходимая для концептуализации профиля. Взаимодействие между базой и профилем – это и есть семантическое содержание единицы. В качестве простого примера Лангакер приводит слово *гипотенуза* (напр. Langacker 1991: 5–6), в схематическом изображении которого профилем является соответствующая сторона треугольника, а базой – сам треугольник (о профилировании смотри также Langacker 2008: 66–70).

База может существовать без профиля – треугольник останется треугольником без выделения гипотенузы в качестве профиля. Однако профиль без базы теряет свою семантическую ценность – просто отрезок уже нельзя назвать гипотенузой без наложения на треугольник (Langacker 1988: 58–60).

Сравним слова *радиус* и *гипотенуза*. Оба слова обозначают отрезки линии и вне базы они могли бы быть синонимами, однако радиус предполагает в качестве базы понятие круга, а гипотенуза – понятие треугольника (Залевская 1999: 117). Иными словами, радиус и гипотенуза отличаются базами (или основаниями). Этот пример демонстрирует также одну из основных идей когнитивной грамматики – одни концепты предполагают другие для своей характеристики. Ведь без знания о кругах и прямоугольных треугольниках мы не можем объяснить понятия радиуса и гипотенузы. Развивая далее эту мысль, можно сказать, что полное описание семантической структуры языковой единицы должно объединить описание её областей, вплоть до основных, когнитивно несводимых областей, таких как пространство, время и др. (Ченки 2006: 358).

В схематических рисунках используются различные условные обозначения, пометы, стрелки, линии и пр., имеющие определённые функции, при необходимости вводятся оси времени и пространства. Объекты обозначаются кружками. Одна из фигур в профиле называется *траектор* (*trajector*) и обозначается **TR**, она находится «в фокусе», поскольку именно о её расположении или движении говорится в языковом выражении. Другая фигура – *ориентир* или *точка отсчёта* (*landmark*) – **LM**, относительно неё определяется расположение траектора. Как важные детали в схеме могут присутствовать *наблюдатель* **V** (*viewer*), *реципиент* **R** (*recipient*), *поле зрения* **PF** (*perceptual field*) и т. д.

2. Согласно Лангакеру, все языковые выражения в семантическом плане характеризуются наложением профиля на базу (Скребцова 2000: 120). Попробуем применить такой подход к местным падежам коми языка и обрисуем для примера некоторые значения аппроксиматива *-лань*.

Первичной функцией аппроксиматива, как и других местных падежей, считается выражение пространственных отношений (Некрасова 2002: 103). Обозначение направления к предмету-ориентиру (Некрасова 2002: 109) можно назвать его инвариантным значением, реализующимся в конкретных ситуациях. Рассмотрим на примерах некоторые случаи реализации данного значения, используя инструментарий когнитивной грамматики Лангакера.

Во всех представленных ниже примерах базой служит схема, в которой некая воображаемая ось или линия связывает ориентир **LM** и траектор **TR** (рис. 1). Линия

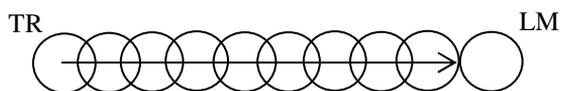


Рис. 1. Концептуальная база аппроксиматива.

имеет направленность в сторону ориентира (инвариантное значение аппроксиматива). Она схематически изображается в виде прямой, но может воплощать, например, сколь угодно круговую объездную дорогу (пример (3)). Суть в том, что движение, реальное или фиктивное, совершается по этой линии. Также эта линия связывает траектор с ориентиром в случае, если движения, даже фиктивного, не происходит (примеры (6), (7)). Траектор может располагаться на оси базы в различных точках. На общую базу накладывается конкретный профиль, воплощающий на схеме отдельный случай использования падежа.

Наиболее прототипическим значением аппроксиматива следует считать указание на предмет, в сторону которого направлено движение. Реализуется оно преимущественно в позиции при глаголах движения (Некрасова 2002: 103). В зависимости от характера глагола (ср. (1) и (2), см. также Некрасова 2002: 103–104), траектор может иметь различное положение на схеме (ср. рис. 2 и 3):

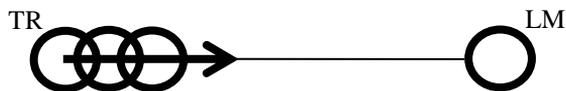


Рис. 2. Профиль аппроксиматива *-лань* в (1).

(1) *Менам ёртöй уськöдчис сылань.* (КМ 09.10.2007)

’Мой друг бросился в его сторону’

(2) *Ме <...> öдвa-öдвa кысси асланым окопъяслань.* (В. Каракчиев) (КМ 03.01.2007)

'Я <...> еле-еле тащился в сторону наших окопов'

В примере (1) используется глагол инхоативного характера, поэтому траектор следует помещать на базе в самое начало линии, соединяющей его с ориентиром. В примере (2) стартовая позиция траектора нам не известна и мы можем говорить лишь об определённом моменте направленного движения, выраженного глаголом дуративного характера, и об определённом отрезке на линии движения (см. рис. 3).

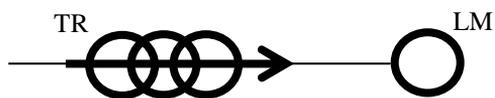


Рис. 3. Профиль аппроксиматива -лань в (2).

Значение аппроксиматива в примере (3) можно считать расширением значения -лань в примере (2). Отличие примера (3) состоит лишь в том, что движение здесь является фиктивным (на схеме (см. рис. 4) обозначено пунктирной линией) и путь на линии движения совершается ментально:



Рис. 4. Профиль аппроксиматива -лань в (3).

(3) *Тöвся туйыс Маджалань сэж мунис буретии сиктса шойна вывтi.* (А. Елфимова) (КМ 01.11.2007)

'Зимняя дорога в сторону Маджи тогда проходила как раз по деревенскому кладбищу'

Также ментально проделывается путь в направлении ориентира до местонахождения траектора в примере (4) (см. также Некрасова 2002: 106), однако сам траектор никакого движения не совершает. Поэтому здесь важен несколько иной контекст, нежели характер глагола:

(4) *...вöлöстьлань 40 километр выяын <...> починокын олысь...* (Юхнин 13)

'...живущего в починке, примерно в сорока километрах в сторону волости...'

В отличие от примеров (1), (2) и (3), в примере (4) важным является позиция наблюдателя, или точка наблюдения VP (рис. 5). При этом позиция говорящего необязательно должна совпадать с позицией наблюдателя (Langacker 2008: 76), расположенного на одной линии с траектором и ориентиром. Говорящий лишь ментально переносится в точку наблюдения, поэтому наблюдатель обозначен здесь пунктирной линией.



Рис. 5. Профиль аппроксиматива -лань в (4).

В качестве расширения наиболее прототипического значения (ср. (1)) можно рассматривать обозначение

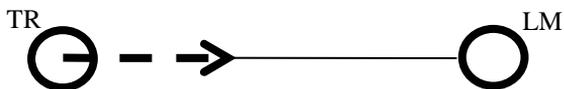


Рис. 6. Профиль аппроксиматива -лань в (5).

направления имплицитного движения, при котором, по сути, даётся лишь указание на направленность действия:

(5) ...*винтовкаысь шковги-лылі немчлань...* (Н. Хатанзейский) (КМ 20.06.2007)

'...[я] стрелял из винтовки в сторону немцев...'

Направленность как геометрическое свойство, которое не зависит от движения, здесь указывает на то, что перемещения траектора в сторону ориентира не происходит. В подобных случаях в сторону ориентира направлена лишь, так сказать, некая энергия.

Расширением предыдущего значения можно считать направленность положения объекта. Иными словами, одной из своих сторон (см. рис. 7) объект, т. е. траектор, обращён в сторону ориентира (см. также Некрасова 2002: 105):



Рис. 7. Профиль аппроксиматива -лань в (6).

(6) ...*Куйлө стенлань бергөдчөмөн.* (А. Мишарина) (КМ 07.08.2007)

'...Лежит повернувшись к стене (букв. в сторону стены)'

Следующее выражение служит примером обозначения изменения направленности положения, т. е. обращения в сторону ориентира:

(7) *Мелань бергөдчис нюмъялысь том ань...* (В. Каракчиев) (КМ 03.01.2007)

'В мою сторону повернулась улыбающаяся молодая женщина...'

В данном примере движение, обозначенное глаголом, происходит не по оси, связывающей траектор с ориентиром, а вокруг внутренней оси траектора, и приводит траектор в позицию, изображённую на рис. 7.



Рис. 8. Профиль аппроксиматива -лань в (7).

Исходному значению аппроксиматива приписывается сема неконтактности (Некрасова 2002: 103), однако, в некоторых случаях употребления аппроксиматива пространственное соприкосновение с ориентиром как раз присутствует:

(8) *Чашкаыс из н'ин өтпыр ус'лы джоджлан'ыд.* (НВД 40)

'Не раз уже чашка падала на пол (букв. в сторону пола)'

Такое значение реализуется в некоторых диалектах коми языка (Некрасова 2002: 105). Конечно, в данном случае схема (рис. 9) должна иметь вертикальное положение, однако сути это не меняет, в любом случае мы наблюдаем контакт траектора с ориентиром. Можно утверждать, что в данном конкретном примере соприкосновение является естественным, ведь падение на пол изначально предполагает контакт. Однако



Рис. 9. Профиль аппроксиматива -лань в (8).

пример (8) может также отражать достаточно реальную ситуацию, когда, например, чашка упала, но была поймана до достижения ею пола. В этом случае контакт траектора с ориентиром отсутствует, а профиль соответствует, скорее, изображению на рис. 3, а то и комбинации профилей на рис. 3 и 4. Иными словами, соприкосновение с полом не является единственно возможным результатом падения предмета в направлении пола. Тем интереснее тот факт, что аппроксиматив *-лань* может содержать указание на контакт.

Ещё одной из разновидностей значения аппроксиматива Г.А. Некрасова называет «указание на предмет пространственной направленности с относительным достижением его границ» (Некрасова 2002: 104). В таких конструкциях аппроксиматив функционально сближается с иллативом (Некрасова 1995: 38) и терминативом (Некрасова 2002: 104). В этом Некрасова видит своеобразную интерпретацию семы неконтактности этого падежа (Некрасова 2002: 105), утверждая, что движение в подобных конструкциях ограничивается не определённым пределом предмета, а «более или менее неопределённым окружением предмета-ориентира» (Некрасова 1995: 38; 2002: 105). Но рассмотрим следующий пример:

(9) *Ыбланыс матыстчылдй, библиотекаын пукыштём могысь.* (В. Безносиков) (КМ 30.06.2007)

'Приходите в Ыб (букв. приблизьтесь к Ыбу), чтобы посидеть в библиотеке'

В первой части примера (9) сема неконтактности аппроксиматива прекрасно коррелирует с глаголом *матыстчывны* 'приблизиться (и затем отдалиться, уйти)', также не предполагающим соприкосновения с ориентиром. Однако содержание второй части примера вступает в конфликт с признаком несоприкосновенности данного падежа, вроде бы ясно выраженным падежной формой и глаголом в первой части примера. Ведь невозможно посидеть в библиотеке, находящейся на территории селения Ыб, не войдя в пределы этого самого селения, а лишь приблизившись к нему.

В качестве альтернативной «неопределённому окружению предмета-ориентира» предлагается следующая трактовка использования

аппроксиматива в примере (9), где было бы логичнее видеть иллатив. Возможно, объяснение следует искать в

неопределённости не окружения ориентира, а его **пределов**, что схематически изображено на рис. 10.

Определяющим в таком случае является сущность самого ориентира – он должен быть выражен существительным определённой категории. А именно – некое обжитое человеком пространство с относительными пределами. На такую мысль наводят слова, обозначающие ориентир в примерах схожего типа. Например, понятие *горт* 'дом' в Некрасова 2002: 104 может быть рассмотрено именно как пространство, не ограниченное, например, стенами жилой постройки.

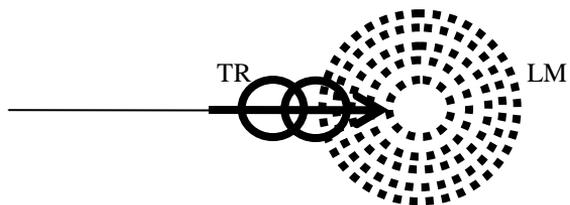


Рис. 10. Профиль аппроксиматива *-лань* в (9).

Значение неопределённости границ ориентира может быть отражено и в нашем примере (9), где село Ыб также можно воспринимать как обжитое пространство с относительными пределами. В качестве подтверждения такой трактовки можно привести следующие примеры, в которых в качестве ориентира также выступают понятия названной категории (населённые пункты и пр.):

(10) *Оз на ставныс сиктысь пыийыны карö. Койгорт районса Гриваысь Александр Триппель армияысь воём бöрын Сыктывкарлань жö сетчылис.* (В. Чугаева) (КМ 11.09.2007)

’Ещё не все сбегают в город. Александр Триппель из Гривы Койгородского района после возвращения из армии тоже подавался в Сыктывкар (букв. в сторону Сыктывкара)’

(11) *Со и том йöз оз зэв кольччыны чужанінас да сетчöны карлань.* (И. Белых) (КМ 17.05.2007)

’Вот и молодёжь не очень-то остаётся на родине и подаётся в город (букв. в сторону города)’

(12) *Кулöмдінланьыд волігөн, мися, Иван Михайлович, кежав Джеджимö...* (В. Напалков) (КМ 20.10.2007)

’Когда приедешь в Усть-Кулом (букв. в сторону Усть-Кулома), говорю, Иван Михайлович, заверни в Жежим...’

Функциональная близость аппроксиматива к значению иллатива в определённых контекстах подтверждается использованием иллатива в идентичных конструкциях (ср., напр, (11) и (13)):

(13) *Йöзыслы уджыс быри, том войтыр сетчисны карö, а грездас колисны сöмын челядь да пöрысь йöз.* (А. Некрасов (Гамса)) (КМ 02.06.2007)

’Людам работы не стало, молодёжь подалась в город, а в деревне остались лишь дети да старики’

3. Рассмотренные примеры показывают, что конкретная окраска, нюанс значения падежа во многом зависит от семантики глагола в конструкции. Действительно, без глагола и, в целом, без контекста мы можем говорить лишь об очень абстрактном значении (инварианте), о некоей «схеме высшего порядка», которая не может охватить весь функциональный диапазон языковой единицы. Абстрактная схема в некоторой мере соответствует базе (рис. 1), а конкретные употребления – выделенным профилям, наложенным на базу.

Представленные здесь примеры отражают далеко не все возможности использования аппроксиматива *-лань*. Диапазон значений может быть расширен за счёт достаточно специфичных разновидностей, периферийных относительно наиболее прототипического значения. Кроме того, помимо примарного пространственного значения, этот падеж имеет ряд секундарных непространственных функций (см. Некрасова 2002: 106–107).

Методы и приёмы когнитивной грамматики облегчают описание типов значений данного падежа, способов перехода от одного значения к другому, делают их сравнение более наглядным и лёгким. Однако ни одно направление не может разрешить все проблемы. Когнитивная грамматика предлагает лишь один из подходов.

Источники

КМ – газета «Коми му» на коми языке, Сыктывкар; **НВД** – Сорвачёва, В. А. 1978, Нижневычегодский диалект коми языка, Москва: Наука; **Юхнин** – В. Юхнин, Диньёльса вёрпункт, Сыктывкар: Коми книжное издательство 1983.

Литература

- Некрасова Г.А. 1995. Семантическая структура аппроксиматива в пермских языках. – Грамматика и лексикография коми языка (Труды ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Вып. 58). Сыктывкар. Сс. 36–47.
- Некрасова Г.А. 2002. Система L-овых падежей в пермских языках: происхождение и семантика. Сыктывкар.
- Залевская А.А. 1999. Введение в психолингвистику. Москва.
- Лакофф Дж. 1995. Когнитивное моделирование [Из книги «Женщины, огонь и опасные предметы»] – Язык и интеллект. Москва: Издательская группа «Прогресс». Сс. 143–184.
- Лангаккер Р.У. 1992. Когнитивная грамматика. Москва.
- Маслова В.А. 2008. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие. Москва: Флинта: Наука.
- Рахилина Е.В. 1998. Когнитивная лингвистика: история, персоналии, идеи, результаты. – Семиотика и информатика. Вып. 36. Москва, сс. 274–323.
- Рахилина Е.В. 2006. Основные идеи когнитивной семантики. – Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления. Москва: Едиториал УРСС. Сс. 370–389.
- Скребцова Т.Г. 2000. Американская школа когнитивной лингвистики. Санкт-Петербург.
- Ченки А. 2006. Семантика в когнитивной лингвистике. – Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления. Москва: Едиториал УРСС. Сс. 340–369.
- Янда Л. 2000. Когнитивная лингвистика: Лекции по когнитивным наукам. Вып. 2. Казань.
- Langacker R. W. 1988. A view of linguistic semantics. – Topics in cognitive linguistics. Amsterdam–Philadelphia. pp. 49–90.
- Langacker R. W. 1991. Concept, image, and symbol: The cognitive basis of grammar. – Berlin–New York: Mouton de Gruyter.
- Langacker R. W. 2008. Cognitive grammar: a basic introduction. Oxford: Oxford University Press.

Михаил Мосин
Саранск

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ 20–30-Х ГОДОВ XX ВЕКА НА ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Несмотря на то, что мордовские (мокшанский и эрзянский) литературные языки имеют небольшую историю, в мордовском языкознании ей посвящено значительное число научных изысканий, дающих о ней хорошее представление.

Любой литературный язык предполагает, в первую очередь, наличие языковой базы, на основе которой он может формироваться, нормализоваться и совершенствоваться как доминанта культуры нации. Такой базой или основой для современных мордовских литературных языков, как само собой разумеющееся, являются, прежде всего, его устная и письменная формы. Естественно, устной формой мордовских языков является их диалектная система, внутри которой выделяют «несколько функциональных подсистем, а именно: 1) эрзянские территориальные диалекты, несколько типов; 2) мокшанские территориальные диалекты, также несколько типов; 3) смешанные мордовские народные говоры (с первичной эрзянской или мокшанской основой); 4) переходные говоры в пределах разных диалектных типов эрзянского и мокшанского языков; 5) «островные» эрзянские и мокшанские говоры «в иноязычном окружении» (Феоктистов, 2004: 2).

Несомненно, второй, и главной формой, как аксиома основы литературного языка, считается письменность, «в недрах которой», по выражению А.П. Феоктистова, «естественный язык впервые обретает жизнь» (Феоктистов, 2004: 2).

В рамках проекта «Мордовские языки в национальной газете», разрабатываемой в настоящее время при Туркуском университете (Финляндия), проводится определение лингвистических показателей текстов, отражающих развитие мордовских литературных языков с 20-х годов XX века по настоящее время. Согласно проекту, анализу подвержены содержание, типология текстов, а также их лексические, фонетические, морфологические и синтаксические особенности.

Предлагаемая статья посвящена описанию синтаксических особенностей текстов эрзянских газет 20–30-х годов XX века.

Из-за отсутствия в то время литературы на эрзянском языке, не считая небольшой части религиозных изданий, отдельных списков слов, небольших словарей, малодоступных для населения, и его низкой грамотности, главной синтаксической особенностью текстов, особенно в 20-е годы, является преобладание разговорного стиля и однообразность.

1. В объеме предложения в первую очередь, во всех текстах следует выделить частые случаи использования одних и тех же слов, т.е. наличие тавтологии.

Например, в статье «*Душманось изнявсь*» (ЧС 8: 1920) «Враг побежден», состоящей из 44 предложений, слово *эрямо* «жизнь» выступает 34 раза, что составляет 77,3% от всех предложений. В нескольких предложениях это слово

употребляется два или четыре раза, сравните: *Тевень теезь хоть кодамо стака эрямосто лисеват шождынька эрямос.* «Через труд из любой тяжелой жизни можно найти выход к легкой жизни». Или: *Кода берянь эрямозо ломаненть илязо уль, а яло сон сонцензе прынзе ванстовлизе, яло теевель седе лучи эрямо-чи, яло лисе стака эрямосто и моле шождынька эрямос.* «Какой бы плохой жизнь человека не была, но всегда он берег бы себя, всегда делал бы более лучшую жизнь, всегда найдет выход из тяжелой жизни и идет к легкой жизни».

В статье «*Мейсь минь беднойтянок*» (ЧС 8: 1920) «Почему мы бедные» с текстом в 41 предложение слова: *бедной* «бедный» наличествует в разных формах 24 раза; *сюнав* «богатый» – 20 раз. В ряде предложений оно встречается по 2–3 раза, сравните: *Сюнав ломань яло бедной лангсо покш, а бедной яло сюнав икеле прынзэ комавицэй.* «Богатый всегда над бедным главный, а бедный всегда перед богатым опустит голову». *А кода сюнавсь мере: «Мон сюнавгавтан, а совет беднойгавтанзат», беднойсь и моле сюнав мельга.* «А как богатый говорит: «Я сделаю тебя богатым, а совет – бедным», бедный и идет за богатым».

В газете «*Якстере сокиця*» «Красный пахарь» в статье «*Тердимань серма эрзянь аватненень*» (ЯС 1: 1921) «Пригласительное письмо эрзянским женщинам» с текстом из 25 предложений слово *ава* «женщина» в разных морфологических формах употребляется 18 раз, а в отдельных предложениях даже дважды, сравните: *Вялень тяфненень аватне аяксать, яла кортетъ, што те авуль авань тьявись, но тяфнинь тьяйсизь цератне.* «На сельские дела женщины не ходят, все говорят, что это не женское дело, а дела делают мужчины». *Не кочкав аватне омбоце месецта ефтнесезь вьиси тяфтинь авань прумкса.* «Эти избранные женщины в следующем месяце расскажут все дела на собрании женщин».

Тече празнуватанак кяменце од ломанень чи: тече вьиси масторонь од ломатнэ лиссть ульцяв якстере флаг марто. Течень чись покш чи. Течень чинть од ломатнэ нярдьяк а стужфизь и икелеяк карметъ празнувамонза. Но течень чинть кувалма эшо авуль везде содэть и эрзятне юткса наверна эшо ламо ломать асодэть эйстонза эревэ тьямс истя чтоба те чинть эйсто содаст вэси, а эрзятнэнэнь особенно эрявэ содамс. (ЯТ 16: 1924) «Сегодня празднуем десятый день молодежи: сегодня молодые люди всей страны выйдут на улицу с красными флагами. Сегодняшний день – праздник. Сегодняшний день молодежь никогда не забудет и в будущем будут его праздновать. Но о сегодняшнем дне знают не везде и среди эрзян наверное много людей не знают о нем. Нужно сделать так, чтобы об этом дне знали все, а эрзянам особенно надо знать».

Несмотря на то, что газета «*Од эрямо*» («Новая жизнь») стала выходить на 6 лет позднее, то есть в 1926 году, повтор (тавтология) одних и тех же слов продолжился. Например, в статье «*Од эрямось*» *ды моки'эрзятне* «Новая жизнь» и мордва» слово *эрямо* «жизнь» только в одном предложении выступает 6 раз, сравните: «*Од эрямо*» *газетантъ икеле аштить задачат ветямс: Сибирень моки'эрзятнень алкуксонь «од эрямосо эрямов», од эрямов:*

изнямс ды ёрдомс чопода чинть и аволь культурнойстэ **эрямонть**, калдоргавтомс моки'эрянь таишто койтнень и прядомс и ветямс моки'эрянтнень валдо-чисэ **эрямов** Социализмав-Коммунизмав. «Перед газетой «Новая жизнь» стоят задачи: направить сибирскую мордву в настоящую «в новой жизни жизнь» в новую жизнь: победить и сбросить темноту и некультурную жизнь, расшатать старые мордовские традиции и закончить и подвести мордву в светлую жизнь в Социализм – Коммунизм».

Частое употребление одних и тех же слов в разных грамматических формах происходит и в газете «Эрянь коммуна» («Эрянская коммуна»). Например, в статье «Аппаратонь коренизирувамось – мокшэрянь парторганизациянтэ туртов роботань покш участка (ЭК 172: 1936) «Коренизация аппарата – большой участок для работы мордовской парторганизации» в 31 предложении слово **коренизация** употребляется 19 раз, сравните:

*Аппаратонь **коренизирувамось** педде-пес касы, но те касомась моли састо. Омбоце пель иес наркоматнэсэ **коренизирувамось** кайсь 4,4 процентс, сестэ, кода республикасонть коренной эрицянтнень удельной весэсь 39 процент (1936 иень апрелень 1-це чис наркоматнэсэ **коренизирувамось** ютавтозь 32,8 процентс).*

*Кой-конат первичной парторганизациянтне аппаратонь **коренизирувамонть** лангс вануть формальнойстэ ды бюрократическойстэ. Примеркс, наркомземель ды наркомвноторгонь парторганизациянь руководителнтне Подсеваткин ды Кузнецов ялгатне эсист лангсто а марить большевистской ответственность аппаратонь **коренизирувамонь** тевенть кис.*

«Коренизация аппарата постоянно растет, но этот рост идет медленно. За полтора года в наркомах коренизация выросла до 4,4%, тогда как удельный вес коренных жителей в республике 39% (к 1 апреля 1936 года в наркомах коренизация проведена до 32,8%).

Некоторые партийные организации на коренизацию аппарата смотрят формально и бюрократически. Например, партийные руководители Подсеваткин и Кузнецов не чувствуют на себе большевистскую ответственность за дело коренизации аппарата».

2. Отличительной особенностью газетных текстов 20-х годов является также весьма чрезмерное использование в них личных и притяжательных местоимений. Например, в статье «Од ломать» (ЧС 1: 1921) «Молодые люди», состоящей из 14 предложений, местоимения **минь** «мы», **минек** «наш» и **минянек** «нам» использованы 12 раз, а в отдельных предложениях несколько раз, сравните: *Саты, саты **минянек** пелемс **минсенэк** тетянок, аванок, сынь сыреть ломать сыненст аволь кувац кадовсь эрямось, но **минянек** ишо кувац **минь** только что лисине светэнтень и **минек** пингэнэк кувака.* «Хватит, хватит нам бояться своих отцов и матерей, они старые люди, им недолго осталась жизнь, а нам еще долго, мы только что вышли на свет и наш век долгий». Или в статье «Меже эряве Советонь Республиканень» (ЧС 4: 1921) «Что нужно Республике Советов» с текстом из 62 предложений, местоимения **минь** «мы», **минек** «наш», **миненек** «нам» встречаются 31 раз, то есть через одно предложение: *Ютась вяте годт а **минь** вяте годс эзиник тьяй театра. Эрянь церанинь эрянь тейхтернинь. **Минь** эше эзиник ней кода бы сынть кармавульть налксиме*

сценаса пиескат? **Минь** вятте годс эзиник маряк эрзянь кельса ни пиескат ни разскаст, ни беседа ни басня кие мере што сон маризе **миник** кельца лекция «модань кувалма» или политикань кувалма. Кие мондень ефтэ што сон маризе, кода **миник** од ломатнэ ульцяса мореть пара морот? (ЯС 20: 1922) «Прошло пять лет, а мы за пять лет не сделали театр. Эрзянским парням и эрзянским девушкам. Мы еще не видели до сих пор как они стали бы играть на сцене пьесы. Мы за пять лет не услышали на эрзянском языке ни пьесы, ни рассказы, ни беседу ни басню, кто скажет, что он услышал на нашем языке лекцию о «земле» или о «политике». Кто мне скажет, что он услышал как молодые люди не улице поют хорошие песни?». *Весе промксось мерсь: анцяк эсинек кельсэ минь паньсынек чопуда чинть велестэ. Ансяк эсиник келенть кувалт кона миненек парсте чарькодеви минь пачктянок весе народонь комунас. Анцяк тетянзо аванзо чарькодевре кельсэ пакишась парсте тонады эрва паро тевс. Анцяк эрзень ды мокшонь кельсэ минь анокстатано минек эйкакишэнэ эйтэ паро комунист, икелень эрямо чинь теицят. Истя мерьдяно аволь анцяк минь истя корты коммунистической партиясь.* (ЯТ 27: 1924). «Все собрание отметило: только на своем языке мы освободим село от темноты. Только своим языком, который мы хорошо понимаем, мы придем во всенародную коммуну. Только на понятном языке родителей ребенок хорошо научится каждому хорошему делу. Только на эрзянском или мокшанском языке мы подготовим из наших детей хороших коммунистов, строителей будущего. Так говорим не только мы, так говорит и коммунистическая партия».

Эмоционально-экспрессивная особенность статей наблюдается уже в первых номерах газет 20-х годов. Это достигалось за счет различных способов употребления морфологических форм и грамматических выражений. Эмоциональная наполняемость в текстах получилась за счет повторов одних и тех же морфологических форм или каких-либо словосочетаний, союзов, а именно:

а) За счет частого употребления форм притяжательности во множественном числе: *Минек арасель мезенэкак. Заводонок эзь робота чугуной кинек эзь якак, нефтанок, пенгенек, кининэк арасель. Эрва ендо каршонок турсть.* (ЧС 8: 1920). «У нас не было ничего. Наши заводы не работали, чугунные дороги не ходили, нефти, дров, железа у нас не было. Со всех сторон против нас воевали». *И нейдяк эрзятне пялеть молемаст школав. Сынь сынцест олясо амолеть. Сынянст эряве Петра I дубиназо.* (ЧС 2: 1921) «И теперь эрзяне боятся идти в школу. Они по своему желанию не пойдут. Им нужна дубина Петра I».

б) За счет повторов какой-либо части сочетания слов или союзов, сравните: *Ней, Врангелень чавомадо мейле эряве минянек теемс ламо школат. Эряве теемс эрва кодамо уле чи. Эряве маитомс аразенть* (ЧС 9: 1920). «Теперь после уничтожения Врангеля нам нужно построить много школ. Нужно сделать разное богатство. Нужно изжить недостаток». В статье «*Мезе эряве советонь республиканень*» (ЧС 4: 1921) «Что нужно Республике Советов» с текстом из 62 предложений глагол *эряве* «нужно, надо» выступает 21 раз, сравните: *Эряве сьупалгадомс мекев, и таитонтть коряс эряве сьупалгадомс кемень раст пек. Минь ульнинек беднойть лия масторонь коряс. Ней миненек эряветь сасамс весе госуларстватне.* «Нужно разбогатеть снова, и по сравнению со старым нужно разбогатеть в десять раз сильнее. Мы были бедными по сравнению с другими

государствами. Теперь нам нужно догнать все государства». Или: *Кулак аволь се, конань алашазо уле, конань сюрозо сатэ одц. Кулак аволь се, кона чинек, венек роботэ. Кулак се, кона мезеяк атее. Кулак се, кона стякодо роботавтэ ломать* (ЧС 1: 1921) «Кулак не тот, у которого есть лошадь, у которого хлеб хватает до нового урожая. Кулак не тот, который днем и ночью работает. Кулак тот, который ничего не делает. Кулак тот, который бесплатно заставляет работать людей». *Советень властись должин ульнись максум свободнаста торговамс, — а свободнаста торговамунть пинкста робочийсь панде кишинь киса, фабрикась (а, значит типографиясь гак, газетень печатама кудысь) панде пеньгень кис, коневонь кис, краскань кис. Эряве пандумс весеме таркань кис, — сень кувалма нельзя истяк кучнимс газетнеяк* (ЯС 4: 1922) «Советская власть должна была свободно торговать – а во время свободной торговли рабочий платит за хлеб, фабрика (а значит типография тоже, дом печати) платит за дрова, за бумагу, за краску. Нужно платить за все места, – поэтому нельзя бесплатно посылать и газеты».

Только в одном предложении послелог *кис* ‘за’ встречается 6 раз: *Сынь бороцить агротехнической мероприятиятнень чаркодемаст кис ды трудонь производителюстенень кепедеманзо кис, бороцить тунда видема кампаниять ютавтоманзо кис колхозтнень организационно-хозяйственностэ кемекстамост кис, социалистической трудовой дисциплинань кис азыртаезь, врагтнень каршо, общественной собственностенень сознательной отношениянь кис хулиганстванть вортнень ды вредительтнень каршо* (ЭК 61: 1933) «Они борются за правильное применение агротехнических мероприятий и за повышение производительности труда, борются за проведение посевной кампании, за организационно-хозяйственное укрепление колхозов, за социалистическую трудовую дисциплину, против яростных врагов, за сознательное отношение общественной собственности, против хулиганства, воров и вредителей».

в) Экспрессия также выражалась отдельными словами и выражениями, насыщенными эмоциональной окраской, отражающей пренебрежительность, недовольство и гнев свергнутому строю, его элементам: буржуазии, богатым, кулакам. Например: *Антанта минек лангс пееизэ ейсо чаве, но мезеяк амаштэ тееме минек марто. Эрьва масторонь, трудиця ломать кепсететь сынъцест паразит лангс.* (ЧС 8: 1920) «Антанта скалит зубы на нас, но ничего не может с нами сделать. Трудящиеся каждой страны поднимаются на своих паразитов». *Советонь Республикас ламо еще кадовсть душмант. Сынь, таракан ладцо, кекшинеть варява и шкань шка тейнеть востаният... Сынь эряветь маштомс. Масторось ванькстамс те заразадонть ней аволь стака.* (ЧС 9: 1920) «В Республике Советов много еще осталось врагов. Они, как тараканы, попрятались в норах и временами делают восстания... Их нужно уничтожить. Вычистить страну от этой заразы теперь не трудно». *Крестьянт! Илядо маняв ревень кядьцэ вергизнень, илядо манявт верень потенень.* (ЧС 1: 1921) «Крестьяне! Не давайте себя обмануть волку в овечьей шкуре. Не давайте себя обмануть кровососу!» *Инязоронть пингстэ тонавцуть вейке вейкеде ярцамо. Инязоронь правительствась кацэ миненек ламо нузякст, ламо ашо кеднеть.* (ЧС 8: 1921) «Во время правления Царя учили есть друг друга. Правительство Царя оставило нам много лентяев, много белоручек».

Кода топоць тянза, квятия год – сась революциясь... Микилай од тяфнинь ланкс и дох ачар кидя, мясть тьянить ломатне: инязоронть таркастунза ердезь, бояртнынь кучкурдызь войнать лоткафтызь... (ЯС 21: 1924) «Как исполнилось ему пятнадцать лет – пришла революция... Микилай новые дела совсем не понял, что делают люди: Царя с престола выбросили, боярам дали под зад, войну остановили».

Вачо эри народось куть кулозо, а долконзо пандосо, а эсист – верьгезонь седий сюпавтнень должост эрявить простямс. (ЯТ 4: 1921) «В голоде живущий народ пусть хоть умирает, а долг свой пусть заплатит, а своих с волчьим сердцем богатых долги нужно простить».

Эрзянь-мокшонь чокуда чись – попонь кором. (ЯТ 27: 1924) «Отсталость мордвы – пища для попов». Истят вредительтне мешить колхозонь строямонть. (ЯТ 15: 1931) «Такие вредители мешают колхозному строительству».

Эряви синдэмс те тевсэнть кулацкой саботажонть, муемс конкретной чумотнень, конат а ютавтыть тевс партиянь решениятнень. Ливтемс сынст ланкс ды панемс таркастост. (ЭЖ 120: 1933) «Нужно сломать в этом деле кулацкий саботаж, найти конкретных виновных, которые не реализуют в деле партийные решения».

Сень кис, штобу искусственно теемс потребительтнень недовольства, троцкистской гадинатне эсист звериной ненавистьэст, наксавтсь, коласть товарт, продуктатнень юткс кайсесь сулика пелькст, эскть ды лият. (ЭЖ 128: 1938) «Для того, чтобы искусственно создавать недовольства потребителей, троцкистские гадины со своей звериной ненавистью гноили, портили товары, в продукты бросали куски стекла, гвозди и другое» и т.д.

г) Или, наоборот, для выражения похвалы новой власти и ее политики использовались слова и выражения с одобрительной и похвальной семантикой, сравните: *Минек партиянок, минек властенек, те партиясь честной трудиця ломанень, те властесь честной рабочеень и крестьянонь! (ЧС 8: 1921) «Наша партия, наша власть – это партия честных людей труда, эта власть честных рабочих и крестьян!».*

Октябрьской революциясь – трудицянь иниче: 25-кс чиста октябрия месяцста живиясь трудицятнинь оляст. Те чись а эряве стуфтумс ячейкатнинь, волисполкомтнэнь. (ЯС 20: 1922) «Октябрьская революция – великий день трудящихся: в день 25 октября оживилась свобода трудящихся. Этот день не нужно забывать ячейкам, волисполкомам». Лець Иванонь мельс се шкатне, кода сон ульнесь коммунист. Да сон ульнесь коммунист. И – аволь кодамояк конев лангсо аитиця коммунист (ЯТ 26: 1926) «Вспомнил Иван те времена, как он был коммунистом. Да он был коммунист. И – не какой-нибудь только на бумаге числящийся коммунист». Партиясь ды советской властесь чиде чис кемексты национальной политиканть, те секс, што эрьва нациянтень улезэ шождыне чаркодемс течень задачатнень, теке марто лездазо эрьва трудицясь советэнь строительстванть (ЭЖ 93: 1932) «Партия и советская власть изо дня в день укрепляет национальную политику, это потому, что каждой нации стало бы легче понять сегодняшние задачи, вместе с этим пусть каждый трудящийся помогает строительству советов».

д) Другим способом выражения экспрессивности в статьях газет 20-х годов 20 века выступают лозунги и призывы, порожденные революционным пафосом активно действовать в новой политической, общественной и экономической обстановке. Сравните: *Кеммунист и велень совет, кундадо тевс революциянь дисциплина марто!* (ЧС 9: 1920) «Коммунисты и сельский совет, возьмитесь за дело с революционной дисциплиной!». *Шумбрат улест минек якстере героенэк!* (ЧС 9: 1920) «Да здравствуют наши красные герои». *Ялгат! Илядо маняв кулакнень илинк ант нузяксонь!* (ЧС 1: 1921) «Товарищи! Не дайте обмануть себя кулаку, не кормите лодыря!». *Арядо дружнойста кундатанок роботантей, штобу те стака вачидо годеньть кодаяк ютафтумс.* (ЯС 1: 1921) «Давайте дружно возьмемся за работу, чтобы этот тяжёлый голодный год как-нибудь завершить!». *Эрва кудос, эрва ловныцянь туртов – ве газет «Од Эрямо»!* (ОЭ 1: 1926). «В каждый дом, каждому читателю – одну газету «Од Эрямо» «Новая жизнь!»». *Чумбраста эрязо компартиясь сонза пакиазо комсомолось.* (ЯС 21: 1924) «Да здравствует компартия, его детище комсомол!». *Кирдинькь эсь тонафтума тявиньть, кирдинькь школанк.* (ЯТ 14: 1923) «Держите дело своей учебы, держите свои школы». *Эрзянь учительть, келейстэ панжинк школань кенкиштнень «Од кинень!»* (ЯТ 2: 1926) «Эрзянские учителя, широко откройте школьные двери «Новому пути!» *Большевикекс вассынек тонавтнема од иент.ь* (ЭК 105: 1933) «По большевистски встретим новый учебный год!» *Шумбра улезэ мировой пролетариатонть ветиясь Сталин ялгась!* (ЭК 120: 1933) «Да здравствует ведущий мирового пролетариата – товарищ Сталин!» *Таркань истямо национализманть, эряви панемс терминологиясто.* (ЭК 56: 1934) «Такой местный национализм нужно выгнать из терминологии». *Маиштомс мордовиянь школатнесэ безграмотностенть.* (ЭК 11: 1936) «Изжить безграмотность в школах Мордовии!» и т.д.

Другой отличительной особенностью синтаксиса предложений газетных материалов 20-х – 30-х годов является их структурная неоднородность. Она практически отражает 4 лексико-тематические группы, по которым классифицирован весь рассматриваемый материал: а) тексты, отражающие хозяйственную систему, культуру, проблемы, способы и их решения, прежде всего художественные произведения в большей степени отражают синтаксический строй эрзянского языка; б) тексты, посвященные социальным, научно-популярным вопросам и особенно общественно-политической тематике, построены в основном на синтаксисе русского языка, и наряду с этим, в них изобилует большое множество заимствований.

Для иллюстрации приведем тексты газет рассматриваемого периода обоих типов, сравните I тип предложений: *Сюпав минек лангсо ласте якась, а ней минь ласте кузьдянак сюпав лангс. Ней минь беднойтянак секс, минек паронк циренек саузе войнась. Войнась лотке, миньгак ульдянак сюпавт. Но миньбуди ульдянак сюпавт, то уж весе сюпавт.* (ЧС 8: 1920) «Богатый на нас верхом ездил, а теперь мы залезем верхом на богатого. Сейчас мы бедные потому, что наше богатство забрала война. Война закончится, мы тоже станем богатыми. Но если мы будем богатыми, то все богатыми.»; *Минек эряви кепедемс хозяйстванок. Те тевесь аволь шождыньк. Тень видьга эржаве думамс. Эржаве арьцемс мезенэк минек уле и мезенэк арась, мезе миненек тееве и мезе атееве мезе васья теемс и мезе мейле.* (ЧС 4: 1921) «Нам нужно поднять наше

хозяйство. Это дело не легкое. Об этом нужно думать. Нужно думать что у нас есть и чего нет, что мы сможем сделать и что не сможем, что сделать вначале и что потом.»; *Сюронь чачомась тедеде вадря, веси россиенить масторонзо кялиса. Тедеде атятьни, можна меремс, оймить. Ней мон надеянь, што единой натуральной налогонть каяссызь куруксто-срокозонзо.* (ЯС 16: 1922) «Урожай в этом году хороший по всей России. В этом году старики, можно сказать, успокоятся. Сейчас я надеюсь, что единый натуральный налог оплатят быстро в срок.»; *Не валтнынь мон авуль кочказь саинь ламо Япониянь валынь юткста, а сынст эйтэ кинигасынть ульнисть только некетне, конатнинь мон теса сермадынь и вясси сын миник валынь понаса. Ешо тень кувалт не валтне интереснойть, што сынст эйсэ миник эрзянь и мокшонь прявьт пугузь.* (ЯС 24: 1924) «Эти слова я взял не выборочно из многих японских слов, из них в книге были только эти слова, которые я здесь написал, и все они похожи на наши слова. Еще эти слова интересны тем, что в них заложена эрзянская и мокшанская мысль.»; *А тумось эчке, морготнэ эчкеть, прясунзо кемешка нурдо тарат. И кармась эрзя авулямо узерсынзэ, ансяк гай мери вирсь. Кавто часть керясь, натой псылгаць, а тумостость тейсь паро палмань, ве морго эзь кат.* (ЯТ 1: 1921) «А дуб толстый, сучки толстые, на его верхушке около десяти повозок ветвей. И начал эрзянин махать своим топором, лес только звенит. Два часа рубил, даже вспотел, а из дуба сделал хороший столб, ни одного сучка не оставил.»; *Икай атянь панаронзо алов пурей тикшиэ эцесь, кармась копорензэ езамо. Алашатне тикшиень порнезь совсем малазонок састь. Тарканок кадынек, кузинек берек лангс, штобы васов можна улезэ неемс. Икай атя валонзо мельга кармась таго эрямо чинзэ, теვენзэ ланга евтнеме.* (ЯТ 17: 1926) «Под рубашку деда Икая заполз пырей, начал он протирать спину. Лошади откусывая траву подошли к нам совсем близко. Мы свое место оставили и поднялись на берег, чтобы можно было видеть дальше. Дед Икай снова словом за слово стал рассказывать о своей жизни и делах.»; *Икеле пингень икастонть, зярдо весе эрямось мольсь нужасо ды сельведьсэменьгак творчества арасель: эрзятне ды мокшотне мик аварстькак салава, сельведень валомскак арасель праваст. Весе вальгейсэнзэ, оляс менезь трудицясь рангстась ансяк ней, зярдо сон азор, масторонь паро чинть лангсо.* (ЭЖ 163: 1933) «В прежние времена, когда вся жизнь проходила в нужде и в слезах, никакого творчества не было: эрзяне и мокшане даже плакали скрыто, даже слезы лить у них не было прав. Всем своим голосом, вырвавшись на свободу трудящийся, закричал только сейчас, когда он хозяин над богатством мира.»;

II тип предложений: *Минек правительствась и коммунистической партиясь стремится, чтобы властесь улезэ честной трудицянь кецэ. Аньця эряве каждой трудицянень принять активное участие сонцензэ управлениясо.* (ЧС 8: 1921) «Наше правительство и коммунистическая партия стремятся, чтобы власть была в руках честного труженика. Только нужно каждому трудящемуся принять активное участие в своем управлении.»; *Комсомолецне роботеть вялень тявса – совеца, кооперацияса культпросвеца и государст, компанияса и кува – кува комсомольский влияниясь пек покш.* (ЯС 21: 1924) «Комсомольцы работают в сельском деле – в совете, кооперации, культпросвете и в государственной компании и кое-где комсомольское влияние очень большое.»; *Минек масторонь робочеень и трудицятнинь властись не хочет туриме и сон кортэ, что*

*Рижской мирной договор кирьдсы и мязи кувалманзо эряве пандомс, панцы, но Польша-як кирьдисы договорцонть сермадов валонзо. (ЯТ 4: 1921) «Власть рабочих и крестьян нашей страны не хочет бороться и она говорит, что выполнит условия Рижского мирного договора и оплатит то, что нужно по этому договору, но Польша тоже сдержит слова написанные в договоре.»; *Партячейкантень эряви кемелгавтомс роботанть беднота ютксо. Штобу беднотась среднякнэнь марто кеместэ туревельть кулакнэнь каршо, пурнамс сынст партиянтъ ды Советнэнь перька ды сплошь коллективизациянь ютавтозь маштомс кулаконь классонть. (ЯТ 15: 1931) «Партячке нужно укрепить работу среди бедноты. Чтобы беднота с середняками крепко боролись против кулаков нужно их собрать вокруг партии и Советов и через сплошную коллективизацию уничтожить кулацкий класс.»; *Непобедимой Сталинской блоконь депутатнэ, конатнень иеде теде икеле кочкинзе советской народось, успешнасто топавтыть народонть наказонзо, блестяще оправдывают народонть довериянзо. (ЭК 284: 1938) «Депутаты непобедимого Сталинского блока, которых в прошлом году избрал советский народ, успешно выполняют наказания народа, блестяще оправдывают доверие народа.»***

Литература

- Луутонен Й. К проблеме вариативности литературных языков // Формирование и развитие литературных языков народов Поволжья: Материалы V Международного симпозиума. – Ижевск: Издательский дом и Удмуртский университет, 2004. – С. 165–181.
- Мордва. Очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа. – Саранск: Морд. кн. изд-во, 2004. – 991 с.
- Очерки по истории формирования мордовских письменно-литературных языков (ранний период). – М.: Наука, 1976. – 259 с.
- Солганик Г.Я. Стилистика публицистической речи / Язык средств массовой информации. Учебное пособие для вузов. – М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2004. – С. 456–467.
- Феоктистов А.П. Истоки мордовской письменности / А.П. Феоктистов. – М.: Наука, 1968. – 99 с.
- Чинь стямо (Восход солнца): газ. – Ульяновск, 1920–1921.
- Эрзянь коммуна (Эрзянская коммуна): газ. – Саранск, 1932–1956.
- Якстере сокиця (Красный пахарь): газ. – Саратов, 1921–1924.
- Якстере теште (Красная звезда): газ. – М., 1921–1931.

Лариса Пономарева
Пермь

ЯВЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО)

I. Общие вопросы

Синонимия (от греч. *synōnymos* – одноименный) (БЭСЯ 2000: 446) свойственна лексической, фразеологической, грамматической, словообразовательной системам и присуща языкам разных типов. Коми-пермяцкий язык в этом отношении не представляет исключения.

Проблема грамматической синонимии в лингвистике не нова, однако в теоретическом плане разработана слабо. Многочисленные исследования по этой теме (Ковтунова 1955; Сухотин 1956; Максимов 1966; Милых 1945, 1979; Гречко 1966 и др.) не привели к созданию единой теории в лингвистике. В научном плане изучение грамматической синонимии до сих пор имеет скорее фрагментарный, эпизодический, нежели системный характер. Вызывается это, прежде всего, тем, что сущность явления и его границы пока еще недостаточно строго определены. Нет четких отграничений грамматических синонимов от смежных явлений – грамматических параллелей, вариантов.

II. История изучения данного явления в коми языкознании

В коми языкознании грамматическая синонимия до настоящего времени не являлась предметом специального исследования. Поэтому вряд ли сегодня можно говорить о четком понимании данного языкового явления в коми лингвистике. В то же время, определенная попытка дать определение этому явлению была сделана коми-зырянскими исследователями. Так, в энциклопедии «Коми язык» при определении данного явления приводится следующая трактовка: «Грамматическая синонимия чаще всего проявляется среди суффиксов слово- и формообразования, иногда среди словоизменительных суффиксов, например, суффиксы глаголов 3-го лица множественного числа *-ӧмны* и *-ӧмаӧсь* (*найӧ мунӧмны* и *найӧ мунӧмаӧсь* ‘они уже ушли’) являются синонимами» (КЯЭ 1998: 426). В этом же издании имеется определение синтаксической синонимии – «наличие общего значения у различных синтаксических построений: *тӧв пуксьӧм бӧрын* ‘после наступления зимы’ / *кор пуксис тӧв* ‘когда наступила зима’ (синонимичны между собой отглагольное существительное с послелогом и придаточное предложение времени)...» (КЯЭ 1998: 427).

Несмотря на отсутствие в коми языкознании специальных исследований по данному вопросу, всё же следует отметить отдельные работы, в которых затрагиваются определенные аспекты этой области. К примеру, в старом вузовском учебнике «Современный коми язык» (СКЯ 1955) констатировалось, что на неполноту качества в предмете могут указывать суффиксы: *-кодъ* (*гӧрдкодъ* ‘чуть красноватый, близкий к красному’) и *-ов(-ӧв)/-оват* (*гӧрдов*

‘красноватый’) (СКЯ 1955: 170). Разные способы обозначения принадлежности предметов в коми-зырянском языке рассматривает в своей статье Г.А. Некрасова (1995а: 67–77).

Подобного характера работы существуют и по коми-пермяцкому языку. О возможных случаях синонимии в парадигмах грамматических категорий коми-пермяцкого падежа упоминается также в работах Г.А. Некрасовой (1995б; 1997; 2002 и др.). Ею, например, замечено, что одно из значений приблизительного падежа — объект относительного соответствия, сходства – может передаваться и посредством послеложной конструкции (*кагаыс вачкисьö айыслань / кагыс вачкисьö айыс **вылö*** ‘ребёнок похож на своего отца’) (Некрасова 2002). А.С. Кривощёковой-Гантман были указаны, к примеру, синтетический (*медбасöк* ‘самый красивый’) и аналитический способы (*медся басöк* ‘самый красивый’) обозначения суперлатива имени прилагательного в коми-пермяцком языке (1956). Р. М. Баталовой в монографии «Коми-пермяцкая диалектология» (1975) указываются разные способы выражения отдельных падежных значений в коми-пермяцких диалектах. Некоторые аспекты синтаксической синонимии находят отражение лишь на практическом уровне в учебнике по родному языку за 7–9 классы, где, к примеру, видим следующего характера задание: упр. 338. (стр. 170): *Кык простöй предложенись перво сувтöтö сложноподчинёной предложениё, сыбöрын союззэзтöм сложной предложениё...* ‘Из двух простых предложений сначала постройте сложноподчинённое предложение, а затем бессоюзное сложное предложение...’ / 1. *Талуння ойсö ме чулöти совсем умöля. Ойбыт дзингисö номмез...*

III. Цель настоящего доклада

В данном выступлении мы попытаемся более полно рассмотреть явление грамматической синонимии на примере грамматических категорий имени существительного в коми-пермяцком языке. При этом специальное внимание будет обращено на условия проявления конкретных синонимических отношений. Показателем наличия явления грамматической синонимии для нас является тождество или сходство грамматических значений различных грамматических форм/конструкций.

В силу вышесказанного наша работа не претендует на полное и безупречное описание данного явления.

IV. Категория лично-притяжательности

Известно, что в коми-пермяцком языке принадлежность предмета тому или иному лицу может обозначаться разными способами:

1) морфологическим, т.е. с помощью притяжательных суффиксов *-ö, -ыт, -ыс, -ным, -ныт, -ныс*, напр.: *керку-ыт*

дом-Px2Sg

2) смешанным (морфолого-синтаксическим), когда обладаемое имеет при себе лично-притяжательный суффикс и относящееся к нему личное или усилительно-личное местоимение:

тэн-ат керку-ыт

ты-Gen дом-Px2Sg

Во многих финно-угорских языках наличие личного местоимения в подобных случаях также возможно, но оно, употребляется, как правило, при логическом подчеркивании, напр.: венг. *az én könyvem* ‘именно моя книга’, *a te házad* ‘именно твой дом’. В коми-пермяцком языке функция местоимений в подобных конструкциях не сводится лишь к логическому подчеркиванию, здесь местоимения служат выражением принадлежности предмета тому или иному лицу, и как будет показано далее (см. след. способ), могут быть единственным показателем, указывающим на принадлежность предмета тому или иному лицу;

3) синтаксическим, когда данное значение выражается посредством относящегося к обладаемому личного или усилительно-личного местоимения:

тэн-ат *керку*
ты-Gen дом-Ø

Исходя из темы доклада, следует задаться вопросом: можно ли говорить о синонимичности этих моделей. Специалисты по грамматической синонимии одним из важнейших критериев проявления синонимии называют взаимозаменяемость параллельных конструкций, моделей. В зависимости от того, в какой степени параллельные образования могут заменять друг друга, принято говорить о полных (абсолютных) синонимах и относительных (частичных), употребление последних зависит от контекста.

Рассмотрим степень и условия взаимозаменяемости указанных выше способов выражения личной принадлежности, например, насколько взаимозаменяемы следующие примеры:

керку-ыт / *тэн-ат* *керку-ыт* / *тэн-ат* *керку*
дом-Px2Sg / ты-Gen дом-Px2Sg / ты-Gen дом-Ø

Материалом для исследования послужили тексты художественных произведений коми-пермяцких авторов, носителей как южнопермяцкого (В. В. Климов), так и севернопермяцкого наречия (С.А. Федосеев). Необходимость рассмотрения материала разных диалектов диктуется отсутствием в литературном коми-пермяцком языке строгих норм употребления тех или иных способов выражения посессивности. Объем проанализированного текста составил 400 страниц по каждому автору.

На основе анализа материала мы пришли к выводу, что проявление того или иного способа выражения личной принадлежности зависит от падежной формы слова-обладаемого:

– при обозначении данного значения с помощью притяжательных суффиксов слово-обладаемое может стоять в любом падеже;

Эг *ешт-ö* *ми мун-ны* *джын* ***туй-ным-öс...*** (И. Минин)

HeNegPraet1Sg успеть-Pl мы идти-Inf половинадорога-Px1Pl-Acc

‘Не успели мы пройти половину нашей дороги...’

– *Сэк* *поди,* *бур-жык* *ло-а-с* *звонит-ны*

– Тогда, может, хороший-Komp быть-Fut-3Sg звонить-Inf

начальник-ныт-лö? (В. Баталов)

начальник-Px2Pl-Dat

‘– Тогда, может, лучше будет позвонить вашему начальнику?’

– выражение этой семантики посредством личного местоимения и соответствующего посессивного суффикса факультативно возможно лишь в двух случаях: если обладаемое представлено в номинативе или в аккузативе, напр.:

V. Категория падежа

В коми-пермяцком литературном языке традиционно выделяется 17 падежей, в диалектах же количество падежей может достигать 28 форм.

В коми-пермяцком языке, как впрочем и в других языках, наблюдается следующая особенность: одно и то же значение может выражаться посредством разных падежных форм или одна и та же лексема может иметь не одно падежное управление. Исходя из нашего понимания грамматической синонимии, мы остановимся на рассмотрении тех значений падежей, которые имеют более чем один способ выражения. При этом на первом месте дается наиболее часто употребляемая, кодифицированная падежная форма, зафиксированная в вузовской грамматике коми-пермяцкого языка (КПЯ 1962).



Примеры из художественных произведений:

А ме вот мый шу-а: часӧт ветл-а-м аванс-ла... (В.Климов)

А я вот что сказать-Praes1Sg сейчас сходить- Praes1Pl аванс-Kauz...

'А вот что скажу: сейчас ходим за авансом...'

...эз копрась-ӧ не маслянка-лӧ, не гӧрд юр-а

...не наклоняться-Praes1Pl ни маслянка-Dat, ни красный голова-Der

тшак-лӧ... (В.Климов).

гриб-Dat...

'...мы не наклонялись ни за маслянками, ни за красноголовиками...'

...вежӧрт-ӧ ни, мый-лӧ ний-ӧ вайӧт-і-с-ӧ... (С. Федосеев).

...понимать-Praes3Sg уже, что-Dat они-Асс привести-Praet-3-PL

'...понимает уже, зачем привели их...'

Статистический анализ

Авторы	Kauz (-ла)	Dat (-лӧ)	мыйлӧ 'зачем'	Всего:
В. Климов ¹⁷	19	1	39	59
С. Федосеев ¹⁸	31	0	29	60
Всего:	50	1	68	119

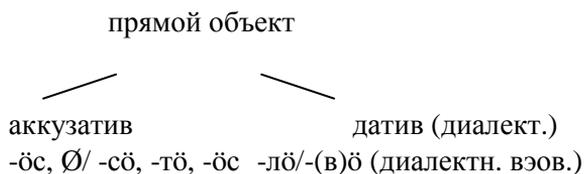
Примеры показывают следующее:

– данная семантика в литературном языке выражается каузативной формой, пример с дативом единичен, и встречаются у В. Климова (носителя южнопермяцкого наречия), что является логичным, поскольку в южных диалектах (в разговорной речи) это значение реализуется дативом;

¹⁷В. Климов – коми-пермяцкий писатель, поэт, фольклорист, носитель южнопермяцкого наречия.

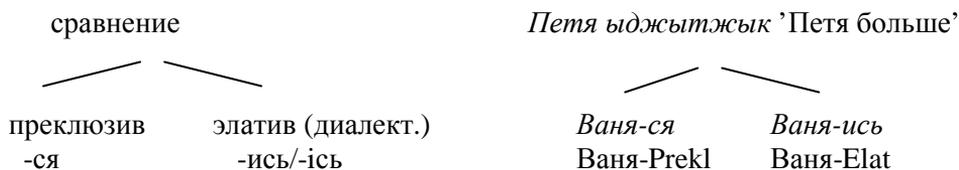
¹⁸С. Федосеев – коми-пермяцкий писатель, представитель севернопермяцкого наречия.

– суффикс датива в указанной семантике проявляется в вопросительном местоимении *мыйлӧ* 'зачем', и встречается как в произведениях В. Климова, так и С. Федосеева, что дает основание говорить о том, что употребление датива в этом значении некогда имело более широкое и частотное распространение;



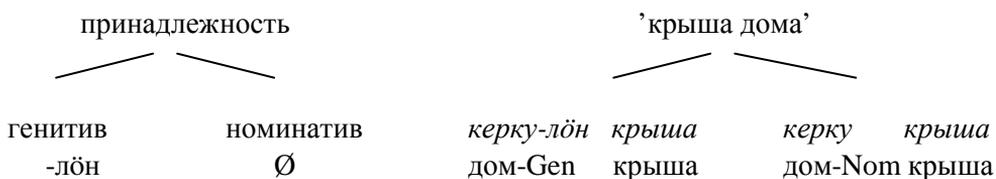
Эта синонимия проявляется факультативно во всех северных диалектах, за исключением мысовско-лупьинского, а также в некоторых южных, напр.:

кп. лит. *Вон-ыт-лӧ* эн жӧ **деньга-сӧ** сет /
 брат-Px2Sg-Dat не же деньги-Асс отдать
 сев. (кроме мыс-луп.) *Вон-ыт-лӧ* эн жӧ **деньга-сӧ** сет или
 брат-Px2Sg-Dat не же деньги-Асс отдать
Вон-ыт-лӧ эн жӧ **деньга-лӧ** сет (Баталова 1975: 141).
 брат-Px2Sg-Dat не же деньги-Dat отдать
 'Брату своему ты ведь деньги не отдал(а) же'



Эта синонимия имеет место лишь в самом северном мысовско-лупьинском диалекте коми-пермяцкого языка, напр.:

пӧрись-жык тэс-ся / *пӧрись-жык тэ-ись* (Баталова 1975: 152)
 старый-Комр ты-Prekl старый-Комр ты-Elat 'старше тебя'



обладаемое в номинативе, напр.:

ӧтӧр-ын кыл-і-с **трактор-лӧн шы** / **трактор** шы.
 Улица-Ines слышаться-Praet-3Sg трактор-Gen звук трактор-Nom звук
 'На улице слышится звук трактора'.

Однако и в указанном случае эти падежные формы не всегда могут быть синонимичными. Отметим случаи, когда в этом значении при отмеченном условии номинатив невозможен, употребляется, как правило, генитивная форма:

– если оба компонента посессивной конструкции являются одушевленными существительными, особенно, если обладатель выражен именем собственным, напр.:

Андрей-лөн зон-ыс ‘сын Андрея’
Андрей-Gen сын-Px3Sg

Катя-лөн мам-ыс ‘мама Кати’
Катя-Gen мама-Px3Sg

При отсутствии в этом случае генитивного показателя функция выражения принадлежностных отношений утрачивается, напр.: *Андрей зоныс* ‘сын по имени Андрей’, *Катя мамыс* ‘мама по имени Катя’;

– если обладаемое имеет при себе определение, напр.:

вөвв-ез-лөн дружнөй тройка ‘дружная тройка лошадей’;
лошадь-Pl-Gen дружная тройка

– если обладатель имеет при себе определение, напр.:

мыччись-ө басөк вичку-лөн юр-ыс
показыватьсяPraes3Sg красивая церковь-Gen голова-Px3Sg
‘показывается голова красивой церкви’;

– если в составе слова, обозначающего обладателя, имеется посессивный суффикс, напр.:

инька-ыс-лөн кынөм-ыс вөл-і өддөөн ни кыз
жена-Px3Sg-Gen живот-Ps3Sg быть-Praet очень уже толстый
‘живот его жены был очень толстым’

Падежная синонимия, проявляющаяся при конкретных лексемах.

боязнь кого-чего-либо			<i>повны</i> ‘бояться’		
элатив	аблатив	делатив	<i>пон-ісь</i>	<i>пон-лісь</i>	<i>пон-сянь</i>
-ись/-ісь	-лісь	-сянь	собака-Elat	собака-AbI	собака-Delat

Примеры из художественной литературы:

Сэк-сянь Верепов пыр пол-і-с немьт-си-с... (В. Климов)
Тогда-Delat Верепов всегда бояться-Praet-3Sg темнота-Elat-Determ
‘С того времени Верепов всегда боялся темноты-то’.

Кин эз төд вөр-сө да пол-і-с сы-лісь... (В.Климов)
Кто неNegPraet3Sg знать лес-Determ и бояться-Praet-3Sg он-AbI
‘Кто не знал леса и боялся его...’

...Таня-ыс тэрмас-и-с, пол-і-с ай-си-с... (С. Федосеев)
...Таня-Determ, спешить-Praet-3Sg, бояться-Praet-3Sg отец-Elat-Px3Sg
‘...Таня спешила, боялась своего отца...’

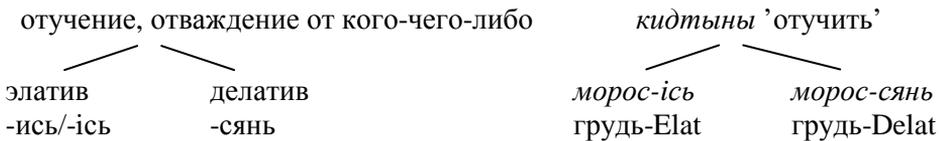
Фима-ӧс умӧл-ик морт-ӧн лыдд-и-с, **нывка-ӓз-сянь**
 Фима-Асс плохой-Demin человек-Instr считать-Praet-3Sg, девушка-Pl-Delat
пол-і-с... (В. Климов).
 бояться-Praet-3Sg...
 'Фиму плохим человеком считала, боялась девушек...'

Статистический анализ

Авторы	<i>повны</i>			Итого:
	'бояться' + Elat	'бояться' + Abl	'бояться' + Delat	
В. Климов	44	14	2	60
С. Федосеев	125	2	3	130
Всего:	169	16	5	190

Примеры показывают следующее:

- в сочетании с глаголом *повны* 'бояться' наиболее часто встречается элативная падежная форма;
- в произведениях В. Климова наблюдается тенденция употребления элативной формы в том случае, если косвенный объект является неодушевленным существительным, аблативом – если косвенный объект одушевленное имя;
- делатив в этом значении наблюдается редко, по всей видимости, это явление можно считать новым в коми-пермяцком языке.



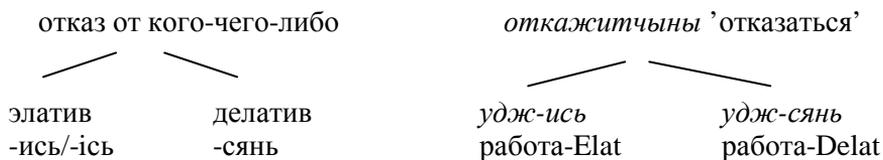
Примеры из художественных произведений:

- Тэн-ӧ разь **кидт-і-с-ӧ** горт-си-т?... (В. Климов)
- Ты-Асс разве отвадить-Praet-3-Pl дом-Elat-Px2Sg....
- 'Тебя разве отвадили из дома?'
- Ті-ян кодъ кӧинн-э-сӧ **вӧр-си-с** кидт-а... (С. Федосеев).
- Вы-Gen подобныйPart волк-Pl-Асс лес-Elat-Determ отвадить-Praes1Sg...
 'Вам подобных волков из леса отважу...'

Статистический анализ

Авторы	<i>кидтыны</i>		Итого:
	'отучить, отвадить' + Elat	'отучить, отвадить' + Delat	
В. Климов	2	0	2
С. Федосеев	3	0	3
Всего:	5	0	5

Примеры показывают, что в художественных произведениях это значение выражается элативом, но в разговорной речи замена элатива делативом вполне реальна.



Примеры из художественных произведений:

Олявка, кóть óнтай **откажитч-и-с** **пывсьём-си-с...** (В. Климов)

Олявка, хоть недавно отказаться-Praet-3Sg парение-Elat-Determ

'Олявка, хоть раньше отказалась париться (букв. от парения)...'

Колó **откажитчы-ны** **сы-сянь (машина-сянь)...** (В. Климов)

Надо отказаться-Inf он-Delat (машина-Delat)...

'Надо отказаться от нее (от машины)...'

Давай-те примит-а-м *постановленнё, что ми колхозникк-ез,*

Давай-Pl принять-Praes-1Pl постановление, что мы, колхозник-Pl,

откажитч-а-м-ö *эта праздник-сянь...* (И. Минин)

отказываться-Praes-1-Pl этот праздник-Delat

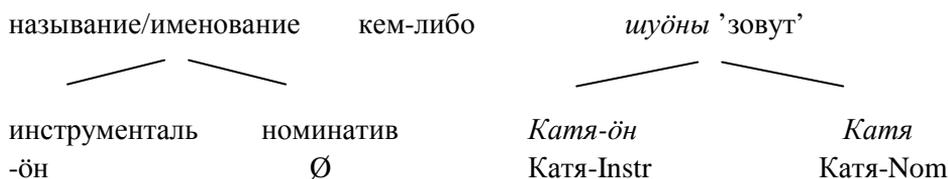
'Давайте примем постановление, что мы, колхозники, отказываемся от этого праздника'.

Статистический анализ

Авторы	<i>откажитчины</i> 'отказаться' + Elat	<i>откажитчины</i> 'отказаться' + Delat	Итого:
В. Климов	1	1	2
С. Федосеев	1	0	1
Всего:	2	1	3

Наши данные показывают следующее:

– обозначение данной семантики с помощью элатива и делатива встречается в произведениях В. Климова, носителя южнопермяцкого наречия, в произведениях С. Федосеева (представителя севернопермяцкого наречия) это значение реализуется посредством элатива, хотя в произведениях других авторов, носителей севернопермяцких диалектов (напр.: И. Минина), примеры с делативом также встречаются;



Примеры из художественных произведений:

Нывка-сö **шу-и-с-ö** **Ирина-өн** (Канюков).

Девушка-Ass звать-Praet-3-Pl Ирина-Instr

'Девушку звали Ириной'.

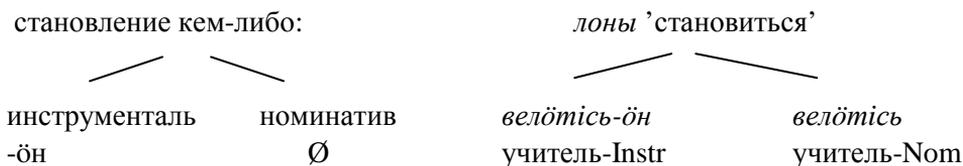
Только *öni* *сий-ö* **шу-ö-ны** *не Маш-у*,
 Только сейчас он-Асс звать-Praes-3Pl не Маша-DeminNom,
а Марья баб (В. Климов).
 а Марья бабушкаNom
 'Только сейчас её зовут не Машенька, а бабушка Марья'.
 Фрол-сö **шу-ö-ны** *тöдись-öн...* (С. Федосеев).
 Фрол-Асс звать-Praes-3Pl знахарь-Instr
 'Фрола называют знахарем...'

Статистический анализ

Авторы	<i>шуöны</i> 'зовут' + Instr	<i>шуöны</i> 'зовут' + Nom	Всего:
В. Климов	34	19	53
С. Федосеев	18	0	18
Всего:	52	19	71

Примеры показывают следующее:

- в произведениях С. Федосеева (представителя севернопермского наречия) в этом значении встречается форма инструментала;
- в произведениях В. Климова (носителя южнопермского наречия) эта семантика выражается как инструментальной формой, так и номинативной, при этом и здесь инструментальная форма преобладает.



Примеры из художественных произведений:

Но пред-на-с *ло-а* – *ме!* (В. Климов).

Но председатель-Instr-Determ *статья-Praes1Sg* – я!

'Но председателем-то стану – я'.

Эд витöт десяток, чожа дед *ло-а...* (В. Климов)

Ведь пятый десяток, скоро дедушкаNom *статья-Praes1Sg*

'Ведь пятидесятый год, скоро дедом стану...'

...а öni *ло-и* *кулакö-ö-öн!* (С. Федосеев)

...а сейчас *статья-Praet1Sg* кулак-Instr!

'...а сейчас стал кулаком'.

Колö я мый-кö понда пессьы-ны, что сосед-ыт-лö *ло-и-н*

Надо ли что-то заPostp бороться-Inf, что сосед-Px2Sg-Dat *статья-Praet-2Sg*

враг? (С. Федосеев).

врагNom

'Нужно ли за что-то бороться, что соседу стал врагом?'

Статистический анализ

Авторы	<i>лоны</i> 'становиться' + Instr	<i>лоны</i> 'становиться' + Nom	Всего:
В. Климов	37	24	61
С. Федосеев	21	19	40
Всего:	58	43	101

Примеры показывают следующее:

– в произведениях В. Климова и С. Федосеева в этом значении встречаются обе падежные формы, однако форма инструментала в произведениях обоих авторов преобладает.



Примеры из художественных произведений:

...*томм-ес горт-ӧ кольчч-ӧ-ны.* (И. Минин)

...молодой-PI дом-IIIat оставаться-Praes-3PI

'...молодые дома остаются'.

Ӧдӧдӧн-жык-сӧ вачкись-ӧ дӧмӧт выл-ӧ: кер-ӧма

Очень-Комп-Асс походить-Praes3Sg запруда наPostp делать-Partic

лысс-эз-ись и колял-ӧма коласс-эз, кытшиӧм-ӧсь дӧмӧт-ын

ветка-PI-Elat и оставлять-Partic щель-PL, какой-PL запруда-Ines

колял-ӧ-ны морда-эз понда (В. Климов)

оставлять-Praes-3PI верша-PI дляPostp

'Больше похожа на запруду: сделана из веток и оставлены щели, какие в запруде оставляют для вершей'.

Статистический анализ

Авторы	<i>кольччыны</i> 'остаться' + IIIat	<i>кольччыны</i> 'остаться' + Ines	Всего:
В. Климов	8	7	15
С. Федосеев	26	5	31
Всего:	34	12	46
	<i>кольны</i> 'оставить' + IIIat	<i>кольны</i> 'оставить' + Ines	
В. Климов	22	1	23
С. Федосеев	23	0	23
Всего:	45	1	46

Примеры показывают следующее:

– в произведениях рассматриваемых писателей в этом значении встречаются обе формы, однако наиболее частотными являются формы иллатива.

продвижение вверх

иллатив
-ö

аккузатив
-Ø/-сö/-тö/-öс

кайны 'подниматься'

керöс-ö
гора-IIIat

керöс-сö
гора-AccPx3Sg

Примеры из художественных произведений:

– Но мужик ... дженыт-жык шагг-ез-өн ни **понд-і-с**
 – Но мужчина ... короткий-Комр шаг-PI-Instr уже стать-Praet-3Sg
кай-ны мед-крут **керöс-ö**... (Федосеев)
 подниматься-Inf Superlat-крутой гора-IIIat
 – 'Но мужчина ... более короткими шагами уже стал подниматься на самую
 крутую гору...'
 ...көр **понд-і-с-ö** **кай-ны** Вольвыл **керöс-сö**... (Федосеев)
 ...когда стать-Praet-3-PI подниматься-Inf Вольвыл гора-Acc
 '... когда стали подниматься в гору Вольвыл, опять стали остывать'.

В употреблении этих надежей имеется некоторая разница: в аккузативной форме проявляется выражение целостности предмета, чего не наблюдается в иллативе.

причина

делатив элатив
-сянь -ись/-ісь

датив (диалектн.)
-лö

инструменталь (диалектн.)
- öн

кувны 'умереть'

тшыг-сянь
голод-Delat

тшыг-ись
голод-Elat

тшыг-ла
голод-Dat

тшыг-өн
голод-Instr

Примеры из художественных произведений:

...көда **кул-і-с** горт-ын оссь-öм фронтовöй
 ...который умереть-Praet-3Sg дом-Ines открыться-Partic фронтовой
рана-эз-сянь (В. Климов)
 рана-PI-Delat
 '...который умер дома от открывшихся фронтовых ран'.
Мый-ись вартл-ö-ны ницöй-сö?
 Что-Elat бить-Praes-3PI нищий-Acc
 'Из-за чего бьют нищего?'

Диалектные примеры:

сев. **жар-ыс-лӧ** *гаг-ыс* **сӕй-ӧ** (Баталова 1975: 147)

жар-Determ-Dat червь-Determ есть-Praes3Sg

'из-за жары червь съедает'

коч. **ток-ӧн** *кул-і-с* (Баталова 1975: 151)

ток-Instr умереть-Praet-3Sg

'от тока умер'

Статистический анализ

Авторы	Delat	Elat	Всего:
В. Климов	208	2	210
С. Федосеев	94	4	98
Всего:	302	6	308

Примеры показывают:

– значение причины в подавляющем большинстве случаев выражается посредством делатива, форма элатива встречается редко, а датив и инструменталь в этом значении выступают факультативно только в северных диалектах.

работать в качестве кого-чего (профессия, должность) *уджавны* 'работать'

инструменталь инессив (диалектн.) *бригадир-ӧн* *бригадир-ын*
 -ӧн -ын бригадир-Instr бригадир-Ines

Примеры из художественных произведений:

...сы-лӧн *тётка, ай-ыс-лӧн* *сой,* **врач-ӧн** *сэтчин*

он-Gen тетка, отец-Px3Sg-Gen сестра, врач-Instr там

уджал-ӧ... (В.Климов)

работать-Praes3Sg

'...его тётя, сестра его отца, врачом там работает....'

Эд ме, зонка, колхоз-ын плотник-ӧн уджал-і. (И. Минин)

Ведь я, парень, колхоз-Inesплотник-Instr работать-Praet1Sg

'Я ведь, парень, в колхозе плотником работал'.

Диалектные примеры:

сев. коч. **тракториска-ын** **уджал-ӧ** (Баталова 1975: 150)

трактористка-Ines работать-Praes3Sg

'работает трактористкой'

южн. от. **доярка-ын** **о-а** (Баталова 1975: 151)

доярка-Ines жить-Praes1Sg

'работаю дояркой/букв. живу дояркой'

Примеры показывают, что указанное значение в литературном языке выражается посредством инструментального, в диалектах же возможен и инессив.

предел по вертикали

шорын ваыс 'в реке вода'

терминатив I
-ödз

терминатив II
-ви

pidзöc-ödз
колено-Term I

pidзöc-ви
колено-Term II

Примеры из художественных произведений:

Минута дырна *Андрей чуть не pidзöc-ви* *сулал-i-c*
Минута примерноPostp Андрей чуть не колено-TermII стоять-Praet-3Sg
нять-ын (В.Баталов).

грязь-Ines

'Примерно минуту Андрей стоял чуть не до колен в грязи'.

Кузьма-лөн *выл-а-с* *вёл-i* *умоль* *паськõм-ыс:*
Кузьма-Gen себя-Ines-Px3Sg быть-Praet3Sg плохой одежда-Px3Sg:
дõраовõй *быр-õм* *вешьян* **pidзöc-ödз** *катть-õм*
холщовый изнашивается-Partic штаны, колено-TermI замотать-Partic
сер-а *нямõтт-эз...* (В. Баталов)

узор-Deriv онуча-PL

'У Кузьмы на себе была плохая одежда: холщовые изношенные штаны, до колен замотанные с узором онучи...'

Статистический анализ

Авторы	TermI (-ви)	TermII (-ödз)	Всего:
В. Климов	20	3	23
С. Федосеев	5	3	8
Всего:	25	6	31

Примеры показывают:

– в данном значении в произведениях рассматриваемых авторов встречаются обе формы, однако наиболее частотным является терминатив на *-ви*.

Вывод: Таким образом, синонимический ряд в подавляющем большинстве случаев представлен двумя составляющими. По одному примеру зафиксированы случаи выражения грамматического значения 3 падежными формами и 4-мя. Имеют место абсолютные синонимичные падежные формы, проявляющиеся при выражении установленного конкретного значения, а также синонимичные падежи, различающиеся частотностью, стилем, диалектным употреблением.

Общий вывод: Таким образом, мы рассмотрели некоторые моменты проявления грамматической синонимии в коми-пермяцком языке на примере грамматических категорий имени существительного: были представлены возможные синонимичные модели, выделены их значения и указаны условия существования данных синонимических отношений. Разумеется, мы не претендовали здесь на полное и безупречное описание этого явления в коми-пермяцком языке. Новые исследования по данной теме несомненно внесут определенные корректировки и дополнения к представленной здесь точке

зрения. Скажем, совершенно не затронутым остается вопрос о причинах возникновения грамматической синонимии, что собственно и может стать предметом дальнейших изысканий в этом направлении.

Сокращенные названия грамматических показателей:

Abl – аблатив	Komp – компаратив
Acc – аккузатив	Nom – номинатив
Dat – датив	Neg – негативный элемент
Delat – делатив	Part – партикула
Demin – деминутивный суффикс	Partic – партицип
Der – деривационный суффикс	Pl – множественное число
Determ – детерминативный суффикс	Post – постпозиция
Fut – футурум	Praes – презенс
Gen – генитив	Praet – претерит I прошедшее время
Elat – элатив	Prekl – преклюзив
III – иллатив	Px – посессивный суффикс
Ines – инессив	Sg – единственное число
Inf – инфинитив	Superlat – суперлатив
Instr – инструменталь	TermI – терминативI
Kauz – каузатив	TermII – терминативII

Сокращенные названия наречий, диалектов и говоров коми-пермяцкого языка: коч. – кочевский диалект; мыс-луп. – мысовско-лупьинский диалект; сев. – северное наречие; южн. от. – отевский говор южного наречия.

Литература

- Баталова Р.М. Коми-пермяцкая диалектология. М., 1975. 251 с.
- БЭСЯ – Большой энциклопедический словарь. Языкознание // Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 2000. 683 с.
- Гречко В.А. Однокоренные синонимы и варианты слов // Очерки по синонимике СРЛЯ. М. –Л., 1966.
- Ковтунова И.И. О синтаксической синонимии // Вопросы культуры речи. Ч. 1. М., 1955.
- Коми-пермяцкӧй кыв. VII–IX классез понда учебник / Ботева Е.В., Бражкина Н.Е., Галкина М.Е., Кривощекова-Гантман А.С., Порсева Э.И. Кудымкар, 1992. 237 с.
- Кривощекова-Гантман А.С. К вопросу о категории имён прилагательных в коми-пермяцком языке // В помощь учителю. Кудымкар, 1956. С. 28–47.
- КЯЭ 1998 – Коми язык: Энциклопедия / Мин-во образ. и высш. школы РК; РАН. УрО. Коми НЦ. Ин-т ЯЛИ. М.: ДИК, 1998. 608 с.
- Максимов Л.Ю. О грамматической синонимии в русском языке // РЯНШ. 1966. № 2. С. 3–12.
- Милых М.К. Вопросы грамматической стилистики. К синонимике частей речи // Русское языковедение. Ростов-на-Дону. Вып. 1. 1945.

- Милых М.К. Грамматические синонимы и принципы их выделения // Известия Северо-Кавказского научного Центра высшей школы. Ростов-на-Дону, 1979. № 1.
- Некрасова 1995а – Некрасова Г.А. Функционально-семантические особенности средств выражения посессивности в современном коми языке // Грамматика и лексикология коми языка / Отв. ред. Г. В. Федюнёва. Сыктывкар, 1995. С. 67–77.
- Некрасова 1995б – Некрасова Г.А. Функциональное развитие присубстантивного генитива в финно-пермских языках // Научные доклады КНЦ УрО РАН. Вып. 363. Сыктывкар, 1995. 24 с.
- Некрасова Г.А. Инструменталь (творительный падеж) в пермских языках // Научные доклады. Серия препринтов. Вып. 388. Сыктывкар, 1997.
- Некрасова Г.А. Система L-овых падежей в пермских языках: происхождение и семантика. Сыктывкар, 2002. 168 с.
- СКЯ 1955 – Современный коми язык. Ч. 1. Фонетика, лексика, морфология / Под ред. проф. В.И. Лыткина. Сыктывкар, 1955. 312 с.
- Сухотин В.П. Синтаксическая синонимика в современном русском литературном языке. Глагольные словосочетания. М., 1960. 68 с.

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ КНИГ НА ВОЛЖСКО-ПЕРМСКИХ ЯЗЫКАХ, ИЗДАНЫХ В ДООКТЯБРЬСКОЕ ВРЕМЯ

До 1917 года на финно-угорских языках России издано немалое количество книг. По описаниям «Сводного каталога книг на финно-угорских языках, изданных до 1917 года» (СПб., 1997)¹⁹ самое большое количество книг было издано на марийском языке, их насчитывается до 213 названий.²⁰ Далее в убывающем порядке идут: удмуртский язык – 164, коми – 43, мордовский – 42 (по нашим подсчетам в «Сводном каталоге» дано всего 36 наименований), карельский – 20, хантыйский – 6, саамский – 3, мансийский – 1. Каталог включает библиографические записи около 500 названий книг на 8 языках (см. Сводный каталог 1997:7–8). Что касается марийского языка, то в течение 142 лет (с выхода первой марийской грамматики 1775 г. до 1917 г.) в среднем ежегодно выходило по 1,05 книг. Количество изданий колеблется в диапазоне от 1 в 1808, 1832, 1837, 1841, 1858 гг. и др., до 19 в 1892 г., 17 в 1913, 1915 гг., 16 в 1908, 1914 гг., 12 в 1909 г., 9 в 1898 г., 8 в 1911 г., 7 в 1907 г., 5 в 1873, 1887, 1899, 1906, 1916 гг., 4 в 1905 г., 3 в 1882, 1884, 1885, 1891, 1897, 1902, 1912 гг., 2 в 1821, 1879, 1893 гг.

Книги на марийском языке издавались на трех наречиях. Первая книга на луговомарийском диалекте (если не считать первой марийской грамматики 1775 г.) издана в 1808 году, она называется «Краткий катехизис, переведенный на черемисский язык с наблюдением российского и черемисского просторечия для удобнейшего назначения оногo, восприявшим стое крещение», является двуязычной, где наряду с марийским текстом параллельно представлен и русский текст. Она опубликована в Московской синодальной типографии.²¹ Вторая книга на луговом наречии появилась в свет через 33 года под названием «Начатки христианского учения или Краткая Священная история и Краткий катехизис, на черемисский язык лугового наречия, переведенные в Казани 1839 года» (1841). А первая книга на горномарийском наречии датируется 1821 годом, когда были переведены два Евангелия. Одна из них называется «Мя Осподьянъ Иисусъ Христосанъ святой Евангеля Лука-гыць марла сирьямьшешъ вазактэма»

¹⁹И в дальнейшем, характеризуя книг на волжско-пермских языках, мы будем опираться на этот источник.

²⁰К сожалению, до настоящего времени известны не все книги, изданные на марийском языке. По мнению И.Г. Иванова «до революции на марийском языке было издано около 270 названий книг» (Иванов 1995: 6).

²¹По данным И.Г. Иванова первая книга на марийском языке издана в 1804 году, она называется «Сокращенный катихизис с присовокуплением некоторых молитв, символа веры и 10 заповедей на русском и черемисском языках». «Перевод был подготовлен в двух вариантах. Он готовился в Вятке, другой – в Казани. Переводчиками были священнослужители. Опубликован казанский вариант, язык его луговой. Книга вышла тиражом в 600 экземпляров. В настоящее время она нигде не сохранилась, по крайней мере данных об этом нигде нет» (Иванов 1995: 4, также см. Иванов 2003: 61).

(СПб) («Господа нашего Иисуса Христа святое Евангелие от Луки»), другая – «Мя Осподьнанъ Иисус Христосанъ святой Евангелья Матфей-гыць, Марко-гыць, Лука-гыць, Иоаннъ-гыцать марла сирьямьшешъ вазактэма» (СПб) («Господа нашего Иисуса Христа святое Евангелие от Матфея, Марки, Луки и Иоанна»), изданное Российским Библейским обществом в Санкт-Петербурге (Завод Н. Греча). Через 11 лет в типографии Казанского университета напечатаны «Начатки христианского учения или Краткая Священная история и Краткий катехизис: На черемисском языке горного наречия с присовокуплением кратких правил для чтения» (К., 1832). Появление книг на восточномарийском наречии связано с именем великого знатока волжско-пермских языков профессора Н.И. Ильминского. Он же вел и термин «восточное наречие». Итак, первая книга на восточном наречии марийского языка опубликована в 1879 г. под названием «Краткий катехизис: На восточночеремисском наречии» и в этом же году появилась в свет «Священная история Ветхого Завета: На восточночеремисском наречии», изданная Православным миссионерским обществом в Типографии Императорского университета г. Казани. Спустя 8 лет вышел в свет «Букварь для восточных черемис» (К., 1887). Итого на луговом наречии марийского языка вышло в свет около 158 книг, на восточном наречии – 31 издание и горном наречии – 17. В трех названиях имеется ссылка на восточное и луговое наречия марийского языка.

На марийском языке до образования Переводческой комиссии при Братстве святителя Гурия издано 8 книг (1775–1858 гг.), 205 наименований (с 1870 по 1917 гг.) были опубликованы после Переводческой комиссии. С выхода в свет «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка» (СПб., 1775) до 1917 года (дооктябрьское время) опубликована 201 книга на разных диалектах марийского языка, тогда как в 1917 году остается 13 наименований. Что касается столетия, то можно констатировать следующее: в XVIII веке издана одна книга, в XIX веке – 75 книг, а XX столетию (до 1917 г.) относится 137 названий, т.е. в течение 17 лет изданы почти два раза больше, чем в предыдущие вместе взятые два века.

География публикации книг на марийском языке довольно обширная. Самым часто издаваемым городом была «столица Поволжья, Урала и Сибири» Казань. В Казани в разных типографиях напечатано около 200 книг. По частотности ведущее место занимала Казанская центральная типография. Издателями явились, как «Уфимский комитет Православного миссионерского общества», «Вятское миссионерское общество», «Пермское губернское земство», «Православное миссионерское общество», «Братство св. Гурия» и нек. др. В этих издательствах опубликовано около 107 книг. По праву второе место принадлежит типографии Казанского университета, из его станков вышли 69 наименований под грифом «Тип. Импер. ун-та», «Унив. тип.», «Тип. Казан. ун-та», «Тип. ун-та», «Типолит. Импер. ун-та», «Православ. миссион. о-во: Типолит. Импер. ун-та», «Мироносиц. пустынь: Типолит. Императ. ун-та». Кроме государственных марийские книги издавались в частных типографиях, из них более известной была типография В.М. Ключникова, где опубликованы 25 книг; далее в последовательно убывающей степени по количеству изданных идут типографии М.А. Гладышевой (4 названий), И.В. Ермолаевой (3), М.А. Чирковой и Коковиной (инициалы не указаны. – О.С.) – по две. Список частных

типографии замыкают «литотипографии» И.Н. Харитонова и Н.М. Чижовой, где опубликовано по одной книге. Итого в частных типографиях Казани вышли в свет 38 наименований.

В Вятке в губернской типографии (также см. «Уржумское уездное земство») и «Печатне Красовского» напечатаны 7 марийских книг. Из центральных типографий можно указать на издательства Российского Библейского общества (Санкт-Петербург – 2 наименования) и «Императорской Академии наук» (1-ая марийская грамматика). Одна книга издана в Синодальной типографии г. Москвы, которая является первой типографией, где напечатана марийская книга.

Переводческая церковно-богослужебная литература главным образом издавалась на средства Православного миссионерского общества и переводческой комиссии Братства св. Гурия. Отдельные книги изданы на частные средства, к таким можно отнести, например, книгу «Молебны: пресвятой Богородице, святителю чудотворцу Николаю и св. великомученику Пантелеймону: На черем. яз.», которая напечатана в Казани «на средства священника Ф. Егорова и М. Зверева» в 1913 г. Типографии строго следили эстетику книгоиздания. Не случайно «Букварю для начального обучения черемисских детей русской грамоте» (Вятка, 1873), напечатанный в частной «Печатне Красовского», на Московской Политехнической выставке 1872 г. присуждена Большая серебряная медаль за образцы книжного печатания (Из собрания 1995: 10).

По содержанию марийские книги дооктябрьского периода можно классифицировать на следующие тематические группы. Одно из ведущих мест занимает христианско-просветительская литература, она по нашим статистическим данным насчитывается до 115 наименований. Сюда относятся канонические ветхозаветные книги и новозаветные Евангелия, Послания и Деяния апостолов, а также неканонические священные истории, требники, сборники молитв, служебники, учебники закона Божия, жития, поучения, проповеди, беседы (более 30 наименований) и другая религиозная и религиозно-светская литература (около 80). Итого 113 названий, т.е. они составляют более 50% всех изданий дооктябрьского времени.

Следующее доминирующее место по количеству издания принадлежат учебникам и учебным пособиям. Их насчитывается около 34 единиц. Только в течение двух предшествующих веков подготовлено и издано 18 букварей для марийского населения. Из авторов можно указать на такие фамилии, как марийские просветители Г.Я. Яковлев, П.П. Глезденев, В.М. Васильев, Г.Г. Кармазин. К сожалению, многие буквари анонимные.

Немало книг связано с социально-политическими, социально-нравственными и социально-экономическими направлениями, их зафиксировано более 20 наименований. Среди них преобладает социально-нравственная литература (13 книг). Немало внимания уделено и художественно-публицистической литературе. Среди них особо нужно отметить семь номеров марийских календарей («Марла календарь»), которые выходили с 1907 по 1913 гг. Именно на страницах «Марла календарей» зарождается художественный стиль марийского языка. Шесть сборников посвящены устному народному творчеству марийского народа. Заслуживает внимания книги, затрагивающие медицинскую

тему, их издано около 17. По тематике они направлены на борьбу с чумой, оспой, холерой, трахомой и с другими распространившимися болезнями того времени.

Из 213 наименований, зафиксированные в «Сводном каталоге» наличествует 9 книг, которые относятся к научной и научно-популярной тематике. Это три грамматики марийского языка («Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка». – СПб., 1775. – 113 с.; «Черемисская грамматика» А. Альбинского. – К., 1837. – 248 с.; «Пособие к изучению черемисского языка на луговом наречии» Ф. Васильева. – К., 1887. – 112+65 с.; интервал между первой и второй, второй и третьей грамматикой марийского языка 62 и 50 лет), три двуязычных переводных словарей («Черемисско-русский словарь» В.П. Троицкого. – К., 1895. – 87 с. – первый марийский словарь, изданный в России; «Черемисско-русский словарь: Пособие при изучении черемисского языка» В.М. Васильева. – К., 1911. – 27 с.; «Славяно-черемисский словарь: Пособие при чтении св. Евангелия и псалтири». – К., 1913. – 171 с.) и три книги («Религиозные обряды черемис» марийского просветителя Г. Яковлева. – К., 1887. – 87 с.; «Исследования о наречиях черемисского языка» эстонского профессора М. Веске. – К., 1889. – 50 с.; «Русские предлоги и наречия в значении предлогов: Пособие для учителей при ведении разговорных уроков по рус. яз. в нач. школах среди вост. и луг. черемис». – К., 1909. – 66 с.).

Следует констатировать то, что составители и переводчики по возможности старались улучшить качество переводимого текста. Не случайно отдельные церковно-богослужебные литературы из года в год постоянно совершенствовались и корректировались. Это особо можно сказать о книге «Рассказы из Священной истории Ветхого Завета: На луговом наречии черемисского языка», которая в течение 19 лет с 1893 (100 с.) по 1912 гг. (76+3 с.: ил.) выдержала 6 изданий. «Молитвослов на черемисском языке» также переиздан пять раз. Исправлению и новой публикации подверглись также учебники и учебные пособия, в частности, буквари. Например, «Букварь для луговых черемис» с 1873 по 1900 гг. переиздан 4 раза, а «Букварь для восточных черемис» выдержал три издания (1887–1905 гг.). Исправления носили как лингвистический, так и содержательно-фактический характер.

Как было отмечено, в дореволюционное время книги на марийском языке издавались в трех диалектах. В первую пору на книгах не были указания на диалекты, а употреблялось лишь словосочетание «на черем. языке». Первая книга с указанием на диалект вышла в 1832 году с пометой «на черемис. яз. горного наречия», а отметка «на черем. язык лугового наречия» относится 1841 году. Не исключено, что одной из причин включения диалектного указателя был перевод одной и той же книги под названием «Начатки христианского учения или Краткая Священная история и Краткий катехизис» (ср. объем книги 1832: 170 с., 1841:3+163+1 с.).

Из 213 названий марийских книг, включенных в «Сводный каталог» 1997 года, только 76 наименований имеются в отделах редких книг краеведческой и национальной литературы Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна (см. Из собрания 1995). Из них 71 книга напечатана в Казани, родиной трех наименований является Санкт-Петербург. По одной книге имеют московскую и «вятскую» прописки. Локальную основу 58 источников составляет луговое наречие марийского языка, 11 источников – восточное наречие, а в основу 6

наименований легли особенности горного наречия марийского языка. По содержанию преобладает религиозно-миссионерская литература (33 книг), далее идут книги просветительского характера (13), художественно-публицистические (12), научные и научно-популярные (8), социально-политические (6) и книги медицинского содержания (4).

По данным «Сводного каталога книг на финно-угорских языках, изданных до 1917 года» (СПб., 1997: 54–75) по изданию книг на родных языках второе место принадлежит удмуртскому языку. В него включено (с 1775 г. по 1917 г.) 164 книг.²² Самым плодотворным годом является 1913 г., когда напечатаны 16 наименований. Количеством издания книг отличаются 1907 и 1916 гг., где соответственно вышли в свет по 13 и 12 названий. Книги на удмуртском языке издавались в разных географических зонах. Одним из главенствующим центром считалась г. Казань. В типографиях Казани издано около 140 книг разного содержания. Вторым часто издающим городом была Вятка, где в основном печатались книги на северном наречии удмуртского языка, их насчитывается 20 наименований. Две книги (1-ая удмуртская грамматика 1775 г. и «Зырянско-немецкий и вотяцко-немецкий словарь» Ф.Й. Видемана (1880)) нашли прописку в Санкт-Петербурге. «Господа нашего Иисуса Христа святое Евангелие от Матфея на вотяцком языке» («Милям Господьмы Иисус Христослэн дзэць йыворэз Матфей гоштэм дзэць йывор удмурт кылын» (1882)) издано в Гельсингфорсе. Литература на удмуртском языке издавалась на четырех диалектах. Во многих книгах переводчики / авторы пользовались сочетанием слов «на вотском языке», таких насчитывается более 120 наименований. На отдельных названиях кроме языка в скобках отмечен диалект, например, помета «вотск. (глаз.)» (глазовский диалект вотского языка, совр. – северный диалект удмуртского языка. – О.С.) имеется в 17 памятниках XIX – нач. XX веков; «вотск. (сарап.)» (сарапупский диалект вотского языка, совр. – срединный говор удмуртского языка. – О.С.) – в 3 источниках; «вотск. (елаб.)» (елабужский говор вотского языка – совр. периферийно-южный говор удмуртского языка. – О.С.) – в 2 названиях и помета «вотск. (каз.)» (казанский диалект вотского языка – совр. периферийно-южный говор удмуртского языка. – О.С.) в одной книге.

²²По предварительным данным, до революции было издано на удмуртском языке, по мнению Ф.К. Ермакова (1976: 83) свыше 200 наименований. Такого же мнения и М.Г. Атаманов, касаясь этой темы, он пишет: «До Октябрьской революции 1917 г. На удмуртском языке было выпущено более 200 названий книг, брошюр, методический пособий, значительная часть которых составляла богослужебная, религиозно-духовная литература...» (Атаманов 2009: 94). А по данным Б.И. Каракулова (1997: 42, 2009: 170) – около 400 книг и брошюр различных жанров (см. также Кельмаков 2002: 22). В последующую свою монографию Б.И. Каракулов включил «Каталог дореволюционных книг и рукописей на удмуртском языке» (2006: 114–200). Как видно из оглавления, в список удмуртских памятников письменности вошли не только книги, изданные на родном языке, но и рукописные материалы. В то же время по справедливому замечанию Б.И. Каракулова «в Каталог попала литература самого различного характера: это может быть книги, изданные на любом языке, но содержащиеся значительное количество удмуртского материала. Сюда же попала литература, составленная в дооктябрьский период, но изданная позднее» (Каракулов 2006: 116).

Дореволюционные памятники письменности удмуртского языка, приводимые в «Сводном каталоге» представляют собой литературу самых различных жаров. Более половины процентов составляют тексты религиозно-просветительского содержания, среди них доминируют переводы Евангелии (4), «Священной истории Ветхого и Нового Завета» (3), требники (3), «сокращенные молитвословы» (2) и разные нравственно-дидактические, агиографические («жития святых») книги (около 90 наименований). Немало книг были подготовлены и выпущены на социально-политические, социально-моральные и медицинские темы, их около 40. Среди дореволюционных книг важное место отводится букварям, хрестоматиям, книгам для чтения, фольклорным произведениям. Количество их достигает до 20, по частотности ведущее место занимает букварь (10 названий). Из грамматик можно отметить «Сочинения, принадлежащие к грамматике вотского языка» (СПб., 1775), которые как и все книги дооктябрьского периода написаны на разнодиалектных материалах удмуртского языка. В период с 1880 по 1897 гг. изданы три лексикографических произведения: это «Зырянско-немецкий и вотяцко-немецкий словарь» академика из Эстонии Ф.Й. Видемана (СПб., 1880. – XIV+692 с.), вышедший на немецком языке, «Краткий славяно-вотский словарь: Пособие к чтению церковнослав. текста Нового Завета» (К., 1892. – 70 с.) и «Краткий славяно-вотский словарь: Пособие к чтению и пониманию церковнослав. текста Нового Завета: (Опыт): Для казанских вотяков» (К., 1897. – II+86 с.).

Что касается коми языка, то в «Сводный каталог» (СПб., 1997:12-20) включен 43 единиц опубликованных памятников письменности.²³ Самое большое количество книг издано в 1899 году, счет их достигает до 7, далее колеблется в диапазоне от 4 (например, 1900 г.) до 1. Книги до 1917 года на коми языке издавались в разных городах. Самое большое количество памятников были опубликованы в Санкт-Петербурге (19 наименований), далее в убывающей последовательности следуют города Казань (около 14), Усть-Сысольск (3), Архангельск (2), Вологда (2) и Великий Устюг (1). Из 43 источников около 26 относятся к богатству коми-зырянского языка, а 15 – коми-пермяцкого. 9 книг опубликовано до образования Переводческой комиссии св. Гурия. Как и у других финно-угорских языков России преобладает христианско-миссионерская литература (около 20). Это, например, Священные Евангелии, молитвы, разного рода жития, литургии, псалтыри, молитвословы, проповеди. Учебники, учебно-методические пособия по коми и русскому языкам для коми, переводные научно-популярные, просветительские и другие издания доходят до 24, из них 3 азбуки и 3 букваря. Особо следует выделить «Зырянскую грамматику» А. Флерова (СПб., 1813) и четыре переводных словарей, это: «Зырянско-русский и русско-зырянский словарь» П. Савваитова (СПб., 1850), «Пермяцко-русский и русско-

²³ По Г.Г. Бараксанову в XIX – нач. XX вв. на коми языке и о коми языке было издано достаточно большое количество литературы. Это «словари – 10, грамматики – 9, учебная литература – 4, публикации из коми устного народного творчества – 5, переводная литература (наставления медицинского характера – 5, переводы государственных актов – 4, литература в духе официальной народности – 6), религиозная литература – 24 и художественная литература» (Бараксанов 1992: 43–47). В.М. Лудыковой дана около 47 источников (см. Лудыкова 2007: 32–47).

пермяцкий словарь» Н.А. Рогова (СПб., 1869), «Зырянско-немецкий и вотяцко-немецкий словарь» Ф.Й. Видемана (СПб., 1880) и «Русско-зырянский словарь» А.А. Цембера (Усть-Сысольск, 1910).

По скупулезным исследованиям великолепного знатока мордовских письменно-литературных языков А.П. Феоктистова «на эрзянском и мокшанском языках (до 1917 года) было издано не менее полсотни отдельных названий мордовских книг» (Феоктистов 1976: 158). Как констатирует Э.К. Сагидова (1997: 8) в «Сводный каталог» (1997:48–54) включены 42 названия мордовских памятников XIX – нач. XX вв., а по нашим статистическим данным их всего 36. Из них 3 источника изданы в начале XX столетия (1901, 1908, 1910), а остальные опубликованы в XIX веке (с 1820 по 1899 гг.). Три памятника вышли в свет до образования Переводческой комиссии (1820, 1821, 1838 гг.), 33 книг – после Переводческой комиссии св. Гурия. Книги издавались в Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Пензе и Гельсингфорсе. Большинство книг напечатаны в «Типографии Губернского правления» и в «Типографии Императорского университета» г. Казани, из частных доминирует типография В.М. Ключникова. В Санкт-Петербурге вышли в свет переводы «Священной истории ...» (1820) и два «Евангелия» (1821). По одному названию мордовские памятники письменности изданы в Москве («Мордовская грамматика» проф., магистра Тамбовской семинарии П. Орнатова, 1838 г.), в Пензе («Русско-мордовский словарь: Мокша-эрзянское наречие» учителя Н. Гаврилова, 1899 г.) и в Гельсингфорсе («От Иоанна святое Евангелие: На центр. мокш. наречии мордовского языка» священника Н. Барсова, 1901 г.). Самое большое количество опубликованных книг относится 1897 году (5 наименований), далее следуют 1892 г. (4), 1882, 1891 гг. (по 3), 1821, 1884, 1894 гг. (по 2 источника). С указанием «эрзянское наречие мордовского языка» или «мордва-эрзя» в «Сводном каталоге» зарегистрировано около 20 памятников дооктябрьского времени, с надписью «мокшанское наречие мордовского языка» или «мордва-мокша» наличествует 11 источников. Словарные статьи переводного «Русско-мордовского словаря» Н. Гаврилова составляют лексические особенности «мокшанского и эрзянского наречия». В двух названиях (1820 г. и 1910 г., в каталоге по хронологическому порядку один начинает, другой завершает) фиксируется «на мордовском языке».

Книги дооктябрьского периода на мордовских языках можно классифицировать на следующие тематические группы:

1) переводная миссионерско-христианская литература (более 20 наименований). Среди них можно отметить такие переводы, как «Святое Евангелие» (10), «Священная история ...» (5), «Крещение Руси» (2), «молитвословы и церковные песнопения» (2), «молитвословы и пасхальные ирмосы» (1) и некоторые другие;

2) учебники и учебно-методические пособия (9 названий). Только в течение 13 лет изданы 5 букварей (1884, 1892, 1892, 1894, 1897 гг.); из них 3 на эрзянском, 2 на мокшанском языках;

3) литература, связанная с социально-политическими, медицинскими направлениям (2);

4) из научно-популярных серий нужно отметить мокшанскую грамматику П. Орнатова и русско-мокшанско-эрзянский словарь Н. Гаврилова;

5) произведения устного народного творчества. В Казани Православным миссионерским обществом изданы «Образцы мордовской народной словесности», состоящие из двух частей: «Песни на эрзянском и некоторые на мокшанском наречии» (В. I. 1882. – 231+1 с.) и «Сказки и загадки на эрзянском наречии мордовского языка с русским переводом» (В. II. – 1883. – 308+IV с.), а в «типолитографии Императорского университета» опубликованы «Образцы мордовской народной словесности» (Вып. 1: Мокшанские песни. – 1896. – 32 с.). С мокшанским текстом параллельно дан русскоязычный текст.

Итак, в «Сводном каталоге» на волжско-пермских языках дооктябрьского времени зафиксировано около 455 наименований. Они издавались в разных типографиях, как государственных, так и в частных. Одно из ведущих мест занимала Казань, которая считалась одним из крупнейших центров отечественного книгопечатания. Книги печатались на разных диалектах. Из 455 памятников письменности в XVIII веке вышли в свет две книги (грамматики марийского и удмуртского языков), в XIX столетии изданы 184 наименований, а в XX веке в течение 17 лет опубликовано 268 книг различного содержания на марийском, удмуртском, коми, мордовских (эрзянском и мокшанском) языках. Из них 436 памятников изданы до 1916 года, а 19 – в 1917 году. 25 источников выпущены до образования Переводческой комиссии при Братстве святителя Гурия, а 431 названий является продуктом ее деятельности.

Печатные памятники письменности являются ценнейшими источниковедческими базами при изучении истории языка, истории книги и литературы финно-угорских народов на их родных языках.

Литература

- Атаманов 2009 – Атаманов М.Г. Заимствованная лексика в удмуртских переводах Евангелия от Марка // Пермистика 10: Вопросы пермской и финно-угорской филологии: Материалы X Международного симпозиума «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками» (24–25 марта 2004 г., Ижевск) / Удм. гос. ун-т. Кафедра общего и финно-угорского языкознания. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009. – С. 93–101.
- Бараксанов 1992 – Бараксанов Г.Г. Коми литературный язык XIX – начала XX вв. // Festschrift für Károly Rédei zum 60. Geburtstag / Herausgegeben von Pál Deréky, Timothy Riese, Marianne Sz. Bakró-Nagy, Péter Hajdú. – Wien-Budapest, 1992. – С. 43–49.
- Ермаков 1976 – Ермаков Ф.К. Характеристика дореволюционных удмуртских изданий // 200 лет удмуртской письменности / Удм. НИИ ист., экон., лит. и языка при Сов. Мин. Удм. АССР. – Ижевск, 1976. – С. 83–87.
- Иванов 1995 – Иванов И.Г. Предисловие // Из собрания книжных памятников. Вып. 1. Книги на марийском языке, изданные до революции 1917 года: Библиографический указатель / Сост.: В.Е. Кутасова. Ред. В.Г. Яналов. Науч. ред. и предисл. И.Г. Иванова. – Йошкар-Ола: Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна, 1995. – С. 4–8.
- Иванов 2003 – Иванов И.Г. Марий литератур йылме историй / Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 2003. – 299 с.

- Из собрания 1995 – Из собрания книжных памятников. Вып. 1. Книги на марийском языке, изданные до революции 1917 года: Библиографический указатель / Сост. В.Е. Кутасова. Ред. В.Г. Яналов. Науч. ред. и предисл. И.Г. Иванова. – Йошкар-Ола: Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна, 1995. – 28 с.
- Каракулов 1997 – Каракулов Б.И. К истории формирования удмуртского литературного языка // Пермистика 4: Пермские языки и диалекты в синхронии и диахронии: Сб. статей / Удм. гос. ун-т. Каф. общ. и финн.-уг. языкозн. – Ижевск, 1997. – С. 33–42.
- Каракулов 2006 – Удмурт литературной кыллэн сюрресэз: XVIII–XXI дауръёс = История удмуртского литературного языка: XVIII–XXI века. – Ижевск: Удмуртия, 2006. – 208 с. (на удм. и рус. яз.).
- Каракулов 2009 – Каракулов Б.И. Удмуртские дореволюционные письменные памятники на глазовском диалекте // Пермистика 10: Вопросы пермской и финно-угорской филологии: Материалы X Международного симпозиума «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками» (24–25 марта 2004 г., Ижевск) / Удм. гос. ун-т. Кафедра общего и финно-угорского языкознания. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009. – С. 170–175.
- Кельмаков 2002 – Кельмаков В.К. К истории удмуртского и пермского языкознания: Хрестоматия по курсу «История изучения удмуртского языка» / Удмуртский государственный университет. Кафедра общего и финно-угорского языкознания. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2002. – 445 с.
- Лудыкова 2007 – Лудыкова В.М. Коми гижод кыв история (История коми литературного языка): учебной пособие / В.М. Лудыкова. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2007. – 160 с.
- Сагидова 1997 – Сагидова Э.К. Предисловие // Сводный каталог книг на финно-угорских языках, изданных до 1917 года. – Санкт-Петербург: Издательство Российской национальной библиотеки, 1997. – С. 4–8.
- Сводный каталог 1997 – Сводный каталог книг на финно-угорских языках, изданных до 1917 года. – Санкт-Петербург: Издательство Российской национальной библиотеки, 1997. – 84 с.
- Феоктистов 1976 – Феоктистов А.П. Очерки по истории формирования мордовских письменно-литературных языков (ранний период). – М.: Наука, 1976. – 259 с.

Symposium 2.

M. M. Jocelyne Fernandez-Vest – Marianne Bakró-Nagy: The typological evolution of Uralic languages in contact with Indo-European and Altaic languages

dedicated to Eugene Helimski

Foreword

The **original idea** with this symposium was to organize a more systematic investigation than has been done until now of three related important subjects in General Linguistics: Language typology, its evolution, specially as the result of language contacts – all three applied to Uralic languages. After some changes in the program, the disappearance of some participants whose talk was aimed at tackling the contacts between Uralic and Altaic languages, or between Hungarian and surrounding languages, the systematic aspect of this triple approach is less evident, but it remains a subject of interest.

Both language contacts and the typological evolution of languages have recently produced articles and books that could be added to the reference lists of the individual reports in the following pages. Two of these books deserve to be mentioned for being particularly influential:

1/ Sarah G. Thomason, 2001, *Language contact*, Georgetown University Press.

From Thomason's book, one can keep in mind her conclusion, after studying the 7 identified mechanisms of language change: a comprehensive analysis of these processes should be combined with the results of studies about the psychological and social aspects of the problems.

2/ Berndt Heine & Tania Kuteva, 2006, *The changing languages of Europe*, Oxford University Press.

From their book, one can retain the criticism against Haspelmath's SAE as not fully accounting the «dynamics underlying grammatical categorization in European languages, e.g. the coexistence of different use patterns employed for the expression of a given grammatical function» (p. 33), and the modest but resolute conclusion that, [if it cannot be claimed that all the developments studied were contact-induced, at least] «the evidence provided should be sufficient to establish that language contact must have contributed in propelling or accelerating these processes» (p. 289).

Why have we chosen to dedicate this Symposium to Eugene Helimski? Because he was not only an enthusiastic field-linguist and a brilliant samoyedologist, but he was also deeply interested in the multiple dimensions of Areal linguistics. As the result of a beginning collaboration with our Parisian lab, abruptly interrupted by dramatic events

(his son's death in 2002), Helimski's contribution to our collective book proposed a whole set of Sprachbünde listed in chronological order, beginning from the most recent ones:

- European Sprachbund, participated from the Uralic side by Hungarian, Finnish, and Estonian; Russian Sprachbund; Upper Yenisei Sprachbund; Baltic («Hanseatic») Sprachbund; (?) Carpathian (Danube) Sprachbund; Onogur Sprachbund; Volga-Kama Sprachbund; Ostyak Sprachbund; (?) Volga-Oka Sprachbund; (?) Yeniseic Sprachbund; Ob-Ugric Sprachbund.

- **Core (Central) Uralic**, comprising Ugric, Permic, Cheremis, and (marginally) Mordvin, may be characterised as a former Sprachbund. The Volga-Kama Sprachbund (see above) can be viewed as a later and much more coherent continuation of this areal unity.

- **Eastern Uralic (Ugric + Samoyedic)** is rather an areal-genetic unity than a Sprachbund, though a secondary areal unity between Ugric and Samoyedic, esp. in the 3rd and 2nd mill. BC, cannot be excluded.

One can also refer to other concepts like R. Jakobson's idea of the loose **Eurasian Sprachbund** with a great number of almost never coinciding isoglosses (and its further development in the works by P. Hajdú), **the arealistic interpretation of the Uralo-Altaic problem**, the arealistic interpretation of the **Uralo-Yukagir problem**, J. Puszta's search for **Uralo-Paleosiberian isoglosses** (which mostly go also through in the Altaic language area and must be rather viewed in the framework of the Eurasian Sprachbund).

(2005, «Uralic languages in Sprachbünde: Areal connections within and across the family», in *Les langues ouraliennes aujourd'hui – The Uralic Languages today...*, 87–100.)

Olga Biryuk – Maria Usacheva
Moscow

**RUSSIAN IN BESERMAN ORAL DISCOURSE:
GLOBAL INFLUENCE AND INTERACTION**

This article concerns the Besermans' language. It is not yet clear if it is a dialect of Udmurt or a separate language. Kelmakov (Kelmakov 1998) names this idiom among the types of Udmurt dialects. On the other hand, according to Teplyashina, Besermans are “an ethnic group whose language and culture are close to those of Udmurts” (Teplyashina 1970: 5). As for Besermans, they consider themselves to be a separate ethnic group speaking a unique language.

It is also not clear if the Besermans' language descends from Udmurt or from another idiom of Turkic origin. The Besermans feel themselves to be a mysterious nation with unknown origin. Nevertheless, this problem goes beyond the scope of this article. What is important for us is that nowadays Besermans live together with Tatars, Udmurts and Russians, so the idiom has been influenced by the languages of these nations. We will try to show how the Russian language has influenced the language of Besermans living in Shamardan (Jukamensky district, Udmurtia). The Russian influence will be demonstrated with examples taken from 19 texts (about 2,5 hours of oral speech) recorded and transcribed in Shamardan (a Beserman village) in January and July 2010. Looking through the texts we can see Russian influence at all language levels.

I. Phonetics

Unfortunately, we have a little to say about phonetics because the investigation of this field is still in progress, so yet we don't have a complete picture of the Beserman phonetic system itself. But the Russian influence on this level doubtless exists. For example, in Beserman system there is no sound [x], but it may occur in rapid speech in Russian loanwords. Compare:

(1) the Besermans' language, fieldnotes:
kwin', n'ul', vit'-et'i-jez petux.
three four five-Ord-Poss3 chicken_{rus}
[counting the figures] *three, four, and the fifth is a chicken.*

Such pronunciation of the word denoting ‘chicken’ is treated by the native speakers we have worked with as being Russian (not Beserman). In their judgment, the Beserman word for chicken is [petuk].

There is also influence in suprasegmental domain. Thus, the stress in the Beserman language generally falls on the final syllable of the word (except some onomatopoetic words and exclamations). But in fluent speech some Russian loanwords may occur (not very often, but nevertheless) with Russian stress.

II. Morphology

There are loans from Russian in inflectional and even in the derivational morphology.

II. 1. Inflectional markers

In our corpus the following morphological markers borrowed from Russian occur:

A. Imperative (only in the first person):

(2) the Besermans' language, fieldnotes:

Maša, davaj aš'-mes kuč'k-o-m skal-jos dor-əš'en.
Masha Imp.1_{rus} Refl-Poss.1Pl start-Fut-1Pl cow-Pl neighbourhood-Abl
Masha, let us start with the cows.

The marker *davaj* seem to fill the lacuna in the Beserman system because the imperative of the first person does not exist in the Besermans' language (Teplyashina 1970: 236).

B. Optative:

(3) the Besermans' language, fieldnotes:

mar-k'e otən... aj, olo kəž'ə vəldə... ja goroč'ka, puskaj med lu-o-z...
that-Cond there DM_{rus}or how DM DMI_{little.hill_rus} OPT_{rus} OPT be-Fut-3
There is something... auch, or as it is known... well, let it be a little hill...

Compare:

(3a) Russian:

puskaj bud'-et.
Opt be.Fut-3Sg
Let it be.

As it can be seen from (3), here we actually have the case of double marking with one Beserman marker and one marker borrowed from Russian. It appears to be the most common strategy of borrowing which can be found on all language levels except phonetics (such examples will be presented later).

C. Debitative:

(4) the Besermans' language, fieldnotes:

i van' tənad otən lu-o-z veloš'iped, vel'ik otən tənad dolžen
and is you.Gen1 there must.be-Fut-3bicycle_{rus} bike_{rus} there you.Gen1 must_{rus}
luə-no.
must.be-Deb
And you must have in there a bicycle, you must have a bike in there.

Here we have the double marking. Examples without the double marking did not occur in our corpus (and examples with double marking occur extremely seldom).

D. Inchoative:

(5) the Besermans' language, fieldnotes:

i davaj až'-lan' mənə-nə.

and Inch_{rus} forward-All go-Inf

And they went forward.

The corresponding Beserman construction is “*kuč'kənə* ‘to start’ + infinitive”. Russian inchoative marker can be borrowed also through contamination with this construction (i. e. through double marking, as we have seen before). Compare:

(6) the Besermans' language, fieldnotes:

l'eg'it'...l'eg'it' pi pešt-i-z i davaj žug'iš'kə-nə kuč'k'-i-z-ə.

young young man fall.down-Pst-3 and Inch_{rus} fight-Inf begin-Pst-3-Pl

The young man fell down, and (they) began to fight.

E. Negation:

(7) the Besermans' language, fieldnotes:

petuk n'e so.

chicken_{rus} Neg_{rus} this

This is not a chicken.

A marker of negation borrowed from Russian occurs in the corpus occasionally. The speakers strongly tend to use the Beserman marker *evəl*.

F. Superlative:

There is no Beserman superlative marker. The word *samoj* functioning as superlative has Russian origin (Teplyashina 1970: 179):

(8) the Besermans' language, fieldnotes:

samoj umoj

Superlat_{rus} good

the best

II. 2. Derivational markers

The Besermans' language demonstrates a good example of derivational morpheme borrowing. There is a strategy to take a Russian derivational suffix *-n'ik* (which in this case changes to *-n'n'ig*) and to add it to a verbal noun to build a noun denoting a location where the action denoting by the verb usually takes place or can take place:

(9) the Besermans' language, fieldnotes:

val dəmə-n'n'ig

horse tether-n'ik

the place where horses are usually or can be tethered (generally a stake in the field where horses are tethered while grazing or a stake in the fence where horses are tethered while the owner is having dinner)

A very interesting thing here is that Besermans strongly differentiate *-n'n'ig* as a Beserman derivational morpheme and *-n'ik* as a component of Russian loanwords. It becomes apparent through the fact that Beserman words derived with *-n'n'ig* always end with a voiced consonant [g] (see above), and, on the other hand, Russian loanwords containing *-n'ik* always end with a voiceless sound [k]:

(10) the Besermans' language, fieldnotes:

par-n'ik

steam-n'ik

brewing teapot (in Russian it is literally the place for scalding tea, but in Beserman the word seems to be borrowed as a whole)

III. Vocabulary

In our corpus of texts two cases of borrowing the vocabulary units occurred. In the first case, the new word is coming together with the new actual. With the lapse of some time, such words are phonetically and morphologically adopted:

(11) the Besermans' language, fieldnotes:

piosmurt lokt-e traktor dor-e traktor-z-e

man come.back-Prs:3Sg tractor_{rus} neighbourhod-III tractor-Poss3-Acc_{rus}

zavod'-tə-nə.

start.up-Tr-Inf

A man is coming back to a tractor to start it up (compare Russian zavod'i-t' 'to run up' where -t' is an infinitive suffix).

But there are some cases in our corpus which show no adaptation (see (3) above).

In the second case, the Russian word replaces the Beserman one. In this case the word also can be phonetically (12) or/and morphologically (13) adopted:

(12) the Besermans' language, fieldnotes:

pič'i pi vel't'-emən č'ašja-je.

little boy walk-Res forest-III_{rus}

Little boy went to the forest (compare Russian č'aš'a 'a thick forest').

(13) the Besermans' language, fieldnotes:

odig-əz pəd-əz gol'ik odig-əz noski-jen.
one-Poss3 leg-Poss3 bare one-Poss3 sock-Instr/Comit_{rus}

One leg is bare and the other is in the sock (the Russian word *noski* is a plural form of a word *nosok* 'sock'; note also that there is an old Beserman word *pədnər* 'sock, socks').

In the case of replacing a Beserman word through a Russian one also a semantic shift may occur. A good example of this is the word *sad*. In Russian it denotes a plot planted with trees, bushes and flowers or trees and bushes growing on such plot (Dal 1978). In Beserman this word has replaced the word *č'ešpel'* 'bushes, small young trees' and has acquired a meaning 'leaf-bearing tree' (having in this meaning also a plural form). (As far as we know, there is no Beserman word expressing the concept of a leaf-bearing tree – as there is no Beserman word denoting the coniferous tree).

There also can be no phonetic or morphological adaptation of Russian words used instead of Beserman ones:

(14) the Besermans' language, fieldnotes:

tabere Paša L'emskoj-ən opet', korka š'er-a-z, dal'n'ij korka
then Pasha L'emskij-Loc again_{rus} house behind-Loc-Poss3 distant_{rus} house
š'er-a-z.
behind-Loc-Poss3

And then, Pasha is now in Lemskij (a settlement near Shamardan) *again, behind the house, behind the distant house* (note that the Russian word *dal'n'ij* 'distant' is used instead of the Beserman widespread word *kəd'əkəš'* 'distant'; bold type indicates stress).

Here we must say a few words about the difference among words belonging to different morphological classes with respect to the degree of adaptation. First of all, pronouns are never adopted. Numerals are adopted extremely seldom. Thus, we know only one numeral adopted from Russian – *pervoj* 'first'. For postpositions we also know only one case of substitution by a Russian word. Namely, the Beserman postposition *mestaje* (*mesta*-III) 'instead of' is loan translation of the Russian preposition *vm'esto* (*v-mesto* = in-place.Acc) 'instead of'. Adverbs are adopted rarely, and their degree of phonetic adaptation is close to that of nouns, which may either be adopted (consider the word *opet'* 'again' in (14) which in Russian is pronounced as [op'at']; this word has completely substituted an old Beserman word *nəš'* 'again') or not (15):

(15) the Besermans' language, fieldnotes:

obratno tatč'e lokt-i-z.
backwards_{rus} here return-Pst-3

[She] returned here, backwards (there is a widespread Beserman adverb *berlan'* 'backwards').

Nouns are adopted the most often, and they may be phonetically or/and semantically adopted or not (see examples above). There are also cases of grammatical adaptation of nouns, most of them concerning the number of the noun (see (13) above).

Adjectives are often adopted, and they may also demonstrate phonetic and semantic shift or not (see (14) again).

Verbs are in generally adopted without semantic shift but they are very good adopted phonetically. Furthermore, Beserman demonstrates two productive models of verbal adaptation. First, some verbs are adopted through taking the verbal stem (phonetically adopted, if necessary) and attaching Beserman inflexions – sometimes even derivational suffixes – to it. The second (and much more universal) strategy is to take the infinitive of the Russian verb and to attach the inflectional forms of the Beserman verb *karənə* ‘to do’ to it. To use such a strategy is often the first reaction during the speech generation even if a good Beserman verbal equivalent exists. But while speaking to us the Besermans often corrected themselves at once.

Conjunctions are adopted very actively replacing the Beserman ones. In general, they are adopted neither phonetically nor functionally. Compare:

(16) the Besermans' language, fieldnotes:

ben,so daže n'e č'už-g'ez, a kəč'ə-k'e go[rɔd]... marəm...
 yes it even_{rus} not_{rus} yellow-Compar but_{rus} someway-Cond red maybe
Yes, it is even not yellow but red or the like... maybe...

Finally, during the borrowing of words the “double marking” of sense may occur. Thus, a Russian word expressing some concept may occur together with a Beserman one, which has this concept in its semantic structure as a component. Compare:

(17) the Besermans' language, fieldnotes:

mənam even' bol'she kureg-jos-ə.
 I.Gen1 have.no.anymore more_{rus} hen-Pl-Poss1Sg
I have no hens anymore.

IV. Syntax

According to our corpus, Russian influence on Beserman syntax was not at all as huge as this on the vocabulary. There is a large amount of Beserman constructions, which in our corpus (and according to our experience) are never replaced with Russian ones. Nevertheless cases of substitution do occur. The first of them is the construction with the sentential actants:

(18) the Besermans' language, fieldnotes:

ad'dž' -i-z što nəl murt š'ud-e odig-ez petuh-ez evəl,
 see-Pst-3 Conj_{rus} girl human feed-Prs:3Sg one-Poss3 chicken_{rus}-Poss3 not
 pič'i pi petuh punna mən-i-z biž'-əsa.
 little boy chicken_{rus} for go-Pst-3 run-Conv

He saw that the girl was feeding [birds] and that one chicken was missing, and the boy ran for the chicken.

Compare:

(18a) Russian:

uv'id'e-l-Ø što d'evuška korm'-it kur-Ø.
see-Pst-M.Sg Conj girl feed-Prs.3.Sg hen-Gen.Pl
He saw that a girl was feeding hens.

The second construction is the comparative one:

(19) the Besermans' language, fieldnotes:

so kak budto d'ž'ad'ž'egpi-jez-ləš' bəž-z-e kurč'-e n'i.
he Compar_{rus} gosling-Poss3-Gen2 tail-Poss3-Acc bite-Prs:3Sg Magn
It seems that he is biting the gosling's tail.

Russian and Beserman comparative words also can be used together forming a construction with double marking:

(20) the Besermans' language, fieldnotes:

so tin' pənəpi-jen tuš'-en visk-ən kad' kak by.
it well puppy-Instr/Comit through-Instr/Cpmit between-Loc like like_{rus}
Well, it seems to be between a puppy and a through.

The third construction is the coordinative one. The Beserman coordinative constructions with conjunction *no...no* 'and' is often replaced with the Russian one with conjunction *i* 'and'. It should be noted that the Russian construction occurs much more often than the Beserman one. Besides, the "double marking" may also occur here:

(21) the Beserman's language, fieldnotes:

l'eg'it' pi-z-e no miš'k-e i jə...jərč'ə-ti-z kutə-sa
young man-Poss3-Acc and wash-Prs:3Sg and_{rus} hair-Prolat-Poss3 catch-Conv
vu-e donga.
water-III push.Pst.3

[He] washes the young man and after catching [him] by his hair pushes [him] into the water.

V. Discourse

According to our corpus, Beserman oral discourse contains three groups of markers (with respect of their supposed origin): i. Beserman markers, ii. markers borrowed from Russian, iii. markers with unknown origin. As for the Russian markers, their borrowing in some cases demonstrates the general tendency of combining the Russian and the Beserman variants:

(22) the Besermans' language, fieldnotes:

ja ladno, pun-i-d k'e pun-i-d.
well well_{rus} put-Pst-2 Cond put-Pst-2
Ok, if you have put [it] than you have put [it].

Another strategy is to replace one of the components of a complex Russian discourse marker with a Beserman equivalent of this component:

(23) the Besermans' language, fieldnotes:

nu ten'.
well here
Well, we've finished.

Beserman *ten'* 'here' corresponds to Russian *vot* 'here', and *nu ten'* in (24) is used just as Russian marker *nu vot*.

Russian discourse markers may be also borrowed directly:

(24) the Besermans' language, fieldnotes:

bur-la-š'an', otən tin' na marəm eto... ooo, o_j, bl'in...
right-Adv-Abl there here Emph that DM_{rus} oh oh DM_{rus}
On the right side, there is... hm, oh, oh, damn...

Finally, in our corpus occurs a good amount of cases of code-switching like (25):

(25) the Besermans' language, fieldnotes:

bakč'a-ja-z	səl-e.	vot vo	səl-e,
kitchen.garden-Loc-Poss3	stand-Prs.3Sg	DM _{rus} DM _{rus}	stand-Prs.3Sg
səl-e,	<u>a</u>	<u>ja</u>	<u>duma-l-a</u>
stand-Prs.3Sg	Conj _{rus}	me _{rus}	think-Pst-F.Sg _{rus}
malpa-i	n'i	gurt-a-z	uže... e, ani-je!
think.Pret-1	now	house-Ill-Poss3	enter-Pret-3 Conj

She is in the kitchen garden, here, here she is, and I was sure that she was there, she was, oh, my gosh! I was sure, that she had entered the house (underlined fragment of the sentence is in Russian).

Code-switching seems not to be motivated by any external factors. Besermans are likely to keep in mind two language systems and to switch between them freely.

Observing all cases of Russian influence on the Besermans' language which are presented in our corpus of texts we can see that the degree of influence is not as great as it might seem to be. A really great amount of units borrowed from Russian essentially appear only among nouns, but such loanwords tend to be phonetically, morphologically and even semantically adopted. Loanwords belonging to other parts of speech either occur seldom or are phonologically adopted. Furthermore, there are several common strategies of borrowing (for example, “*karənə* ‘to make’ + infinitive” or “double marking”). As for morphology, there are not many tools borrowed, most of them fulfilling the lacunas in the Beserman system. The most frequent discourse markers in general have Beserman origin. The syntax practically has not been influenced by Russian. Even the new words are produced (although with the suffix with Russian origin which has been reinterpreted). In the discourse of 25–30 years old speakers there are more adopted constructions and morphological borrowed units than in the discourse of 60–85 year old people, but the disparity is not very big. A possible

reason is that young Besermans use their mother tongue while talking to each other and to their relatives.

To sum up we should say that Russian have influenced certain parts of the Beserman language system. Nevertheless the Besermans' language remains a distinct system which is still able to reinterpret the units borrowed from Russian. The current stage of the idiom allows it to live. But nevertheless it is supposed to die in approximately 50 years because the people under 20 do not speak Beserman, and the idiom is not taught at school. Beserman is supposed to be the language dying primarily not because of the contact influence but through sociolinguistic reasons.

References

- Dal, V. I. *Tolkovyj slovar zhivogo velikorusskogo jazyka*. V. 1–4. Moskva, 1978.
- Kelmakov, V. K. *Kratkij kurs udmurtskoj dialektologii*. Vvedenije. Fonetika. Morfologija. Dialektnyje teksty. Bibliografija. Izhevsk, 1998.
- Teplyashina, T. I. *Jazyk Besermian*. Moskva, 1970.

M. M. Jocelyne Fernandez-Vest
Paris

TYPOLOGICAL CHANGE OF INFORMATION GRAMMAR IN URALIC

1. Contacts between Finno-Ugric (FU) and Indo-European (IE) languages

1.1. Ancient contacts: origin, etymology, comparative linguistics

In Scandinavia and the Baltic Area, Indo-European (IE) and Finno-Ugric (FU) languages have been in contact and influenced one another since time immemorial. The earliest Indo-European influences on Proto-Finnic have been traditionally considered to be Baltic, succeeded by Germanic influences and finally East Slavic. The Germanic contacts of Finnic and its closest relative Samic have been paid considerable attention, as well as the Russian influence on FU languages. The *origin of the Sami people* and their language has been the subject of extensive dispute in Uralic studies – as has been recently the origin of the Uralic (UR) languages in general, especially the most eastern part (Samoyedic). The only certainty is that contacts began at a very early stage, probably around 4000 B.C. (Janhunen 2000, Larsson 2001).

1.2. Modern contacts: areal linguistics, bilingualism, semantic and syntactic change

A. From a typological point of view, starting eastwards from the Standard Average European area, UR languages build up a continuum extending from fusion to agglutination. According to a traditional hypothesis, they can be divided into an eastern group, which remains very close to the proto-Uralic typology, probably reinforced by the contact with Turkic languages, for instance with a verb-final word order, and a western group which has been strongly influenced by IE languages, for instance with a verb-postponed object word order (Comrie 1989, 2005).

My personal research, based for over two decades on Northern Sami and its contacts with Finnish and Norwegian, and lately extended to other Northern Uralic languages, has been stimulated by the investigation of a group of Finnish scholars working on a Project supported by the Finnish Academy of Science. Their objective was to study the structural changes which take place between an agglutinative (Uralic) and a fusional (Russian) language in different sociohistorical situations, and more specifically syntactic change (see Leinonen 2002, 2005).

B. Bilingual speech has been during the past 20 years the object of a growing interest among Uralists as well as general linguists, from the points of view of either psycholinguistics and cognition (bilingual grammar, or of sociolinguistics (language planning and interaction) – see Fernandez-Vest & Do-Hurinville (dir.) 2009.

Several determining factors borrowed from the Uralic situation can be added to the general typology of language shift drawn by Thomason and Kaufman 1991, e.g.

- successive changes in language planning. It holds true of the Nordic countries regarding Sami, and also of the previous USSR regarding all Eastern Uralic languages
- the existence of a written codified form for the minority language, i.e. the existence or lack of grammars and dictionaries, essential for an indigenous language

surrounded by IE languages and even, as is the case in Russia, now totally engulfed by one of them (Russian).

2. Uralic and Siberian languages, from orality to grammaticization

The phonology, orthography and rich morphology of Northern Uralic languages have already been paid much attention, although not necessarily their current evolution. After a short review of (some major studies on) one of the subsystems generally considered (together with morphology) as basic for the evaluation of common typological features – *vocabulary* (see Greenberg 1953), I shall switch over to this far less investigated domain: syntax and information structure under the pressure of written and/or external models.

2.1. The lexicon

A. Uralic languages

– Komi-Zyrian (forming with Komi-Permyak the Permian branch of FU languages)

Since reindeer-breeding Komis migrated to Siberia in the 1840s, their descendants have been bi- or trilingual, in a Russian- and Kanty-speaking environment. Different periods of language planning can be distinguished, but in spite of the exclusion of many Russian loan-words and the creation of neologisms based on Komi elements, the Russian influence won out. In recent times, Komi lexemes from the spoken language dialects and old literature have been introduced into the written language, and the polysemy of old words has been extended instead of creating neologisms (Leinonen 2002: 219–228).

– Northern Sami

The contemporary creation of words, necessary for adapting the language to written style and the needs of highly technological societies, exploits the resources of derivation. The belated restoration of the lexicon relies on the alternative influences of the neighboring languages, resulting sometimes in competing lexemes (inspired by international/Scandinavian vs. Finnish models) on both sides of the state borders, e.g. ‘university’ *alla-oahpahat* [‘above’ + subst. from *oahppat* ‘to learn’] – (Fi. *yli/opisto*) / *universitehtta* (No. *universitet*).

The reactivation of obsolete or rare suffixes with abstract values is very effective. On the whole, the Sami lexicon has firmly resisted, despite the anchoring of the majority of Sami speakers in a Scandinavian environment, the invasion of international roots: some indigenous doubles have been maintained, many of them have finally supplanted their Scandinavian influenced competitors, e.g. ‘modern’ *odda/áigásaš* [‘new’ + adj. from *áigi* ‘time’] (**moderna*, Fi. *moderni*, Su. *modern* etc.). The most recent evolution seems to be favourable to Sami synthemes (Fernandez-Vest 1987: 202–215, 1997: 89–95, 2002).

B. Siberian languages

– Yukaghir

For Yukaghir, the most important contact languages have been Yakut and Russian, the latter one being more significant in recent times. Many Russian words have been

loaned and phonetically integrated in the everyday vocabulary. Borrowing is increasing with the domination of Russian, and the instances of code-mixing are numerous (Russian items double).

In the most general terms, the effect of Russian contact on Kolyma Yukaghir grammar can be described as a shift from original Yukaghir synthetic grammatical patterns to newly introduced analytic patterns. Obligative modality for example is now expressed almost exclusively by a construction with a Russian predicative loanword *nado* «is-necessary» and a nominalized form of adverb (as in a)), which is rapidly replacing Yukaghir modal suffixes (old pattern in b)):

- (1) a) *tamun min-gi nado*
 that take-poss. necessary
 «it is necessary to take it»
 b) *tamun min-mo\$zi*
 that take-prospective (transit.1sg)
 «it is necessary/inevitable to take it, I should take it» (Maslova 1997, 2003, 2005)

2.2. Syntax and discourse

A. Syntax

Syntax has been much less studied in UR languages than other linguistic domains, which can be explained by at least two factors: 1/ the historical documenting of UR languages is poor, for lack of written texts; 2/ besides, syntax was for long believed to be relatively impervious to external influence, whereas modern research has shown that syntactic interference is as common as phonological (see Thomson & Kaufman 1998: 118 sq.). The word order especially seems to be directly sensitive to language contacts. Since orality can be characterized by a subtil interplay between three components, A. the prosody, B. the discourse particles (DIPs) and C. the word order (WOORD), of which C is actually – different from the case of written expression – the 3rd component in hierarchy, I shall concentrate here on the relation between DIPs and WOORD, a choice which will also permit me to highlight in the last section one of the essential problems concerning the typological evolution of UR languages today, in connection with their specific change from oral to written languages (furthermore in a constant language-contact situation): the variable degree of analyticity vs. syntheticity of these languages.

As for the basic WOORD in simple sentences, the UR languages are distributed into two groups: the Samic and Finnic languages belong to the predominantly SVO type, apart from Karelian and Vepsian, which belong to the SOV type, as do the Permic languages – but this basic scheme allows extensive variation (Vilkuna 1998: 78).

– Clause combining

For the construction of complex sentences, it is assumed that the Uralic proto-language only had a few conjunctions, or particles that served the function of joining predications. Conjunctions have evolved in all the descendant languages, either through semantic transfer and grammaticalization (from adverbs, verbal forms, particles, pronouns), or borrowed from neighbouring languages. Originally the function of embedding predications was performed by numerous non-finite verb forms – a

structure which was replaced by conjunctive subordination under the pressure of the surrounding languages – particularly Russian, when these languages began within a short time to function as fully-fledged standardised languages (Majtinskaja 1982: 102, Leinonen 2002).

– **Non-finite constructions**

A more thoroughful observation shows in fact that the nature of non-finite constructions is not identical in eastern and western UR languages. Considering for instance the case of the relative clause in eastern languages, the same type of participial constructions is used whatever the function of the landmark word is – local adverbial as well as subject or object, as in Nenets

- (2) [*luc'eku-m-d* *m'-ma*] *ja-han-d* *mas'ibt'e-d*
 spoon-acc-2sg take-past.part.passive place-all-2sg put-imper.2sg.
 «Put the spoon in the place where you have taken it.»
 (example from Tereščenko 1965: 210, analyzed in Comrie 2005).

In the western UR languages, where the finite construction with a (declinable) relative pronoun is far more common (which has shown to be a characteristic feature of IE languages, Comrie 1989), the non finite construction is limited to a few syntactic functions of the landmark-word, e.g. in Finnish subject of a relative clause, and direct object of an impersonal form (called « passive » in the Finnish traditional terminology) or a personal form of « third infinitive »,

- (3) [*Kive-n kirjoitta-ma*] *romaani*
 Kivi-gen write-3inf-nom.novel-gen.
 «The novel which has been written by Kivi»

The fact that the non-finite form varies according to the functional role of its landmark has been compared with the variation of the relative pronoun in IE languages (Comrie 2005: 78–79).

B. Discourse: WOORD and DIPs

– **Sentential embedding in speech and text**

In the Permic languages, most of the functions of gerundials and participles correspond to subordinating conjunctions and relative pronouns with full clauses in IE languages. Nevertheless, although not functionally needed, conjunctions were already common by the 19th century, especially in translations from Russian and Church Slavonic (Wiedemann 1884: 230).

In recent times, the huge differences observed in the speakers' discourse between the use of gerundials vs. subordinate clauses (from 50% to 98%) reflect the degree of bilingualism and exposure to Russian syntax (Leinonen 2005).

3. Typological evolution of Northern Sami

A. Spatial cognition in traditional Sami

– Deictic markers

All Uralic languages have a varied expression of deixis, especially spatial. Some have been called «spatial languages by structure» (the Finnic languages, with their rich spatial morphology). Others are spatial by culture, e.g. the Samic and Samoyedic languages (Sammallahti 1998a, 1998b). In Northern Sami localization can be the sole criterion for individual identification: see the mental maps of reindeer breeders vs. of fishermen (vertical vs. horizontal axis) – Fernandez-Vest 1995.

– Discourse particles (DIPs)

The role of DIPs for the processing of discourse – they build up the syntactic units into a spoken chain of rhythmic units – has its counterpart in the «empty» syllables of the traditional Northern yoik (Fernandez-Vest 1994: 173–219). Many of the DIPs have a deictic origin, and within a dialogic exchange they collaborate mostly with deictic markers – see dialogues between two old Sami speakers: (Fernandez-Vest 1987: 585–589). In spite of a large morphological scale, some of the most usual DIPs are homophonic with other elements: for instance *dat*, which is, besides a demonstrative and a personal pronoun, an enclitic DIP signalling the first word of the utterance as topicalized:

- (4) *Sandra-Márja dat gal franskkagiela máhtta.*
Sandra-Márja you know yes French knows
«Sandra-Marja, you know, she is good at French»

One of the typical uses in impromptu speech is the reinforcement of the *negation* (a conjugated form) by various DIPs:

- (5) [(ironical) Have you told the poor guy all your lies?]
– *In dal.....gelistan in leat gal in*
I not(v.neg.sg1) themat.DIP lied(act.p.p.) I not be(coneg.) assert.DIP I not
fal in álgage
a bit(DIP) I not beginning (acc.sg.)+ge(addit. DIP)
«Oh no I haven't lied. Sure I haven't not at all not the slightest.»

– Detachment constructions

Two basic information strategies are equally frequent in traditional Sami: the binary strategy 1 (Theme – Rheme), often with an Initial Detachment (ID), and the binary strategy 2 (Rheme – Mneme), with a Final Detachment (FD). Older informants, with no written praxis, make a steady use of FD, both in simple answers and multiple answers (chained by a quick tempo):

- (6) [And your parents' house was made of...?]
– *Hirsa... Hirsavisti =>> Guđa duma aso (Rh) dat hirssat (Mn-FD)*
«Log.... A log-hut = >> Six thumbs thick (Rh) the logs».
(Fernandez-Vest 1987: 390–580, 2004a, 2005).

B. Grammaticized Sami and written models

Northern Sami, provided with a unified orthography, has had since 1979 a better chance to survive than its nearest relatives: Eastern and Southern Sami are generally listed among endangered languages. Yet, one can observe an evolution which proves the influence of the neighboring languages, due to the bilingual competence of its speakers and the arbitrary choices of handbooks and grammar-books. Negation is a typical example: Sami speakers are currently advised by their teachers to avoid repetitions/modulations by DIPs and to use one and the same negative utterance pattern to answer: the neutral, positive or interro-negative variants of the question of (5) above should invariably be answered with

(7) – *In.* «No». (I not)

– Deictic and discourse markers

Bilingual Sami are less tempted to use deictic markers than their unschooled parents or grand-parents. Due to the evolution of living conditions, the details of spatial deixis generally favored by oral exchanges about long distances and slow transportations are no more required. Besides, Scandinavian languages have a restricted set of deictic pronouns, and modern Finnish, normalized for over one century, makes a limited use of them. As for DIPs, they must be considered nowadays as an endangered species. Even the homonymic *dat*, a frequent thematizer in old Sami, is progressively restricted to its use of personal pronoun, and replaced by adverbs of emphasis or cleft constructions.

– Word order: clefts and detachments

Segmentation and repetition was counterbalanced in traditional Sami by two main synthetic devices: its case morphology and DIPs. The recent Sami press offers many examples of syntactic phrases complexified by the influence of Scandinavian adpositions, which involve a reverse word order. This tendency to use a new type of analytical construction is encountered especially in focalized utterances, where a cleft construction is preferred to a thematizing DIP:

(8) *Mearrasám nissonat lea dat /geat áiggiid čađa leat (...)*
sea-Sami women are those / who ages through have (...)
«Sami women are those who through ages have (...)»

The fronted theme could simply have been preceded by a DIP like *aiddo* «precisely»: *Aiddo mearrasámi nissonat leat áiggiid čađa (...)*.(Fernandez-Vest 2009a)

As for *detachments*, ID is still frequent both in speech and literary texts, but the future of FD is insecure: the binary strategy 2 is generally ignored by written style (Lambrecht 2001; Firbas 2006; Miller & Fernandez-Vest 2006, Fernandez-Vest 2008), FD still survives in the dialogues of most fiction works, conformed by its (colloquial) frequent use in Finnish, whereas limited by a more rigid syntax in Scandinavian languages (Gundel 2002):

(9) Sa. *Dat álget Lemet-gáccis fargga dat divvunbarggut* (Mn), *láhttestii Sire*. (Vest 2005: 24)

Fi. Ne alkaa *Leemetin porukalla kohta ne remonttityöt* (Mn), *Siiri totesi*. (Vest 2006a: 25)

«They begin at Lemet's-folks soon the restauration-works (Mn), Sire remarked.»

[≈ Lemet's lot will soon start the restauration work] Soon the restauration work will be started by Lemet's lot

Sw. *De ska snart börja med renoveringsjobben, Leemettis folk* (≠ Mn), *konstaterade Siiri*. (Vest 2006b: 25)

«They will soon start the restauration work, Lemet's folks (≠ Mn), Sire remarked.»

The Swedish translation has maintained a FD, but its referent has been changed, because of the syntactic construction which implies a preposition (*att börja med* «to begin with»).

4. Conclusion

Many typological questions which general linguists consider as partially solved deserve to be investigated through the prism of bilingualism and language contacts. Such is the case of analytism vs. synthetism, which is a core domain of the typological evolution of Uralic languages. I have claimed that the information grammar of these languages is influenced by (at least) two competing forces, the change of the pragmatic conditions (oral > written), and the variable type of information structuring preferred by their neighboring languages – see also Fernandez-Vest 2004b, 2009b).

References

Comrie, Bernard 1989 [1981]: *Language universals and linguistic typology*, Chicago, The University of Chicago Press, 264 p.

— 2005: «La typologie des langues ouraliennes, comparées avec les autres grandes familles d'Eurasie septentrionale», in *Les langues ouraliennes aujourd'hui...*, 75–86.

Fernandez-Vest, M. M. Jocelyne 1987: *La Finlande trilingue, 1 – Le discours des Sames – Oralité, contrastes, énonciation*, Paris, Didier Erudition, 990 p. Préface de Claude Hagège.

— 1995: «Morphogenèse orale du sens : de l'espace des langues aux objets de discours», in M. M. J. Fernandez-Vest (dir.), *Oralité: invariants énonciatifs et diversité des langues. Intellectica*, 1995/1, 20, 7–53.

— 1997: *Parlons lapon – les Sames, langue et culture*, Paris, L'Harmattan, coll. Parlons... langue et culture, 347 p.

— 2000: «Déixis, interaction, grammaticalisation : le cas des particules énonciatives en same du Nord et en finnois», in *Grammaticalisation aréale et sémantique cognitive...*, 65–80.

— 2004a: «Mnémème, Antitopic – Le post-Rhème, de l'énoncé au texte», in M. M. J. Fernandez-Vest & Sh. Carter-Thomas (éds.), *Structure Informationnelle et Particules Énonciatives – essai de typologie*, Paris, Ed. L'Harmattan, coll. Grammaire & Cognition, 65–104.

— 2004b: «The information structure of bilingual meaning: a constructivist approach to Californian Finnish conversation», in Tuija Virtanen (ed.), *Discourse approaches to cognition*, Mouton de Gruyter.

— 2005: «Information structure and typological change: Northern Sami challenged by Indo-European models », in *Les langues ouraliennes aujourd'hui...*, 563–576.

— 2009a: «Typological evolution of Northern Sami: spatial cognition and Information Structuring», *The Quasiquicentennial of the Finno-Ugrian Society*, Jussi Ylikoski (ed.), Helsinki, Mémoires de la Société Finno-Ougrienne – Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, 258, p. 33–55.

— 2009b: «Bilingual knowledge in a perspective of cognitive semantics: evidence from Northern Sami and Californian Finnish», in M. M. J. Fernandez-Vest & D. T. Do-Hurinville (dir.) *Plurilinguisme et traduction...*,

Fernandez-Vest, M. M. Jocelyne–Do-Hurinville, Dánh-Thành (dir.) 2009: *Plurilinguisme et traduction, des enjeux pour l'Europe – Multilingualism and translation, challenges for Europe*, Paris, Ed. L'Harmattan, coll. Grammaire & Cognition, 6, 266 p.

Firbas, Jan 2006 [1992]: *Functional sentence perspective in written and spoken communication*. Cambridge, Cambridge University Press, Studies in English language, 3.

Grammaticalisation aréale et sémantique cognitive: les langues fenniques et sames – Areal Grammaticalization and Cognitive Semantics: the Finnic and Sami Languages, M. M. J. Fernandez-Vest (dir.), Actes du Colloque International du C.N.R.S. tenu les 9 et 10 avril 1999 en Sorbonne, Tallinn, Eesti keele sihtasutus, Ural-Ural, 1.

Greenberg, Joseph H. 1953: «Historical linguistics and unwritten languages», in A. L. Kroeber (ed.), *Anthropology today*, Chicago, University of Chicago Press, 265–286.

— 1963: [2nd ed.] «Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements», in J. Greenberg (ed.), *Universals of Language*, Cambridge, M.A., MIT Press, 73–133.

Gundel, Jeanette K. 2002: «Information structure and the use of cleft sentences in English and Norwegian», in H. Hasselgård, S. Johansson, B. Behrens & C. Fabricius-Hansen (eds.), *Information structure in a crosslinguistic perspective*, New York, Rodopi, 113–128.

Helimski, Eugene 2005: «Uralic languages in Sprachbünde: Areal connections within and across the family», in *Les langues ouraliennes aujourd'hui. Approche linguistique et cognitive...*, 87–100.

Janhunen, Juha 2000: «Reconstructing Pre-Proto-Uralic typology spanning the millennia of linguistic evolution», *Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum (FU9)*, 7–13.8.2000, Tartu, Pars 1. *Orationes plenariae & Orationes publicae*, Tartu.

Lambrecht, Knud 1994: *Information structure and sentence form. Topic, focus and the mental representations of discourse referents*, Cambridge, Cambridge University Press.

— 2001: Chap. 80, «Dislocation», in M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher, Wulf & W. Raible (eds.), *Language typology and language universals. Sprachtypologie und Sprachliche Universalien. Typologie des langues et universaux linguistiques. An international handbook*, vol. 2. Berlin–New York, Walter de Gruyter, 1050–1078.

Les langues ouraliennes aujourd'hui. Approche linguistique et cognitive – The Uralic Languages today. A cognitive and linguistic approach, M. M. J. Fernandez-Vest (dir.), Préface de Claude Hagège, Paris, Ed. Honoré Champion, Bibliothèque de l'École des Hautes Etudes, N 340, 689 p.

Larsson, Lars-Gunnar 2001: «Baltic influence on Finnic languages», in Ö. Dahl & M. Koptjevskaja-Tamm (eds.), *Circum-Baltic Languages, Volume I: Past and Present*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, Studies in Language Companion Series (SLCS) 34, 237–253.

Leinonen, Marja 2002: «Influence of Russian on the syntax of Komi», *FUF* 57, 195–358.

— 2005: «La syntaxe du komi-zyriène au contact du russe», in *Les langues ouraliennes aujourd'hui...*, 479–493.

Majtinskaja, K. Je.: *Sluzebnye slova v finno-ugorskih jazykah*, Moskva 1982.

Miller, Jim–Fernandez-Vest, M. M. Jocelyne 2006: «Spoken and written language», in G. Bernini and M. L. Schwartz (eds.), *Pragmatic organization of discourse*, Berlin–New York, Mouton de Gruyter, Empirical approaches to language typology, Eurotyp 20–8, 9–64.

Mithun, Marianne 1988: «The grammaticization of coordination», in HAIMAN (John), and THOMPSON (Sandra A.) eds. *Clause combining in grammar and discourse*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, Typological Studies in Language 18, 331–360.

Maslova, Elena 1997: Yukaghir focus system in a typological perspective. *Journal of Pragmatics* 27, 457–475.

— 2003: *A grammar of Kolyma Yukaghir*, Berlin–New York, Mouton de Gruyter, Mouton Grammar Library 27.

— 2005: «Information structure in Tundra Yukaghir and typology of focus structures», in *Les langues ouraliennes aujourd'hui – The Uralic languages today...*, 599–610.

Metslang, Helle 1997: «Unterschiedene Tendenzen in den grammatischen Systemen des Estnischen und des Finnischen», in *Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt. Vorträge des Symposiums aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen 21–23. November 1996.*, Herausgeber S. L. Hahmo, T. Hofstra, L. Honti, P. van Linde, O. Nikkilä, Maastricht, Shaker Publishing, 165–174.

— 1999: «Analytism and synthetism in the development of tense and aspect systems of literary Estonian», in *Grammaticalisation aréale et sémantique cognitive...*, 29–144.

Sammallahti, Pekka 1998a: «Saamic», in Daniel Abondolo (ed.), *The Uralic Languages*, London–New York, Routledge Language Family Descriptions, 43–95.

— 1998b: *The Sami Languages, An Introduction*, Kárášjohka, Davvi Girji, 268 p.

Structure informationnelle et Particules Enonciatives – essai de typologie, 2003, M. M. J. Fernandez-Vest–Sh. Carter-Thomas (éds.), Paris, Ed. L'Harmattan, coll. Grammaire & Cognition, in press.

Tereščenko, N. M. 1965: *Nenecko-russkij slovar'*, Moscow, Sovjetskaja Ènciklopedija.

Thomason, Sarah Grey–Kaufman, Terrence 1991 [1988]: *Language contacts, creolization and genetic linguistics*, Berkeley–Los Angeles, University of California Press, 411 p.

- Vest, Jovvna-Ánde 2005 : *Árbbolaččat* [The heirs] III. Kárášjohka, Davvi Girji.
— 2006a: *Perilliset* III, suom. Jovvna-Ánde Vest, Kárášjohka, Davvi Girji.
— 2006b: *Arvingarna*, översättning Riitta Taipale, Kárášjohka, Davvi Girji.
Vilkuna, Maria 1998: «Word order in European Uralic», in A. Siewierska (ed.), *Constituent order in the languages of Europe*, Berlin, Mouton de Gruyter, Empirical approaches to language typology, 20-1, 173–234.
Wiedemann, F. J. 1884: *Grammatik der syrjänischen Sprache mit Berücksichtigung ihrer Dialekte und des Wotjakischen*, St. Petersburg.

**THE MARKING OF DEFINITENESS IN OLD WRITTEN ESTONIAN AND
FINNISH: NATIVE OR BORROWED?**

Introduction

This paper concerns the marking of definiteness and indefiniteness in early written Finnish and Estonian, and its diachronic development. Finnish and Estonian are traditionally not considered to have articles. However, definiteness and indefiniteness are marked with demonstratives and indefinite determiners in writing and speech in both languages, and both languages can be seen to be in the process of grammaticizing articles (Vilkuna 1992, Laury 1997, 2005, Juvonen 2000, 2005 for Finnish; Pajusalu 2009 for Estonian).

In this paper, we focus on Finnish and Estonian from the 18th century. The main question we ask is whether the use of definite and indefinite determiners in the written language of the period should be considered incipient grammaticalization ('native' in that sense) or direct borrowing due to bilingualism of the authors, reflecting their non-native competence in Estonian and Finnish, and not reflecting native usages of the period? Or are both types of causation relevant at the same time?

Heine & Kuteva (2003, 2005) propose that grammaticalization and contact-induced change are not mutually exclusive processes, but that they "jointly conspire in triggering grammatical change" (2003: 529). This involves speakers noticing a grammatical category in the model language and developing it from native resources in the replica language through ordinary contact-induced grammaticalization, replica grammaticalization or polysemy copying ('calquing'). Matthews & Yip, however, (2009) have criticized the concept of 'noticing' especially when it comes to replica grammaticalization, where speakers are thought to replicate a grammaticalization process which they assume has taken place in the model language. But in situations such as the ones we describe, 'noticing' may well operate on a conscious level, maybe encouraging, but especially discouraging the development of articles.

Data

Our data consist of fables from the 18th century. For Finnish, we use *Uudempia Uloswalituuta Satuja* (1784) by C. Ganander, and for Estonian, *Juttud ja Teggud* (1782) by F. W. Willmann. It is possible that the Finnish data are translations from Swedish or other languages. The Estonian texts are likely not to be translations from German (adaptions from Latvian could be possible). In any case, both texts are based on internationally distributed stories. We have coded approximately 500 NPs in both sets of data for definite/indefinite determiners, case marking, existence of modifiers, prominence in the discourse (main character or not), and positive or negative context

Background

The earliest printed Finnish and Estonian texts date from the 16th century (for Finnish, M. Agricola, *ABC-kiria*, a primer, 1543, New Testament 1548, and for Estonian, the catechism of Wanradt and Koell 1535). Both languages were at this time under strong influence of Germanic languages. For Finnish, the main contact language was Swedish. Most literate Finns had Swedish as their mother tongue; literate native speakers of Finnish had to also learn Swedish and Latin, since education was only offered in those languages. The majority of Finns were illiterate and monolingual in Finnish. For Estonian, the main contact language was German. Estonian texts from this time were written first of all by pastors who came mainly from Germany or had been educated there.

Definiteness and indefiniteness were already grammaticalized in both Swedish and German at the time, but the system of articles is not identical. Swedish has a suffixal definite article, and a preposed definite article which occurs mainly with premodified definite nouns, and a preposed indefinite article. German has preposed definite and indefinite articles. Both written Finnish and Estonian developed under the influence of the Reformation. Apart from Swedish and German, the first religious translations were also based on Latin and Greek. Classical Latin does not have articles. Classical Greek had a definite article while the indefinite article developed only later

Early religious translation in Finland and Estonia aimed at maintaining the religious texts untouched, and thus favored a translation strategy that stressed formal equivalence. Early translators of written texts in Finnish and Estonian therefore followed the structures of the source texts rather closely. The effect was so strong that the process has been called *Zwangsgrammatikalisierung*, 'forced grammaticalization' (Nau 1995). But even in the earliest translations, use of determiners does not fully follow the source texts (Laury, Nordlund, Pajusalu & Habicht 2007): the translation may lack a determiner where the original has one, or, sometimes, the translated text has a determiner although it is missing in the source text.

The use of determiners to mark definiteness and indefiniteness decreased later, especially in the successive editions of the Bible. One of the reasons for that is the discussion on the subject of articles in Finnish and Estonian literary society. The Finnish translators of the 1642 Bible consciously aimed at "pure" Finnish, and the use of indefinite and definite determiners was one of the foreign elements noticed and reduced by the translation committee (see e.g. Rapola 1963). The language in this first translation of the full Bible was in fact so avantgarde that some clerics found it objectionable (Kiuru 2009). At least some of its features may indicate that the translation may have been close to the features of spoken Finnish of the time (cf. Kolehmainen & Nordlund, forthcoming). Similarly, in connection with publication of the Estonian 1739 first full Bible, translation of the German articles was discussed in linguistically competent religious circles. For Estonian, the language used in Bible translation shaped the norm of the written language for the entire 18th century.

Definite and indefinite determiners in the process of grammaticalization

Both in our Finnish and Estonian data, the numeral *yksi/üks* 'one' is used to mark indefiniteness and a demonstrative, *se/see* 'that/it, this' to mark definiteness. These are crosslinguistically the most common source morphemes for articles.

(3) [Gan1784-21]

Oppi *Yxi* *hyvä* *neuwo* *on* *se* *paras*
moral one good advice be-PRES DEM best

Testamenti, *jonga* *yxi* *Isä* *jättää* *lapsi-lle-en,*
inheritance REL.ACC one father leave.3SG child-ALL-POSS

'Moral. A good (piece of) advice is the best inheritance that a father leaves for his children.'

Thus it can be seen that the uses of *yksi* in the fables included uses associated with early stages of grammaticalization (the uses in introductory mentions of main characters, but also uses associated with later stages (uses with generics).

Indefinite determiners: the Estonian *üks*

The indefinite determiner *üks* 'one' is not as common as *yksi* in the Finnish data. Of the first 577 NPs, only 12 were marked with *üks* 'one'. Contexts resemble the ones found in the Finnish data from the same period and fall mainly in two types – first mentions and general statements in moral sections of the fables. Differently from Finnish, in the titles of the stories, NPs are not marked with determiners. Both use types found in the fables are also found in present-day spoken Estonian (Pajusalu 2004).

Differently from Finnish, not nearly all first mentions of even main characters are explicitly marked with a determiner. A postmodifying relative clause increases the likelihood of marking with *üks*.

(4) [Willmann 1782-11]

Talwe *aia-l* *tulli* *siis* *üks* *Tirts*
winter.GEN time-ADE come-IMPERF then one grasshopper

siplas-te *pessa* *jure, kes hopis ärra* *külma-nd* *olli*
ant-PL.GEN nest.GEN to REL totally PERF froze-PRTCPL be-IMPERF

'In wintertime, a grasshopper which was totally frozen came to a nest of ants.'

In moral section of the story, *üks* is used with generic classifying NPs, as in the Finnish data.

(5) [Willmann 1782-8]

Üks moistlik *Jnnimenne* *ei* *ussu* *nenda kõrgeste*
one prudent human NEG believe so highly

'A prudent person doesn't believe so highly...'

Definite determiners: the Finnish *se*

In our data, out of 613 NPs, 37 were marked explicitly definite with *se*. The uses fell into three frequently overlapping main categories – accessible mentions, anchored nouns and superlatives. All these use types are also found in modern spoken Finnish (Laury 1997, 2005).

Accessible mentions are rementions of referents which have not been mentioned in the past few clauses. Consider (6) below, taken from the fable of the country mouse and city mouse, who are rats in this version.

(6) [Gan1784-7]

Silloin sa-i-t ne waiwaise-t Rota-t kirppu-ja
 then get-IMPERF-3PL 3PL poor-PL rat-PL flee-PL.PRT

korwij-nsa, hätäynny-i-t, ja ei tien-neet
 ear-POSS worry-IMPERF-3PL and NEG know-PRTCPL.PL

kuinka he wapahta-isi-t nahkansa; erinomattain se wieras, joka
 how 3PL free-COND-3PL hide-ACC-POSS especially se guest REL

ei ikä-nä-nsä ennen ollut ollu sen-kaltaise-sa leiki-sä.
 NEG life-ESS-POSS before be.PRTCPLbe.PRTCPL this-kind-INE play-INE

‘Then **the poor rats** got fleas in their ears, got worried, and did not know how they would save their hides; especially **the guest** who had never before in her life been in that kind of a situation.’

Rementions marked for identifiability with *se* typically, but not always, refer to main characters, and the NPs are often premodified, as is the case with *ne waiwaiset Rotat* ‘the poor rats’ above. Rementions are also often done with a different lexical form than was used for the same referent previously; e.g. with nouns converted from an adjective, as with *se wieras* ‘the guest’ above, originally from an adjective meaning ‘strange, adjacent’. Both of these types of NPs are marked with a preposed article in Swedish.

The other type of definite NPs marked with *se* are anchored nouns, NPs whose referents have not been mentioned before but are identifiable through association with another, already mentioned referent (‘**inferrables**’, Prince 1980) or through a postmodifying relative clause. In example 7, the leg referred to is identifiable from the mention that the donkey had a thorn in his foot, so we can consider this case as an inferrable.

(7) [Gan1784-8]

Nijn pian kuin se tapahtu, ja Aasi
 as soon when this happen and donkey

pääs-i okaa-sta, nijn hän si-llä terwee-llä
 save-IMPERF thorn-ELA as 3SG se-ADE healthy-ADE

jala-lla potkais nijn Fältskääriä-än /.../
 leg-ADE kick.IMPERF as doctor.PRT-POSS

‘As soon as this happened, and the Donkey was rid of the thorn, **with the healthy leg** he kicked his doctor’

As we have seen, the determiner *se* was used in the fables with rementions of prominent referents, a use found in early stages of grammaticalization of definite articles, but it was also used with inferrables and as a noun marker, use types associated with the later stages of grammaticalization.

Definite determiners: the Estonian *see* and *oma*

In the Estonian data, out of 577 NPs, 26 were marked with *see* 'this' and 32 were marked with *oma* 'own'. Both can be considered definite modifiers. Use of *see* fell into two main groups – accessible mentions and NPs postmodified with relative clause.

See is used with subsequent mentions of referents who had not been mentioned in the past few clauses (*se rääk* 'this corn crake'). Often these mentions, as in the Finnish data, were done with adjectives converted to nouns as *need noored* 'these youngsters' in example 8.

(8) [Willmann 1782-1]

Kui nüüd õhtu-l se rääk jälle koio
 when now evening-ADE see corn.crake again home

tull-i, tull-i-d need noore-d
 come-IMPERF come-IMPERF-3PL see.PL young-PL

'When **this corn crake** came home again in the evening, **these youngsters** came.'

NPs postmodified with relative clauses can also occur with the determiner *see* in new mentions. This kind of syntactic construction is also used in modern Estonian, but not in all contexts it is used in the 18th century texts. For example, *need messilased* 'these bees' (example 9) is odd from the perspective of modern Estonian, perhaps because the RC is non-restrictive.

(9) [Willmann 1782-10]

Nenda sammoti tee-wad need messilasse-d, kes
 this same.way do- 3PL see.PL bee-PL REL

ka toidus-t ennese-le murretse-wad
 also food-PRT self-ADE gather-3PL

'In the same way do **these bees**, who also gather food for themselves.'

In some contexts, the pronoun *oma* 'own' is used to mark definiteness, for example with mentions of body parts (75% of mentions of body parts are done with *oma*).

Conclusion

For both Finnish and Estonian, the literary language of the 18th century shows systematic use of indefinite and definite determiners, even though these had already been recognized as 'impure' foreign elements. More than likely, the usage is influenced by contact with languages which already had grammaticized articles, as is the case with all the articles in European languages (Heine & Kuteva 2006: 97–139). However, the contexts of use in our data are not limited to those thought to emerge first in grammaticalization. In addition to use with mentions of prominent referents, we also

see use of indefinite determiners with generics and definite determiners with inferrables, uses which are thought to arise later, when articles are fully grammaticized, and even as noun markers, with adjectives converted to nominal use, use types which are thought to occur only in the final stages of grammaticization. Thus the stages of grammaticalization are not neatly divisible in these texts; use types from later stages can be seen along with uses from earlier stages.

Uses in these texts from the 18th century are very similar, though not identical, to use types in modern spoken Finnish and Estonian. Therefore, we might ask whether at least some of the uses might reflect spoken language usage of the period. In this case, the language reforms of the 19th century would have been successful in cleansing the emerging articles from written language, but the development would have continued in the spoken language.

Article use in the texts we have examined is **borrowed** in the sense that it is a contact feature (developers of written Estonian and Finnish were often native speakers of German and Swedish). Some of the article use may be considered **native** in the sense that it is not direct copying from source texts. The process has characteristics of article grammaticalization in other languages. Some of the uses are similar to those found in early stages of grammaticization of the articles, perhaps reflecting native usages of the time. Some uses in our data, on the other hand, resemble use types found in late stages of grammaticalization; these may be attributed to outside influence, and can perhaps be labeled polysemy copying (Kolehmainen & Nordlund forthcoming; Heine & Kuteva 2003, 2005). In any case, the texts were influenced by the contact with languages which already had articles. There is no clear developmental trend that can be discerned in the texts from the different periods. This alone indicates that they are on the borderline between native and borrowed. The processes of change over time show evidence of contact influence, but also of universal tendencies in the development of articles, as well as influence of language standardization and ideology.

Data

Ganader, Kristfrid: Uudempia Uloswalituita Satuja 1784 [electronic corpus]. – Helsinki: Research Institute for the Languages of Finland [1.9.2008]. (The Corpus of Old Finnish: Ganader).

http://kaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/ganander/gan1784_rdf.xml

http://kaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/ganander/gan1784_rdf.xml

<http://www.murre.ut.ee/vakkur>

<http://www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused>

References

Christophersen, Paul 1939: *The Articles: A study of their theory and use in English*. Einar Munksgaard: Copenhagen.

Epstein, Richard 1993: The definite article: Early stages of development. In Jaap van Marle (ed.), *Historical Linguistics 1991*. CILT 122. Benjamins: Amsterdam.

- Givòn, Talmy 1981: On the development of the numeral 'one' as anindefinite marker. – *Folia Linguistica Historica* 11 / 1, 35–53.
- Hawkins, John 2004: Efficiency and complexity in grammars. Oxford University Press: Oxford.
- Heine, Bernd & Tania Kuteva 2003: On contact-induced grammaticalization.— *Studies in Language* 27(3), 529–572. München–Newcastle: LINCOM Europa.
- Kiuru, Silva 2009 [1993]: Agricolan Uusi testamentti ja ensimmäiset Raamattumme. In Lea Laitinen, Taru Nordlund & Mari Siirainen (eds.), *Palavasta rakkaudesta äidinkieleen. Silva Kiurun tutkimuksia suomen kirjakielen historiasta*, 62–83. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.
- Kolehmainen, Leena & Taru Nordlund forthcoming: Kielellinen muutos tutkimuksen kohteena: kieltenvälisestä vertailusta kieliopillistumisen ja kielikontaktien tutkimuksen hyödyntämiseen. Under review.
- Pajusalu, Renate 2004: Viron üks ja kõik. – *Virittäjä* 108(1), 2
2009: Pronouns and reference in Estonian. *Sprachtypologie und universalienforschung* 62(1/2), 122–139
- Prince, Ellen 1980: Toward a taxonomy of given-new information. In Peter Cole (ed.), *Proceedings of the 14th Regional meeting of the Chicago Linguistic Society*, 362–376. CLS: Chicago
- Rapola, Martti 1963: Henrik Hoffman puristinen kielenkorjaaja. — *Suomi* 110:3. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
- Trager, George 1932: *The Use of the Latin Demonstratives (Especially Ille and Ipse) Up to 600 A.D., as the Source of the Romance Article*. New York: Publications of the Institute of French Studies.
- Vilkuna, Maria 1992: *Referenssi ja määräisyys suomenkielisten tekstien tulkinnassa*. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki.

GRAMMATICALIZATION OF THE VERB OF SPEECH
 IN FINNO-UGRIC LANGUAGES²⁴

1. Mari and Udmurt complementizers derived from the verbs of speech

It is well known that speech verbs in languages of the world can grammaticalize giving rise to complementizers (Lord 1976; Klamer 2000; Güldemann, von Roncador 2002). In this latter function, they are used in contexts that do not presuppose any speech situation, i.e. with mental verbs, emotional verbs, etc. For example, in Eastern Mari, the verb *manaš* (see (1) for the independent usage of this verb) in the form of converb is used as a complementizer that introduces indirect speech (2). Moreover, the same form is attested introducing subordinate clauses of mental and emotional verbs, as in (3). In that case, *manən* is desemanticized, since it does not denote a speech situation, hence, presenting an example of grammaticalized usage.

MARI (EASTERN)

- (1) *kugu-rak-še man-eš “təj ajda ončal”*
 big-COMP²⁵-P.3SG say-PRS.3SG you come.on look.IMP
The elder brother says: “You go and have a look” <...>.
- (2) *üdər ava-že tud-əm molo joča deč*
 girl mother-P.3SG dem-ACC other child from
čot-rak jörat-a man-ən moktan-en.
 very-COMP love-PRS.3SG say-CONV boast-PST.3SG
The girl boasted that her mother loves her more than other children.
- (3) *jəvan ola-ške kaj-em man-ən šon-a.*
 Ivan city-LAT go-PRS.1SG say-CONV think-PRS.3SG
Ivan thinks that he will go to the city.

The same phenomenon is observed in Besermyan variant of Udmurt language with the converb of the verb *šuənə* ‘to say’:

UDMURT (BESERMYAN)

- (4) *mar pe ta? – Čič’ə šu-e.*
 what CIT DEM fox say-PRS.3SG
“What is this?” – The fox says.

²⁴The work is supported by Russian Fund of Fundamental Research (grant № 10-06-00550a), whose aid is gratefully acknowledged.

²⁵Glosses: SG – singular number, PL – plural number, ACC – accusative case, DAT – dative case, INS – instrumental case, LAT – lative case, ILL – illative case, COMP – comparative suffix, DEM – demonstrative pronoun; PRS – present, PST – past tense (“first past” in reference grammars), FUT – future tense, IMP – imperative mood, JUSS – jussive mood, OPT – optative mood, INF – infinitive, CONV – converb, DETR – detransitivizing suffix, CAUS – causative suffix, CIT – citative particle.

- (5) Vas'a vera-z brat-ez-lə, soje žug-o-z šu-sa.
 Vasja tell-PST.3 brother-P.3SG-DAT dem.ACC beat-FUT-3 say-CONV
Vasja told to his brother that he would beat him.
- (6) pi č'akla-š'k-e so baš't-o-z vit' šuə-sa.
 boy think-DETR-PRS.3SG DEM get-FUT-3 five say-CONV
The boy thinks that he will get the mark "5".

The described grammaticalization pattern is attested in many genetically non-related languages, as in Indo-European (Slavic, Indo-Aryan, Iranian), Uralic (Finno-Ugric: Mari, Udmurt), Altaic (Mongolic, Turkic: Kononov 1953), Malayo-Polynesian (Klamer 2000), Nakh-Daghestanian (Daniel 2007).

Both Finno-Ugric and Turkic languages have complement constructions, where the simple converb of the verb 'to say' is used as a complementizer: the form *manən* in Mari and *šuəsa* in Udmurt (Majtinskaja 1982: 96; Isanbaev 1961; Timofeeva 1961). Other genetically related Finno-Ugric languages (Komi, Mordvin e.a.) lack such complementizers. Constructions with the converb formed along the same morphological pattern are attested in the neighbouring Tatar and Chuvash languages (*dip* in Tatar, *tese* in Chuvash), as in many other Turkic languages. Therefore, it has been suggested that this grammaticalization pattern in Mari and Udmurt is due to contact influence from Tatar and Chuvash.

The question arises, whether the syntactic and semantic properties of the complementizer constructions in Finno-Ugric languages correspond to the properties of Tatar and Chuvash constructions. The aim of this paper is to answer this question. This would permit to refine the 'contact' hypothesis with the exact information on whether the whole construction is borrowed or rather the morphologic model of forming the complementizer.

The data discussed in this paper have been gathered during the fieldwork in Eastern Mari (village of Staryj Torjal), and Besermyan variant of Udmurt (village of Shamardan).

2. The grammaticalization scale of speech verbs

Grammaticalization of speech verbs into complementizers is attested in many languages of the world (see e.g. Harris and Campbell 1995, Hopper and Traugott 1993, Lord 1976, Lehmann 2002, Saxena 1995 e.a.). There are two possible paths of grammaticalization, a speech verb can be grammaticalized into a citation marker, or it is grammaticalized into a subordinate conjunction that introduces both complement clauses and adverbial clauses of cause, purpose, measure etc. The grammaticalization pattern found in Mari and Besermyan follows the second path.

The opposition between direct and indirect speech constructions in languages of the world is based on the following (after Toldova 1999; Toldova, Serdobolskaya 2006; Aikhenvald 2009). The direct/indirect speech constructions have two speech acts, the matrix clause denoting the 'real' speech act and the complement clause denoting the imaginary speech act. The two situations, the one introduced by the matrix clause and the one introduced by the dependent clause have different "coordinates", namely, participants, temporal and local characteristics. These coordinates can be encoded along the following strategies of reference: deictic strategy (direct speech strategy),

where the NPs (temporal/local characteristics) in the complement clause are coindexed with the imaginary speech act participants (as in He said: “**I** was in China **yesterday**”), see (7a); or anaphoric strategy (indirect speech strategy), where the NPs (temporal/local characteristics) in the complement clause are coindexed with the real speech act participants, or, in case of no coreference to the real speech act participants, encoded by anaphoric devices used in this language (as in He said **he** had been to China **the day before**), see (7b) (see Toldova 1999 for the interlacing of these strategies in colloquial speech).

- (7) a. anaj-ez vera-z ataj-ez-lə **mone** kwaret-i-z
 mother-P.3SG tell-PST.3 father-P.3SG-DAT I.ACC scold-PST-3
 kužəj-e šuə-sa.
 boss-P.1SG say-CONV
- b. anaj-ez vera-z ataj-ez-lə **soje** kwaret-i-z
 mother-P.3SG tell-PST.3 father-P.3SG-DAT dem.ACC scold-PST-3
 kužəj-ez šuə-sa.
 boss-P.3SG say-CONV

The mother_i said to the father that her_i boss had scolded her_i (a. ...that my_i boss scolded me_i, b. ...that her_i boss scolded her_i).

As for temporal and locative adverbials, these parameters will not be discussed here, since no shift similar to English is observed in Finno-Ugric.

The choice between direct and anaphoric reference strategy manifests itself in the choice of the mood of the dependent verb by the verbs of causation, speech causation, or intention: imperative is used by deictic reference strategy (8a), and infinitive by anaphoric reference strategy (8b).

MARI

- (8) a. ača üdər-lan pört muš-šo **man-ən** küšt-en.
 father girl-DAT house wash-JUSS say-CONV order-PST.3SG
- b. ača üdər-lan pört musk-aš küšt-en.
 father girl-DAT house wash-INF order-PST.3SG

The father ordered the girl to clean the house.

3. Mari and Besermyan complementizer constructions compared to Tatar

3.1. Semantic shifting of the speech verb

The discussed verb in Mari, Besermyan, and Tatar has the meanings ‘to say’ (illustrated in section 1) and ‘to name’:

BESERMYAN

- (9) 14 janvarja “vuž vil’ ar” **šui-š’ko-m.**
 14 January old new year say-PRS-1PL
We call the 14th of January “Old New year”.

The groups of matrix verbs that can host the constructions with converb of speech as a complementizer include the following: speech verbs (7), mental verbs (6) (where an imaginary ‘inner’ speech can be supposed to occur), emotion verbs (10), adverbial constructions (with the semantics of purpose (11) and reason (12)). See the examples from Besermyan (the same semantic shift is observed in Mari and Tatar):

- (10) mon jara-t-iš'ko [so d'eš' mad'-e šuə-sa].
 I love-CAUS-PRS he well sing-PRS.3SG say-CONV
It pleases me that he sings well.
- (11) jul-e avgust-e tiń turən dastiš'k-o-m ní turən
 July-ILL August-ILL dem hay prepare-FUT-1PL already hay
 [život-lə tolalte med okm-o-z šu-sa].
 cattle-DAT in.winter OPT be.enough-FUT-3 say-CONV
In July-August we prepare the hay in order that it would be enough for the
- (12) parnik-ez... kal' uš't-i-m val ní [pəš' šu-sa].
 hotbed-ACC now open-PST-1PL be.PST already hot say-CONV
We've opened the hotbed because it was [too] hot.

The grammaticalization path of this form can be characterized with the following scheme:

verbs of speech → mental verbs with → emotion verbs with → verbs that introduce
 ↓ propositional semantics propositional semantics events
 speech causation → verbs of causation and intention → adverbial clauses of purpose
 and reason

3.2. Syntax of the constructions with grammaticalized verbs of speech: pronouns reference strategy

In Besermyan and Mari, as well as Tatar, both strategies of participants encoding, deictic and anaphoric, are used with the complementizer derived from the verb of speech. However, some groups of matrix verbs show preference towards deictic or anaphoric strategy.

In Besermyan, the choice of the reference strategy is influenced by the syntactic position of the coreferential NP. The subject of the dependent clause is more often encoded with the deictic strategy: it is the most preferred possibility with verbs of speech (13), it is equiprobable with verbs of speech causation. However, it is much more rarer observed with mental verbs, verbs of emotion (14) and causation, and it is totally excluded in adverbial clauses of purpose and reason. As for direct and indirect object in the dependent clause, they are only marginally encoded along the deictic strategy, cf. (15a) and (15b).

- (13) so šu-i-z četaž'e lokt-o šuə-sa.
 DEM say-PST-3 in.the.evening come-FUT.1 say-CONV
He said he would come in the evening.
- (14) pič'i pi kəška, so aldaš'k-o-z čaššaj-en šu-sa.
 little boy be.afraid.PRS.3SG dem be.lost-FUT-3 forest-INS say-CONV
The boy is afraid that he will get lost in the forest.
- (15) a. Vas'a vera-z brat-ez-lə, soje žug-i-z-ə
 Vasja tell-PST brother-P.3SG-DAT DEM.ACC beat-PST-3-PL
 šu-sa.
 say-CONV
Vasja told his brother that someone beat him.

b. Vas'a vera-z brat-ez-lə, so-lə vit' pukt-i-z-ə
 Vasja tell-PST brother-P.3SG-DAT dem-DAT five set-PST-3-PL
 šu-sa.
 say-CONV
Vasja told his brother that he was given a "5".

It is an interesting peculiarity of Besermyan, that possessive suffixes on the subject of the dependent clause show the same behaviour as the subject itself, showing a strong preference for the deictic strategy with verbs of speech:

(16) turən-e əvəl šu-sa vera-š'k-e val ni.
 hay-P.1SG NEG say-CONV tell-DETR-PRS.3SG was already
She said she already had no hay.

The distribution of the factors relevant for the choice of the reference strategy in Besermyan is shown in the following table:

S 1 ²⁶ / IO 1 =	S 2, POSS 2	DO 2, IO 2
verbs of speech: 'say', 'tell'	deictic (anaphoric)	anaphoric (deictic)
verbs of speech causation: 'demand', 'request'	deictic/anaphoric	anaphoric (deictic)
mental verbs: 'think', 'know', 'believe'	anaphoric (deictic)	anaphoric (deictic)
verbs of emotion: 'rejoice', 'be angry'	anaphoric (deictic)	anaphoric (deictic)
verbs of causation: 'make', 'send'; verbs of intention: 'decide', 'want'	anaphoric (deictic)	anaphoric (deictic)
adverbial purposive clauses	anaphoric only	anaphoric only
adverbial clauses of reason	anaphoric only	anaphoric only

The same parameters are relevant for the choice of the reference strategy in Mari; however, they are distributed in a different way. The deictic strategy is used more often than in Besermyan. The subject of the dependent clause can be encoded along the deictic or the anaphoric strategy with all the matrix verbs, the verbs of speech most often taking the deictic strategy (17). Direct and indirect objects and the possessive suffixes show preference towards the anaphoric strategy (18); (19).

MARI

(17) iza-že šüžar-žə-lan [maska-m
 elder.brother-P.3SG younger.sister-P.3SG-DAT bear-ACC
 pušt-ən-am man-ən] kalas-əš.
 kill-PST-1SG say-CONV tell-PST.3SG
The brother_i told to the sister that he_i has killed the bear.

²⁶The symbols "S 1", "IO 1" denote subject and indirect object in the matrix clause; "S 2", "DO 2", "IO 2", "POSS 2" denote subject, direct object, indirect object, and possessive suffixes on the subject of the dependent clause.

- (18) izaže_i šüžar-žə-lan [maska **tud-əm_i**
elder.brother younger.sister-P.3SG-DAT bear dem-ACC
susərt-en man-ən] kalas-əš.
wound-PST.3SG say-CONV tell-PST.3SG
The brother_i told to the sister that the bear had wounded him_i.
- (19) [iza-**že** pört-əm nal-eš man-ən] tudo
elder.brother-**P.3SG** house-ACC take-PRS.3SG say-CONV dem
ojl-en.
tell-PST.3SG
The lad_i said that his_i brother would buy a house.

The distribution of the factors relevant for the choice of the reference strategy in Eastern Mari is shown in the following table:

S 1 / IO 1 =	S 2	DO 2, IO 2, POSS 2
verbs of speech: 'say', 'tell'	deictic (anaphoric)	anaphoric / deictic
verbs of speech causation: 'demand', 'request'	deictic /anaphoric	anaphoric / deictic
mental verbs: 'think', 'know', 'believe'	anaphoric / deictic	anaphoric
verbs of emotion: 'rejoice', 'be angry'	anaphoric / deictic	anaphoric
verbs of causation: 'make', 'send'; verbs of intention: 'decide', 'want'	anaphoric / deictic	anaphoric
adverbial purposive clauses	anaphoric / deictic	anaphoric
adverbial clauses of reason	anaphoric / deictic	anaphoric

These results are totally different from Tatar. According to (Khanina 2007), in Tatar (Mishar dialect) the choice of the reference strategy depends on the syntactic construction used. The peculiarity of the complement clauses with the grammaticalized verb of speech in Tatar (as well as in other Turkic languages) is the possibility of encoding the subject of the complement clause with accusative case. Accusative subject constructions most often take the anaphoric strategy of participants' encoding, while nominative subject constructions take the deictic strategy.

- (20) sin [**min** bütän kil-m-i-m di-p] at-t-eŋ.
you **I(NOM)** another come-NEG-ST.IPFV-1SG say-CONV
say-PST-3SG

You said you wouldn't come again. (Khanina 2007: 132)

- (21) alsu [**miny** [**ul** kit-ty] di-p] ujl-ɣj.
Alsu I.ACC **dem.NOM** leave-PST say-CONV think-ST
Alsu thinks that I have left (lit. thinks about me "He's left"). (Ibid.)

S 1 / IO 1 =	S2 = nominative	S2 = accusative
Reference strategy in the complement clause	deictic	anaphoric

(After Khanina 2000; 2003; 2007)

Hence, the distribution of the syntactic properties of the discussed constructions differs in Finno-Ugric languages when compared to Turkic languages. However, the semantic shifts observed in Mari, Besermyan, and Tatar are the same.

The conclusion then can be made that it is not only the morphological model of forming the complementizer that is due to areal influence, but also the semantic constraints on the constructions formed with this complementizer. The syntactic features of the discussed constructions, on the contrary, have probably arisen in the discussed languages independently.

References

- Daniel M. A. 2007. Reported Illocution: data from several Daghestanian languages. Conference on the languages of the Caucasus, Leipzig, 7–9 December 2007.
- Galkin I. S. 1964. Istoricheskaja grammatika marijskogo jazyka. Morphologija. Vol. 1. Jshkar-Ola.
- Grammatika udmurtskogo jazyka. 1970. Sintaksis prostogo predlozhenija. Izhevsk: “Udmurtija”.
- Grammatika udmurtskogo jazyka. 1974. Sintaksis slozhnogo predlozhenija. Izhevsk: “Udmurtija”.
- Güldemann T. & von Roncador M. (eds.) 2002. Reported discourse. Amsterdam: John Benjamins.
- Hopper P. J. & Traugott E. C. 1993. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press.
- Isanbaev N. I. 1961. Osobennosti upotreblenija manyn i lijyn v marijskom jazyke // Trudy Marijskogo nauchno-issledovatel'skogo institute jazyka, literatury i istorii, vol. 15, pp. 95–111.
- Khanina O. 2000. Razlichnyje stadii grammatikalizacii glagola rechi v “podchinitelnyj sojuz” pri KSA // Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Proceedings of the International Conference Dialogue'2000, vol. 1. Moscow: Nauka.
- Khanina O. 2003. Opyt opisanija semanticheskoi zony zhelanija i sredstv ee vyrazhenija (na materiale chuvashskogo jazyka) [Essay of desiderative semantic zone and its expression (based on Chuvash)], /Vestnik MGU, Filologija 5/ [Working Papers of Moscow State University, Philology 5]. 2003. 101–116.
- Khanina O. 2007. Konstrukcii s grammatikalizovannym konverbom glagola rechi. [Constructions with grammaticalized converb of speech verb], in Lyutikova E. A., Kazenin K. I., Tatevosov S. G., Solovyev V. D. (eds.). /Misharskij dialekt tatarskogo jazyka. Očerki po sintaksisu i semantike. /Mishar dialect of Tatar. Essays on syntax and semantics]. Kazan. 2007, 126–140.
- Klamer M. 2000. How report verbs become quote markers and complementizers // Lingua, vol. 110, pp. 69–98.
- Kononov A. N. 1953. O sojuznom slove diye v tureckom jazyke // Akademiku V.A. Gordlevskomu k jeho 75-letiju. Moscow: AN SSSR.
- Lehman Ch 2002. Thoughts on grammaticalization. ASSIDUE. Arbeitspapiere des Seminars für Sprachwissenschaft der Universität Erfurt, Nr. 9.

- Lord, Carol. 1976. Evidence for syntactic reanalysis: from verb to complementizer in Kwa.
- Majtinskaya K. E. 1982. Sluzhebnyje slova v finno-ugorskix jazykax. Moscow: Nauka.
- Serdobolskaya N. V., Toldova S. Ju. 2006. Puti grammatikalizacii glagola rechi manaš v konstrukcijax s sentencialnymi aktantami v marijskom jazyke // The grammar and pragmatics of complex sentences in languages spoken in Europe and North and Central Asia. International linguistic symposium LENCA-3. Book of abstracts. Tomsk: "Veter".
- Timofeeva V. T. 1961. Osobennosti kosvennoj rechi marijskogo jazyka // N.I. Isanbaev (ed.) Voprosy marijskogo jazyka. Joshkar-Ola, pp. 95–101.
- Toldova S. Ju. 1999. Osobennosti mestoimennoj referencii pri peredache chuzhoj rechi (mezdu deiksisom i anaforoj) // Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Proceedings of the International Conference Dialogue'1999, vol. 1. Moscow: Nauka.

Peter Slomanson
Aarhus

PRAGMATIC ACCOMMODATION AS A MOTIVATION FOR TYPOLOGICAL SHIFT

1. Goals

The possibility of shifts in discourse-pragmatic conventions at earlier stages in the history of a language, particularly shifts that took place after its speakers collectively acquired a second language, should feature prominently in research on linguistic change and in discussions of the apparent origins of areal features. Such shifts may be plausible and even necessary precursors to the greatly accelerated morphosyntactic and typological change in a range of historically bilingual speech communities. I propose that internal and/or external evidence suggesting quantal change during a minimally documented period motivates the reconstruction of a sequence of diachronic events, although the intermediate stages may not be attested. This need may appear self-evident given how many unwritten vernaculars and how many undocumented stages we find in the diachrony of languages that were eventually committed to writing. Yet in the absence of corpora, or even isolated attestations of the relevant stages, work of this kind is often neglected. Extensive absorption of L2 speakers into the relevant speech networks is a plausible link between discourse-pragmatic changes, and morphosyntactic and typological change. I will exemplify this process with results from a useful South Asian test case.

2. Introduction

Is it possible for a language to preserve its entire lexical inventory, both open and closed class, while at the same time becoming a member of another typological class and adding additional functional contrasts? This is what happened to Malay in Sri Lanka, making the example a valuable one, since it illustrates what may have been a frequent process in the history of languages that we take to have changed over time as a result of conventional incremental processes only (genetic transmission). The sociohistorical context is that Malay-speaking Muslims were brought to urban Sri Lanka in the mid-seventeenth century by the Netherlands East Indies Company that had gained colonial control of coastal Sri Lanka. The island already had an urban Muslim population speaking a variety of Tamil called Sonam. There is evidence of dense and multiplex networks involving the two Muslim groups, as well as considerable intermarriage.

The Malay lexical source varieties are highly analytic SVO languages, whereas Sonam is highly synthetic, and SLM has moved a considerable distance in that direction as well, in both verbal and nominal morphology. This is not a change trajectory that contact linguists ordinarily expect to see within a short period of time.

If genuine syntactic and morphosyntactic borrowing, such as cross-categorical reversal of headedness/branching direction, are much more difficult and more infrequent than lexical borrowing, then a case of minimal lexical change, accompanied

by maximal morphological and syntactic change, bears explaining. I will argue for a pragmatic-discourse catalyst for these changes, based on sentence organization facts associated with all of the genetically unrelated languages in the Sri Lankan sprachbund, including inter alia Sinhala, Tamil, Sonam, and Sri Lankan Malay. In those languages, not just arguments, but clauses are subject to focus through dislocation to the right periphery of the sentence.

3. The apparent anomalousness of a "borrowed" finiteness contrast

Finiteness contrasts have been implicitly viewed by contact linguists as a kind of morphosyntactic noise, part of the grammar of a target or model language, but with little communicative salience. Certainly, it is difficult to find genuine infinitives and participles in pidgins and creoles.

A finiteness contrast yields cross-clausal asymmetries. Depending on how pragmatically salient the finiteness contrast is, this contrast may need to be reflected unambiguously in locally negated clauses that do not necessarily permit this contrast to surface. If the finiteness contrast is not always present, then the language developing a finiteness contrast will strategize to mark non-finite negation explicitly.

4. The abessive expression of non-finite negation

One particular strategy is found in a number of completely unrelated languages, including Sonam, on which SLM is modelled, although not including SLM itself. This dissimilarity is unsurprising, since contact languages typically replicate function, without necessarily developing morphosyntactically identical devices. Non-finite negation can be realized using a closed class element that conveys the sense of the adposition "without" that we otherwise find in nominal contexts (PPs and case-inflected NPs). In Estonian and Finnish, for example, non-finite verbs can take a nominalizing suffix, followed by abessive case inflection, as in the examples in (1) and (2).

- ESTONIAN
- (1) *Läk-si-me kooli, enda-l kodutöö tege-ma-ta.*
 go-PST-1PL school self-ADE homework do-NOM-ABE
 "We went to school, not having done our homework."

- FINNISH
- (2) *Meni-mme kouluu-n teke-mä-ttä läksyjä-mme.*
 go-1P school-GEN do-NOMNLZ-ABE homework-1P
 "We went to school, not having done our homework."

In Hungarian, by contrast, formal infinitives are easily negated with *nem* (as are finite verbs), as in *nem dolgozik* (lit. "not to work"), so that it is unnecessary to resort to nominalizations with an abessive element, such as *(a)nélkül* ("without"), to convey the same formal meaning.

In the Sonam examples in (3), we see that abessive function can be marked on nominal and clausal constituents, although the nominal element requires a

denominalizing suffix (the existential morpheme), mirroring the Estonian and Finnish constructions that require a nominalizing suffix.

(3) NOMINAL CONTEXT (SONAM)

Miflal Kirinde-kku poov-ille, [sor-ill-aamee.]
 Miflal Kirinda-DAT go-NEG rice-EXIST-ABE
 "Miflal went to Kirinda, without rice."

(4) CLAUSAL CONTEXT (SONAM)

Miflal Kirinde-kku [sor tind-aamee] poov-ille.
 Miflal Kirinda-DAT rice eat-ABE go-NEG
 "Miflal went to Kirinda, not having eaten rice."

We can also see the usefulness of abessiveness as a negation strategy in non-finite clauses in other language families, as in the Irish examples in (5) and (6).

(5) NOMINAL CONTEXT (IRISH)

[Gan a chuid seacláid-e,] ní raibh an páiste sásta.
 without POSSPART chocolate-GEN NEG be.PST DET child happy
 "Without his chocolate, the child was not happy."

(6) CLAUSAL CONTEXT (IRISH)

Is deacair le páiste [gan a chuid seacláid-e a ithe.]
 COP difficult P child without POSSPART chocolate-GEN INF eat
 "It is difficult for a child not to eat his chocolate."

Under the assumption that structural changes in contact languages are functionally motivated, rather than simply the result of a replication tendency under bilingualism or the result of unmotivated feature competition in contact language development, we can ask what the accretion of a finiteness contrast accomplishes in SLM, and why it needs to be reflected in the phonological shape of negation morphemes.

5. The role of information structure in motivating change

The linear order of the clauses in (7) functions as an information-structuring device. The information in question is the temporal ordering of predicates (of clauses, technically) in an utterance, when a sequence of related events are listed. The discourse-pragmatic function of the finiteness contrast in the sprachbund is to formally distinguish the most recent event from subsequent ones. SLM could have adopted the linear ordering strategy only, however this would have limited the ability to reorder the clauses.

SLM

(7) *iskul nang a(bi)s-pi, mulbar a(bi)s-blajar, Miflal atu=nyanyi su-tulis.*
 School P ASP-go Tamil ASP-learn Miflal INDEF=song PAST-
 write

"Having gone to school, (and then) having learned Tamil, Miflal wrote a song (in it)."

The morphological instantiation of a finiteness contrast facilitates the linear reordering of these clauses, so that the temporally non-primary clause can be right-extraposed in order to focus it, while preserving the matrix status of the most recent predicate (which is necessarily finite).

6. The suppression of functional features under negation cross-linguistically

There is a contrast between affirmative and negative verbs in finite matrix contexts that we find in the grammar of SLM, based on a constraint in Sonam (and absent entirely from Sinhala). This is found in other languages as well, as investigated for a large number of languages in Miestamo 2005. The significance for non-finite negation stems from the fact that in SLM, this became a constraint blocking any morphology other than negation morphology from appearing in pre-verbal position. Consequently, negated infinitives lack infinitival prefixes and negated participials lack participial prefixes. This means that negation morphemes need to reflect the finiteness of their hosts, in order for finiteness status to be visible under negation.

- FINNISH
- (8) *Halua-n todella maito-a.*
 want-3S reallymilk-PTV
 "I really want milk."
- FINNISH
- (9) *E-n todella halua- \emptyset maito-a.*
 NEG-1S reallywant- \emptyset milk-PTV
 "I do not really want milk."
- ESTONIAN
- (10) *Soovi-n tegelikult piim-a.*
 want-1S really milk-PTV
 "I really want milk."
- ESTONIAN
- (11) *Me ei- \emptyset tegelikult soovi- \emptyset piim-a.*
 1S NEG really want- \emptyset milk-PTV
 "I really don't want milk."
- SONAM
- (12) *Miflal sor tin-daa.*
 Miflal rice eat-PAST
 "Miflal ate rice."
- SONAM
- (13) *Miflal kozumbu-kku poo-v-ill \leftrightarrow .*
 Miflal Colombo-to go-INFIN-NEG.FIN
 Miflal did not go to Colombo."

SLM

- (14) *Miflal sigret-pada tara-miinung.*
Miflal cigarette NEG.FIN-drink (=smoke)
"Miflal did not smoke cigarettes."

SLM

- (15) *Miflal sigret-pada jang-miinung na su-liiyat.*
Miflal cigarette-PLU NEG.NONFIN-drink to PAST-drink (=smoke)
"Miflal tried not to smoke cigarettes."

7. Discourse-pragmatic accommodation yields new surface configurations only

Prince (2001) argues that grammars in general can accommodate new information-structuring requirements to the extent that their existing syntactic systems permit, but that actual systemic syntactic and morphosyntactic change require more dramatic events. I take qualifying events to include second language acquisition by large numbers of adults. We know that there was substantial intermarriage of Malay and Sonam-speaking Muslims, and can conclude that the acquisition of Malay by Sonam speakers rendered the local Malay varieties susceptible to relatively rapid typological change.

8. The function of focus in the sprachbund

The Sri Lankan languages, including SLM, are left-branching SOV languages, and the right periphery is strongly associated with focus. Focus is a highly communicatively salient function in the sprachbund. Non-phonological focus marking, both syntactic and morphological, is preferred over focus marked with prosody. The clause containing the most recent event normally appears in this position as the (tensed) matrix clause. Clauses not representing the most recent event is normally the right-most clause, and is tense-marked, and therefore finite (16). Clauses not containing the most recent event must be explicitly marked as non-finite, so that the status of the most recent event, which will always be tense-marked, will retain its status when a temporally non-primary event is focused through dislocation to the right-peripheral focus position (17). Note that this is not simply a variant order, but is perceived as a pragmatically-marked order.

SLM

- (16) *iskul nang a(bi)s-pi, mulb↔r a(bi)s-blajar, Miflal atu=nyanyi*
school P ASP-go Tamil ASP-learn Miflal INDEF=song
su-tulis.
PAST-write
"Having gone to school, (and then) having learned Tamil, Miflal wrote a song (in it)."

SLM WITH THE FOCUSED CLAUSE IN BOLD

- (17) *iskul nang a(bi)s-pi, Miflal atu=nyanyi su-tulis, mulb ← ✗ abis-blajar.*
 school P ASP-go Miflal DET=song PAST-write **Tamil ASP-learn**
 "Having gone to school, Miflal wrote a song, **having learned Tamil.**"

9. The finiteness contrast under negation

Negation elements marking finite predicates in SLM are variants of the historic Malay form *tara*, or of the form *tuma*, etymologically a contraction of *tara* (negation) and *mau* (volition). Negation elements marking non-finite predicates in SLM are variants of the form *jangan*, the negative imperative marker in historic Malay. The contrast is motivated by the fact that SLM, like Sonam and other Tamil varieties, suppresses tense morphology and other markers of finiteness status under negation.

10. The finiteness contrast in SLM negation morphology as a creative generalization

SLM has creatively extended the functional scope of *jang* to encompass all non-finite negation contexts, including participles, in adjunct clauses and infinitival complement clauses (Slomanson 2006, 2009). This approximates the Sonam model, based on native Malay lexical resources, without resorting to the Sonam abessive strategy. We can see this in the fact that the negated non+finite clause in (17) does not make use of the complex abessive adposition (also an SLM innovation) in (16).

NOMINAL CONTEXT (SLM)

- (18) *Miflal Kirinde na si-pi, [nasi tra-nang.]*
 Miflal Kirinda P TNS-go rice NEG-DAT
 "Miflal went to Kirinda without rice."

CLAUSAL CONTEXT (SLM)

- (19) *Miflal Kirinde na si-pi, [nasi jang-makan na.]*
 Miflal Kirinda P TNS-go rice NEG.NONFIN-eat to
 "Miflal went to Kirinda, not having eaten rice."

PARTICIPIAL CLAUSE (SLM)

- (20) *jang-tidur, Miflal nasi tara-makang.*
 NEG.NONFIN-sleep Miflal rice NEG.FIN-eat
 "Not having slept, Miflal did not eat rice."

INFINITIVAL CLAUSE (SLM)

- (21) *jang-tidur na, Miflal nasi tara-makang.*
 NEG.NONFIN-sleep to Miflal rice NEG.FIN-eat
 "To not sleep, Miflal did not eat rice."

IMPERATIVE CLAUSE (SLM)

- (22) *Nasi jang-makang!*
 rice NEG.NONFIN-eat
 "Don't eat rice!"

In (23) and (24), we see the exact counterparts of (16) and (17), with all the verbs negated in a manner, based on the selection of negation element, to reflect their respective finiteness statuses.

SLM

- (23) *iskul nang jang-pi, mulb ↔ jang-blajar,*
 school P NEG.NONFIN Tamil NEG.NONFIN-learn
Miflal atu=nyanyi t ↔ r ↔ tulis.
 Miflal INDEF=song NEG.FIN-write
 "Having gone to school, (and then) having learned Tamil, Miflal wrote a song (in it)."

SLM WITH THE FOCUSED CLAUSE IN BOLD

- (24) *iskul nang jang-pi, Miflal atu=nyanyi t ↔ ~~r~~ ↔ tulis,*
 school P NEG.NONFIN-go Miflal DET=song NEG.FIN-write
mulb ↔ ~~r~~ jang-blajar.
Tamil NEG.NONFIN-learn
 "Not having gone to school, Miflal did not write a song, **not having learned Tamil.**"

14. Conclusion

SLM features a discourse configuration, the temporal stacking of a sequence of clauses, that triggered profound morphosyntactic changes, in the first place the introduction of contrastive finiteness morphology. The cross-clausal finiteness contrast in negation marking was replicated by SLM without recourse to calquing or borrowing. Instead, the functional scope of a negative imperative marker, was expanded. The non-finite negation morpheme in SLM, *jang*, nevertheless conveys the functional meaning associated with the Sonam abessive suffix *-aamee*. The element *jang* constitutes a reflex in negation contexts of the finiteness contrast in SLM that has high communicative salience in the Lankan discourse culture. This salience is due to the need to continue to mark the temporal status of the most recent event in a sentence, even when a clause representing a prior event is focused through movement to the right periphery of the sentence. Although this is an exceptionally clear case of typological shift under language contact conditions, plausibly triggered by changes in discourse cultural conventions, we should take it for granted that similar conditions may have applied at earlier stages of languages whose relationship to lexically and grammatically similar languages has been presumed to be genetic, rather than the product of profound processes of accommodation and restructuring.

References

- Miestamo, Matti. 2005. *Standard negation: the negation of declarative verbal main clauses in a typological perspective*. Berlin: Mouton de Gruyter.
 Prince, E. F. 1998. The Borrowing of Meaning as a Cause of Internal Syntactic Change. In *Historical Linguistics* 1997.

- Current issues in linguistic theory. Amsterdam: John Benjamins (339–362).
- Prince, E. F. 2001. Yiddish as a contact language. In *Creolization and contact*. (N. Smith and T. Veenstra, eds.) Amsterdam: John Benjamins Publishers.
- Slomanson, P. 2006. Sri Lankan Malay Grammars: Lankan or Malay? In *Structure and Variation in Contact Languages*. (A. Deumert & S. Durrleman, eds.) Amsterdam: John Benjamins Publishers.
- Slomanson, P. 2007. The perfect construction and complexity drift in Sri Lankan Malay. *Lingua* 118(10). (P. Cole and G. Hermon, eds.)
- Slomanson, P. 2009. Morphological Finiteness as Increased Complexity in Negation Systems. In *Complex Processes in New Languages*. (E. Aboh and N. Smith, eds.) Amsterdam: John Benjamins Publishers.
- Slomanson, P. 2011. Dravidian Features in the Sri Lankan Malay Verb. In *Creoles and Language Typology* (C. Lefebvre, ed).
- Weinreich, U. 1963. *Languages in Contact: Findings and Problems*. reprint. The Hague: Mouton.

Symposium 3.

János Gulya: Finno-Ugric studies and cultural history / Финно-угристика в культурологии

Предварительные слова

Цель симпозиума показать, какое место занимает финно-угроведение как научная дисциплина, и какую роль сыграла в формировании судьбы, истории, культуры и идентификации финно-угорских народов. Что оно помимо роли специальной науки имеет большое значение в жизни, истории и культуре финно-угорских народов. То, в чем *суть* самого финно-угроведения, и что оно означает во своем разнообразии с точки зрения и для самих финно-угорских народов. Участники симпозиума призываются освещать не общие вопросы финно-угроведения, а посвящать свои выступления частным, типическим и конкретным темам из области идентификации, литературы и искусства, из области наук с финно-угорской тематикой, а также выдающимся личностям финно-угроведения. Согласно нашим ожиданиям, после рассмотрения частных вопросов должно и будет складываться общая картина о финно-угроведении *вообще*. Само финно-угроведение – важнейшая цель и суть исследований.

Марианна Андуганова
Ханты-Мансийск

ФИННО-УГРОВЕД И ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ

Данное сообщение посвящается 60-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора кафедры финно-угроведения и общего языкознания, первого директора Института языка, истории и культуры народов Югры, заместителя редактора журнала «Финно-угроведение», заслуженного деятеля науки Республики Марий Эл, почетного работника Высшего профессионального образования РФ, Лауреата премии Марийского комсомола «Олык Ипая», кавалера ордена Крест Маарьямаа (Эстония), зарубежного члена Финно-угорского общества (Хельсинки), член-корреспондента Финского литературного общества (Хельсинки), президента Международного комитета конгрессов финно-угроведов(2000–2005), президента 10 Международного конгресса финно-угроведов, председателя Комитета финно-угроведов РФ, член-корреспондента РАЕ – Ю.В. Андуганову(06. 07. 1949 – 06. 07. 2005).

В настоящее время ведется работа по выпуску книги воспоминаний о Ю.В. Андуганове, в связи с этим мы ставим своей задачей привести в данном сообщении цитаты из воспоминаний коллег и близких, поддержавших это начинание, что одновременно позволит максимально объективно показать наиболее значимые и важные моменты из жизни Юрия Владимировича, которые повлияли на становление ученого-финноугроведа, укрепление и развитие финно-угорской науки и культуры в России и зарубежье.

Финно-угроведение – это комплексная наука и, соответственно, требует от его приверженцев максимальной эрудиции и знаний не только одной частной сферы или области, а всех ее отраслей и направлений. Невозможно быть одновременно знатоком всех финно-угорских языков, их литератур, фольклора, этнографии каждого финно-угорского этноса, их философии, психологии, истории, прикладного творчества, народной педагогики, музыкального и песенного творчества, строительного дела, археологии, национальных видов спорта, промысла, религии, кухни и другой духовной, материальной и бытовой культуры.

Любить свой народ, его язык и культуру, уважая при этом соседей и родственников уже достаточно, чтобы быть толерантным по отношению к другим этносам, языкам и культурам разных стран и народов.

Вспоминается разговор с отцом, когда он говорил о мудрых словах своей бабушки будто бы мы люди в этом мире лишь гости. В той же беседе он поведал о своих, тогда еще детских размышлениях по поводу поведения и поступков «гостей» и о своем непонимании того, почему люди позволяют себе ругаться, как они могут это делать, ведь они же в гостях, а разве в гостях допустимо так себя вести?

Его бабушка, как написала финская писательница Леена Лаулайнен в своих воспоминаниях, в советское время не разделяла атеистических воззрений и привила внуку языческое вероисповедание.

Следует уточнить, что родился Ю.В. Андуганов в семье сельских учителей: отца-фронтовика Вайтий Андуганова и матери Аси Андугановой – дочери первого директора педагогического училища в г. Бирске, известного оратора и общественного деятеля Искибаева Ислибая Искибаевича, как пишет Леена Лаулайнен: «Первое впечатление об Юрие было как о человеке с добрым сердцем, глубоко интеллигентном с высоким уровнем культуры. Позже я узнала, что он был представителем третьего поколения марийской интеллигенции, и очень обрадовалась, тому, что таковые еще остались, мне было известно, что марийская интеллигенция на протяжении нескольких десятилетий была подвержена уничтожению, наиболее впечатляющими примерами этому были события 11. 11. 1937. С самой первой встречи он поразил меня своим безупречным владением финского языка. Улыбаясь, он представился именем «Юрий». А позже всегда им подписывался в своих записках ко мне. Многие из них в данное время находятся (переданы) в архиве Литературного общества Финляндии. Андуганов был давним и искренним другом Финляндии. Его знали в университетских кругах нашей страны и помнят как выдающегося лингвиста и исключительного знатока финно-угорской культуры».

С самого детства Юрий Владимирович проявлял любовь к искусству и творчеству, это подтверждается словами его матери, она вспоминает как: «В

школе проводилось много интересных, развивающих мероприятий, в которых с вдохновением участвовал и мой Юрки. Тогда учительский коллектив много работал с населением. Вели агитационную работу, читали лекции и ставили спектакли. Давали разные роли и моему сыну. В школьные годы его отец купил сыну гармошку, двухрядку. Он научился играть на ней. В студенческие годы увлекался баяном, затем свирелью. Игру на свирели показывали по центральному телевидению. Передачу вел Андрей Эшпай. До конца своей жизни мой сын не расставался с этим инструментом».

Шло время и, закончив Редькинскую восьмилетку, а затем и Арланскую среднюю школу, Ю.В. Андуганов становится студентом Марийского педагогического института им. Н.К. Крупской. Годы его студенческой молодости очень тепло описаны в строках из воспоминаний одного из его учителей ныне доц. кафедры марийской литературы МарГУ И.С. Иванова, где он говорит: «Первое знакомство с будущим ученым состоялось в конце июля 1966 года в Марийском государственном педагогическом институте им. Н.К. Крупской. Юноши и девушки, приехавшие в Йошкар-Олу из разных республик и областей России, вели оживленный разговор об ожидаемых вступительных экзаменах. Среди абитуриентов особенно смышлен был мягкий проникновенный голос стройного юноши. Он был среднего роста. Одет был весьма просто: рубаша серого цвета, свежевыглаженные черные брюки. Лицо юноши было сосредоточенным, мягкая улыбка украшала его. Очки с роговой оправой особенно подчеркивали тонкие черты лица. Молодой человек подошел ко мне и как-то очень душевно сказал: «Вам передали привет и наилучшие пожелания наши учителя, с которыми в свое время учились вместе». Это меня как-то растрогало, период студенческой дружбы никогда не забывается. Тогда же молодой человек сказал, что он из деревни Редькино-Ушмен Краснокамского района Республики Башкортостан. Его родители – учителя. Ю.В. Андуганов также поведал мне, что в их школе в тридцатые годы работал известный марийский писатель И.М. Ломберский-Токмурзин. Рассказал мне о творчестве и других писателей – уроженцах Республики Башкортостан, об их художественных произведениях. Любопытный абитуриент имел и некоторое представление об особенностях языка восточных мари. Ю.В. Андуганов к поступлению в педагогический институт готовился довольно серьезно. На вступительных экзаменах Ю.В. Андуганов показал глубокие, прочные знания и стал студентом отделения русского и марийского языков и литератур историко-филологического факультета Маргоспединститута. С первых же дней учебы в вузе Андуганов Ю.В. показал себя серьезным, прилежным студентом. Он аккуратно посещал все аудиторные учебные занятия. Живой интерес проявлял к лекциям по марийскому языку профессора Н.Т. Пенгитова, доцентов Ф.И. Гордеева, В.Т. Тимофеевой. Андуганов Ю.В. особое внимание обращал изучению научных трудов отечественных и зарубежных финно-угроведов, посвященных исследованию актуальных проблем марийского языкознания.»

По окончанию вуза Ю.В. начал свою педагогическую и просветительскую деятельность в Старокрещенской средней школе, где селяне помнят его и по сей день. Вот строчки из воспоминаний доктора Моники Шечл (Гамбург, Германия), которая будучи гостем этой деревни спустя годы наблюдала гостеприимство и широту души марийского народа, она пишет: «Мы ехали на машине Юрия

Владимировича за город, в направлении севера в Старое Крещено в район Оршанка. По дороге узнали, что профессор Андуганов некоторое время работал в их школе, и что деревня известна тем, что там родился писатель (Майоров) Шкетан, чьим именем назван сегодня марийский национальный театр. Как только мы прибыли в деревню, которая в действительности оказалась больше, чем мы себе представляли. Мы заметили, как любили здесь Юрия Владимировича. Все, кто нас встречал, были явно рады его видеть, оживленно с ним разговаривали, притом, на марийском языке. Затем мы вошли в один двор, где нас уже ждали. Здесь также очень обрадовались визиту из столицы, мы познакомились с марийским гостеприимством, которое, наряду с щедрым угощением и самоприготовленным Красным вином, проявилось также в сердечности. Юрий Владимирович поприветствовал всех на марийском языке, хозяева из-за нас говорили на русском языке, но Юрий Владимирович указал на то, что мы приехали сюда, чтобы лучше освоить марийский язык, поэтому дальнейший разговор происходил на марийском и русском. После щедрого застолья один из сыновей семьи сыграл на аккордеоне несколько марийских мелодий, что подтверждало не только сохранение марийского языка, но и продолжение марийских традиций и культуры. После того, как мы познакомились с традиционной архитектурой двора и дома, мы посетили музей Шкетана. Писатель, племянник классика марийской литературы Феликс Майоров, провел нас по музею. Он также был рад визиту Юрия Владимировича, общался с ним на марийском языке, а для нас исполнил на аккордеоне несколько марийских танцев. Житель деревни, проходящий мимо с внуком, показал несколько танцевальных шагов. Был очень жаркий день. Перед обратной поездкой мы зашли в магазин купить прохладные напитки. Здесь тот час узнали Юрия Владимировича, спрашивали, как у него дела и какие новости он привез из города. Как и прежде, разговорный язык был марийский, на русский переходили тогда, когда представляли нас, как иностранных гостей. Вечером Юрий Владимирович привез нас обратно в город, где Юрг Флейшер и я еще долго обсуждали новые впечатления».

Говоря о Ю.В. и о старокрещенском периоде нельзя упустить слова друга его детства заслуженного журналиста Республики Марий Эл Б.А. Шамиева: «Выше я назвал Юрия Андуганова уникальной личностью. Поясню, что только за отличное владение языками, человека уникальным не называют. В те далекие времена за эти качества могли приписать прозвище националиста. В настоящее время националистами называют тех, «кто отстаивает национальное самосознание, этнокультурное своеобразие своего народа». Именно это понимание мой друг детства оказывается усвоил, учась в стенах ВУЗа. Но не всем это дано понять. Ведь слово «националист» укоренилось в устах многих как ругательное. Из-за такого узколобого понимания данного выражения мой друг детства очень сильно пострадал. Весной в нашей газете появилась статья «Когда мариец говорит по-марийски» совсем никому неизвестного учителя из Оршанского района Юрия Владимировича Андуганова. Простому читателю ничего не говорящая статья. Но «чуткие» товарищи сидели в обкоме партии. Один из них, только что пришедший в аппарат обкома КПСС после окончания Высшей партийной школы, нашел в небольшой статье элементы национализма. Начали «таскать» в «серый дом» сотрудников редакции, готовивших и

подписавших к печати данную статью. Пострадали крепко: одного, самого молодого, исключили из рядов партии, двоим старшим товарищам «влепили» строгие взыскания. Я сегодня думаю, был бы тогда главный редактор нашей газеты П.Г. Корнилов на месте, не допустил бы такого произвола. У него, корифея марийской журналистики, хватило бы мудрости и принципиальности избежать такого поворота в судьбе нескольких человек. Жаль, что он болел. А у людей, замещающих его, не хватило всех этих качеств. Наоборот, некоторые из них были только довольны поворотом дела. На этом можно было бы завершить рассказ о данном факте, если бы тот товарищ – ортодоксальный коммунист – не перестал преследовать тех, кто «не шагает в ногу», особенно коллег, выходцев из среды башкирских мари. Часто можно было слышать из его уст такие оскорбительные высказывания, как «восточные упрямы». Конечно, были времена, в которых отражались как в капле воды черты характера отдельных личностей. Почти сорок лет отдаляет меня от тех событий, но в памяти сохранилась жгучая действительность того времени... Закаленный в этой неравной и несправедливой борьбе Юрий Владимирович назвал врагам продолжил повышение своего образования, поступив в аспирантуру Тартуского университета. Успешно окончив ее и защитив диссертацию на степень кандидата филологических наук, мой земляк поднимался все выше и выше по избранному пути».

Годы учебы в аспирантуре, в стенах Тартуского университета, чуткость, интеллигентность, дружелюбие, справедливость и человечность его научного руководителя, эстонские друзья и новые друзья из числа аспирантов, будущих финно-угроведов России, нашли отражение в последующей деятельности Ю.В. Андуганова. В его рабочем кабинете, было это в Йошкар-Оле или Ханты-Мансийске, всегда висел портрет его научного и духовного наставника – Академика Пауля Аристэ.

После завершения учебы в аспирантуре и успешной защиты кандидатской диссертации «Сложные слова в марийском языке (определяющие сложные существительные)» отец вернулся в Йошкар-Олу. И.С. Иванов характеризует этот отрезок его деятельности следующими словами: «Молодой, энергичный кандидат филологических наук Ю.В. Андуганов возвращается в Республику Марий Эл. В течение ряда лет работает преподавателем Марийского государственного университета. Разрабатывает проблемные лекции по новым научным дисциплинам, руководит диалектологической практикой студентов, оказывает помощь им в научном исследовании».

С.С. Сибатрова, ныне зав. сектором языкознания МарНИИ, будучи тогда студенткой, в своих воспоминаниях пишет: «Юрий Владимирович был инициатором факультетской стенной газеты на марийском языке. Назвали газету очень метким словом-новообразованием «Мутчо» (< мут 'слово' + суффикс -чо, выражающий лицо по роду занятий), что значило 'словесник'. Ее готовили и выпускали сами студенты. Газета освещала жизнь факультета, прежде всего марийского отделения, и, что особенно ценно, в ней помещались первые творческие опыты студентов. Многие из тех студентов впоследствии стали известными в республике писателями и журналистами».

Помимо научной и педагогической деятельности, как вспоминает И.С. Иванов: «Инициативный ученый-филолог Ю.В. Андуганов, высоко ценивший

песенную культуру своего народа, в творческом содружестве с этномузыковедом О.М. Герасимовым в Марийском государственном университете организовал фольклорный ансамбль «Рия-рия». Ценители песенных традиций выступали с концертами среди сельского населения. В свою программу включали сохранившиеся старинные песни и танцы различных этнических групп мари. Студенты записывали редко встречающиеся обрядовые народнопоэтические произведения, стали исполнять их. Культурно-массовая деятельность фольклорного ансамбля была высоко оценена Правительством Республики Марий Эл. Его участники и руководители Ю.В. Андуганов и О.М. Герасимов стали лауреатами премии марийского комсомола им. Олыка Ипая.

Проф.Андуганов очень творчески подходил и к просветительской деятельности. Его бывшая студентка, аспирантка и коллега Л.Я. Григорьева провела скрупулезный анализ данной области деятельности и обобщила его следующими словами: «Особой заслугой Ю.В. Андуганова в области журналистики является организация, составление сценарий, ведение радио- и телепередач об ученых республики, о языке и культуре народа мари. Циклы радиопередач «У микрофона – ученый» (1980) были посвящены 60-летию Марийской АССР, в них освещались вопросы развития гуманитарных наук в республике. Десять телепередач «Марий шымлызе» о научных проблемах, исследуемых нашими учеными, продемонстрированы в 1979–1981 гг. Работу редактора выполняла Л.С. Борисова. Информации о марийско-финских взаимосвязях излагались в сценариях части «Финляндия сегодня» телепередачи «Импульс» (1985), в радиопередаче «Суоми мландыште – марий сем» («На земле Суоми – марийская мелодия») (1990). Уникальна телепередача «Шанчыен», организатором и редактором которой был Л.Г. Гимаев. Изучив эти видеоматериалы, мы можем поближе познакомиться с биографиями и творчествами следующих знаменитых деятелей науки и образования: П. Аристэ, В.М. Васильева, Ф.И. Гордеева, Л.П. Грузова, А.Г. Иванова, И.Г. Иванова, И.С. Иванова, Г.А. Сепеева, Г.И. Соловьевой, З.В. Учаева. Ю.В. Андуганову от природы дано мастерство телеведущего. Он умело ведёт искренние беседы с творческими личностями и дома, и на работе, на улице, делится воспоминаниями близких и знакомых им людей. Например, в передачах о В.М.Васильеве имеются выступления дочери Л.В. Васильевой, О.М. Герасимова, И.Г. Иванова, А.Е. Китикова; в передаче о П. Аристэ ценны воспоминания аспирантов, учеников выдающегося финно-угроведа: Ю.В. Андуганова, Л.И. Барцевой, Г.Н. Валитова, А.С. Ефремова, З.К. Ивановой, А.Е. Китикова, С.С. Сабитова, Э.С. Якимовой. Благодаря этой телепередаче сохранился замечательный материал об участии марийской делегации 2–5 февраля 1995 г. на Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения академика П. Аристэ. Перед нами г. Тарту того времени (даётся краткая информация об истории этого города), могила П. Аристэ, поминание эстонского академика, пленарное заседание, библиотека университета, дом, супруга, семья П. Аристэ, его рабочий кабинет, интервью с президентом Эстонии Леннартом Мери, с сыном ученого Андри Аристэ, песня «Энер вуд умбалне» («Над речной водой») (слова А. Волкова, музыка Е.Волкова), исполненная нашей делегацией за праздничным столом дома П. Аристэ. Несколько циклов этих телепередач в настоящее время хранятся на кафедре общего и финно-угорского языкознания Марийского государственного

университета и применяются в учебно-воспитательной деятельности Института финно-угроведения. В 1992 г. Государственная телерадиокомпания Республики Марий Эл транслировала 8 передач «Шочмо кундемын семже» («Мелодии родного края»), в которых представлены традиции, обряды и обычаи народа мари: Шорыкйол (Новый год, Святки), Сүрем (праздник летнего жертвоприношения), сплавление леса и т.д. По словам Л.Г. Гимаева и В.Д. Кульшетова, при организации и подготовке этих циклов передач Ю.В. Андуганов был консультантом, даже в одной из телепередач он сам прекрасно сыграл на свирели. Телезрители помнят Ю.В. Андуганова как уважаемого «Гостя студии» (28. 01. 1998, 04. 02. 1998).

После очной докторантуры в 1989–1991 г.г. в Тартуском университете, в 1992 году на специализированном совете при Марийском государственном университете состоялась первая в постсоветской России защита научного доклада по финно-угорскому языкознанию на тему «Микросинтаксис марийского языка в историческом освещении» в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Вскоре после этого став профессором и зав. каф. финно-угорских языков МарГУ Ю.В. продолжал служить финно-угорской науке. Вот строчки его последнего докторанта и первого защитившегося аспиранта Л.А. Абукаевой: «Его организаторские способности, умение общаться с людьми создали на кафедре особую атмосферу. Говорят, талантливый руководитель должен правильно расставить людей и не мешать им работать. Может быть, эти качества были и в Юрии Владимировиче, но он еще был принципиальным руководителем, который воспитывал в лаборантах (а это были студенты) особое отношение к своей работе, коллективу. Именно от него я получила уроки настоящей «филологической культуры», когда несешь ответственность за каждый знак, будь то пробел или запятая. Именно он убеждал нас в том, что человек, который не очень лестно отзывается о своем коллективе или коллегах, ставит под сомнение, прежде всего, свою репутацию. «Если твои коллеги такие, ты тогда какой?» – задавал он вопрос. И я навсегда запомнила: если человек плохо отзывается о других – это говорит о нем самом»

Зав. каф. общего и финно-угорского языкознания МарГУ О.А. Сергеев, в прошлом студент Ю.А. Андуганова, заметил, что «Ю.В. укрепил связь кафедры с зарубежными центрами финно-угроведения и РФ, подготовил плеяду не только марийских ученых, но и других регионов РФ.

«Много замыслов, невыполненных, у Юрия Владимировича осталось» - пишет первый выпускник отделения марийской филологии МарГУ, зав. кафедрой марийской литературы и фольклора С.С. Сабитов – «Из устных разговоров прежде вырисовывались его планы в будущем. Так, он много занимался подготовкой к открытию Института финно-угроведения. Раз, помню мы с ним специально съездили в Чувашский государственный университет по этому вопросу, побывали у проректора по учебной работе А.В. Арсентьевой. Долго она нам рассказывала о структуре такого института, был приглашен его директор профессор Сергеев Виталий Иванович. Конечно, не все было тогда мне понятно. Структурные подразделения, кадры, финансирование... Затем и Юрий Владимирович уехал на постоянную работу в только что открывшийся Югорский государственный университет в г. Ханты-Мансийске. Там он был избран деканом одного из факультетов. Здесь он каким-то образом добился

открытия Института финно-угроведения, директором которого вскоре был назначен он сам. Так что его мечта об открытии подобного структурного подразделения осуществилась за пределами родной республики», там же была открыта аспирантура по двум филологическим специальностям.»

Строки из воспоминаний Н.Г. Зайцевой достойной дочери вепсского народа, зам. председателя Комитета финно-угроведов РФ, зав. сектором «Языкознания» Карельского филиала РАН: «С разных сторон я слышала рассказы о том, как много усилий приложил Юрий Владимирович к тому, чтобы был создан ученый совет по защите докторских диссертаций и как много времени он провел во время его создания в дорогах между Москвой и Йошкар-Олой, решая различного рода проблемы. Несомненно, и его усилиями Йошкар-Ола превратилась в один из важнейших центров по финно-угроведению (надеюсь, это качество не будет утрачено, а будет лишь преувеличено!), что позволило провести X, юбилейный, Всемирный конгресс финно-угроведов именно в Йошкар-Оле. Я помню конгресс в Эстонии, в г. Тарту, где Ю.В. Андуганов выступал с речью на нескольких языках, приглашая всех участников приехать в гостеприимную Йошкар-Олу на юбилейный конгресс. И все с энтузиазмом ему внимали и принимали это приглашение известного российского ученого. В ту минуту даже и подумать было невозможно, что самого приглашающего в день открытия конгресса уже не будет в живых. Ведь приглашал нас всех к себе домой такой здоровый, умный, красивый, полный творческих и физических сил мужчина, что не могло возникнуть никакого сомнения, что мы непременно встретимся и побудем у него в гостях. Организация конгресса не была простой, мне, как члену оргкомитета, об этом тоже было отчасти известно. Не хочу вдаваться подробности, в которых, возможно, не все понимаю и о чем не все и знаю, но думаю, что для сердца Юрия Владимировича все это не прошло бесследно...»

«Но, на мой взгляд, было бы неполным перечисление его заслуг, если не остановлюсь на одном, самом главном. Оно связано с 10-летним юбилеем празднования марийским народом Дня письменности – Марий тиште кече» – вспоминает его друг детства, Б.А. Шамиев – «Зачинателем национального праздника был именно профессор Ю.В. Андуганов. В канун открытия в Йошкар-Оле симпозиума «Финно-угорский мир и XXI век», в начале 1998 года, он написал обоснованное письмо на имя Президента и Правительства Республики Марий Эл, в котором еще раз подчеркивает, что необходимо объявить ежегодно 10 декабря государственным праздником – Днем марийской письменности. Далее обосновывает свою мысль тем, что «первая грамматика марийского народа была издана в Санкт-Петербурге в 1775 году. Она называлась «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка». Книга начала продаваться в магазинах Санкт-Петербурга 10 декабря того же года. Поэтому марийская общественность предлагает объявить именно этот день как праздник». В сохранившемся протоколе совещания совета по государственным языкам при Правительстве Республике Марий Эл от 12 ноября 1998 года ярко отражен ход дискуссии по поводу поднятого вопроса. В заключении члены совета большинством голосов приняли решение о необходимости подготовить проект постановления правительства «О государственном празднике – Дне марийской письменности» и до конца доработанный вариант передать на подпись Президенту Республики Марий Эл. В день открытия в столице Марий Эл –

Йошкар-Оле большого симпозиума финно-угроведов «Финно-угорский мир и XXI век» 20 ноября 1998 года распоряжение тогдашнего президента Республики Марий Эл В.А.Кислицына о новом празднике было опубликовано во всех республиканских изданиях. 10 декабря 2008 года марийский народ десятый раз отметил праздник большим торжеством. Но не все и по сей день знают имя основоположника Дня марийской письменности...»

Итак, кто же он – скромный человек, марийский финно-угровед – друг, коллега, учитель, начальник, единомышленник, артист, музыкант, журналист, ведущий, просветитель, назидатель, «националист», сельский учитель, организатор, ученый, новатор, полиглот, научный менеджер, потомственный интеллигент.

Габор Б. Секей
Печ

**ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА:
ЛАСКИЙ (1843), REGULY (1847)**

Антал Регули был создателем этногеографического исследования финно-угорских народов Урала. Это выражение находится в названии его карты: Ethnographisch-geographische Karte (Reguly 1847). Это неслучайно, так как путешественник-исследователь хотел знать, где живут эти народы чтобы собирать языковой материал. Прежде всего ему надо было карту организовать свою поездку на Урал. Когда он приехал в город Пермь, ему дали карту пермской губернии. Об этом он так пишет в своем дневнике: 1843 ноябрь 9 Пряжильщиков передает мне список названий населенных пунктов губернии, 1843 ноябрь 11 получаю карту губернии (Reguly 2008). Эта карта была: Карта Пермской Губернии. Карту сочинял Уездный Землемер Лаский в 1843, и этот экземпляр хранится в архиве Венгерской академии наук в Будапеште (Лаский 1843). Вероятно, что он сразу начал изучать список названий населенных пунктов губернии, и на основе этого подчеркнул чернилом на карте Лаского населенные пункты манси. Эти деревни и юрты были расположены на реке Южная Сосьва и её притоках.

Когда Регули приехал в Петербург из своей экспедиции, петербургское географическое общество попросило его составить и нарисовать географическую карту Северного Урала прежде всего на основе своих рукописных карт. Карта была готова в декабре 1846, он тоже написал свои замечания к карте и послал это академику Кеппену. После этого поехал в Австрию и в своей жизни никогда не вернулся в Петербург.

В Петербурге в это время организовали первую географическую экспедицию на Северный Урал с руководством Эрнеста Карловича Гофманна. Для участников экспедиции, которых было 12 человек, в Генералштабе сделали литографированные карты на основе рукописи Регули. По просьбе Регули академик-историк Куник послал ему одну из этих литографий. Этот экземпляр хранится в архиве Венгерской академии наук в Будапеште с датой 1847.

Если сравнить карту Регули с картой Лаского можно видеть получилось ли ему найти мансийские поселения по карте Лаского. Как видно на карте Регули этническая граница манси идёт между Южной Сосьвой и Средней Лозьвой параллельно восточной границе пермской губернии. Я считаю, что там, на Южной Сосьве жили только обрусевшие манси, но топонимия этого края сохранила память о манси (Гуя 1963).

Среди примеров ниже есть много оригинальных топонимов манси. На карте Лаского Регули подчеркнул все топонимы, которые начинались со словом Юр. Он правильно думал, что с этим оригинально тюркском словом называли манси свои деревни. В настоящее время на Верхней Лозьве находятся Юрта Пакина, Юрта Бахтиярова, Юрта Анямова, Юрта Пеликова и т. д.

Следующие топонимы были составлены с помощью сравнительного метода. Первый топоним в строке дан из карты Лаского, и второй из карты Регули. Если есть топоним из рукописной карты Регули (Reguly 1844), тогда первый топоним из этого и второй топоним из литографированной карты Регули. Знак > между ними показывает, что Регули переписал данный топоним из рукописной карты на литографированную карту, а знак >| что данный топоним остался в рукописи. В скобках топоним, который находится ныне (Кузнецов–Трушин 2000, Матвеев 2007).

1 Южная-Сосьва эта правая составляющая реки Тавда в Свердловской области

Р. Сосьва *Ass - oder Asse Tait r. Sosva > R. Ssosswa*

1.1 Молва - правый приток реки Сосьва

Р. Мольва *Molim je - Molva >|*, Мольева *Moluntitt paul Molva > Molwa* (Молва)

Ларищева (Ларищево), Мишина (Мишина), Горньись, Кокуй, Кошайское (Кошай), Четков, Киселева (Киселева)

1.2 Ляля - правый приток реки Сосьва

Р. Ляля, *Ullyjä oder Lile tait - r. Lyalya > R. Ljalja*

Тылтассва, Глузунова, Грязнова, Денисова (Денисова), Юр. Таракановы (разв. Тараканово), Салтанова (Салтанова), Гаскина, Митрофанова (? Новая Ляля), Безедкова *Bessonowa* (Нижнее Бессоново), Злыгостева (Злыгостева), *Karaulsskoe* (Караульское), Лялинское (Стар. Ляля), Мелехина *Melechina* (урай Мелехино), *K. Magdalinski, G. Baschmakowa*, Спасское *S. Spajsskoe* (Юрты), Николаевской желез *Pavdinskoe* (Павда), Река Павда *R. Pavda* (Павда), *Pavdinsk. K., Ljalinski K.*

1.2.1 Лобва - левый приток реки Ляля

Река Лобва *Luop jä - r. Lobva > R. Lobwa* (Лобва), Юр. Лаповевы *Lobwinskoe* (Лапаево), Коптякова (Коптяки), Юр. Жаркіе (урай Жарких), Зим. Лобвинское (Верхняя Лобва), *Suchoi K., Lobwinski K.*

1.2.1.1 *R. Latje* (Лата), *Latinskoe* (урай Лата)

1.2.1.2 *R. Jalwa* (Елва)

1.2.1.3 *R. Kuschwa* (Кушва), *Tilaiskoe, Wolkusch* (г. Казанский Камень)

1 Копылова (Копылова), Матушкина (Матушкина), Маслова (Маслова),

Sotri je - r. Sotrinna >|, Магина (Магина), Титова (? Семенова), *pinkina >|*, Киселева (Киселево), Мороскова (Моросково), Поспелкова (Поспелкова), Юр. Вогульская Маслова, Юр. Качегарсковы

1.3 Каква – правый приток реки Сосьва

Река Каква *Koahjä - r. Kakva > R. Kakwa* (Каква), Юлкина, Каквинское *Kakwinskoe* (Каква)

1 Юр. Танковы *jurti tonkovitschevi > Tonkwitschewi j.* (Танковичи)

1.4 Турья – правый приток реки Сосьва

Р. Турья *r. Turja, Turrjä >|* (Турья), *Turjinski rudnik > Turinski Rudnjik* (Краснотурьинск), *Bogoslovsk* (Карпинск), Ю. Зимовье, Юр. Антиповы (Антипинский), Гуринские руд., Фроловской руд., Богословской медепл., *Belaja Gora* (г. Белая), *Kirtim* (г. Буртым), *Konshakovski K.* (г. Конжаковский Камень).

1 Юр. Канаткины (ур. Новая Канатка), Юр. Тарианковы, Юр. братьяхъ Анисимковыхъ, Юр. Ясаулковы, *Laulä - r. Langur > R. Langur* (Лангур), Адриановичи *Andreanovitschi* (Андреановичи), *Volytschingjä - Voltschanka > R. Woltschanka* (Бол. Волчанка), Юр. Анисимовы, Юр. Климовы, Юр. Тихоналовы,

R. Atjus (Атюс), *Petrovi päill Petrovi* (Петрова), *Petrovi wog. Marschata* >| (Марсяты), Юрты Денежкины (Денежкино)

1.5 Вагран – правый приток реки Сосьва

P. Вагран Vuoring jä – r. Wagran > *R. Wagran* (Вагран), Петропавловской медепл. *Petropavlovsk* > *Petropawlovsk* (Североуральск), *Kolenga jä – r. Kolenga* >| (Колонга), *Zolotoj ozero*, Руд. Троицкой, *Kumra* (г. Кумба), *Sälypäiti – Lipovoi* > *Lipowa gora*, Зим. Боронское *Zim. Boronskoe*, Зим. Тилайское *Zim. Tilaiskoe*

1. 6 *R. Konda* >| (Канда), *zarubni od. Kondinski uval* > *Kondinski Uval*

1.7 *P. Шегултан Schängilting* > *R. Schängilting* (Шегульта́н), *Zaosersk – Vsevolod Vsevolodskoi* > *Wsewolodsskoi* (Всеволодо-Благодатское), *vuärp nyärr Zsuravlov* > *Shuravl'jov* (г. Журавлёв Камень), *Koschjä – r. Kosva* > *R. Koswa*

1 Юр. Тренкины *Tait tälyäch puäl Trenkini* > *Trenkini* (урай Тренькино), селен. Воскресенское *voskresenskoe* > *Wosskresenskoe*, *Kuolt nyärr Djenischkin* > *Djenischkin K.* (г. Денежкин Камень), *Schem säit* > *Kriwinskaja Sopka* (г. Кривинская)

1.8 *Sulyjä – r. Solva Suljä* > *R. Ssolwa* (Сольва), *Khoistä - Solvinsi Kam* > *Ssolvinski K.* (хребет Сосьвинский)

1 *Ass Tait tälyäch nyärr – Sosvinski Kamen* > *Ssoswinski K.* (хребет Сосьвинский).

2 Лозьва – левая составляющая реки Тавда

Река Лозва *Luossm – reka Lozva* (Лозьва), *P.Б. Понель Ponyilje* > *R. Ponjilje* (Понил), Юр. Усманковы, Юр. Усманковы *Urtitt puäl Usmankovi* > *Usmankowi*, Юр. Грегаковы

Из края Верхней Лозьвы на карте Лаского нет почти никаких топонимов, а наоборот, на карте Регули есть много гидронимов, ойконимов, оронимов из этого края. Поэтому можно сказать, что карта Регули одна из первых и самых важных источников топонимии Северного Урала. Регули точно почувствовал и показал, что народ, носители родного языка, живёт в пространстве, у них свои географические границы. В этом смысле я считаю, что Антал Регули был создателем первого этногеографического исследования финно-угорских народов Урала.

Литература

Гуя, Янош 1963: Древнемансийские диалекты. CIFU1, Akadémiai Kiadó, Budapest, 172–175.

Кузнецов, Ю., Трушин, Д. (ред.) 2000: Свердловская область. Общегеографический региональный атлас. 439 ЦЕВКФ, Москва.

Лаский 1843: Карта Пермской Губернии. Карту сочиняль Уездный Землемер Лаский. МТАК Kézirattár Tört. földr. 4. r. 2. sz., Budapest.

Матвеев, Александр 2007: Географические названия Свердловской области. ИД Сократ, Екатеринбург.

Reguly Antal 1844: Karte Nro I. Das gebiet der oberen Lozva. Vsevolodskoi. 1844. Jan. kéziratos tintarajz, МТАК Kézirattár, M. Nyelvtud. 2drét 4. r. 5. sz., Budapest.

Reguly Antal 1847: Ethnographisch-geographische Karte des Nördlichen Ural Gebietes Entworfen auf einer Reise in den Jahren 1844 und 1845 von Anton v. Reguly St Petersburg 1846. MTAK Kézirattár Tört. Földr. 4. r. 1. sz., Budapest.

Reguly Antal 2008: Календариум. Редактор: Энико Сий, Издательство Тинта, Будапешт.

Пирет Норвик
Таллинн

О ЛЕКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ ЭСТОНСКОГО ПРИБРЕЖНОГО ДИАЛЕКТА И ФИНСКОГО ЯЗЫКА

Диалекты эстонского языка подразделяются на две основные группы – североэстонские и южноэстонские. К североэстонским относятся центральный, западный, островной (распространен на островах Сааремаа, Хийумаа, Муху и Кихну) и восточный диалекты. Группа южноэстонских диалектов – мультиский, тартуский и вырусский. Но лингвисты считают самостоятельной группой и северо-восточный прибрежный диалект, который объединяет прибрежный и северо-восточный диалекты. В прибрежный диалект входят говоры приходов Йыэляхтме, Куусалу, Хальяла, Виру-Нигула и северной и восточной частей Вайвара. К северо-восточному диалекту относятся говоры Алутагузе: Люганузе, Йыхви, Ийзаку и западной части Вайвара. Их отличают прежде всего контакты с соседними говорами и языками. Северо-восточный прибрежный диалект, близкий к финскому языку, распространен на севере и северо-востоке ареала – от Таллинна с полуострова Виймси и, расширяясь вглубь материка, до реки Наровы. Прибрежный диалект имеет много общего с финским языком, а в северо-восточном отмечается и влияние водского и ижорского языков. Анализ фонетических и морфологических особенностей и лексики показал, что когда-то ареал северо-восточных говоров простирался несколько дальше на юг. Обычно в него входила земля Вирумаа, но временами также говоры Хартумаа и Ярвамаа. Вполне вероятно, что северная часть прихода Кадрина ранее тоже относилась к ареалу северо-восточного прибрежного диалекта. Это подтверждают и результаты моих исследований лексики. На диалектных картах можно заметить принадлежность большинства слов, отмеченных на севере ареала кадринаского говора, к лексике прибрежного диалекта (Norvik 1991). Под натиском литературного языка прибрежному диалекту приходилось отступать.

Почему же этот язык на побережье Северной Эстонии так своеобразен? Предположений немало. Вероятно, когда-то эстонский язык и был таковым, каким сохранялся на окраинных территориях. Долгое время объяснялось это финскими влияниями: якобы финны селились на побережье и потому в говоре эстонских поморцев появились финские заимствования. Вопрос этот нуждается в более пристальном внимании.

Поскольку в последние десятилетия я подробнее занималась прибрежным диалектом, обращусь к нему. С 1983-го года я изучала говор Хальяла, а с 1993-го года – в основном говор Куусалу. Тогда можно было ещё встретить хороших информантов. Многие носители языка, с которыми я работала, были потомками финнов. Мне посчастливилось слушать звучание этого своеобразного старинного диалекта из уст Эдгара Лилхейна (1916–1999) и вплоть до 2003 года – его сестры Нелли Микивер (1923–2003). Э. Лилхейн был двуязычен, он владел как литературной формой, так и диалектом. Они с сестрой хорошо разбирались в национальных традициях и знали диалектный язык во всём его богатстве. Я

собирала у них образцы диалектной речи, записывала материал на магнитофонную ленту и уточняла у них семантику слов и выражений.

Много интересной лексики северо-восточного прибрежного диалекта было выявлено при расшифровке магнитофонных записей, которые хранятся в диалектном архиве Института эстонского языка, и при дополнении корпуса эстонских диалектов финскими заимствованиями, не зарегистрированными ещё в диалектном собрании Института эстонского языка. Известный к тому времени ареал распространения финских заимствований обогатился новыми сведениями.

О лексике северо-восточного прибрежного диалекта эстонского языка писали Сеппо Сухонен (Suhonen 1979; 1997) и Тийна Сёдерман (Söderman 1996), о лексике восточного ареала этого диалекта – Кая Тойкка (Toikka 2003). Лексика прибрежного диалекта до сих пор исследовалась мало.

Первые поселенцы достигли Эстонии вскоре после того, как ок. 11 000 г. до н. э. сошел ледник, покрывавший материк в ледниковый период. Побережье Северной Эстонии после таяния ледника долго оставалось под водой. Первые следы поселений человека относятся к каменному веку. На холме Ламмасмяги, что находится недалеко от современного города Кунда, в середине каменного века (8700–4950 гг. до н. э.) уже существовало поселение, одно из древнейших на территории Эстонии. Носители кундаской культуры считаются прибывшими с юга европеоидами. Хотя позже население пополнялось переселенцами из разных краёв, современные эстонцы несут в себе генетическое наследие и носителей кундаской культуры. (Zetterberg 2009: 20) Следы человеческой деятельности, которые относятся к каменному веку, обнаружены и в других уголках Северной Эстонии, большей частью в направлении вглубь материка, например, населённый пункт у реки Ягала в Йьэляхтме (Vedru 2002: 41).

По мнению Я. Раукко и Й.-О. Эстмана, язык и культуру нельзя отделять друг от друга: так, языковой ареал Балтийского моря можно рассматривать как отражение балтийской культуры и, наоборот, культурное пространство Балтийского моря частично представляет собой результат языковых контактов (Raukko, Östman 1994: 6). Финский залив не только разделял, но и служил связующим звеном между народами. Тесные контакты между эстонскими и финскими поморцами существовали с древних времён. Они осуществлялись в основном двумя путями: 1) товарообмен и 2) ловля рыбы эстонскими рыбаками у южного побережья и островов Финляндии. Взаимный обмен товарами получил название «дружеская торговля» (фин. *seprakauppa*), он зародился ещё в средние века, по мнению К. Вилкуна, в XIII веке, когда в центре и на востоке северного побережья Финского залива сформировалось постоянное население (Vilkuna 1964: 17). «Дружеская торговля» была распространена в Вирумаа (Северная Эстония), где рыбы водилось мало. Финны, преимущественно островитяне (Тютарсаари, Суурсаари и Лавансаари), меняли в Эстонии свою рыбу на хлебные злаки и другие сельскохозяйственные товары. Важнейшими портовыми и торгово-обменными пунктами были Маху, Тоолсе и Верги. Торговые отношения устанавливались между деревнями и отдельными семьями. Финны приезжали с жёнами и детьми. У каждого в Эстонии были друзья (*seprad*), знакомые хуторяне, у которых в обмен на салаку они получали зерно. «Дружеская торговля» продолжалась многие столетия и прервалась в 1939 году. Начиная с

2000 года делались попытки возродить старую традицию и время от времени то в Эстонии, то в Финляндии проводятся дружеские ярмарки.

Раньше жители побережья каждое лето отправлялись к южному берегу и островам Финляндии на рыбную ловлю, поскольку там было больше рыбы, чем у эстонских берегов. Дошедшие до нас первые сведения об этом относятся к XVI веку. На рыбную ловлю отправлялись также весной и осенью, с собой брали жён, которые там же солили рыбу на зиму. Поддерживались контакты с определёнными местами в Финляндии. Важнейшую роль играли маленькие острова вдоль побережья между Хельсинки и Ловийса. Самые восточные места лова входили в архипелаг Хаапасаари, куда из Вийнисту по воде было примерно 110 км. В конце XIX века походы за рыбой в Финляндию сократились и практически прекратились в начале Первой мировой войны.

Через залив плавали и с другими целями. Столетиями между поморцами Эстонии и Финляндии велась контрабандная торговля. В XIX веке интенсивно торговали солью, она ввозилась из Финляндии в Эстонию, поскольку была качественнее и дешевле. Контрабанда соли продолжалась до конца XIX века, за ней последовал контрабандный ввоз спирта. Когда в 1919 году в Финляндии был принят закон о запрете торговли алкогольными напитками, у эстонских поморцев появились особенно хорошие возможности заработать. Преимущество жителей Вийнисту и Тапурла состояло в том, что у них уже были контакты с островами и островитянами Финляндии. Контрабанда спирта продолжалась до 1939 года.

Оживлённые связи между эстонцами и финнами вели к заключению смешанных браков как здесь, так и по ту сторону Финского залива.

В результате тесных взаимоотношений воспринимались друг от друга и элементы народной культуры. Так, на полуостровах северного побережья Эстонии получил распространение своеобразный двусторонний тип жилья (дом, в котором жилые помещения – комната + коморка – располагаются по обе стороны от сеней). Густав Рянк (Ränk 1939) усмотрел в этом влияние финской строительной традиции. На рассматриваемой территории вошли в употребление и многие предметы, заимствованные вместе с их названиями. В 1920-е годы появились здесь финские сани *potka*, *potku*, *potkur* < фин. *potkuri*; *potkakelk*, *potk(u)kelk* < фин. *potkukelkka*. Карманный фонарик именуется здесь *sähkö*, *sähku* < фин. *sähkö*, а также *sähkölamp* < фин. *sähkölamppu*.

В разные времена на северном побережье Эстонии селились финны. Так было, например, в XVII веке. Особенно много финнов переселилось сюда после Северной войны. В результате опустошительных походов российского войска во время Северной войны и после эпидемии чумы 1710–1711 гг. деревни опустели. По данным ревизских сказок 1732 (ЕАА, ф. 3, оп. 1, д. 466) и 1782 гг. (ЕАА, ф. 1864, оп. 2, д. IV–1), в прибрежных деревнях проживало немало и финнов, в 1732 году их насчитывалось около 200, а в 1782 – всего 90 человек, но в действительности их было больше.

Архивные данные свидетельствуют: «В прибрежные деревни прибывают новые жители в большинстве своём из Финляндии, особенно из ее южных районов, которые тогда находились ещё под властью Швеции. Однако отдельные финские семьи появились и в деревнях на значительном расстоянии от моря. Вообще среди переселенцев преобладают семейные люди, но встречаются и

вдовы с детьми, убогие, бродяги, а также пара девиц, у каждой по ребёнку. В сельскую местность направлялись некоторые пожилые мужчины – пастухами. Эти финны в основном уроженцы Уусимааской и Выборгской провинции. Прибывали также финны из Порвоо, Кюми, Пюхтия, Хамина, Сиббо, Виролахти, Вийпури, Тютарсаари, Хямеенлинна, Вехкалаhti и Ингерманландии» (Vilbaste 1956: 86; ЕАА, ф. 3, оп. 1, д. 466). Финские переселенцы довольно быстро ассимилировались коренным населением.

На основе картотеки диалектной лексики Института эстонского языка составлен «Краткий диалектный словарь» (первая часть (А–L) опубликована в 1982 году, вторая (М–Ü) в 1989 году), он включает 73 397 словарных статей. На основе введённого в ЭВМ материала исследовались лексические связи эстонских диалектов и распространённость диалектных слов. Около половины словарного запаса (35 981 слов, или 49%) встречается в Северной Эстонии, около четверти (19 121, 26%) – только в южноэстонских диалектах.

Более своеобразна лексика на окраинных территориях, в центральных районах она более стереотипна. В северо-восточном прибрежном диалекте есть 7112 слова, которые встречаются только в нём и нигде более в Эстонии (20% общего количества слов, употребляемых в Северной Эстонии). В западных говорах северо-восточного прибрежного диалекта (Йыэляхтме, Куусалу, Хальяла) встречается 2869 таких слов. Больше всего тех слов, что зафиксированы только в одном из говоров – 5567. А их бóльшую часть составляют слова, которые употребляются только на побережье в Куусалу – 2256 (в «Кратком диалектном словаре» лексика прибрежных говоров Куусалу тоже представлена лучше остальных диалектов – 12 552 слов). Куусалуский прибрежный говор очень своеобразен, его лексику лингвисты охотно собирали и записывали на магнитофонную ленту.

По данным Хуно Рятсепа (Rätsep 2002: 74), финские заимствования стали появляться в эстонском литературном языке с конца XIX века, имеется примерно 800 заимствованных слов, большей частью производных заимствований, корни которых в эстонском языке уже существовали.

Очевидно, ещё больше финских заимствований в северо-восточном прибрежном диалекте, куда они попали гораздо раньше. Особенно много их в говорах Куусалу и Вайвара. К финским заимствованиям в прибрежном диалекте мы относим слова с узким ареалом распространения, имеющие соответствия в финском языке. По мнению лингвистов, языковые явления, имеющие хождение на большей части рассматриваемого диалектного ареала, не объяснимы только заимствованием. В прибрежном диалекте есть финские заимствования, имеющие в финском языке повсеместное распространение, например, *makkara* (Куусалу) ‘колбаса’ < фин. *makkara*; *ahker* (Куусалу, Хальяла) ‘усердный старательный’ < фин. *ahkera*; *harmitama* (Куусалу, Хальяла) ‘огорчать, огорчаться’ < фин. *harmittaa*; *viegas* (Куусалу, Виру-Нигула) ‘двуличный, хитрый’ < фин. *viekas*. С. Сухонен (Suhonen 1997: 457) считает, что только в говоре Куусалу среди известных слов сотни финских заимствований: *hiuga* ‘мало’ < фин. *hiukan*; *hile* ‘наст, тонкая ледяная корка’ < фин. *hile*. Можно добавить *huhu* ‘сплетня’ < фин. *huhu*; *höürimä* ‘заговариваться’ < фин. *höyriä*; *usejast(i)* ‘много’ < фин. *useasti* ‘часто; много раз’; *tiuga* ‘натянута; узко’ < фин. *tiukka* ‘накрепко, натянута’;

mürsk(i) ‘шторм’ < фин. *myrsky*; *üldüma* ‘усиливаться (о ветре)’ < фин. *yltyä* ‘то же; ускоряться; обостряться’.

Всё же заимствования могут иметь и более широкое распространение, употребляться и в соседних говорах, например, *taivutama* (Куусалу, Хальяла, Йыэляхтме (центральный диалект), Куусалу (центральный диалект), Кадрина) ‘выгибать’ < фин. *taivuttaa*; *sumu*, *-o* (Йыэляхтме, Куусалу, Хальяла, Вайвара) ‘туман’ < фин. *sumu*; *vaanima* (Йыэляхтме, Куусалу, Хальяла, Юри, Йыэляхтме (центральный диалект), Куусалу (центральный диалект)) ‘разведывать, подглядывать’ < фин. *vaania*; *taibuma* (Куусалу, Хальяла, Виру-Нигула, Люганусе, Йыхви, Куусалу (центральный диалект, Кадрина) ‘изгибаться, гнуться’ < фин. *taipua* ‘то же; сдаваться, соглашаться; склоняться’.

Есть слова, которые получили распространение в финских диалектах лишь на ограниченной территории, т. е. имеют соответствия лишь в отдельных финских диалектах: *sievimä*, *-a* ‘прийти в себя’ < фин. (в Южной Карелии, в ареале финских юго-восточных диалектов) *sievitä* ‘очнуться ото сна; встряхнуться’. Прочными были контакты с островами Финского залива: Лавансаари, Тютарсаари и Суурсаари. По мнению лингвистов, тесные контакты связывали Кюменлааксо и Уусимаа с ареалом северо-восточного прибрежного диалекта.

Сегодня местные жители часто уже не помнят значения диалектных слов. Такие слова встречаются в произведениях фольклора, а также в составе топонимов. Первичное их значение местными жителями забыто. Среди топонимов северного побережья Эстонии есть финские заимствования, которые до сих пор исследовались мало. Их происхождение позволяет выяснить сопоставление с финским языком. В говоре Куусалу в качестве топонима встречаем название ландшафтной формы *Räimigu*, *-ku* ‘сенокос, луг; поле’, *Räimiko* ‘сенокос, луг’, которое обнаруживается и в составе топонима *Räimiku mets* (лес), *org* (овраг), *soo* (болото). Это название можно объединить с финским апеллятивом *rämeikkö* ‘болотистая местность, где произрастают и хилые деревца’. Слово известно также в карельском *räme(jikkö)* ‘скудный лес’ (SSA 3: 125) и вепском *rämik*, *rämegišt* ‘болотино’ (СВЯ: 489) языках, в говоре Куусалу на побережье Колга *räimik* ‘влажный луг, лесной луг с редкими деревьями’. В данном случае можно говорить о стремлении языка придать слову привычный фонетический облик. Исторически в эстонском языке дифтонг в непервых слогах утрачен, но в современном языке встречается прежде всего в формах множественного числа на *-i* и в формах превосходной степени на *-i*. Для топонимов характерно, что носители языка заменяют вышедшее из употребления слово на понятное им, в данном случае таковым стало *räim* ‘салака’. Об этом свидетельствует и запись 1834 года – *Räimiko* ‘бобыльское хозяйство’ в волости Лоо. По картотеке Центра исследования языков Финляндии (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus), в финском языке этот апеллятив встречается и как название, или название-термин: *Rämeikkö* ‘низкое, влажное место, где растут ивы’ (Пюхаярви), *Rämeikkö* ‘леса в Сандё’. Название *Rämeikkö* связано с тем, что лес болотистый и зарос кустарником (Каруна), *Rämeikkö* ‘болотистая местность на краю Мустиккаламми’. Впервые апеллятив зафиксирован в финском языке в 1765 году Jussila (998: 231).

Ещё в 1983 году, подытоживая состояние северо-восточного прибрежного диалекта, Мари Муст (Must 1983: 89) заметила, что большие сдвиги и изменения коснулись лексики в целом. Идёт процесс постепенной замены старых диалектных слов и выражений более близкими к общенародному языку, как в говоре Куусалу, например, (старое) *kukketama* ‘цвести’, *eiestama* то же; (обычное) *õilema* ‘цвести’; (новое) *õitsema* ‘то же’.

Сегодня прибрежные деревни опустели, коренное население малочисленное, жизнь бьёт ключом только в летнее время. Поскольку диалектный язык всё же отличается от общенародного, уроженцы этих мест начинают избегать диалектной речи, чтобы не очень выделяться своей речью среди остальных жителей. Будучи в городе, они пользуются общенародным языком, а возвращаясь в родную деревню, переходят на диалект.

Лингвистам уже не известны носители старого диалектного языка. Кое-где, в основном на полуостровах и островах, живут пожилые люди, в речи которых встречаются диалектные элементы, они ещё помнят и умеют исполнять предания о старых временах. Диалектный язык современного старшего поколения сложился в 30-е годы XX века, он испытал влияние и общенародного, и литературного языков. В индивидуальном плане язык некоторых довольно старых людей тоже уже весьма близок к общенародному. И всё же кое-где ещё не забыты диалектные слова, а в зависимости от того, как говорят в семье, элементы прибрежного диалекта можно услышать даже в языке детей. Большинство финских заимствований в наши дни уже вышло из употребления, но некоторые из них употребляют и сегодня представители среднего и даже младшего поколения местных жителей, например, *noukida* (Йыэляхтме, Куусалу, Хальяла, Виру-Нигула, Юри, Кадрина) ‘собирать (о ягодах)’ < фин. *noukkia*. *Ei mina viitsi neid noukida (mustikatest)*. ‘Да не хочется мне её собирать (о чернике).’ В июле 2010 года при опросе шести местных жителей разного возраста в ареале куусалуского говора (данные Мийны Норвик) выяснилось, что из рассмотренных здесь слов активно используются некоторые поздние финские заимствования, например, *potku*, *sähku*. Снежной зимой *potku* ~ *potkur* ‘финские сани’ необходимое в прибрежных деревнях средство передвижения. Удивило, что в активе разновозрастных жителей оказалось слово *vaanima*, которое было известно большинству опрошенных. Представители среднего поколения, наряду с перечисленными, активно употребляют лишь единичные слова: *sumu*, *taibuma*, *mürsku*. Больше диалектных слов, чем остальные, знал 72-летний информант, кроме перечисленных, *höurima*, *sievima*, *õilema*.²⁷

²⁷В настоящее время вокальная гармония уже утрачена, её можно было слышать ещё 10 лет назад у Э. Лилхейна на побережье Кынну в Куусалу, на побережье Колга она пропала ещё раньше.

Знание финских заимствований на побережье Колга в 2010 году

Имя Возрасть	Лийза 24	Лаура 25	Ану 48	Эви 49	Маре 51	Донна 72
<i>potku</i>	+	+	+	+	+	+
<i>sähku</i>	+	+	+	+	+	+
<i>sumu</i>			+	+		+
<i>höürima</i>						+
<i>sievima</i>						+
<i>taibuma</i>					+	+
<i>vaanima</i>		+	+	+	+	+
<i>õilema</i>						+
<i>mürsku</i>			+			+

Тесные контакты с финскими поморцами – рыбная ловля и сезонные работы в Финляндии, на побережье в Куусалу (особенно же в деревнях Вийнисту и Тапурла) контрабандный ввоз спирта в Финляндию, многие смешанные браки и переселенцы финского происхождения – всё это оказало существенное влияние на народную культуру северного побережья Эстонии и на язык, особенно лексику, в которой встречается много общих с финским языком слов. Но всё-таки мы не можем все общие с финским языком черты североэстонского прибрежного диалекта объяснить только заимствованием, среди них много исконных элементов, характерных для этого диалекта.

Архивные данные и литература

ЕАА = Eesti ajalooarhiiv

ЕАА, ф. 3, оп. 1, д. 466: Specification derer Findschen Bauren, welche sich unter Meine Güther Kolck, Kida und Kondo am Heutigen Dato alß d. 19. September 1732 befinden.

ЕАА, ф. 1864, оп. 2, д. IV–1: Neljas hingerevisjon 1782. aasta Jõelähtme, Harju-Jaani, Kuusalu, Jüri, Kose, Rapla kihelkond.

Jussila, Raimo 1998. Vanhat sanat. Vanhan kirjasuomen ensiesiintymiä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 696. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 101. Helsinki.

Must, Mari 1983. Kirderannikumurde tänapäev. – Emakeele Seltsi aastaraamat 1980/1981 26/27. Eesnimedest oskussõnadeni. Tallinn, 77–89.

Norvik, Piret 1991. Viron Kadriinan murteen sanasto. – Kieliposti 2, 23–26.

Raukko, Jan, Östman, Jan-Ola 1994. Pragmaattinen näkökulma itämeren kielialueeseen. University of Helsinki Department of General Linguistics. Publications No. 25. Helsinki.

Ränk, Gustav 1939. Omapärane elamutüüp Eesti põhjaranniku neemedel. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XIV 1938. Tartu, 69–89.

- Rätsep, Huno 2002. Eesti kirjakeele tüvevara päritolu. – Sõnaloo raamat. Tartu: Ilmamaa, 59–77.
- SSA = Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 1–3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 556. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 62. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992–2000.
- Suhonen, Seppo 1979. Über die Beziehungen zwischen dem Finnischen und den estnischen Küstendialekten. – Münchener Universitäts-Schriften. Band 3. Hg. von G. Ganschow, München, 357–366.
- Suhonen, Seppo 1997. Viron rantamurteiden suomalaislainat. (Rets.: Tiina Söderman, Lexical characteristics in the Estonian north eastern coastal dialect. *Studia Uralica Upsaliensia* 24. Uppsala 1996. 184 s.) – *Virittäjä* 3, 456–461.
- Söderman, Tiina 1996. Lexical Characteristics of the Estonian North Eastern Coastal Dialect. *Studia Uralica Upsaliensia* 24, Uppsala.
- Zetterberg, Seppo 2009. Eesti ajalugu. Tallinn: Tänapäev.
- Toikka, Kaja 2003. Kirderannikumurde idaosa murde- ja keelekontaktid. Tallinn: TPÜ Kirjastus.
- Vedru, Gurly 2002. Archaeological excavations in Jõelähtme and Kuusalu Parishes. – Arheoloogilised välitööd Eestis. Archaeological fieldwork in Estonia 2001. Tallinn: Muinsuskaitse amet, 41–47.
- Vilbaste, Gustav 1956. Kohanimed Loxsa rajooni lääneosas (endises Kuusalu kihelkonnas). Peatükk asustusajaloost. Tallinn. (Рукопись хранится в диалектном архиве Института эстонского языка.)
- Vilkuna, Kustaa 1964. Suomalais-virolainen sepralaitos. – *Kotiseutu* 1, 6–19.
- СВЯ = М. И. Зайцева, М. И. Муллонен. Словарь вепсского языка. Академия наук СССР. Карельский филиал. Институт языка, литературы и истории. Ленинград: Наука 1972.

**ВКЛАД ХАНТЫЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
РОДНОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОДНОГО НАРОДА**

В традициях хантыйского народа всегда было принято выделять творчески одаренных людей. Статус этих людей был очень высок. Тот, кто умеет петь, рассказывать, много знает, владеет силой слова, по общепринятому в народе мнению, пользуется особым расположением высших сил, они находятся под покровительством светлых духов и самого Торума. Олакун – так говорили ханты о внешне и внутренне красивом человеке, умевшем красиво петь, вести сказ, а самое главное поднять дух людей, это олицетворение человека, обладавшего силой слова, вдохновлявшего народ в переломные моменты жизни, во время войн и т.д. Именно в таких людях аккумулировались духовное богатство, мудрость народа, они активно влияли на общественное сознание, помогали сплотиться народу и справляться с проблемами, которые возникали в жизни людей. В традиционной среде эти люди проявляли себя не только как прекрасные сказители, певцы, исполнители медвежьих игрищ, но многие из них были целителями, предсказателями... (Волдина 2002а: 176–180).

Активное изучение языка и культуры хантыйского народа, прежде всего фольклора – как источника знаний о народе, начинается с середины XIX века, именно тогда в научном плане были востребованы лучшие носители духовных традиций. Выдающие результаты многих венгерских, финских, российских исследователей в области изучения хантыйского языка, фольклора, народной культуры не возможно было бы без активного участия в этой работе выдающихся хранителей духовных традиций хантыйского народа. К сожалению, имена многих из них остались в неизвестности...

В то же время, хранителей духовных традиций народа мы можем рассматривать как прототипы современных ярких представителей искусства, прежде всего поэтов и писателей, имена которых на слуху. Владение родным языком, хорошее знание фольклора, народных традиций наряду с прекрасным образованием позволило современным олакунам на новом уровне представить миру ценности родной культуры, рассказать о событиях истории своего народа и его современном положении. Неравнодушие к судьбе своего этноса, а прежде всего, к сохранению родного языка, духовного наследия стало основой их участия и в научно-исследовательской работе.

Зарождение литературного творчества хантыйского народа приходится на первую половину XX века. В 1920–30-е годы на основе кириллицы зарождается письменность для народностей Севера, в том числе и для хантыйского языка, появляются образовательные центры в Ленинграде, Тобольске, а затем и в Остяко-Вогульске (Ханты-Мансийске), и как следствие зарождается национальная интеллигенция. Уже первые студенты активно вовлекаются как в литературно-художественную деятельность, так и исследовательскую работу. В эти годы появляются первые литературно-художественные публикации и

издаются фольклорные произведения (сказки, рассказы, пословицы, поговорки и т.д.) силами представителей хантыйского народа. В Ленинграде выходили сборники «О нашей жизни» (1929), «Тайга и Тундра» (1928–1933). Среди их авторов были ханты Т. Вогулькин и М. Лоншаков. В Остяко-Вогульске выходил рукописный фольклорно-этнографический и литературно-этнографический альманах "Советский Север", где активно проявили себя ханты Д. Дунаев, К. Посохов, Д. Тарлин, Р. Тарлин, Л. Вайветкин, Г. Вайветкин, Д. Тебетев. Они стояли у истоков зарождения национальной литературы обских угров, но почти все они погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

Как видим, уже первые литераторы из хантыйского народа испытывали интерес не только к написанию художественных произведений, но и к участию в исследованиях по изучению родного языка, фольклора и культуры, одновременно, будучи носителями народных традиций. Эта тесная связь представителей художественного слова с научно-исследовательской работе будет проявляться и позднее, как яркая черта в деятельности современных хантыйских поэтов и писателей. Этот симбиоз проявляется в разных формах. Так, плеяда первых представителей национальной интеллигенции хантыйского народа участвовала в сборе фольклорных произведений, а также одновременно выступила в качестве информантов для таких ученых как Зальцберг, Прыткова, Алелеков, Штейниц – в Ленинграде и В.В. Сенкевич-Гудкова, И.С. Гудков – в Остяко-Вогульске. Прекрасное знание родного языка и культуры способствует тому, что литераторы зачастую участвуют в научных форумах, где выступают с научными докладами, публикуются в научных сборниках и т.п.

Литературовед А.В. Пошатаева писала: «Появление в 50–70-е годы на творческой карте нашей страны целого региона молодых литератур обогатило современный литературный процесс качественно новыми достижениями в поисках художественной выразительности и духовности. Зачастую приходится слышать вопрос: как, на какой основе и каких традициях в течение одного-двух поколений могла зародиться, развиваться и стать известной не только в нашей стране, но и за ее пределами литература народностей, чьи судьбы еще в начале века были определены колонизаторской политикой царской России» (Пошатаева 1985: 3). Ответ на этот вопрос для нас очевиден.

Наибольшее внимание в своих исследовательских пристрастиях, хантыйские литераторы отдают фольклору, именно в этой сфере ими сделан несомненно достаточно весомый вклад. Писатели и поэты, будучи духовно одаренными от природы, пожалуй, как никто другой являются истинными ценителями устного народного творчества.

Не случайно фольклор всегда рассматривается как основа зарождения литературы, в тоже время общеизвестно значение фольклора как источника для изучения языков, этнографии и истории. О значении фольклора написано немало работ, свидетельствующих о том, что данные фольклорно-мифологического текста широко используются для изучения и реконструкции истории духовной культуры народа. Лексика фольклора как отражение элементов протокультуры имеет прямое отношение к мифологии, архаичным и религиозным представлениям. Образовав специфическую подсистему, фольклор выполнял весьма важную роль в системе традиционной народной культуры. Он является одной из форм выражения этнического самосознания. Все это, безусловно,

определило повышенные интерес к фольклору творческой элиты и хантыйского народа.

Хантыйская литература представлена именами Григория Лазарева, Микуля Шульгина, Владимира Волдина, Таисии Чучелиной, Марии Вагатовой, Еремея Айпина, Прокопия Салтыкова, Романа Ругина, Леонтия Тарагупты и др.

Наиболее активная собирательская деятельность представителями национальной интеллигенции, проживающей непосредственно в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах приходится на третью четверть XX в. именно в этот период при активном участии хантыйских писателей было обнаружено множество образцов устного поэтического творчества ханты в средствах массовой информации – в газетах и по радио, а позднее представлено уже на научном уровне, собрания многих из них стали достоянием научных архивов.

Около 300 фонограмм фольклорных записей хранились в Ханты-Мансийском окружном Центре культуры и искусства народов Севера (современное наименование учреждения – ТО «Культура»). Среди них достаточно большое место занимают записи аганских, ваховских, юганских, угутских и казымских хантов. Большинство этих записей сделаны квалифицированными специалистами в 1970-х – начале 1980-х гг., среди них были и хантыйские писатели.

К наиболее ранним относятся магнитофонные ленты 1974 г., на которые поэтами Микулем Шульгиным и Леонтием Тарагуптой были записаны песни в исполнении Л.Я. Федотова, Д.Г. Немысова, Пяткова, Д.Г. Гындышева, Р.С. Доровина и др.

Вероятно, одним из последних выдающихся сказителей южных ханты была известная в 1970–1980-е гг. сказительница Таисия Чучелина. В 1981–1982 гг. по просьбе директора окружного Дома народного творчества – писателя Е.Д. Айпина с Таисией Чучелиной стала сотрудничать корреспондент окружного радио и литератор Галина Слинкина для подготовки книги сказок. От Т.С. Чучелиной Г.И. Слинкина записала около ста текстов героических, волшебных и бытовых сказок на русском языке. В последующие годы она занималась их литературной обработкой и подготовкой к печати. (Записано со слов Г.И. Слинкиной в 1995 г.) Одна из фонограмм сказок Т.С. Чучелиной на салымском диалекте хранится в Белоярском научно-фольклорном архиве северных ханты.

Значительная коллекция фольклорных произведений записана и обработана хантыйским поэтом, первым редактором отдела национального вещания Ханты-Мансийского окружного радио Владимиром Волдиным. Сделанные им записи песен, сказок, легенд, наигрышей хранятся в фонотеке окружного радио, а также были опубликованы в свое время в хантыйской газете "Ленин пант хуват". Фольклорные произведения записывались В.С. Волдиным с середины 1960-х до 1971 г. Некоторые записи (например, инструментальные наигрыши "Вурна", "Хутанг" – исполнитель И.Д. Неттин) позднее были скопированы и переданы в фонд Литературного музея АН ЭССР московским композитором И.М. Бродским (Богдановым) в 1979 г. Позднее они были переложены на ноты эстонским музыковедом Х. Сильветом вместе с записями 1979 г. Л.А. Тарагупты (на среднеобском говоре), тоже скопированными с фонотеки Ханты-Мансийского радиовещания в 1985 г. (Волдина, 1998: 27–28). В печатных материалах В.С.

Волдина указаны фамилии информантов и место записи: это Е.Г. Хоров, П.С. Аликов (оба из Кышика) и Д.П. Гришкин (Тугияны).

Поэтесса Мария Вагатова, как и многие представители ее поколения, воспитывалась на фольклорной традиции. По ее рассказам, главным исполнителем произведений устного народного творчества в их семье был дед Н.А. Вагатов, а также другие близкие родственники. В 1964 г. 18 текстов сказок и песен от нее (под фамилией М.К. Тарлина) были записаны от нее венгерским исследователем К. Редеи. Позднее М.К. Вагатова сама записала хантыйские сказки и песни казымских хантов, известные ей с детства, а также от В.И. Вагатовой, П.С. Аликова, Л.А. Мултанова, С.И. Юхлымова, С.И. Тоголмазова и др. Многие из них опубликованы в литературной обработке. Будучи редактором окружной газеты «Ленин пант хуват» (с 1989 г. – «Ханты ясанг»), М.К. Вагатова (Волдина) очень часто публиковала записанные сказки, пословицы, героическую песню под фамилией информанта. Известна М.К. Вагатова и как исполнительница народных и авторских хантыйских песен. Ей принадлежит идея создания первой и единственной на сегодня хантыйской пластинки "Хантыйские народные песни". Она была выпущена в 1975 г. Всесоюзной фирмой "Мелодия" Министерства культуры СССР при содействии члена Союза композиторов СССР И.А. Бродского (Богданова). На этой пластинке записаны народные песни в ее собственном исполнении, а также в исполнении Н.Ф.Лихачевой (Отшамовой), Д.Г. Гындышева, К.Г. Новьюхова, Г.К. Тышкевич. Многие записи фольклорных произведений в исполнении М.К. Вагатовой поступили в научные архивы, в том числе Эстонский литературный музей в г. Тарту (Эстония) – записи И. Рюйтел. За исполнение народных песен в Норвегии в 1992 г. М.К. Вагатова была признана одной из "лучших исполнительниц старинных песен на оленеводческие темы". Песни в ее исполнении были записаны на специальный диск. В 1989–1991 гг. М.К. Вагатова сотрудничала с научно-исследовательской лабораторией комплексных исследований по языку, фольклору, материальной и духовной культуре народов ханты и манси, которую возглавляла Е.И. Ромбандеева. Здесь она представила собрание текстов хантыйских сказок и подготовила к ним литературный (смысловой) перевод на русский язык (записано со слов М.К. Волдиной – 05.06.2000 и Е.И. Ромбандеевой – 08.06.2000).

Большое количество фольклорных текстов было записано хантыйским писателем Еремеем Айпиным в период его работы в Окружном научно-методическом центре народного творчества. Тогда состоялись его специальные экспедиции на р.Аган в сентябре 1979 г., январе 1982 г., августе 1984 г., сентябре 1986, январе 1987 г., июне 1988 г., а в октябре 1988 г. и августе 1989 г. – совместно с начинающим тогда исследователем Т.А. Молдановой. Им записан на аудиокассеты репертуар медвежьих игрив, песни и сказки восточных хантов. Его информанты – Е.А. Айпин, Г.В. Покачев, В.С. Айваседа, Е.А. Покачева, И.С. Сопочин, М.С. Тырлин, А.З. Тылчин, В.С. Айваседа, Я.Н. Нимперов и др. Многие копии записей Е.Д. Айпина из фонотеки ОЦКИНСа хранятся в фондах Эстонского литературного музея в г. Тарту.

Фольклорные произведения хантыйского народа стали основой для многих литературных произведений Е.Д. Айпина. Например, повесть в рассказах о верованиях, обычаях, обрядах и преданиях народа ханты (остяков) Обского Севера "У гаснувшего очага" (Айпин 1998). Им проведена кропотливая работа с

архивными документами по воссозданию истории Казымского восстания, произошедшего в 1930-е годы, что позволило достаточно правдиво отразить эти события в книге «Божья мать в Кровавых снегах».

Как видный политический и общественный деятель Еремей Айпин внес значительный вклад в современное развитие Ханты-Мансийского автономного округа, что позволило ему также в свое время стать кандидатом политологических наук.

В качестве активных собирателей хантыйского фольклора в Ямало-Ненецком округе известны также поэты Прокопий Салтыков, Роман Ругин, Леонтий Тарагупта.

Первым из носителей хантыйской культуры, высказавшимся о процессе песнетворения и о толковании народом разных поэтических элементов, стал Л.А. Тарагупта. Еще в малом возрасте Л.А. Тарагупта был приобщен к духовным богатствам своего народа, впитал в себя образный язык сказок. Большое влияние в этом плане оказали на него близкие родственники Н. Нахрачева (Шульгина) и Т. Нахрачев. Как профессиональный музыкант, он прошел большую жизненную школу в качестве преподавателя, методиста Дома народного творчества, корреспондента радиовещания и телевидения, научного сотрудника. Будучи носителем языка шурышкарских хантов, Л.А. Тарагупта стал активным популяризатором и исследователем родной культуры. Первые произведения народного творчества он записал осенью 1975 г. от своего родственника И. Послова. С 1975 по 1992 гг., затем – с 1998 г. записывал фольклор около г. Салехарда, в пп. Катравож, Сорхайме, Куновате, Питляре, Усть-Войкаре, Лопхарях, Зеленом Яре (Харсайме), на рр. Малой Оби и Большой Оби. Основными информантами Л.А. Тарагупты стали Т. Русмиленко (Лопхари), П. Яркин (Куноват), Г. Наков (Питляр, Пароват), Е.П. Кондыгин (Шурышкар), М. Муратова (Лопхари), С.Тояров (Лопхари, Куноват). Сам Л.А. Тарагупта видит смысл своей собирательской деятельности в эфирных записях фольклорных произведений, исполняемых на радио. В начале 2000-х г. Л.А. Тарагупта вел программу "Щопр Авт" в студии художественно-образовательных программ ГТРК "Ямал", где им были представлены подлинные тексты хантыйского фольклора для разных возрастов, была выработана своя методика воспроизводства сказок, велся анализ исполненных текстов (Записано со слов Л.А. Тарагупты – 15.04.2000). В своей статье "Ай лух посл эви" – хантыйская народная песня" (1986: 295–296) он анализирует песню, запись которой сделана поэтом П.Е. Салтыковым от Отшамова из Лопхарей и хранилась в архиве Литературного музея им. Ф.Р. Крейцвальда АН ЭССР. Им рассматриваются "особенности речи", "текст песни с подстрочным переводом и пояснениями", а также дается анализ мелодии песни с описанием ее исполнения. Кроме упомянутой выше песни, в Эстонском литературном музее хранятся и другие копии фольклорных записей из фонотеки Салехардского радио, сделанные Л.А. Тарагуптой. Это записи 1977–1979 гг. 2 песен на казымском диалекте от М.Е. Смолина, наигрыш от Г.П. Смолина; на шурышкарском диалекте 4 песни от Т. Серасхова и сказка от М. Сязи из п. Катравож Шурышкарского района; две песни от Т.Е. Русмиленко; песня на среднеобском диалекте и наигрыш от Юхлымова.

По информации исследователя творчества поэта П.Е. Салтыкова – Н.М. Егерь, Прокопий Ермолаевич также имел богатое собрание фольклорных текстов,

которое позднее перешло его преемнику Р.П. Ругину. Роман Прокопьевич, в свою очередь, активно занимается активной популяризацией произведений устного народного творчества ханты. Наиболее ярко это направление его деятельности представлено в специальном сборнике «Легенды и мифы народа ханты». В предисловии к этой книге литературовед Н. Цымбалистенко пишет: «Обращение к мифу, фольклору, сказке является одной из характерных черт мировой литературы второй половины XX века. Осмысление сложного и противоречивого современного мира немыслимо без понимания первичных архетипов человеческого сознания, которые выявляются в мифах и фольклоре... Обращение Романа Ругина к мифам и фольклору родного народа, таким образом, объяснимо, закономерно и правомерно. Он выполняет для своего народа ту работу, без которой невозможен выход за пределы регионального сознания... Только скрупулезная работа по восстановлению исторической памяти, «детства и юности» народа позволит ему выйти на магистральную дорогу мировой культуры и прийти к ощущению духовной полноты бытия» (Цымбалистенко 2008: 4–5).

В 1990-е гг. наблюдался и другой процесс, когда люди науки начинали проявлять себя в литературном творчестве. Ярким примером этого может служить творческая деятельность этнографов Татьяны Молдановой и Тимофея Молданова. Знание народных традиций, особенностей народного стихосложения, желание отразить художественным словом события и судьбы представителей хантыйского народа привело к тому, что из под их пера вышли не только научные работы, но и художественные произведения.

Творческая элита ханты, через которую наиболее ярко проявляется дух народа, вносит значительный вклад в мировую сокровищницу посредством создания самобытных художественных произведений, влияя на современное развитие родного языка и формирование этнообразовательной системы, а также путем активного участия в общественной и политической жизни своего региона и страны. Несомненно, важным направлением в этой многогранной деятельности является их участие и в исследовательской работе – силами хантыйских поэтов и писателей собран значительный объем фольклорной информации, который стал основой не только для развития хантыйской литературы, но и прекрасным источником для изучения родного языка, истории и культуры родного народа.

Литература

- Волдина 2002а – Волдина Т.В. Традиционные формы признания лидеров у обско-угорских народов // Народы Северо-Западной Сибири. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2002. С. 176–180.
- Волдина 2002б – Волдина Т.В. Хантыйский фольклор: история изучения. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2002. 258 с.
- Пошатаева 1985 – Пошатаева А.В. Вступительная статья // Легенды и мифы Севера. М., 1985. С. 36.
- Цымбалистенко 2008 – Цымбалистенко Н. «Много дней позади, много дел...» // Ругин Р.П. Легенды и мифы народа ханты. Салехард, 2008. С. 4–6.

ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ ФЕНОМЕН

Родиной новейшей филологии была Италия. Согласно классическому труду по истории науки известного всем нам G. J. Stipa, финно-угроведение родилось также в Италии. Гуманисты Италии обратили внимание на то, что существуют некоторые группы народов и языков, члены которых каким-то образом объединены друг с другом и в то же время отличны от других групп.

Многие выдающиеся деятели итальянского Ренессанса пришли к такому убеждению и в отношении так называемых финно-угорских языков и народов. Первым из них следует упомянуть Aeneas Silvius Piccolomini, затем папу римского Pius II (1405–1464), а также, пожалуй, самого замечательного филолога своей эпохи Julius Pomponius Laetus (1425–1498). Наряду со многими другими знаменитостями последний близок нам и тем, что он вел переписку с королем Венгрии Matthias. И не случайно именно Laetus в 1480-ом году первым связал венгров с севером, с легендарной Jugria.

В связи с гуманистическими научными кругами здесь можно упомянуть и едва до сих пор удостоенные вниманием карты мира, рисунки и тексты из которых – как, например, Frau Mauro 1448, Herberstein 1549 и многие другие, – стали, по-видимому, самыми эффективными источниками знаний о наших народах „для всех времен и всего мира“.

По своему влиянию наиболее значительными были все-таки импульсы, исходившие от некоторых гуманистических кругов Италии (Флоренция, Медичи, Рим), впоследствии оказавшие влияние на целые эпохи и знаменитые личности (M. Fogel). К попавшим под такое влияние личностям относится, – может быть, самый известный из них – Leibniz, который с 4 марта 1689-го года по 24/25 марта 1690-го года посетил почти всех знаменитостей Италии.

Однако европейский характер финно-угроведения обусловили не только итальянские корни, но и все более широкий (западно)европейский интерес к нашим народам, к их языкам и прошлому, проявившийся в пору раннего Просвещения. Этот интерес особенно ощутим на рубеже XVII–XVIII веков, прежде всего в научной переписке Лейбница. Число корреспондентов, известных нам благодаря писаниям KATRI WESSEL близко к сорока. Упомяну лишь некоторых из них, „самых прилежных“. Это А. А. Kochánski (1631–1700), Н. Ludolf (1624–1704), J. G. von Sparvenfelt, а также известный своей деятельностью в этой области N. Witsen (1641–1717).

С нашей точки зрения самым действенным было выступление Лейбница как языковеда. Универсальный философ раннего просвещения в 1646–1716, 1695–1697 годах в труде под названием „Desiderata circa linguas populorum“ неоднократно указывает на то, что наилучшим способом поиска древнего происхождения языков является *collatio linguarum* – сравнение языков. К этому он прилагает и методические, практические советы. В шести пунктах он группирует *nonnulla vocabula rerum vulgarium* – список слов, по существу

запасной фонд, который следует собирать из всех языков и наречий для, – выражаясь современным языком, – этимологического сравнения их друг с другом. Чрезвычайно важен для нас следующий факт: Лейбниц указывает и на то, что сбор слов желательно начинать в первую очередь на севере, в его восточной части, и конкретно называет Сибирь, районы у Оби и Иртыша, город Тобольск.

Сам Лейбниц, инициатор, скончался в 1716 году, но его предложение нашло широкий отклик в России, с которой он давно был связан. А самое большое значение имеет именно тот факт, что Камчатская экспедиция II (1733–1743) – по современной оценке, возможно, самая крупная научная экспедиция всех времен – включила в свою программу изысканий идею Лейбница. В работе по сбору слов приняли участие сам руководитель экспедиции G. F. Müller (1705–1783), а также один из самых значительных „языковедов“ века Johann Eberhard Fischer (1697–1771), который тогда уже был на службе у России (1739–1747).

За сравнительно короткое время были собраны сотни вокабуляриумов и других записей, представляющих тот или иной язык или наречие.

Следуя идеям Лейбница, Фишер составляет из собранных записей слов сопоставимый, полиглотный для своего времени и восприятия той эпохи этимологический словарь, ставший известным под названием „*Vocabularium Sibiricum* 1747“. Этот труд охватывает около 39, или, включая ссылки в тексте, 55 языков и наречий, в большинстве своем финно-угорских, самодийских и алтайских языков.

August Ludwig Schlözer (1735–1809), впоследствии гёттингенский историк европейской известности, отправляется в начале шестидесятых годов в научную командировку в Санкт-Петербург. Здесь между Шлёцером и Фишером возникают тесные контакты, в результате которых Фишер в 1767 году дает Шлёцеру „*Vocabularium Sibiricum*“, даже „sein Original“, и последний берет его с собой в Гёттинген. В Гёттингене многие знаменитые ученые на протяжении двух столетий использовали „*Vocabularium*“ как источник и пособие. Первыми из них были Шлёцер и Sámuel Gyarmathi. Этимологический материал обрабатывался также в Гёттингене и был издан в томе „*Opuscula Fenno-Ugrica Göttingensia*“.

Прежде чем „*Vocabularium Sibiricum* 1747“ в 1767 году попал к Шлёцеру, – или как раз в связи с этим – Фишер подготовил вторую редакцию словаря. Этот вариант „*Vocabularium*“ в рукописной форме сегодня хранится в санкт-петербургском архиве Академии Наук России, в почти полной неизвестности.

Эти два труда построены по единому принципу и по единым практическим соображениям, но санкт-петербургский шире, его запас слов больше, отчасти и иной. Он более гомогенный и опирается на более строгую концепцию. В расположении языков – как небезынтересное новшество – доминирует принцип родства.

Таким образом, благодаря Фишеру *in principio* осуществился *collatio linguarum*, идеал Лейбница: сбор воедино и сопоставление языков, – более того, распределение их по группам. Это соответствовало великому европейскому стремлению вскрыть „*ad antiquas populorum origines*“, происхождение народов.

Но на этом прежнее, специфическое доминирование языков не подошло к концу. В 1771 году историк Шлёцер хотел представить „северные“, т. е. „неантичные“ народы. Для классификации народов он вслед за шведским

натуралистом К. Linné выбрал в качестве критерия языковую принадлежность народов. В своем труде („Allgemeine Nordische Geschichte“, Halle 1771), под термином „Stammvolk“ он подразумевает „древних народов Европы“. Из этих народов Европы на первое место он ставит самодийцев, а за ними финно-угорские народы. (Замечу в скобках: насколько мне известно, никогда больше в европейских исторических трудах самоедские народы не фигурировали на таком почетном месте!)

Возникшую в Италии волну Ренессанса представляет вышедший в 1782 году труд J. Chr. Chr. Rüdiger „Grundriß einer Geschichte der menschlichen Sprache nach allen bisher bekannten Mund- und Schriftarten mit Proben und Bücherkenntniß. Von der Sprache“. В названии книги – „Geschichte der menschlichen Sprache“ – автор как будто завершает прозвучавшие столетием раньше слова Лейбница.

Но Рюдигер приближается к нам, когда для названия нашей языковой семьи впервые использует как *terminus technicus* слово „финно-угорский“. В своем труде (68) он говорит о „*Tschudisch-j u g o r i s c h e Sprachen*“ (я подчеркиваю – J. G.). В этом выражении „*tschud*“ однозначно аналогично по финно-угорской терминологии „*финно-*“, а „*jugorisch*“ – „*угорский*“. И это только исторический курьёз, что в построении *tschudisch* – „финский“ – *jugrisch* „угорский“, т.е. в названии двух крайних членов данной языковой семьи он намного предвосхитил признанный за образец термин „индо-германский“.

Мы не вправе оценивать прошедшие века. И все-таки следует указать, что описанные события были не только „европейскими“, но и универсальными. Постановка вопроса была единой: *человек, мышление*. Объектами исследования были *языки и народы*.

В последующие столетия, особенно в XIX веке на первый план выступили собственные, частные понятия вместо целого. Все более доминировало *национальное*, часто в ущерб другим аспектам. В то время Шлёцер считал, что нет большого языка и малого языка, большого народа и малого народа, есть только язык и народ. И упомянем крайности, когда отдельные типы языков по ценности ставят ниже или даже выше других.

И теперь, в заключение, думая о взглядах OSZKÁR SZEMERÉNYI на внутренние закономерности развития науки о языке (лингвистики), хочется надеяться, что в будущем в нашей науке снова наступит эпоха гуманизма, универсального мышления и универсальных воззрений.

В том числе и в финно-угроведении.

Из новейшей литературы (Гуя)

Some Eighteenth Century Antecedents of Nineteenth Century Linguistics: The Discovery of Finno-Ugrian. – In: Studies in the History of Linguistics: Traditions and Paradigms. Bloomington/London 1974, 258–276.

Die Idee der Sprachverwandtschaft im Spiegel der kulturell-politischen Strömungen. – In: Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia I, 1983, 75–85.

Die Aufklärung und die Entdeckung der Sprachen Sibiriens. – In: Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia II, 1987, 55–63.

- Drevnejšie svedenija o finno-ugorskih narodah i pervye šagi v ih izučenii. Sovetskoe finno-ugrovedenie XXIII, 1987, 127–130.
- M. P. Alekseev, J. P. Laetus (um 1480) und sein *Ugria*. (Red.). – Ural-Altäische Jahrbücher, N.F. 12, 1993, 95–112.
- Zur Frühgeschichte der vergleichenden Sprachwissenschaft: J.E. Fischer (1747) und S. Gyarmathi (1799). – In: Bopp-Symposium 1992 der Humboldt-Universität zu Berlin. – Akten der Konferenz vom 24.3. – 26.3.1992 aus Anlaß von Franz Bopps zweihundertjährigem Geburtstag am 14.9.1991. Hrsg. v. R. Sternemann. Heidelberg 1994, 91–104.
- J. E. Fischer: *Vocabularium Sibiricum* (1747). Der etymologisch-vergleichende Anteil. Bearbeitet und herausgegeben von J. Gulya. – In: *Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia VII*. 1995, 249 S.
- Konfrontation und Identifikation. Die finnisch-ugrischen Sprachen und Völker im europäischen Kontext. Hrsg. von János Gulya. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 59, Wiesbaden 2002.
- Historische Aspekte: A. L. Schlözer. – Op.cit.: 177–184.
- Leibniz‘ vergessene Verdienste. – In: *Lihkun lehkos*. Beiträge zur Finnougristik aus Anlaß des sechzigsten Geburtstages von Hans-Hermann Bartens. Red.: Cornelius Hasselblatt et al. Wiesbaden 2005, 103–110.
- Finnisch-ugrisch 1782. – *Pamjati Jurija Vladimirovica Anduganova*. Vestnik Jugorskogo Gosudarstvennogo Universiteta 2006, Vyp. 2: 31–32.
- Leibniz und Jugria. – In: *Materialy nauchno-praktičeskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem... posvjashchennoj jubileju M.K. Bagatovoj (Voldinoj)*, 23.01.2007. Chanty-Mansijsk 2009, 184–188.

Валерий Патрушев
Йошкар-Ола

УРАЛЬСКИЕ НАРОДЫ И ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ МИР: К ИСТОРИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

Общие элементы материальной и духовной культуры уральских и индоевропейских народов прослеживаются с глубин тысячелетий, что нашло отражение в общих формах орудий труда и элементах духовной культуры эпохи палеолита и мезолита. В частности, произведения верхнепалеолитической живописи Каповой пещеры и пещер Испанского Леванта идентичны в передаче образов мамонтов, лошадей, близких по характеру узоров. Аренбургские и свидерские элементы материальной культуры племен Центральной Европы отмечены как на позднепалеолитических, так и мезолитических памятниках Европейской России. В формировании бутовской и иеневской культур эти элементы составили один из основных компонентов. В связи с наличием общих древнейших археологических, мифологических, языковых и генетических пластов автором была высказана мысль о возможности существования единой общности предков финноязычных и индоевропейских народов до IX тыс. до н.э. (Patrushev, 2000, p. 26–44; Table 16).

В эпоху неолита многие элементы материальной культуры финноязычных народов с ямочно-гребенчатой керамикой прослеживаются в посуде белевской, верхнеднепровской, деснинской и днепро-донецкой культур, а также культур сперрингс и нарвская, новых культур в бассейне Дона (Третьяков В., 1972; Крижевская, 1996, с. 184 и след.; Гурина, Крайнов, 1996, с. 135 и след.; Синюк, 1980; 1986). В частности, это узоры наколами («отступающей лопаткой»), сетки и более сложные композиции, нанесенные прочерченными линиями, горизонтальный и вертикальный зигзаг, узор в виде расположенных рядами треугольников, а также узоры из отсков шнура или имитация шнура и др.

В Зауралье финно-угры вступали в тесные контакты с ираноязычными племенами кельтеминарской культуры.

В эпохи энеолита и начала бронзы в лесной полосе тесные этнокультурные связи отмечены у финно-угров и индоевропейских племен фатьяновцев и балановцев (Соловьев, 2000). На Средней Волге их взаимодействие завершилось формированием новой культуры со смешанными волосовско-балановскими чертами – чирковской (Халиков, 1969). Проникновение иноязычных и чуждых в этническом отношении племен породило целый ряд новых черт в культурах финноязычного населения. В середине II тысячелетия до н.э. в Среднем Поволжье из Подонья появляются абашевские ираноязычные племена индоевропейского облика, оказавшие значительное влияние на местные финно-угорские племена (Большов, 2003, с. 35 и след.). Впоследствии абашевское население растворилось в среде лесных племен населения приказанской, поздняяковской, чирковской культур (Пряхин, Халиков, 1987),

В эпоху развитой бронзы на базе финно-угорского массива под сильным воздействием ираноязычных срубных племен формируются поздняяковская и

приказанская культуры (Халиков, 1969). Поздняковское население было ассимилировано финноязычным населением с «текстильной» керамикой. В формировании культуры данного населения принимали участие поздние племена культуры ямочно-гребенчатой керамики, а также, очевидно, отдельные группы индоевропейских племен фатьяновцев (Брюсов, 1950; Гаврилова, 1968; Граудонис, 1967 и др.). Население с «текстильной» керамикой уже в эпоху бронзы вступало в тесные контакты с кругом индоевропейских племен балтского этнического облика. Из поселений с комплексами «текстильной» керамики происходит и штрихованная керамика, отождествляемая археологами с балтским этносом (Патрушев, 1989, с. 32 и след.).

В конце эпохи бронзы в районах Среднего Поволжья появляются металлические изделия северо-кавказского населения кобанской культуры и доскифского населения Северного Причерноморья киммерийского облика. Обе культуры представляли различные группы индоевропейского населения.

В эпоху раннего железа активные связи установились у балтского населения со штрихованной керамикой и финноязычных племен с «текстильной» керамикой. Судя по результатам статистической обработки комплексов керамики начала эпохи раннего железа, штрихованная керамика в чистом виде на памятниках Поволжья от Татарстана до Костромской области составляет до 2,8% всей керамики, а севернее и западнее до 4%. Кроме того, на внешней поверхности сосудов нередко сочетаются штрихованные и текстильные отпечатки, составляющие вместе до 17% общего числа фрагментов керамики (Патрушев, 1989). Налицо смешение традиций изготовления текстильной и штрихованной керамики. Любопытно отметить также наличие текстильной керамики в комплексах штрихованной посуды. Так, на памятниках Латвии она составляет от 4% до 46% общего количества фрагментов (Васкс, 1983, с. 7–17). На территории Латвии с комплексами штрихованной керамики встречены акозинско-меларские кельты (Лухтан, 1982, с. 48–50), обычно сопровождающие "текстильную" керамику.

Западноднепровские племена с лощеной керамикой составили один из компонентов дьяковской культуры (Розенфельдт, 1974).

В Поволжье по вещевым комплексам Старшего Ахмыловского, Акозинского, Пустоморквашинского, Тетюшского могильников раннеананьинского времени можно установить несколько направлений культурных связей населения с ираноязычным населением южных областей (Патрушев, 1984, с. 109–128):

1. Массовый приток металлических изделий с Северного Кавказа, возможно, в результате посреднического обмена через позднесрубное население Поволжья и Подонья. Культурные связи с Северным Кавказом были прерваны на рубеже VII–VI вв. до н.э. савроматами или же стали невозможными в связи со сложившимися скифо-кавказскими взаимоотношениями (Виноградов, 1972).

2. Появление киммерийско-срубных форм предметов на средневожских памятниках, а также некоторые параллели в вещевых комплексах индоевропейских белогрудовско-чернолесских, высоцких, лужицких племен на территории западных областей лесостепной зоны нашей страны.

3. Воздействие скифских форм предметов в ранний период через северокавказское население, а на рубеже VII–VI или первой половине VI в. до

н.э. попытка через родственные племена носителей псевдосетчатой керамики установить отношения по Оке с областями Верхнего и Среднего Подонья.

4. Контакты с савроматами, наиболее хорошо документированные общими формами стрел и предметов конской сбруи с середины VI в. до н.э.

Культурные связи финно-угров Среднего Поволжья, как и ананьинцев Прикамья, нельзя рассматривать как одностороннее восприятие чужих влияний. Мы можем говорить об активном проникновении этого населения на северо-запад, документированное находками шнуровой керамики и кельтов аозинско-меларского типа. Характером экономики и общественных отношений можно объяснить обширные связи с южными областями: привозные вещи удовлетворяли потребности богатой военной верхушки общества. С развитием сельского хозяйства и под влиянием населения южных областей менялись идеологические представления и воспринимались новые элементы орнамента и изображений. Наряду со ступенчатым обменом южных изделий на пушнину или другие продукты, возможно, имела место и непосредственная связь данного населения с другими областями. Об этом говорят находки в Причерноморье бронзового прорезного наконечника копья, кельта с линзовидной в сечении втулкой ананьинских форм, мотивов ананьинских изображений (Тереножкин, 1976, с. 171, рис. 24, 18; Збруева, 1952, с. 164 и след.), а также близкие формы аозинско-меларских кельтов из Белоруссии и юго-западных районов нашей страны (Патрушев. 1975, табл. 1).

О тесных этнокультурных связях угро-самодийцев с ираноязычными народами говорят памятники Западной Сибири и Горного Алтая. Результаты генетических исследований новосибирских и немецких ученых антропологических материалов пазырыкских курганов и тагарских захоронений выявили угро-самодийскую принадлежность населения пазырыкской и тагарской культур.

В эпоху раннего средневековья в Волго-Очье и Верхней Волге формируются смешанные финно-балтские культуры. Финноязычные племена принимали участие в сложении раннеславянских роменской и зарубинецкой культур.

Смешанные балтско-финно-угорские черты довольно четко проявляются как на дьяковских памятниках западных районов Волго-окского междуречья, так и на верхнеокских городищах, позднегородецких поселениях и рязанских могильниках. Повсеместно распространяются лощеная керамика, новые формы и орнаментация посуды, особенно узоры из оттисков перевитой на палочке веревочки, формы металлических предметов. Интересно отметить, что лощеная посуда с веревочными узорами находит широкое распространение на памятниках роменской культуры. На этом основании П.Н. Третьяков (95, с. 78–90) пришел к выводу об участии северных финно-угорских элементов в формировании роменской культуры раннеславянского населения.

Помимо элементов культуры балтского и роменского обликов, в раннесредневековых материалах Троицкого, Щербинского и ряда других городищ И.Г. Розенфельдт (1974, с. 197) указывает также на наличие позднезарубинецких элементов раннеславянского населения.

Об этнокультурных связях финноязычных племен с балтским этносом говорят материалы раскопок памятников культуры рязанско-окских могильников. В.В. Седов (1987, с. 93–97) на них выделяет целый ряд элементов погребального

обряда и инвентаря выходцев с Верхней Оки, где в это время обитали восточно-балтские племена: наличие трупосожжений, восточная ориентация погребений при труположениях; подковообразные застежки с завернутыми концами, браслеты со змееголовыми концами и браслеты из толстого дрота с утолщенно-коническими концами, арбалетные и крестовидные фибулы, умбоновидные привески, витые шейные гривны и др. Здесь же встречены характерные балтские формы посуды: профилированные горшки, широкие миски с прямой цилиндрической верхней частью и усеченно-коническим низом, миски с округлыми плечиками. Как правило, балтская посуда имеет черную или светло-коричневую лощеную поверхность. Такая посуда относится к мощинскому типу и встречена на Борковском, Кузьминском, Шатрищенском и др. могильниках.

Этнокультурные связи финно-угров с балтскими племенами прослеживаются и в более восточных районах. Например, на Кошибеевском могильнике с преобладающим мордовским комплексом обнаружено около 40% погребенных с восточной ориентацией с характерными балтскими предметами VII–XII вв. – головные венчики, шейные гривны, браслеты

Но наиболее активные этнокультурные связи уральских и индоевропейских народов прослеживаются в период русской колонизации. Прибалтийско-финская культура веся X–XIII вв. была тесно связана с историей славян. Уже в XI в новгородцы полностью освоили этот край. В обиход местного населения прочно входят серийные новгородские, древнерусские изделия и технологии (Кочуркина, 1996, с. 286–342). Северо-западное Приладожье в эпоху средневековья было заселено древним финноязычным населением корела (XII–XIV вв.), ставшее основой древнекарельской культуры (Кочуркина, 1996). Вместо ранних шведских и германских элементов с XIII в преобладают элементы материальной культуры славян вплоть до распространения крепостей и христианского обряда погребений (Ujno, 1997).

На территории Верхнего Поволжья с IX в. финноязычный народ меря активно участвует в событиях истории древнерусского населения. Князь Олег в 882 г. установил дань народу меря наряду со словенами и кривичами, а впоследствии мерянские воинские контингенты участвовали в походах Олега на Смоленск, Любеч, Киев и Византию (Повесть временных лет, 1950, с. 18, 20, 23).

А.А. Спицын (1905. С. 84–172) отмечал наличие финно-угорских элементов на древнеславянских памятниках, даже после исчезновения мерянской этнической общности в курганных древностях славян сохраняются многие элементы культуры меря.

Древняя мордва имела довольно ранние тесные связи со славянским населением. Устойчивые экономические связи со славянами начинаются уже с начала II тыс. н.э., что подтверждается находками на мордовских могильниках славянских изделий (Петербургский, 1976, с. 132–137). Клады русских монет на территории расселения мордвы свидетельствуют о тесных экономических связях мордвы с русскими областями (Жиганов, 1959, с. 163, 167; Федоров-Давыдов, с. 180–181).

Этнокультурные связи русских и древних марицев на археологическом материале прослеживаются с рубежа I–II тыс. н.э. (Никитина, 2002, с. 152). Многие украшения из древнемарийских могильников находят аналогии в

памятниках Костромского и Ярославского Поволжья (Архипов, 1986, с. 33; Седов, 1966, с. 114–115).

С X в. на территорию расселения финно-угров Прикамья начинают проникать славяне. В городах Волжской Болгарии в XII–XIII вв. славян было довольно много. Они здесь расселялись вместе с “ростовской чернью”, т.е. финноязычным населением, бежавшим с ростовской земли от крещения. Верхнее Прикамье и верховья реки Чепцы, заселенные коми-пермяками и удмуртами, также находилось в зоне воздействия Древней Руси. Русские вещи здесь появляются в X–XII вв., однако массовая колонизация Верхнего Прикамья русскими начинается лишь с XIV в., когда возникают сельские и городские населенные пункты со смешанным русским и финно-угорским населением (Макаров, 1995, с. 45–49). На этом этапе этнокультурных связей индоевропейских и финно-угорских народов наблюдается активная колонизация русскими северо-восточных регионов Европейской России (Савельева, Кленов, 1997).

Таким образом, этнокультурные связи уральских народов и индоевропейцев на археологическом материале прослеживаются с глубокой древности. Эти связи взаимно обогащали друг друга и привели к взаимопониманию и мирным контактам в наши дни.

Литература

- Архипов Г.А. Марийцы XII–XIII вв. К этнокультурной истории Поволжья. – Йошкар-Ола. 1986.
- Большов С.В. Средневожская абашевская культура (по материалам могильников). Труды Марийской археологической экспедиции. Т. VIII. Йошкар-Ола: МарНИИ, 2003.
- Брюсов А.Я. «Сетчатая» керамика // Советская археология. № XIV. – М., 1950.
- Васкэ А. Керамика эпохи поздней бронзы и раннего железа Латвии как исторический источник. Автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Л. 1983.
- Виноградов В.Б. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время. – Грозный, 1972.
- Гаврилова И.В. Древнейшее прошлое Костромского Поволжья (по данным археологии): Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06. – Л., 1968.
- Граудонис Я. Латвия в эпоху поздней бронзы и раннего железного века // Начало разложения первобытнообщинного строя. – Рига, 1967.
- Гурина Н.Н., Крайнов Д.А. Льяловская культура // Неолит Северной Евразии. – М., 1996.
- Жиганов М.Ф. Из истории ремесла, домашнего производства и торговых связей мордвы в XIII–XIV вв. // Из древней и средневековой истории мордовского народа. – Саранск. 1959.
- Збруева А.В. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху // МИА. № 30. – М. 1952.
- Кочкуркина С.И. Весь. Корела // Археология Карелии. – Петрозаводск. 1996.
- Крижевская Л.Я. Балахнинская культура. Среднее Поволжье, Волго-Камье, Приуралье // Неолит Северной Евразии. – М. 1996.

- Лухтан А. Кельты меларского типа в Литве // Древности Белоруссии и Литвы. – Минск. 1982.
- Макаров Л.Д. Финно-угры и славяне в Прикамье: проблемы взаимоотношений (X–XVI вв.) // Узловые проблемы современного финно-угроведения. – Йошкар-Ола. 1995.
- Никитина Т.Б. Марийцы в эпоху средневековья. – Йошкар-Ола. 2002. – 432 с.
- Патрушев В.С. Акозинско-меларские кельты Марийского Поволжья. – СА, №3, 1975.
- Патрушев В.С. Марийский край в VII–VI вв. до н.э. – Йошкар-Ола. 1984. – 232 с.
- Патрушев В.С. У истоков волжских финнов. – Йошкар-Ола. 1989. – 124 с.
- Петербургский И.М. К вопросу об экономических связях мордвы в I – начале II тыс. н.э. // Материалы по археологии Мордовии. – Саранск. 1976. С. 132–137.
- Пряхин А.Д., Халиков А.Х. Абашевская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – М. 1987.
- Розендфельдт И.Г. Керамика дьяковской культуры. – В кн.: Дьяковская культура. М., 1974.
- Савельева Э.А., Кленов М.В. Древнерусская колонизация Европейского Северо-Востока (XI–XIV вв. н.э.) // Археология Республики Коми. – М. 1997.
- Седов В.В. Племена культуры рязанско-окских могильников // Финно-угры и балты в эпоху средневековья. – М. 1987.
- Седов В.В. Рязанско-окские могильники // Советская археология. № 4. – М. 1966.
- Синюк А.Т. Население бассейна Дона в эпоху неолита. – Воронеж. 1986.
- Синюк А.Т. Неолитические памятники Среднего Дона // Археологические памятники на территории СССР и их изучение. – Воронеж. 1980.
- Соловьев Б.С. Бронзовый век Марийского Поволжья. – Йошкар-Ола. 2000.
- Спицын А.А. Древности камской чуди по коллекции Теплоуховых // Материалы по археологии России. № 26. – СПб. 1902.
- Спицын А.А. Владимирские курганы // Известия археологической комиссии. Вып. 15. – СПб. 1905.
- Тереножкин А.И. Киммерийцы. Киев, 1976.
- Третьяков В.П. Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе Европейской части СССР. – Л. 1972.
- Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днестре и Волге. – М. 1966. С. 152.
- Федоров-Давыдов Г.А. Находки кладов золотоордынских монет // Города Поволжья в средние века. – М. 1974.
- Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969.
- Patrushev V. The Early History of the Finno-Ugric Peoples of European Russia. – Jyväskylä. 2000.
- Uino Pirjo. Ancient Karelia. Archaeological studies. – Helsinki. 1997.

ОТРАЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАПРЕТОВ В ХАНТЫЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Этические традиции хантов представляют собой сложную систему. При этом основной формой регламентации нравственной жизни у них были запреты, которые уходят своими корнями в глубокую древность.

На различные предписания, связанные с бытованием и исполнением хантыйского фольклора, обращали внимание многие отечественные и зарубежные урovedы. Информация об этом имеется в трудах А.О. Вайсянена, К.Ф. Карьялайнена, В.М. Кулемзина, Н.В. Лукиной, В.В. Сенкевич-Гудковой, З.П. Соколовой, Е. Шмидт, В. Штейница, В.Н. Чернецова и др.

Исследования по фольклору хантов начаты в XIX в. финнами и венграми, продолжены в настоящее время самими носителями языка и культуры. В их числе можно отметить Т.А. Молданова, Т.А. Молданову, А.С. Песикову, С.С. Успенскую, Т.В. Волдину, М.А. Лапину и др.

Запреты и наказания за их нарушение делились по степени значимости в обществе. Самыми основными из них считались социально-значимые запреты, например религиозные. За их нарушение человек нес определенное наказание, посылаемое высшими силами. Но человек мог отвести от себя беду или уменьшить степень наказания, совершив различного рода обряды: очищение, моление, приклады и т.д. За нарушение незначительных запретов, касающихся одного индивида, достаточно было провести определенные действия, например, очищение над огнем, или произнести слова-заклинания.

Немаловажное значение в системе запретов играли пол и возраст человека. По половому признаку были запреты для мужчин, для женщин, для мальчиков, для девочек, для беременных женщин, по возрасту – запреты для новорожденных, грудных детей, для подростков младшего и старшего возраста, для совершеннолетних, для взрослых членов семьи, пожилых людей.

У народа ханты была разработана достаточно стройная система сакральной лексики. В хантыйском языке для обозначения сакрального использовался термин *ем, емын* ‘свято, священный’. Изучая религию югорских народов, К.Ф. Карьялайнен отмечал, что в диалектах остяцкого языка еще и сейчас встречаются устаревшие корни *jet* и *pes*, которые, вероятно, обозначают неприкосновенность, ненарушение существа или вещи, т.е. “святость” его по отношению к каким-либо другим или всем другим существам или вещам; следовательно, это является приблизительно тем, что в религиоведческой литературе обозначают обычно словом “табу” (1995. С. 66).

Нарушение запретов и наказание за них – частое явление в хантыйском фольклоре. Герои фольклорных произведений нарушают запреты связанные:

- с конкретной территорией (например, не заходить за территорию дома, не ходить по охотничьим угодьям и т.д.);
- с конкретным местом действия (например, не заходить в седьмой дом, не трогать один из лабазов);

– с конкретными предметами (например, не трогать берестяные туеса, птичьи крылышки и т.д.).

В сказках отражены также запреты, связанные с различными установками, например, не шуметь в лесу. Так в сказке, записанной В. Штейницем, «Трое мужчин и Младший-Кеймащ» (1975. С. 89) за то, что женщины нарушили запрет мужей, не шуметь, не смеяться после их ухода на охоту, к женщинам пришел великан Менк и унес их, положив в карман. Так были наказаны женщины, за непослушание.

В сказках и других жанрах фольклора за нарушение запретов или вредительство обязательно следует наказание героев. Часто встречаются такие виды наказаний: как, например, одного из героев привязывают за ноги к двум лошадям, либо его сжигают или отрубают голову мечом. Во многих фольклорных текстах не используется слово «смерть», так как это сакральный термин. Часто смерть сказочного персонажа определяется формулой: «Его песня, его сказка на этом закончилась».

В фольклорной традиции народа было выработано множество установок и правил по отношению к произведениям сакрального характера. Для хранителей фольклора они имели большое значение. Они будили мысль, очищали от скверны.

При несоблюдении правил рассказывания священных текстов могли быть наказаны как исполнители, так и слушатели. Знатоки фольклора сообщали, что при исполнении произведений сакрального характера нельзя сокращать текст, переставлять его слова. В то время, когда исполнялись священные сказания, слушателю нельзя было спать, разговаривать, ругаться, шуметь, ходить.

А.И. Цукор сообщает интересную информацию, собранную у сургутских хантов, она пишет: «От незаконченной сказки могли «лопнуть глаза» или «лопнуть брюхо». Мало того, духи сказки могли преследовать нерадивого сказителя и «все дела его переворачивать». О сказке категорически запрещено плохо отзываться, насмехаться над ней или зло шутить, иначе все живущие в ней духи будут мстить за причиненную им обиду. Рассказчик < > предупреждал, чтобы не «наступали сказке на хвост», то есть не прерывали ее; пояснял, что, рассказывая, он «находиться на пути, следуя за героями сказки» и тем самым контактирует со сказочным духовным миром» (1997. С. 16).

У всех групп хантов имеется ряд сказок, где имеется сюжет о девушке делающей нити из сухожилий ночью. Этическими установками было предписано, не заниматься рукоделием поздно вечером или ночью. Например, вечером нельзя было делать нити из сухожилий лося. Говорили, что «*Лон верты ими ёхатл, вунта тулайн!*» ‘Придет женщина, которая делает нити из сухожилий, и унесет в лес’. Молодые девушки и женщины строго соблюдали эти запреты. Хозяйки очень бережно относились к выделанным нитям из жил. Их хранили в проветриваемых вместилищах. Оленьи жилы и нити из жил являлись предметами дорогих подарков.

В народной этике хантов многое из жизни непосредственно перекликается с фольклором. Например, песню-сказку о мышонке нельзя рассказывать, когда кто-то уехал из дому на охоту или в соседнее селение, иначе испортится погода (2003. С. 8). Таких предписаний придерживались строго, так как это было связано с жизнью и смертью людей, проживающих в условиях Севера.

Имелись особые правила исполнения сакральных и иных произведений фольклора для сказителя, соблюдающего траур. По мужчине траур соблюдался пять лет, по женщине – четыре года. Сказитель в течение первого года соблюдения траурных церемоний не пел песен, не рассказывал сказок, не участвовал в обрядовых празднествах.

По сведениям Н.М. Талигиной, у сынской группы ханты во время траура нельзя было рассказывать сказки, петь, вырезать и шить орнаменты из меха, сукна. Чтобы снять эти запреты, нужно было на бересте вырезать ножницами или ножом орнаменты, детали кисов (меховая обувь, – *М.Л.*). Старшие советовали молодым вырезанные из бересты изображения бросать в текущую воду, приговаривая при этом: “Расти, мое мастерство, мое умение, как этот ручей, впадающий в широкую реку, в море...” (2004. С. 143).

К сакральной сфере относились и фратриальные запреты. В присутствии представителей чужой фратрии не рассказывались предания о происхождении предка, не выполнялись обряды собственной фратрии. Так, Т.А. Молданов записал хантыйскую сказку «Казымский мужик», в ней говорится о наказании мужчины, который решил подсмотреть священные танцы людей другой фратрии. Из-за того, что мужчина нарушил фратриальный запрет, лесные великаны *Менки* увели его с собой в лесную чащу. Там мужчину заставили танцевать, после чего он почувствовал, что его «мясо искрошилось, его кости сломались». Тогда мужчина взмолился своим родовым духам-покровителям, но и они оказались бессильными. Только после того как люди принесли в жертву жеребенка, божество *Ас-Тый-Ики* помог вернуться ему назад к людям (2003. С. 84).

Подобных нравоучительных сказок сакрального характера в хантыйской фольклорной традиции встречается достаточно много. Их рассказывают обычно только по какому-либо поводу. Без надобности о них не вспоминают, чтобы «не тревожить» героев тех или иных фольклорных жанров.

В традиционной культуре большое место отводится нравственным нормам поведения женщины, так в сказках хитрость, лень, обман, измена, неумелость, непослушание женщин находят свое наказание. Отношение к нерадивым женщинам отражены в сказках «О плотнике» (1975. С. 115), «Облако-Мужчина» (1975. С. 121) и в др.

В настоящее время изучением хантыйского фольклора занимаются, в основном, женщины, в традиционной же жизни сакральный фольклор являлся мужской сферой. Поэтому женщины очень осторожно обращаются с фольклорным наследием, соблюдая множество предписаний, которые были выработаны в традиционном обществе.

Показателен такой пример: однажды перед выступлением на научной конференции по теме, связанной с сакральным родовым фольклором, современная хантыйская исследовательница выложила на стол семь головок спичек. Только после этого начала свое выступление на конференции (2009. С. 96). Такие действия придают уверенность женщине при работе с сакральным фольклором.

Переводчики сакрального фольклора испытывают различные трудности, связанные с текстологической работой, точной передачей той информации, которая имеется в фольклорном тексте. Исследователю фольклора важно не

нарушить те предписания, которые до настоящего времени соблюдаются в традиционном обществе.

В современный период ханты переживают период социально-экономических перемен, которые влияют на мировоззрение, духовную культуру и нравственность.

В настоящее время народные этические традиции строго соблюдаются в традиционных семьях в основном людьми старшего поколения, частично их придерживаются люди среднего возраста. Молодое поколение хантов почти не соблюдает многие традиционные нормы, считая их пережитками прошлого (например, запреты), но ко многим из них относится с интересом и уважением.

При обработке сакрального фольклора хранители традиционной культуры и языка не пренебрегают теми установками, которые вынесли из своей семьи, круга родственников. Перед началом работы с текстами они окуривают помещение, бумажные и технические носители информации, аппаратуру. Кладут на рабочий стол нож, спички, ставят горячий чай, угощение. Женщины накидывают платок на голову. Перед началом работы мысленно здороваются с персонажами сакрального фольклора, после окончания работы прощаются с ними, прося себе здоровья и удачи. Исследователи не работают с сакральными текстами после захода солнца, вечером, ночью. С некоторыми текстами не работают в период убывания луны.

Итак, фольклор хантов – это уникальный памятник, в котором отразилось своеобразие культуры народа. Во многих его жанрах прослеживается воспитательная, нравоучительная функция: не покидать в беде ближнего, помочь слабому, не зариться на чужое добро и т.д. Система запретов и в настоящее время является регулятором родственных взаимоотношений и связей с окружающим миром.

Литература

- Карьялайнен К.Ф. Религия югорских народов / Перевод с нем. Н.В. Лукиной. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. Т. II. С. 66.
- Лапина М.А. Об особенностях исполнения и изучения хантыйского сакрального фольклора // Этнографическое обозрение. 2009. №5. С. 96.
- Молданов Т.А. Земля Кошачьего Локотка. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 84–87.
- Талигина Н.М. Обряды жизненного цикла у сынских хантов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. С. 143.
- Цукор А.И. Золотой век Пима. Сургут. 1997. С. 16.
- Steinitz W. Ostjakologische Arbeiten. – Budapest, 1975. Bd.1.– 468 S.
- Steinitz W. Ostjakologische Arbeiten. – Budapest, 1989. Bd.III. – 635 S.

Анна Лебедева
Ханты-Мансийск

ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ СЕВЕРА СИБИРИ ФИННО-УГОРСКОЙ ВЕТВИ В КОНТЕКСТЕ СОХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ПРЕДКОВ

Народ сохраняет, сам того не понимая, остатки древних традиций, восходящие порою к такому отдаленному прошлому, которое было бы затруднительно определить; он выполняет в некотором роде функцию подсознательной коллективной памяти

Рене Генон

В последнее время в европейском мире искусства интерес к "арктическому" и к "северному" возрастает, и незнакомый север явился темой ряда выставок через интерпретацию финно-угорских художников.

Север – край самобытной архаической культуры – всегда был территорией притягательной для художников и территорией, вдохновляющей коренных жителей этой земли.

Опыт предшествующих поколений во многом определяет ход исторического развития. При этом историческая память, по мнению Л.Н. Гумилева (Гумилев 1989), связана с зафиксированной памятью о прошлом (ведущая роль принадлежит артефактам культуры: летописям, сооружениям, предметам быта, эпосу, фольклору, историческим преданиям).

Тем самым историческая память включает широкий спектр ментальных форм, создание которых не подчиняется канонам выработки научного знания. Среди них можно назвать устные предания, обычаи, ритуалы, идеи, выражаемые в произведениях художественного творчества (литературе, живописи, скульптуре и т.п.) и в публицистике и т.д. (Антощенко 2010).

Историческую память называют важнейшим признаком культуры, также можно сказать, что она является важнейшим условием развития культурных процессов.

Говоря о художниках Севера Сибири, мы подразумеваем представителей ханты, манси и ненцев. Число художников из числа коренных народов, проживающих на территориях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов очень мало, но именно их произведения рассказывают нам о прошлом времени, быте и культуре людей, об их неразрывной связи с природным началом.

Приходится констатировать, что крайне мало исследовательских работ посвящено данной теме. Рост интереса в этой области мы можем наблюдать в два этапа:

1. 1925–1959 гг., когда искусством северян заинтересовались столичные представители науки и культуры – В.Н. Чернецов, Н.Н. Пунин, Л.А. Месс, С.В. Иванов, А.Л. Горбунков и другие;

2. 1960-е и по сегодняшний день. К данной проблематике обращались Г.В. Голынец, А.А. Валов, Г.Н. Тимофеев, Н.Н. Федорова, М.В. Кайгородова, Л.Г. Лазарева, В.Ф. Чирков и другие исследователи.

Именно на труды вышеназванных ученых мы опираемся в работе. Но стоит заметить, что на сегодняшний день не существует ни одного обобщающего исследования об исторических и культурных процессах развития изобразительного искусства коренных народов Севера, охватывающих 1920–2010 годы и более ранние периоды становления изобразительного искусства.

Надо сказать, что с возникновением интереса к Сибирским землям, представители интеллигенции потянулись и на земли, где проживали аборигенные народы Севера. Так известен альбом «От Тобольска до Обдорска» с 32 акварельными рисунками Михаила Степановича Знаменского, приобретенный для библиотеки царя Николая II в 1894 году. Благодаря которым, до нас в цвете дошли этнографически точные сцены из жизни проживающих в этом регионе Сибири этнических групп (русских, татар, остяков, самоедов).

Валерий Николаевич Чернецов путешествуя по Северным землям и собирая богатый этнографический материал, регулярно делал зарисовки, которые сегодня стали важной частью для изучения этнографии, культуры и быта обских-угров. Также благодаря его исследованию «Быт хантов и манси по рисункам XIX в.» (Чернецов 1954).

Фактически в докладе мы провели две параллели – как развивалось искусство коренных малочисленных народов Севера, перенесенное на землю культурной столицы, и как шло развитие без отрыва от культурной (архаичной) почвы.

По свидетельству исследователя Игоря Болотова (псевдоним Г.В. Голынец), Север на выставке 1927 года «Искусство народов СССР» был представлен одним Тыко Вылко (1886–1960) (Болотов 1993: 10).

Вылко Илья Константинович (Тыко) родился на острове Новая Земля в многодетной ненецкой семье. «Рисовать начал в 1904, копировал картинки из отрывного календаря, оставленного зимовавшим промышленником, обертки из-под чая. Многолетняя дружба с В. Русановым заменила Вылке университетское образование.

Художники В. Переплетчиков и А. Архипов стали учителями Тыко Вылки в Москве, организовали его выставки.

Но рядом с впечатлениями от новой, загадочной и увлекательной для него московской жизни постоянно присутствуют у Вылки в душе впечатления далекой родины. Иногда он тоскует и тогда рисует избу своего отца, рисует снеговые горы за избой, красный кирпич, сложенный у крыльца, рисует отца, брата...

Он прекрасно знал жизнь зверей и птиц, знал природу Новой Земли, ее климат, ее реки, проливы, заливы и горы. И еще «он умел рисовать, рисовать наивно, по-детски, но тем не менее поэтически» (Казакова 1976: 265), – именно так рассказывает автор биографии этого тонкого художника, мечтавшего написать много картин о жизни своего народа, но не успевшего реализовать этот замысел.

В 1929 году Русский музей впервые организовал выставку графики художников-северян, приехавших в качестве студентов в Ленинград из далекого Заполярья.

Созданный же в 1930-х годах Институт народов Севера стал центром, где сформировалось первое поколение интеллигенции из числа коренных северян.

Для студентов при институте были организованы классы рисования, специальные мастерские лепки и скульптуры, театральные сценические группы, кружки. Руководителями художественной мастерской выступали художник А.А. Успенский и скульптор Л.А. Месс. «Последовательные этапы выявления и развития самобытного стиля в Художественных мастерских Института народов Севера (1926–1941) дали уникальные результаты в графике, скульптуре и живописи» (Субботина 2005: 29).

Приведем слова известного искусствоведа Н.И. Лунина о том, что «северяне, не имевшие никакого представления о классическом искусстве, еще меньше знавшие современные течения в искусстве, обнаружили такую высокую художественную культуру и такое острое чувство в понимании современных задач искусства, что у всех, кто побывал в мастерских и видел работы учащихся, сложилось определенное мнение: эти работы – событие в нашем художественном мире, могущее сыграть большую роль в развитии современного искусства, и это не преувеличение» (Тимофеев 1997: 53–54).

Татьяна Емельянова в своей статье чутко подмечает: «Художники-северяне не пишут свои пейзажи с натуры. Их рисунки – воспоминание о родном крае. Но воспоминание живое, в котором индивидуальное художественное видение неразрывно сливается с родовой памятью, опытом поколений. Ведь любой охотник не просто знает – он «читает» свою местность, как книгу. И эта местность – с одной стороны, самооткровение камней, рек, деревьев, а с другой – реальность, от которой зависела жизнь не только одного или нескольких человек, но и всего рода.

Не этим ли объясняется, что северяне пытаются вместить в узкое пространство бумажного листа или холста не отдельный фрагмент своего мира, а как бы всю тайгу, весь свой край, постигая одну из самых сложных особенностей видимого – неповторимую суть пространства.

Их картины – это моментальная расшифровка великой тайнописи – всего того, что записали тайга, тундра, горы, море в душе охотника, сменившего копья и стрелы на кисти. Мгновенное здесь всегда слито с вечным.

Есть в этих рисунках что-то волшебное, сверхобыденное, что заставляет остановиться, задуматься, ощутить единение человека с природой» (Емельянова 1993).

Итак, мы видим, что уже в 20-х годах XX века начинает идти речь о создании собственного «северного стиля» (Федорова 2002) и стилистики изобразительного искусства Обского Севера, хотя данная точка зрения ставится под сомнение новосибирскими учеными А.В. Новиковым и А.А. Шиль, которые считают, что как самостоятельный феномен «северный стиль» ведет свою историю как минимум с середины XIX века (Новиков 2010).

Наиболее последовательно и полно художественная система северян реализовалась во второй половине 1930-х годов. «Арсенал их выразительных средств шире, чем у первых севфаковцев: наряду с карандашом они все чаще работают акварелью, гуашью, маслом, что открыло путь к более сложным композиционным построениям, многогранному отражению мира, но не разрушило цельности художественной системы» (Болотов 1993: 10).

Так, например, в эти годы становятся известными имена живописцев: селькупа Ижимбина, ханты Н. Натускина, ненки Лампай, эвенков Терептьева и Сахарова,

удэ Киле Пячка. В их ряду особо звучит имя Константина Панкова из с. Саранпауля, которого порой называют северным Гогеном.

Константин Леонидович (Алексеевич) Панков (1910–1942/44?) родился, в семье охотника-рыбака. Отец по национальности ненец, мать – коми (*манси – Г.Гор*). В 1930 году он был принят в художественную мастерскую. За его творческим ростом следили крупные мастера И.И. Бродский, В.М. Конашевич, В.В. Пакулин, Н.В. Тырса.

К. Панков и его товарищи украшали северный павильон Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, в 1937 году – советский павильон Международной выставки в Париже. Десятки тысяч парижан были поражены изобразительным искусством народов Крайнего Севера. Жюри выставки высоко оценило работы северян, присудив им золотую медаль «Гран При».

В его живописи бросается в глаза характерная особенность: художник всеми корнями своего творчества связан жизнью родного края, заражает своими картинами любовь к необычной красоте Севера, к особенностям его жизни и быта, своему герою – труженику и мечтателю одновременно.

В картинах Константина Панкова есть нечто, напоминающее наскальную живопись с ее первозданной свежестью и красотой метко схваченного и запечатленного бытия.

Фольклор убеждает нас в том, что безыменно творящий человек – сказитель или резчик по дереву и кости – видел мир не только своими глазами, но глазами многих поколений своих предков и... потомков, связывая прошлое, настоящее и будущее прочной связью эпоса.

Искусство Панкова – наглядный пример проявления традиций «безыменного» творчества, столь не схожих с традициями современной изобразительной культуры.

Своеобразие ненецкого народного художника заключалось в том, что он соединил в своем искусстве фольклорное видение мира, непосредственность и искренность охотника, сына тайги, с современной живописной техникой, с безукоризненным чувством цвета и композиции.

В ноябре 1944 года в Северной Норвегии выстрел вражеского снайпера сразил Панкова. Он погиб в тридцатичетырехлетнем возрасте, защищая Родину (Гор 1968: 21–23).

Работы К. Панкова наиболее полно сохранились (Русском музее, Музее Арктики и Антарктики, Тюменском областном музее изобразительных искусств, в частных коллекциях) и переставляют Северную землю на выставочных площадях музеев России. К сожалению, мы ничего не знаем о последователях выше названных живописцев и можем предположить, что их не было, поскольку, только выйдя со студенческой скамьи, для них наступило время Великой Отечественной войны.

За точку отсчета развития изобразительного искусства на Севере Сибири в данном докладе возьмем образование в числе других в декабре 1930 года Остяко-Вогульского национального округа (с 1940 г. переименован в Ханты-Мансийский автономный округ). Народы, населяющие Югорскую землю, сплотились на основе этнической, экономической и культурной общности. Разумеется, как мы могли убедиться из примеров выше, Югорская земля уже рожала самородков, но учитывая определенные нормы запретов в изображении

человека в среде коренных народов, а также недостаток сведений о людях, которых мы можем назвать художниками. А. Валов пишет «Своих художников на Севере не было. А о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе появились свои художники, широкому кругу зрителей стало известно почти через полвека. И это произошло в 1958 году» (Валов п. 2005: 358).

Исследователь становления художественных основ округа Геннадий Тимофеев пишет: «В 1930-е годы начал складываться первый опыт своеобразных форм и методов работы с полукочевым и кочевым населением Севера. В Юганске был организован «Дом остяка», который устраивал картинные выставки, проводил беседы на различные темы и ставил пьески по материалам местной жизни» (Тимофеев 1997: 49).

С 1935 по 1938 год при педагогическом училище г. Ханты-Мансийска под руководством омской художницы Елизаветы Гавриленко работала студия самодеятельных художников, в которой занималось 30 учащихся из коренных национальностей, но, к сожалению, количество желающих обучаться с каждым годом становилось все меньше о чем регулярно сообщалось в отчетах.

1950–1960-е годы обозначены развитием сурового стиля, общим подъемом всех направлений жизни страны, что отразилось и в изобразительном искусстве.

Так, в июле 1957 года окружным исполнительным комитетом народных депутатов трудящихся было подписано решение о создании в городе Ханты-Мансийске Окружного Дома народного творчества (с 2003 г. Творческое объединение «Культура»).

В 1959 г. изобразительную студию окружного Дома народного творчества возглавил талантливый художник Михаил Ефимович Бронников (1923–1992). «Под его руководством плодотворно работали молодые и не очень молодые любители кисти. Настолько плодотворно, что 28 их картин экспонировались на Всероссийской выставке в Москве» – пишет краевед Новомир Патрикеев (Патрикеев 1992).

На Северной земле начинают активную работу по сохранению и передаче культуры коренных народов приезжие мастера. Известный ученый Н.М. Ядринцев был твердо убежден, что включение «инородцев» в культурную, художественно-творческую жизнь будет определенным вкладом в общечеловеческую культуру и мировую цивилизацию (Тимофеев 1997: 34). Сюда, жить и работать приезжают представители академической школы живописи – Иван Михайлович Конев (1925–?), Владимир Витальевич Гаврилов (1933–200?), Николай Дмитриевич Иванов (1936–?), Владимир Александрович Игошев (1921–2007).

Таким образом, с середины 1950-х – начале 1960-х гг. зарождается художественное и выставочное движение в округе. В периодической печати появляются статьи о местных художниках и умельцах.

С 60-х гг. XX в. выставки произведений самодеятельных художников и мастеров народного творчества начинают носить регулярный характер. Это дает возможность представить самобытное искусство не только на местах, но и в окружном центре, в области, в столице, а также на мировой арене.

В 1956 году на районной национальной олимпиаде в Берёзово дебютировал как скульптор-резчик мансийский самородок Петр Ефимович Шешкин (1930–1981). В последующем практически ни одна значимая выставка не

представляется без работ мастера. Особое место в его творчестве занимает тема культуры и быта обских угров и тема освоения Севера. Волнующей для Шешкина стала тема возвращения земляков к исторической памяти.

В 1971 году за активную творческую деятельность художнику было присвоено звание «Заслуженный деятель культуры РСФСР».

Его работы экспонировались на международных выставках в Монреале, Осаке, Риме, Милане, Берлине, Чехословакии и Лондоне.

В России хранителями скульптур являются Российский этнографический музей Санкт-Петербурга, Музей Декоративно прикладного искусства в Москве, краеведческие музеи г. Тюмени и п.г.т. Берёзово, окружной музей «Природы и Человека» г. Ханты-Мансийска.

«Дерево всегда было одним из самых любимых материалов для многих народов. Понимание его пластических свойств развивалось и в творческом опыте ханты. Правда, изначально резьба по дереву носила чисто утилитарный характер, мужчины брались за ножи, чтобы исполнить какие-то бытовые принадлежности. Чуть позже это стало искусством. Мастер из п. Питляр Шурышкарского района Ямало-Ненецкого АО Геннадий Хартаганов (1945 г.р.) стал продолжателем традиций резчиков-ханты. Одним из самых известных. У него своя техника обработки древесины разных пород, свои пластические решения. Мастер создает скульптуры малых форм и национальную утварь из березы, липы, бересты. Герои произведений – это его земляки – рыбаки, охотники, дети и старички с характерными добродушными, лукавыми и смеющимися лицами. В них читается безграничная любовь к Родине, приверженность самобытным традициям хантыйской культуры, душевность.

В последнее время Геннадий Ефремович открыл для себя древне-хантыйскую культовую скульптуру, которую ему еще предстоит художественно интерпретировать и осмыслить» – констатирует Александр Валов (Валов п. 2005: 365).

На 1970-е годы приходится новый активный период изучения этнографии и фольклора народов Севера и, в частности, обских угров. Находясь в этнографической среде, художники, чутко реагируя на интерес к самобытности традиционных культур и проблемам ее выживания, вовлекаются в работу по сбору фольклора и орнамента.

В работах мастера отразили историю и культуру округа своего времени, сохранили историческую память своего народа.

Первым живописцем народа ханты называет известный тюменский искусствовед Александр Валов Митрофана Тебетева (1924 г.р.). Заняться любимым делом жизни – рисованием Тебетев смог, только выйдя на пенсию. У художника состоялось около 70 персональных выставок. Им создано более четырехсот работ, многие из которых заняли достойное место в музеях страны и не раз экспонировались за рубежом.

Он создавал картины такой близкой ему темы жизни и быта коренных жителей Севера. Сам он в диалогах всегда подчеркивает, что хотел запечатлеть то уходящее состояние из жизни его народа, что стала вымещать современная цивилизация, недаром говорят, что картины художника Тебетева – это экскурсия в прошлое.

«Отрицать позитивную роль художественной самодеятельности для развития искусства Севера неправомерно. Без кружков и студий народным талантам трудно было бы стать скульпторами, живописцами, графиками, подобными манси Петру Шешкину, ханты Митрофану Тебетеву, Геннадию Хартаганову. Самобытное творчество этих мастеров типологически словно колеблется между тем вариантом, который представляют полотна Тыко Вылко, соединившие черты реализма с элементами фольклорной изобразительности, и тем, яркими выразителями которого оказались в 1930-е годы ленинградские студенты» (Болотов 1993: 12).

Галина Владимировна Голынец, искусствовед, «открывая» сначала для Урала и Сибири творчество художника Райшева, рассуждает следующим образом: «Принципиально новый этап в развитии искусства Севера обозначен живописью и графикой Геннадия Степановича Райшева, родившегося в 1934 году в деревне Сивохрап на притоке Оби Салыма. Внешне его путь в искусство был типичен для художника-любителя. Однако, исключительное упорство в достижении поставленной цели, умение самостоятельно учиться и работать позволили Райшеву овладеть различными художественными системами – от академической до авангардистской – и синтезировать фольклорные традиции с новейшими достижениями русского и европейского искусства.

Оказавшись в середине 1950-х годов в Ленинграде, Райшев ощутил себя продолжателем прерванных начинаний Панкова и его товарищей: то, перед чем остановились они, должно было совершиться в его творчестве» (Болотов 1993: 12).

Этнически Райшев впитал в себя два пласта культуры, среди которой рос и воспитывался, – русский и хантыйский. Через призму собственной жизни и родовой памяти он создает свой духовно-материальный мир образов. Ему интересны природа и человек, мифы и легенды, воспоминания детства, отсюда и вытекает тематика его произведений.

О Геннадии Райшеве написано и сказано достаточно много, но его личность и его творчество так и остаются непознанными до конца. Только индивидуальное восприятие каждого смотрящего, его воображение и кругозор могут попытаться раскрыть для собственного сознания тот мир, который воплощает автор.

Как пишет искусствовед Юрий Герчук: «Способность же органично переводить это мифологическое сознание на язык современного, остро индивидуализированного творчества дана немногим. Между тем Райшев естествен, он живет в этом мире, легко погружается в него, но свободно из него и выходит.

Мифологическое сознание охватывает мир в целом, оно космично. И Геннадию эта сторона мифологии очень близка. Но вместе с тем он ощущает космичность мира – его беспредельность и целостность – как человек современный. И на этом пересечении возникают, мне кажется, наиболее своеобразные и сложные образы удивительного художественного мира Райшева» (Герчук 2004: 62–64).

Одним из основных источников, а в большой исторической перспективе самым глубинным источником творческого, личностного потенциала человека является его принадлежность к определенной этнической общности (Мархинин–Удалова 1987: 154).

Искусствовед Н.Н. Федорова в процессе беседы выяснила, что Райшева «волнует» тема памяти. В человеческой жизни он видит отражение многих прошедших жизней. В восприятии песни, мифологических образов, в видении природы, предметов желание распознать то, что заложено в «генетической памяти», составляет собственную человеческую природу, суть и «проживается» всегда заново (Федорова 1998: 33).

Так, в одной из наиболее известных работ как «Югорская легенда» (варианты 1985, 1986, 1987 гг.) Геннадий Райшев запечатлел свои впечатления от легенды о сотворении мира в синтезе с жизненными наблюдениями. Художник говорит о том, что ряды людей – это не просто ярусы, а ярусы времени. Они могут восприниматься как поколения людей, проживающие на этой земле, либо это люди, проживающие на определенной реке. Они как бы собрались в одно место по его воле. Здесь – целый род: и ханты, и манси. Живые люди как будто перемежаются с какими-то тенями или скульптурами... Каждый человек – это определённая нота, а единый народ, который есть сочетание этих людей-нот, фактически является своеобразной симфонией, звучащей во времени и пространстве, на Земле... Хотя у меня все как-то перемешано, территории, поколения, – но это не суть важно. Сама мысль все равно прочитывается... Что жизнь проходит от и до... От начала и до конца или до возрождения. И знак Торума находится над человеческим бытием (Райшев 2001, 2002). Данное произведение считается итоговой работой Геннадия Райшева, в котором отражен исторический контекст поколений.

В моей беседе с Геннадием Степановичем на тему отражения исторической памяти в его творчестве, несмотря на отрицание им своей конкретной принадлежности к этносу, он четко сформулировал: «Сама культура выталкивает определенные типы, определенные состояния, формы и поэтому то, что связано с хантской жизнью это имеет другой колорит, другое видение образа, поэтому я сам себя рисую в двух ипостасях: деревенско-русское начало, а другое хантское начало».

Таким образом, художник является не пассивным хранителем исторической памяти, он активно транслирует картину мира в собственной художественной интерпретации. Несмотря на то, что в картинах Райшева мы не видим четких детальных проработок, мы ощущаем полноту образа, его законченность. Художник улавливает и передает содержательность сюжета сотканного из мировосприятия, интуиции и генетической памяти.

Отметим трех художников из рода Гришкиных – Артема, Юрия и Анатолия, все Григорьевичи, но братьями являются два последних. Они уроженцы национальной деревни Тугияны Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа. Каждый из них – гордость хантского народа.

Артем Григорьевич ориентируясь на свои чувства и память, писал картины о жизни и быте коренных жителей в былые времена. В них можно увидеть орудия лова, которые сейчас редко применяются, такие как перевес, черкан, слопцы, фрагменты охоты из старинного праздника «Медвежьи игрища». А. Гришкин также иллюстрировал легенды. Писал картины маслом; акварелью, применял резьбу и выжигание.

Юрию Григорьевичу (1956 г.р.) ближе работы художников-реалистов. По духу, по восприятию мира, по технике исполнения. В работах просматривается четкость, выверенность и некая внутренняя теплота.

Его родной брат Анатолий Гришкин (1962–2000) закончил Салехардское училище культуры и искусства имени Лапцуя, его по специальности: мастерство художественной обработки материалов.

Необыкновенны и символичны картины «Тайное вече» 1996 г. и «Бегущие собаки» 2000 г., в которых материальный предмет постепенно превращается в орнамент.

«Многогранным оказался талант Анатолия Григорьевича: графика, портреты его земляков, акварельные зарисовки... Акварельные краски сами по себе легкие, тонко ложатся на холст, но у Гришкина они приобретают какую-то особую прозрачность. Это отмечают знатоки изобразительного искусства, критики и обычные любители живописи. «Художник формирует собственный стиль видения мира, чувствования природы. Но до конца он не расстался с теми установками, что вложены были самой природой, собственным опытом, наблюдениями и впечатлениями. То есть произошел синтез «чистого», «наивного» искусства с основами профессионального мастерства». Так высказалась о творчестве Анатолия Гришкина искусствовед Марина Шутова» (Глухих 2008).

Открывшаяся 22 ноября 2000 г. В Ханты-Мансийске выставка «Дыхание земли» работ младшего Гришкина оказалась первой и последней на его югорской родине.

Савинов Вадим Иванович (1940 г.р.) родился в п. Малый Атлым Октябрьского района в семье рыбака ханты. Родители сумели разбудить в ребенке чувство удивления и восхищения родной природой, что впоследствии и проявилось в его живописных полотнах.

В середине 1980-х годов появляются работы «Малый Атлым», «Октябрьское» – особенно дорогие сердцу художника. В первую очередь он состоялся как хирург-профессионал, но именно живопись стала необходимой составляющей его жизни. Он пишет портреты жены, брата, матери – самых дорогих и близких людей.

Основной темой работ художника стала родная природа, он сам говорит: «Много я поездил, посмотрел, но лучше нашей северной, неброской природы не видел, поэтому стараюсь показать ее в своих произведениях».

К сожалению, имена ряда художников народов ханты и манси несправедливо забыты, например, мы можем назвать манси Гындыбина, ханты Анатолия и Татьяну Вадичуповых, Ивана Антоновича Чучелина, Любовь Егоровну Горячевских, Василия Ивановича Усанова, Якова Купландеева. Художника ханты из п. Белоярский Николая Волдина, жизнь которого оборвалась на взлете – на 27 году, и лишь спустя 9 лет белоярцы смогли познакомиться с его работами.

Невозможно не отметить, что влияние Сибирского Севера, его колорита и архаичной культуры распространилось и на художников, оказавшихся на его почве, назовем имена лишь некоторых из них: Петр Семенович Бахлыков, Дмитрий Михайлович Змановский, Михаил Андреевич Климов, Галина Михайловна Визель.

Таким образом, мы можем говорить, что национальные традиции – это не только наследие, созданное в прошлом, но и те из его завоеваний, которые живут и развиваются в современной художественной культуре.

Высшее значение искусства – развитие в людях чувства прекрасного и воспитание исторической памяти, которое на сегодняшний день происходит благодаря самородкам из числа коренных народов севера и людям впитавших архаичную культуру, приехавших на Югорскую землю.

Народное творчество неразрывно связано с историей этносов, проживающих на территории автономного округа, и несет в себе отпечаток их мировоззренческих взглядов и традиций, что ярко выражено в живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и музыке.

Художники Севера Сибири одновременно являются носителями, исследователями и созидателями культуры своего народа.

Наиболее полно мы остановились на творчестве Геннадия Райшева, поскольку из ныне живущих и создающих художников именно он дает пример новой актуальности художественного произведения, смещающие привычные жанровые акценты, будоражащего родовую и личную память каждого человека, а в конечном счете обращенного к проблеме «экологии души» и той нравственной «цены», которую сегодня приходится платить за технический прогресс.

Но приходится констатировать, что у вышеназванных творцов нет учеников и последователей. Только работы метров на выставках могут оказывать влияние на подрастающее поколение. Прочитываем слова А. Валова: «Иногда у меня спрашивают, почему у художников, ставших известными за пределами округа, нет учеников? Они были индивидуальными личностями, а главное, все время чувствовали себя учениками, «продвигаясь вперед» ценой проб, ошибок и удач.

Самобытные художники из народа были и есть, но они как-то не сразу раскрываются и замечаются» (Валов п. 2005: 366).

Хочется верить, что действующие в г. Ханты-Мансийске Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева, которая стала своеобразной лабораторией творчества Геннадия Степановича, куда могут приходиться для общения любые заинтересованные люди, Центр искусств для одаренных детей Севера и школы искусств автономного округа смогут открыть и развить те скрытые внутренние силы подрастающего поколения северной земли.

Художникам Севера присуща одна общая черта – близость к родному творчеству и искреннее стремление авторов использовать все лучшее, что было и есть в народном искусстве. Об этом убедительно говорят широкое применение мажорных цветов и богатство используемых оттенков, пластичность формы и тонкость и разнообразие обработки материала, хорошо построенные композиции, изящество орнаментального ритма и удачно найденные, пусть не всегда соответствующие действительности, пропорции.

Таким образом, проблемы исторической памяти вызвали и продолжают в настоящее время вызывать интерес ученых различных областей гуманитарного знания. Все это позволяет утверждать, что указанная проблема занимает междисциплинарное положение и именно в силу такого своего положения, она, несмотря на значительный непреходящий интерес, разработана недостаточно детально. По средствам нашего исследования мы можем углубить и расширить

представления о сохранении исторической памяти посредством современного искусства творцов Севера Сибири.

Литература

- Антощенко А.В. Произведение монументального искусства как историографический источник (на примере памятника Тысячелетию России) [Электронный ресурс] – Режим доступа.: http://www.iriss.ru/display_publication?id=000150072307
- Болотов И. Живопись малочисленных народов Российского Севера // Югра. – 1993. – № 6. – С. 10–15.
- Валов А.А. Художники-первопроходцы, их последователи // Атлас-путеводитель. 1930–2005 г. С. 358–366.
- Герчук Ю.Я. Хантыйские легенды // Компаньонъ. – 2004. – №1. – С. 62–64.
- Глухих А.С. Чистые краски природы // Новости Югры. – 2008. – 27 июня.
- Гор Г.С. Ненецкий художник К. Панков. 1968. С. 18–30.
- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л. Изд-во ЛГУ, 1989.
- Емельянова Т. Самооткровение скал // Северные просторы № 1–2, январь – февраль 1993. С. 64–65.
- Казакова Ю. Северный дневник. М., 1976. // Арктика мой дом. Москва. – Северные просторы 2001. – С. 262–265.
- Мархинин В.В., Удалова И.В. Межэтническое сообщество: состояние, динамика. Новосибирск, 1987. – С. 154.
- Новиков А.В., Шиль А.А. Северный изобразительный стиль и некоторые особенности «нетрадиционного» изобразительного искусства ханты // Сборник докладов XV ЗСАЭК. ТГУ. Томск, 2010.
- Патрикеев Н.Б. Первые литераторы и художники Югры // Новости Югры. – 1992. – 27 августа.
- Райшев, Геннадий: диалог со зрителем. Беседы в мастерской художника. Часть 1, 3. / Автор-сост. Л.Г. Лазарева. – Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2001, 2002.
- Субботина В.Н., Федорова Н.Н. Тобольская резная кость. Северный изобразительный стиль. Г. Райшев // Сибирский миф. Голоса территорий. – Омск, 2005. – С. 28–32.
- Тимофеев Г.Н. Музы народов Югры: очерки по истории художественной культуры народов Обского Севера. – Сургут, редакция журнала «Югра», 1997.
- Федорова Н.Н. Вселенная Геннадия Райшева // Геннадий Райшев. Живопись. Графика. – М., 1998. – С. 33.
- Федорова Н.Н. Северный изобразительный стиль. Константин Панков. 1920–1930-е годы. Текст, составление. Издание журнала «Наше наследие», М., А/О «Новомедиа трейдинг ЛТД», Финляндия, 2002. – 128 с.
- Чернецов В.Н. Быт хантов и манси по рисункам XIX в. // Сборник музея Антропологии и Этнографии Х. Изд. Академии Наук СССР. Москва, Ленинград, 1954. 7–33 с.

Светлана Червонная
Торунь-Москва

**ФИННО-УГОРСКИЙ МИР КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
(ФИННО-УГОРСКАЯ ПРОБЛЕМА: ОТВЕТ ТИШКОВУ–ШАБАЕВУ)**

В современной России существуют влиятельные силы, которые не допускают инакомыслия и никому не прощают – ни в собственной стране, ни за ее границами – не только открытого протеста и демонстрации собственного достоинства и независимости, но даже робкой критики и сомнений в том, что великая империя всегда права...

За непростительную дерзость прямо сказать всему миру, что происходит в России с поработенными много веков тому назад угро-финскими народами, обреченными на нищету, ассимиляцию и вымирание, надо было, конечно, примерно наказать и венгерских, и эстонских, и финских политиков, якобы вмешивающихся во внутренние дела России, с тревогой и болью говоривших о положении финно-угорских народов в этой стране, и всех так называемых *этнических предпринимателей*, якобы выдумавших несуществующую финно-угорскую проблему, и Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), посмевавшую еще в 1998 году предложить резолюцию, касающуюся уральских (финно-угорских и самодийских) этнических меньшинств в России, подверженных вымиранию, и весь Европарламент, который заслушал специальный доклад своего депутата от Эстонии Катрин Сакс и признал всю серьезность существующей финно-угорской проблемы в России...

Словесную экзекуцию поручили провести хорошо знающим свое дело специалистам в области карательной пропаганды, удостоенным высоких должностей и званий, – профессору истории и антропологии, члену-корреспонденту Российской Академии наук, Директору Института этнологии и антропологии Валерию Тишкову и доктору исторических наук, сотруднику Института языка, литературы и истории Коми Научного Центра Уральского отделения РАН Юрию Шабаеву.

Карательный замысел написания и издания желтой брошюры *Финно-угорская проблема: ответ Евросоюзу*²⁸ был ясен с самого начала.

Затея, однако, с позором провалилась.

Начнем с формальной стороны созданного Тишковым-Шабаевым карательно-поучающего творения.

Написана эта брошюра не на хорошем русском языке, патриотами и пропагандистами которого оба автора, конечно, себя считают, а на убогом сленге, примитивном жаргоне, не скажу – небрежно (видимо, старались изо всех сил), но просто малограмотно. Ключевым словом к этому тексту я бы поставила выражение „У всех из них” (цитирую: «*Некорректным является сравнение*

²⁸Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Финно-угорская проблема: ответ Евросоюзу. Москва, Российская Академия наук, Институт этнологии и антропологии, Исследования по прикладной и неотложной этнологии, № 196, 2007. 28 стр.

демографических процессов у финно-угров с русскими и татарами, ибо демографический потенциал этих народов принципиально различается, хотя демографические проблемы есть у всех из них” – С. 10). Вот это „У всех из них”, за что, наверно, получил бы двойку даже школьник в той сельской русской школе, несовершенство которой не без основания беспокоит авторов, является показателем уровня культуры и характера стилистики ученых авторов поучающей европейское сообщество брошюры. Соперничать с этим очаровательным „У всех из них” может только бюрократический перл тишковско-шабаевского сочинения: *«Мы также указали на проблемы, которые оказывают решающее влияние на положение указанных народов»* (С. 19).

Вероятно, авторы даже не знают элементарных правил согласования падежей, иначе как можно было написать: *„Проявлено также очевидное желание переместить центр принятия решений по проблемам российских угро-финнов из России в страны Евросоюза, а через это обеспечить своего рода культурное доминированию более крупных народов...”* (С. 10)? *«... По регионам проживания финно-угров и самодийцев положение дел в аграрной отрасли хозяйства заметно разнится»* (С. 14), – уверяют нас большие ученые. Ни в одном словаре русского языка не удалось мне найти глагол „разниться”. А как понять такой милицейский жаргон: *«В г. Нитре был не просто криминал, как в случае с марийским активистом Козловым...»* (С. 23)? Я, действительно, не знаю, что означает *просто криминал*, особенно если речь идет о бандитском нападении и жестоком избиении активиста национального движения, ни с какими криминальными кругами не связанного, и почему „в г. Нитре”, где, как сообщают нам ученые авторы, *«хулиганы избили молодую студентку»* имеет место быть *не просто криминал*.

Сообщая читателям: *„Есть еще одна сторона в том, что доклады Пустаи и Сакс носят сугубо культурологический характер”* (С. 20), авторы брошюры тут же обнаруживают, что они совершенно не понимают смысл слов *культурология* и *культурологический*. По их мнению „культурологический характер” – это такая хитрая штука, когда *«оба в завуалированной форме стремятся помочь не российским финно-уграм, а периферийной европейской науке и периферийным европейским университетам выжить в условиях нарастающей конкуренции и бюджетного дефицита»* (С. 20). Следует понимать дело так, что если бы этой тайной хитрости не было, доклады Пустаи и Сакс могли бы носить не культурологический, а, скажем, исторический, политологический или, в соответствии с профессиональными интересами профессора Пустаи, лингвистический характер. Не повезло бедной культурологии, попавшей в руки Тишкова-Шабаева.

Так же, как с русским языком, не в ладу авторы и с элементарными правилами обеспечения своего труда научным аппаратом. Любопытная деталь: в *Примечаниях* (С. 25) ни разу не упоминаются те подлинники (публикации, рукописи, доклады, в том числе труды Яноша Пустаи и Катрин Сакс), которые подвергаются в желтой брошюре такой зубодробительной критике, которую можно характеризовать как политический донос и моральную диффамацию. *„Недостаток квалификации не позволяют К. Сакс видеть очевидные ошибки и недочеты своего сочинения”* (С. 10), – заявляют авторы брошюры. *„Автор сама понимает нереализуемость такого языкового перехода и потому смысл*

затейной **провокации** заключается в отвлечении внимания и ресурсов от потребностей развития ресурсов финно-угров” (С. 16, орфография, включая отсутствие запятой в сложно-сочиненном предложении, соответствует тексту Тишкова–Шабаева). Наконец, накручивая свои обвинения, Тишков и Шабаев приходят к выводу: „... Взгляды Пустаи, которые разделяет Катрин Сакс и которого она назвала основным консультантом [простим уж бедным авторам это несовместимое в одном придаточном предложении *которые* и *которого*], выглядят нереализуемыми и **политически провокационными**» (С. 15). Я, правда, не знаю, как взгляды могут быть „нереализуемыми” и „провокационными”, мне всегда казалось, что реализуемыми или нереализуемыми могут быть планы и намерения, а провокационными действия и слова, но я, видимо, исходила из презумпции свободы взглядов и убеждений, которая с психикой и мышлением авторов желтой брошюры несовместима. Дело, однако, в данном случае не в словах, а в том, что авторы заявляют о содержащейся в выступлениях Яноша Пустаи и Катрин Сакс „политической провокации”. Но где же те единственные доказательства, которые нас, читателей, могут в этом убедить, где подлинные цитаты, где точные ссылки на соответствующие тексты на языках их публикации? Ни единой такой ссылки и сноски в желтой брошюре нет.

Оговоримся при этом, что читателю, который только пробежит взглядом желтую брошюру и поленится сопоставить сноски с *Примечаниями*, может показаться, что некоторые якобы цитируемые (во всяком случае взятые в кавычки) или излагаемые авторами брошюры положения их оппонентов вроде бы имеют формальные ссылки на источник (27 сносок – немало для брошюры в 28 страниц). Но даются эти ссылки никак не на подлинный источник, не на оригинал, подвергаемый критике, а чаще всего самовлюбленные авторы цитируют самих себя (цитируют с удовольствием и огромным старанием перечислить как можно больше собственных прошлых публикаций). Из 27 примечаний к тексту 14 (рекорд!) составляют сноски на издания, в которых сами Тишков и Шабаев являются авторами, соавторами или ответственными редакторами. Небольшое исключение из этой автобиблиографии, которая начинается (сноска № 1) и заканчивается (сноска № 27) ссылками на собственные сочинения авторов, делается еще для нескольких публицистов (ни одного крупного, известного финно-угорскому научному сообществу специалиста по данной проблематике среди них нет) и для единственного источника электронной информации – дважды упомянутого портала *Архив Информационного Центра финно-угорских народов* // www.finugor.ru», причем упомянутого именно в такой форме, так что уточнить, когда авторы посещали этот портал, когда он обновлялся, какой именно информационный материал был использован, совершенно невозможно.

Научным изданием брошюру с таким аппаратом признать трудно. Читаем мы, к примеру, гневную реплику на резолюцию III Всероссийского съезда финно-угорских народов: „*Чего стоит одно только требование осуществить весь статистический учет в стране в этническом разрезе*” (С. 22), а сноска при этом (№ 22) следует не на эту резолюцию, а на сочинение самого господина Шабаева (Шабаев Ю.П. III съезд АФУН: назад в будущее...), который оказывается уже где-то об этом съезде писал и эту резолюцию критиковал. Но как выглядит эта

резолуция и чего стоит на самом деле требование осуществить статистический учет в стране в этническом разрезе (может быть, как раз многого стоит, и следует отнестись к нему серьезно), мы не знаем.

„Уже 21 февраля [2005 года] в Эстонии было подготовлено и размещено в Интернете ‘Обращение в поддержку марийского народа’...” (С. 8) – сообщают авторы и дают, казалось бы, необходимую сноску – ссылку на это Обращение (№ 6), но посмотрим на эту сноску: оказывается, это ссылка на сочинение самого господина Тишкова, так что даже не совсем понятно, не считает ли он сам себя автором или соавтором этого Обращения.

Упоминается интервью В. Козлова на радио *Свобода* (С. 20) со ссылкой (№ 20) на сочинение Ю.П. Шабаева.

С раздражением говорится о том, что Катрин Сакс навязывает народам этничность в ее самых жестких формах („Именно к этому призывает все содержание доклада Катрин Сакс”, С. 22) и тем самым своими действиями создает условия для „экспорта этнического национализма в страны Евросоюза” (серьезное обвинение!), но к чему на самом деле призывает Катрин Сакс, мы не узнаем, потому что ссылка (№ 23) после этого дается на статью Я. Киша *Вопрос о меньшинствах в новом мировом порядке*, опубликованную в *Центрально-Европейском ежегоднике* в 2003 году, и что общего между этой статьей и докладом Катрин Сакс, подготовленным в 2006 году, неизвестно.

При таком научном аппарате у этой брошюры есть еще и *Приложение* – 7 таблиц, которые ничего, кроме недоумения, не вызывают: что же авторы хотели этими таблицами сказать и зачем „скачали” их сюда из прежних своих (главным образом, принадлежащих Ю.П. Шабаеву) публикаций, где, может быть, в ином контексте они имели какой-то смысл. Приводится, к примеру, таблица (№ 2) *Число студентов на 1000 жителей среди финно-угорского населения России по данным переписи населения 2002 г.* Из нее мы узнаем, что среди карел насчитывается на каждую 1000 человек 17 студентов, среди коми – 22, среди удмуртов – 18, среди хантов – тоже 18 и так далее, но о чем это говорит, если при этом нет никакой шкалы сравнений ни в границах Российской Федерации, ни в международном масштабе, если мы не знаем, сколько студентов приходится на 1000 русских, венгров, эстонцев, финнов, если совершенно не учитывается качественный аспект образования (где, чему, на каком языке обучаются эти студенты), если это не имеет никакого отношения к той действительно острой и общественно значимой финно-угорской проблеме в России, которую не смогла обойти своим вниманием Парламентская Ассамблея Совета Европы.

Проявляя неосведомленность в делах Евросоюза, Тишков–Шабаев нередко пишут о том, чего не знают, и делают заявления, не имеющие ничего общего с действительностью. Так, например, они сообщают читателю, что „иницированная Финляндией в рамках ЕС программа ‘Северное измерение’ [...] по существу провалилась» (С. 12), в то время как на самом деле она последовательно реализуется, обогащается новыми инструментами (к таким следует отнести форумы по северному измерению и Северные конгрессы, проведенные в Сыктывкаре, кстати, с самым заинтересованным участием российской администрации, успешные акции под девизом „Природосбережение и народосбережение”, стартовой площадкой для которых стала Республика Коми); совсем недавно этот позитивный опыт получил теоретическое обобщение

в научных докладах Александра Попова, Александра Сметанина (Сыктывкар), Василия Саблина (Вологда), Ильмари Сусилуото (Хельсинки) на VIII Всемирном конгрессе исследователей Центральной и Восточной Европы, состоявшемся в Стокгольме в конце июля 2010 года (ICCEES VIII World Congress, Stockholm, 26.–31. July 2010).

Перейдем, однако, к содержательной стороне брошюры.

Замысел и цель этого опуса заключается в разрушении той моральной, историко-культурной и общественной целостности и ценности, которую представляет собой финно-угорский мир. Как огня боятся господа-товарищи, идеологически обслуживающие имперские силы, этих „миров” – финно-угорского, тюркского, кавказского и иных, способных объединить, связать друг с другом живой цепочкой взаимопонимания и солидарности нерусские народы России. Стратегия имперской политики („Разделяй и властвуй!”) наполняет каждую строчку, каждый пассаж желтой брошюры ненавистью и страхом – страхом перед возможным объединением разрозненных национальных движений народов России. С каждым из этих движений, с каждым из этих народов в отдельности империя справится без большого труда, едва пошевелив своим ракетно-танковым пальцем. Но фронт солидарности – это страшно. Фронт солидарности надо разбить, уничтожить в зародыше, объявить реакционным пантюркизмом, пан-финноугризмом, панмонголизмом, или, как это постулируют Тишков-Шабаев „ретроградной новацией этнонационализма”.

„Одной из последних ретроградных новаций этнонационализма, – заявляют они, – стало конструирование неких ‘миров’ [в том числе финно-угорского мира] и межгосударственной солидарности на основе академических (главным образом лингвистических или этнографических) классификаций различных культур по принципу принадлежности носителей языка к тем или иным языковым семьям” (С. 3). „По крайней мере, – пишут они далее, – до последнего времени никто в мировой политике и в общественной деятельности не выстраивал значимых коалиций по принадлежности жителей стран к ‘языковой семье’” (С. 3; причем слова „языковая семья” здесь выделены ироническими кавычками, будто бы и семей таких на самом деле не существует).

Ну, слабо ориентированные в истории мировой политики авторы желтой брошюры могут и не знать, к примеру, что великий просветитель и лидер прогрессивных общественных движений тюркского мира Исмаил Гаспринский, выдвинув классическую триаду „*Dilde, fikirde, ıste birlik / Единство в языке, вере, мыслях и делах!*”, разработал и обосновал еще на исходе XIX века принципы общетюркской культурной общности и политической солидарности, ставшей одним из факторов, разрушивших в конечном итоге царскую империю. Однако, эхо борьбы с проклятым „пантюркизмом”, с „султан-галеевщиной” так долго гремело над всеми регионами и народами России, что могли бы они об этом и слышать, даже если по российской традиции „*учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь*”. Могли бы слышать также, что уже во второй половине XX века на основе арабской солидарности была создана достаточно мощная политическая сила, которую, как бы к ней ни относиться, трудно назвать *незначимой* коалицией. Могли бы догадаться (тем более, что один из соавторов считает себя специалистом в американской этнографии), что в основе понятия „Латинская Америка” как геополитического феномена лежит как раз принцип языковой

классификации, и отличия латиноамериканского юга от англоязычного севера Американского континента, проявляющиеся и в культуре, и в политической ориентации, основаны именно на принадлежности жителей стран к языковой семье. Могли бы знать что-либо и о панславизме, энергично задействованном в весьма серьезной российской политике на Балканах конца XIX – начала XX веков, да, кажется, и нынешним чиновникам российского МИДа, еще недавно сочинявшим ноты протеста против вмешательства международного сообщества в дела „великой Сербии”, руководимой военными преступниками, знаком словесный тандем „братья-славяне”.

По сути тишковско-шабаевских претензий к Евросоюзу можно сказать не так уж много, настолько невразумительна изложенная в желтой брошюре позиция. Основной ее посыл сводится к тому, что финно-угорская проблема в России (впрочем, проблемы как таковой авторы при этом даже не признают) – это „наше внутреннее дело”, в которое никакие эстонцы и венгры не должны вмешиваться. „Очевидно, – с нескрываемым самомнением, имея в виду прежде всего самих себя, пишут авторы, – что именно экспертное сообщество России может наиболее успешно и грамотно корректировать отечественную этнонациональную политику, как федеральную, так и региональную [всюду наложим свою руку!], а точнее – давать рекомендации тем, кто непосредственно принимает решения в этой сфере государственного управления” (С. 3). Правда, чтобы хоть как-то соблюсти приличия, авторам приходится сквозь зубы произнести формулу вежливости и признать, что в какой-то мере „могут учитываться также анализ и критика, которые исходят от зарубежных экспертов” (С. 3). Но насколько неготовы на самом деле ни сами авторы, ни стоящие за ними «патриотические» силы прислушаться к объективному мнению зарубежных критиков и экспертов, свидетельствует все дальнейшее содержание брошюры и сам замысел ее написания. „Руки прочь от **наших** финно-угорских народов!”, – таков основной пафос этой брошюры, и объяснять ее авторам, что права человека, права представителей коренных народов и этнических меньшинств не могут быть *внутренним делом* одного государства, а нарушение этих прав требует вмешательства мирового сообщества, – видимо, бесполезно.

Со всеми, кто по своему гражданскому долгу и зову совести решается „вмешиваться во внутренние дела России” и высказывать взгляды, немного не совпадающие с озвученным – одним известным лицом – намерением разобраться со всеми недовольными и строптивыми народами „в сортире”, – причем и с теми, кто сортирную политику не приемлет внутри страны, и с наблюдателями и критиками из „заграницы”, – они решили расправиться одним махом, объявив все критические выступления, замечания, теории, доказательства, с которыми трудно спорить по существу, „ненаучными”. Малограмотные авторы желтой брошюры абсолютно уверены в том, что на научных позициях стоят они сами и послушные им по должностной иерархии или близкие по духу исполнители идеологических заказов; всех же, кто с ними несогласен, следует от науки отлучить. Поэтому неслучайно в подзаголовках и тексте брошюры навязчиво и многократно повторяются такие утверждения, как „*антинаучность доклада Катрин Сакс*” (С. 9), „*научная несостоятельность [...] ‘финно-угорской проблемы’*” (С. 4), „*внешние силы, которые никак нельзя отождествить с*

научными кругами” (С. 3), „... кое-кто из них [активистов национальных движений] обладает даже учеными степенями, что нельзя приравнять, однако, к научной квалификации” (С. 21; не иначе как на Высшую Аттестационную Комиссию Российской Федерации замахнулись авторы желтой брошюры, они по своим „понятиям” собираются решать, кто обладает научной квалификацией, а кто нет); «доклад [Катрин Сакс] претендует на научность, но именно эта его сторона наиболее несостоятельна» (С. 10).

Я не знаю, кто дал право Тишкову или Шабаеву судить о научной компетенции венгерского профессора Януша Пустаи или эстонского депутата Европарламента Катрин Сакс, но хорошо знаю, зачем нужны подобные инсинуации, на которых строится тишковско-шабаевская тактика обороны и наступления. Объявив *ненаучным* все, что их раздражает и им не нравится (а правда как-никак глаза колет), они могут уже распуститься и не утруждать себя ни теоретическими аргументами, ни сбором фактов, ни формированием корпуса объективных данных, ни иными научными доводами. С людьми *вне науки* можно говорить иным языком, которым Тишков–Шабаев лучше владеют, чем языком научной полемики: можно разоблачать тайные замыслы „врагов России”, действующих «в целях геополитического соперничества» (С. 4), «с целью поддержания негативного образа России, на сей раз по части политики в отношении этнических меньшинств» (С. 3), приписывать этим людям фантастические намерения („Нужны были заметные фигуры среди активистов этнонациональных организаций” – кому нужны? конечно, засевающим в Евросоюзе врагам России!), а самим этим активистам можно недвусмысленно угрожать, *сигнализировать*, к примеру, что тот же В. Козлов является кавалером ордена за заслуги перед Эстонией; выявить подозрительное поведение отдельных российских граждан за границей („Заметим, что многие активисты этнических организаций в России старательно подчеркивают, что проблемы в сфере сохранения и развития языка и культуры финно-угров есть, но они решаются. Но как только их приглашают на Запад, их риторика меняется: они непременно заявляют об ущемлении прав финно-угорских народов...” (С. 20; вывод ясен: зачем их на Запад пускать?); наконец, напомнить соотечественникам, еще не забывшим те времена, когда за контакты с иностранцами просто сажали: „Были задействованы совместные усилия ряда политиков и российских этнических активистов, которые имели тесные контакты с зарубежными коллегами и которые представляли себя в качестве защитников интересов уральских народов” (С. 8).

Что касается самих финно-угорских народов, то с ними авторы желтой брошюры разобрались своими силами. „Длительное пребывание в составе исторического российского государства в статусе этнического меньшинства по отношению к доминирующему русскому народу и культуре, христианизация в пользу русского православия, воздействие доминирующей [ох, уж эти доминанты – никак не меньше двух в одной фразе!] русскоязычной культуры привели к процессам языковой ассимиляции и к смене этнического самосознания в пользу русского среди части этого населения” (С. 6). В перспективе, видимо, уже не часть, а все финно-угорское население добровольно сольется с доминирующей массой и растворится в великом русском народе. Для ускорения этого процесса авторы предлагают шире использовать прогрессивный опыт ликвидации

автономных округов (*«Пример Коми-Пермяцкого округа показывает, что политическая автономия для этнических меньшинств уже не воспринимается ими как существенно значимый фактор [...] объединение с Пермской областью было логичным и неизбежным»* (С. 17). Сама идея и практика формирования автономных республик и округов в Российской Федерации компрометируется как часть большевистской политики – доктрины *„этнического национализма, которую в свое время взяли на вооружение большевики [...] с очевидной политической целью – усилить свое влияние среди меньшинств“* (С. 17), а очень точное наблюдение Катрин Сакс, пришедшей к выводу, что *„республики и округа стали ... органической частью этнического самосознания финно-угорских народов“* (С. 17), отбрасывается, конечно, как *ненаучное и необоснованное*. Точно так же игнорируется ее предложение использовать по отношению к финно-угорским народам России термин *„коренные народы“*, а не *„национальные меньшинства“*. *„На первый взгляд невинная терминологическая рокировка на самом деле призвана разделить население национальных республик и автономий, – грозно предупреждают авторы, – на качественные страты и в основу этого деления положить принцип крови»* (С. 16–17). Интересно, а коренные народы Африки, ведущие борьбу за свое освобождение, – это тоже, по их мнению, противопоставленные белым колонизаторам опасные *„качественные страты“*, образованные *„по принципу крови“*? И может быть, вообще, в мире нет *коренных народов?*

Очень хотелось авторам желтой брошюры выслужиться, защищая *„единую и неделимую“* Россию от *„буржуазных фальсификаторов“* и *„провокаторов“*. Но убогими оказались эти защитники, даже в паре. Хромают на все четыре ноги, не владея словом, не обладая ни знаниями, ни культурой, ни способностью понимания и сочувствия по отношению к народам, судьбы которых они берутся решать. Впрочем, при полной бездарности во всем, что может иметь хоть какое-либо отношение к научной и литературной деятельности, один талант авторы желтой брошюры, несомненно, проявили. Это воспитанный еще в советские времена и востребованный заново талант политического доносительства во всех его формах: доносительства прямого и завуалированного, открытого и латентного, просматривающегося как угроза пока анонимным оппонентам. Право, смешно и грустно. Грустно, что политические доносы в России сегодня поощряются. Смешно, что они издаются с претензией на научный статус исследований под грифом Академии наук.